

БИБЛИОТЕКА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
МЕМОАРОВ
« ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРИТСЯ
ПЛАМЯ »

ШТУРМАНЫ БУДУЩЕЙ БУРИ



ШТУРМАНЫ
БУДУЩЕЙ
БУРИ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС —
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-
ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СССР
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Редакционная коллегия
«Библиотеки
революционных мемуаров»:

С. С. ВОЛК,
В. Н. ГИНЕВ,
М. П. ИРОШНИКОВ,
З. С. МИРОНЧЕНКОВА,
Л. Н. ПЛЮЩИКОВ,
Л. М. СПИРИН,
В. А. ШИШКИН

Ответственный составитель
«Библиотеки
революционных мемуаров» —
доктор исторических наук
В. Н. ГИНЕВ

БИБЛИОТЕКА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
МЕМОАРОВ
«ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРИТСЯ
ПЛАМЯ»

ШТУРМАНЫ БУДУЩЕЙ БУРИ

Воспоминания участников
революционного движения 1860-х годов
в Петербурге

Составитель
доктор исторических наук
А. Н. ЦАМУТАЛИ

Научный редактор
доктор исторических наук
С. С. ВОЛК

63.3(2)51
Ш 94

Рецензент
доктор филологических наук
С. А. Рейсер

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 1860-х ГОДОВ

Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, первое в истории России революционное выступление, потерпело поражение. Царское правительство жестоко расправилось с декабристами, но оказалось не в состоянии покончить с революционными идеями, носителями которых они выступали.

В период николаевской реакции П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский и петрашевцы не дали прерваться демократической традиции русской общественной мысли. Затем продолжателем дела декабристов стал А. И. Герцен. Основав в Лондоне в 1853 г. «Вольную русскую типографию», он вместе со своим другом и соратником по революционной борьбе Н. П. Огаревым с 1857 г. начал издавать политический журнал «Колокол». На страницах «Колокола» печатались статьи, обличавшие произвол помещиков и царской администрации и решительно требовавшие отмены крепостного права. Номера «Колокола» переправлялись в Россию, где получали широкое распространение. А. И. Герцену и Н. П. Огареву суждено было стать связующим звеном между дворянским и разночинским поколениями революционеров. «Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению *разночинцев*, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству», — писал В. И. Ленин в статье «Из прошлого рабочей печати в России»¹. С начала 1860-х гг. разночинцы стали играть в революционном движении ведущую роль.

Тенденцию к вытеснению в русском революционном движении дворян разночинцами отмечали еще современники этого процесса. Оглядываясь назад, Герцен в статье «1831—1863», напечатанной в 1863 г. в «Колоколе», писал о «новом крае людей», который восстал «внизу» и исподволь, еще при Николае I, вводил «свои новые элементы в умственную жизнь России». Герцен так характеризует разночинцев: «Эти новые люди, эти кравственные разночинцы составляли не сословие,

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93—94.

а среду, в которой на первом плане были учителя и литераторы, литераторы-работники, а не дилетанты, студенты, окончившие и не окончившие курс, чиновники из университетских и из семинаристов, мелкое дворянство, обер-офицерские дети, офицеры, выпущенные из корпусов, и проч. Новые люди, маленькие люди, они были не так заметны и нравственно столь же свободнее прежних, сколько связаннее материально... Аристократическая Россия отступала на второй план, ее голос стал слабеть... Другая сила шла на смену».

В 1914 г. в статье «Из прошлого рабочей печати в России» В. И. Ленин выделил «три главных этапа», пройденные русским освободительным движением, «соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время»¹.

Революционеры-разночинцы унаследовали от своих предшественников, представителей дворянского периода, их лучшие черты — такие, как непримиримая ненависть к крепостничеству и самодержавию, готовность к самопожертвованию во имя интересов народа. Вместе с тем разночинцев отличала более тесная связь с народом, им свойственно было чуткое восприятие настроений и чаяний трудящейся массы, прежде всего крестьянства.

Во второй половине XIX в. все отчетливее стали проявляться отрицательные черты капиталистических отношений в западноевропейских странах, лживость буржуазной демократии. Все это порождало у революционеров-разночинцев мысль о том, что Россия в силу особенностей исторического развития могла бы миновать стадию капитализма, что можно создать социалистические отношения в обществе, используя сохранившиеся в русской жизни общинные начала.

Подобные рассуждения были исходным моментом такого сложного явления в общественной мысли и революционном движении, каким было русское народничество. Указывая в 1905 г. на различия во взглядах между социал-демократами и народниками, В. И. Ленин писал: «Человек будущего в России — мужик, думали народники... Человек будущего в России — рабочий, думали марксисты...»². В. И. Ленин так определял идеалы народников: «*Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни; отсюда — вера в возможность крестьянской социалистической революции,* — вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством»³.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93.

² Там же, т. 12, с. 40—41.

³ Там же, т. 1, с. 271.

С разночинским этапом связаны искания в области философии, революционной теории, настойчивые попытки найти наиболее эффективные формы революционной организации. На этом этапе формируется тип профессионального революционера, складывается система представлений революционной этики.

Выдающейся заслугой русских революционеров конца 1850-х — начала 1860-х гг. было то, что они не только начали различными путями пропагандировать свою политическую программу, направленную против самодержавия и крепостничества, разоблачать несостоятельность взглядов либералов, но стали постепенно собирать воедино силы тех, кто готов был посвятить жизнь делу революции.

Поиски подлинно революционной теории, практическая революционная деятельность шли нелегким путём. Разночинцы осознали, что чисто военный переворот, который декабристы считали наиболее приемлемым средством завоевания власти, в России XIX в. не может обеспечить революционное преобразование общества, поскольку совершается без участия народа. Иными были у разночинцев и представления о том обществе, которое они создадут после уничтожения самодержавного строя. Они мечтали о новых общественных отношениях, основанных на социалистических началах, и понимали, что их создание невозможно без уничтожения существующего строя. В истории русской общественной мысли разночинцы стали первыми, кто поверил в революционные возможности народных масс и выдвинул идею крестьянской революции.

У истоков революционных исканий разночинцев стояли шестидесятники, среди которых В. И. Ленин выделял «революционеров 1861 года». Им приходилось действовать в условиях, когда, по словам В. И. Ленина, «даже мысли не возникало о существовании революционной партии»¹. «Штурманами будущей бури» назвал их Герцен, а за ним и Ленин.

Дважды в России второй половины XIX в. возникала революционная ситуация: первая — в конце 50-х — начале 60-х гг., вторая — в конце 70-х — начале 80-х гг. В том и другом случае они не переросли в революцию, оба раза самодержавию удалось отбить натиск демократических сил, но освободительное движение остановить не удалось. Его развитие было трудным, но неуклонным.

Революционерам-шестидесятникам пришлось действовать в обстановке первой революционной ситуации. Тяжелое положение народных масс, доведенных до крайности, еще более ухудшилось в результате Крымской войны. Поражение в этой войне углубило общенациональный кризис. Наряду с бурным ростом недовольства народных масс, находившим наиболее

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 332.

отчетливое выражение в крестьянских восстаниях, наметилось брожение и в либеральных кругах.

18 февраля 1855 г. умер Николай I. Многие встретили известие о его смерти со вздохом облегчения, некоторые — с радостью. Герцен вспоминал об этом дне: «Не помня себя, бросился я с «Таймсом» в руке в столовую, я искал детей, домашних, чтобы сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету...»

Сохранился отзыв о письме, посланном в связи со смертью Николая I из Петербурга в Москву К. Д. Кавелиным, известным юристом, историком права, видным представителем русского либерализма: «Это был вопль восторга, непримиримого озлобления против человека, воплощавшего собой самый грубый деспотизм. Письмо переходило из рук в руки и в каждом из читавших его вызывало полное сочувствие».

Либерально настроенная часть общества благожелательно встретила вступившего на престол Александра II, надеясь, что он отступит от жесткого курса, проводившегося Николаем I, ослабит цензуру, станет на путь реформ. Меньше иллюзий было в демократической среде. Показательно в этом смысле стихотворение, написанное в эти дни юным Н. А. Добролюбовым, студентом Главного педагогического института. Оно начиналось словами: «Один тиран исчез, другой надел корону».

Александр II был склонен ревниво охранять порядки, существовавшие при его отце. Еще наследником престола он неоднократно высказывался за сохранение крепостнических устоев. Однако в условиях всеобщего недовольства, охватившего Россию после поражения в Крымской войне, он вынужден был признать, что сохранить в неприкосновенности николаевские порядки невозможно. В одной из речей, произнесенной вскоре после окончания войны, он сказал: «Слухи носят, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого уже было несколько случаев неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». В этих словах сквозили, с одной стороны, явное нежелание вносить перемены в существовавшую крепостническую систему, с другой стороны, невозможность не считаться с реальной политической обстановкой в стране, с угрозой крестьянских восстаний.

Крестьянский вопрос был главным среди проблем социально-экономического развития России середины XIX в. Царское правительство не могло игнорировать тревожные симптомы, свидетельствовавшие о возникновении в стране революционной ситуации. Чтобы избежать революции, оно вынуждено бы-

ло стать на путь реформ. Однако подготовка первой из них, крестьянской, затянулась на несколько лет. С самого начала было ясно, что подготавливаемая реформа будет проведена так, чтобы максимально оградить интересы помещиков.

Защитниками интересов крестьян стали русские революционные демократы.

Редакция «Колокола» во главе с Герценом представляла собой заграничный центр русской революционной демократии. Наряду с ним в Петербурге в 1850-е гг. сложился другой центр русской революционной демократии, вдохновителем которого стал Н. Г. Чернышевский.

Судьба Чернышевского тесно связана с историей Петербурга.

Впервые он приехал в столицу из Саратова в 1846 г. Вскоре Чернышевский не только привязался к Петербургу, но и полюбил его. В 1849 г. он писал: «Странно, какую любовь внушает к себе своим обитателям Петербург... и не только происходит эта любовь от того, что здесь средоточие всех надежд для всякого, особенно служащего, а отчасти и совершенно бескорыстная... Когда на днях шел я с Вознесенского мимо Сената на Васильевский... так мне милы вдруг стали и эти дома, и памятник Петру, и площадь...»

Закончив Петербургский университет, Чернышевский вернулся в Саратов, где в 1851—1853 гг. преподавал в гимназии.

13 мая 1853 г. Чернышевский вновь приехал в Петербург. Он пробудет здесь до 1864 г. Это будут годы его наиболее активного участия в литературной и общественно-политической жизни России. Здесь начнется его сотрудничество в «Современнике», которое сделает и имя Чернышевского, и название журнала неразрывно связанными с историей русского освободительного движения XIX в.

Редактором-издателем «Современника» с 1847 г. был Николай Алексеевич Некрасов. Не только свой поэтический талант, но и незаурядные журналистские способности он посвятил борьбе против крепостничества, за лучшее будущее народа. В том, что «Современник» стал боевым органом революционной демократии, большая заслуга Некрасова. В 1854 г. он пригласил сотрудничать в журнале Н. Г. Чернышевского. С 1856 г. в журнале начал печататься Николай Александрович Добролюбов. Год спустя он сделался постоянным сотрудником журнала.

Чернышевский и Добролюбов скоро стали играть в «Современнике» ведущую роль. Чернышевский сосредоточил свое внимание на социально-политических проблемах. Добролюбов возглавил отдел критики и библиографии. Блестящие литературно-критические статьи Добролюбова, написанные «эзоповским» языком, обладали огромной разоблачительной силой и производили неизгладимое впечатление на современников.

В публицистическом отделе с критикой крепостнических порядков выступали Н. В. Шелгунов, Г. З. Елисеев, М. А. Антонович, М. Л. Михайлов. Разносторонние способности этих авторов позволяли им ярко освещать различные стороны российской действительности.

В 1858 г. Чернышевский, продолжая сотрудничать в «Современнике», стал редактором (по литературной части) нового ежемесячного журнала «Военный сборник». Вокруг редакции этого журнала в первый год его существования сгруппировались наиболее передовые представители военной интеллигенции. Редакторами (по военной части) были прогрессивно настроенные профессора Академии Генерального штаба В. М. Аничков и Н. Н. Обручев. На страницах «Военного сборника» преобладали материалы, которые были направлены против крепостнических порядков, критиковали отсталость русской армии, призывали извлечь уроки из поражения в Крымской войне, доказывали необходимость реформ. Обличительное направление, присущее журналу в 1858 г., вызвало недовольство правительства, и с 1 января 1859 г. Аничков, Обручев и Чернышевский от редактирования журнала были отстранены.

Н. Н. Обручев, сблизившись с Чернышевским и редакцией «Современника», начал сотрудничать в журнале и принял в дальнейшем активное участие в революционном движении 60-х гг. Активным шестидесятником стал и двоюродный брат Н. Н. Обручева, В. А. Обручев. Блестяще окончив Академию Генерального штаба, он вышел в отставку и также стал деятельным сотрудником «Современника».

Возглавив «Современник», Чернышевский продолжал дело, за которое боролся В. Г. Белинский, следуя традициям русской революционно-демократической мысли. Он творчески усвоил наивысшие достижения прогрессивных западноевропейских мыслителей, наиболее передовые идеи Фейербаха и Гегеля в области философии, Смита и Рикардо в политической экономии, наиболее ценные мысли Фурье и других представителей утопического социализма. Чернышевский создал самостоятельную систему философских и политических взглядов, ставшую выдающимся достижением русской и мировой науки и общественной мысли XIX в. Выдающийся философ-материалист, талантливый литературный критик, историк, тонкий знаток этики и эстетики, Н. Г. Чернышевский стал теоретиком революционного движения, идеологом крестьянской революции.

В своих публицистических выступлениях, связанных с подготовкой крестьянской реформы, Чернышевский убедительно доказывал, что царизм не в состоянии провести преобразования, которые соответствовали бы интересам крестьянства. В статье «Материалы для решения крестьянского вопроса», написанной им в конце 1859 г. и напечатанной в «Современни-

ке», он требовал закрепления за крестьянами в первую очередь той земли, которой они пользовались до реформы. Чернышевский не мог полностью изложить в этой статье свою программу, согласно которой крестьянам следовало передать без всякого выкупа всю землю: и ту, которая находилась в крестьянском пользовании, и господскую. Эта идея впоследствии была вложена им в уста одного из персонажей романа «Пролог»: «Вся земля мужицкая, выкупу никакого! Убирайся, помещики, пока живы!»

Разумеется, Чернышевский не мог на страницах журнала открыто говорить о крестьянской революции. Однако он использовал любую возможность, чтобы намекнуть читателям на вероятность революционного взрыва. Против каких бы то ни было иллюзий относительно подготавливаемой правительством реформы были направлены статьи Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» и «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». Оценивая публицистические выступления Чернышевского по поводу предстоящей крестьянской реформы, В. И. Ленин писал: «Чернышевский понимал, что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести «мерзость», жалкий компромисс интересов либералов (выкуп — та же покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий с головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов»¹.

С начала 1860 г. Чернышевский прибег к новой форме протеста против правительственного варианта крестьянской реформы — к замалчиванию на страницах «Современника» вопросов, связанных с подготовкой отмены крепостного права. Демонстративное молчание «Современника» красноречиво говорило о том, что нельзя верить правительству, как нельзя предаваться и либеральным иллюзиям.

Подписанные 19 февраля 1861 г. «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и «Манифест» об отмене крепостного права свидетельствовали о том, что провозглашенная этими документами реформа осуществлена, как и предупреждали Чернышевский и его единомышленники, вопреки интересам крестьянства. В правящих кругах прекрасно сознавали крепостнический характер реформы. При обсуждении ее проекта на заседании Государственного совета Александр II без обиняков заявил: «Все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков,— сделано». Известие об

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 292.

отмене крепостного права нисколько не разрядило напряженной атмосферы в стране. Наоборот, грабительский характер реформы способствовал усилению крестьянских волнений. Продолжали расти оппозиционные настроения в обществе. Обострились кризисные явления в правящих кругах.

Перечисляя факторы, в своей совокупности создававшие в России в конце 1850-х—начале 1860-х гг. революционную ситуацию, В. И. Ленин писал: «...при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»¹.

Обнародование «Манифеста» 19 февраля сопровождалось многочисленными крестьянскими волнениями, прокатившимися по различным губерниям и подтвердившими реальную опасность крестьянской революции. За первые пять месяцев 1861 г. было зарегистрировано 1340 крестьянских выступлений. Из них подавляющее большинство пришлось на март, апрель, май, то есть на три месяца, непосредственно следовавшие за «Манифестом».

В центре внимания передовой общественности оказалось восстание крестьян села Бездна Казанской губернии. Поводом к его началу послужило то, что крестьянин этого села Антон Петров, по-своему толкуя включенный в «Положения» образец уставной грамоты, утверждал, что помещики скрыли от народа объявленную якобы еще в 1858 г. свободу. Движение разрослось. Помещики увидели в лице Антона Петрова «второго Пугачева». Дело кончилось прибытием войск и расстрелом безоружных крестьян. Сам Петров был казнен по приговору военного суда.

В знак протеста против этой зверской расправы казанские студенты организовали 16 апреля 1861 г. панихиду по убитым крестьянам, на которой присутствовало несколько сот человек. После богослужения преподававший в Казанской духовной академии историк А. П. Шапов произнес речь, в которой, как бы обращаясь к погибшим крестьянам, сказал: «Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра,— эта земля воззовет народ к восстанию и свободе». Преследования, обрушившиеся на Шапова за его речь, вызвали глубокое сочувствие к нему демократически настроенной части общества. При активном участии Чернышевского была начата кампания в защиту Шапова. И он хоть и потерял кафедру в Казанской духовной академии, но на этот раз избежал ссылки. Однако год спустя Шапов был все же сослан в Сибирь и уже не вернулся оттуда.

Борьба русского крестьянства вызывала горячее сочувст-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 30.

вие студенческой молодежи, чутко воспринимавшей нужды и чаяния народа.

Резкое увеличение числа разночинцев в среде учащейся молодежи способствовало ее демократизации. В 1860-е гг. именно студенты составляли большинство участников революционного движения, являлись наиболее устойчивыми его элементами. В 1861 г. начались активные студенческие выступления, которые были откликом на волнения крестьян, возмущенных обманувшей их надежды реформой.

В Петербурге студенческие волнения начались осенью 1861 г. и сразу приняли бурный характер. Непосредственным поводом для них послужили новые правила, которые предусматривали запрещение сходок, упраздняли студенческое самоуправление и вводили ряд других ограничений. Все эти меры были связаны с усилением реакционных сил в правительстве. На репрессии студенты Петербургского университета ответили решительным протестом. 25 сентября 1861 г. они предприняли шествие к дому попечителя, которое вылилось в уличную демонстрацию, получившую широкую огласку не только в России, но и в Западной Европе. 12 октября 1861 г. против студентов, собравшихся у здания университета, была брошена полиция. Несколько сот участников демонстрации были арестованы и заключены в казематы Петропавловской крепости. Эта незаконная расправа вызвала всеобщее негодование. Учащиеся других учебных заведений заявили о своей солидарности со студентами университета. Начался сбор подписей под протестом против полицейского произвола. Предполагалось устроить массовую демонстрацию у Казанского собора. Власти распорядились закрыть Петербургский университет до пересмотра университетского устава.

Вслед за Петербургом студенческие волнения охватили и другие города. Студенты Московского университета 4 октября 1861 г., в годовщину смерти профессора всеобщей истории Т. Н. Грановского, известного своими прогрессивными взглядами, устроили шествие к его могиле, над которой раздались «весьма неумеренные», с точки зрения властей, речи. Многие участники шествия были арестованы. 12 октября студенты собрались у дома московского генерал-губернатора, требуя объяснить причины арестов. Вместо ответа власти бросили против студентов полицию, которая учинила настоящее побоище. В Казани также произошли студенческие беспорядки, после которых был закрыт Казанский университет. Не утихали волнения и среди петербургского студенчества.

Студенческое движение привлекало к себе самое пристальное внимание демократически настроенного кружка, сплотившегося вокруг редакции «Современника». Несмотря на цензурные строгости, на страницах журнала печатались материалы, посвященные студенчеству, его положению и его борьбе. Н. Г. Чернышевский, пользовавшийся среди учащейся молоде-

жи большим уважением и авторитетом, поддерживал связь с наиболее активными участниками студенческого движения, заботился об оказании помощи арестованным и исключенным студентам.

Студенческие волнения свидетельствовали о росте недовольства существующим строем и активности демократически настроенных сил. В этих условиях важное значение приобретала революционная пропаганда, особенно среди молодежи.

К этому времени в Петербурге уже сложился революционный центр, во главе которого стояли Чернышевский и Добролюбов. К нему принадлежали сотрудничавшие в «Современнике» поэт М. Л. Михайлов и публицисты Н. В. Шелгунов, Г. З. Елисеев, М. А. Антонович. Все они вышли из гущи народа, своими глазами видели тяжелое положение крестьянства, решительно осуждали, насколько им это позволяли цензурные строгости, крепостничество и произвол властей.

Близки к Чернышевскому были братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи. Н. А. Серно-Соловьевич, выпускник Александровского лицея, увлеченный идеями Герцена, Огарева, Чернышевского и Добролюбова, пренебрег служебной карьерой. Побывав за границей, он подружился там с Герценом и итальянским революционером Джузеппе Маццини. С неукротимой энергией он занимался просветительской деятельностью и революционной пропагандой. Многие члены созданного им кружка передовой молодежи приняли участие в революционном движении. Из кружка лицейстов вышел и А. А. Слепцов. Деятельным участником революционного движения 1860-х гг. стал и младший брат Н. А. Серно-Соловьевича — Александр.

К революционному ядру «Современника» примыкали наиболее передовые представители военной интеллигенции — такие, как Н. Н. Обручев и В. А. Обручев. В демократических кружках хорошо знали отличавшегося широкой образованностью и прогрессивными взглядами полковника П. Л. Лаврова, преподававшего в Артиллерийской академии. Наряду с «Современником» центром притяжения демократических сил стал журнал «Русское слово». Этому способствовал Г. Е. Благодетель, талантливый журналист, с приходом которого в «Русское слово» журнал приобрел ярко выраженное демократическое направление.

В ходе студенческих волнений 1861 г. начинают складываться революционные убеждения у совсем еще тогда молодых людей, которым только предстояло связать свою судьбу с революционным и общественным движением 1860-х гг. Среди них были Д. И. Писарев, впоследствии занявший ведущее место в «Русском слове», Н. И. Утин и Л. Ф. Пантелеев, вошедшие затем в «Землю и волю», П. Н. Ткачев, в недалеком будущем талантливый публицист и видный деятель народничества.

По-разному сложатся судьбы этих людей. Но в годы рево-

люционного подъема они свяжут свою деятельность с революционной борьбой. В 1860-е гг. она облакалась в разные формы. В передовых кружках, особенно в окружении Чернышевского, обсуждалась возможность активных действий. Особое внимание придавалось революционной пропаганде. Чернышевский и его единомышленники за несколько месяцев 1861 г. подготовили прокламации, обращенные к различным слоям русского народа. Это были яркие агитационные документы, свидетельствовавшие о далеко идущих революционных планах их составителей.

Вспоминая впоследствии о «прокламационной кампании» 1860—1861 гг., Н. В. Шелгунов писал: «В ту же зиму, т. е. в 1861 году, я написал прокламацию „К солдатам“, а Чернышевский прокламацию „К народу“ В ту же зиму я написал прокламацию „К молодому поколению“».

Под прокламацией «К народу» Шелгунов, по-видимому, имел в виду воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Во время проходившего в 1862—1864 гг. процесса по делу Чернышевского эта прокламация была одним из оснований для обвинения Чернышевского и осуждения его на каторжные работы, хотя суд и не смог доказать его авторства.

В исторической литературе было немало споров об авторе этой прокламации. В настоящее время можно считать авторство Чернышевского установленным. Прокламация была написана им, по-видимому, в феврале—марте 1861 г., во всяком случае близко по времени к опубликованию «Манифеста» и «Положений 19 февраля». Воззвание срывало маску с Александра II, на которого еще возлагали свои надежды некоторые крестьяне. «Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они — все одно»,— говорилось в воззвании. Оно исключало возможность каких бы то ни было иллюзий в отношении царя: «Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно». Настоящую волю народу, по мысли Чернышевского, могло дать только повсеместное крестьянское восстание. Сигнала к этому восстанию крестьянам следовало ждать от «доброжелателей». В издании и распространении воззвания «К молодому поколению», написанного Н. В. Шелгуновым, деятельное участие принял М. Л. Михайлов, поэт и публицист, друг и единомышленник Шелгунова. Весьма вероятно участие Михайлова и в составлении текста прокламации. Михайлов при содействии Герцена и Огарева отпечатал это воззвание в Лондоне, в июле 1861 г. привез его в Петербург и в сентябре того же года занялся распространением.

В этой прокламации решительно обличались дворянство и правительство, сам Александр II. «Государь обманул ожидания народа — дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна»,— говорилось в воззвании.

Включенные в него программные требования предусматривали национализацию земли и передачу ее в пользование крестьянам, уничтожение привилегированных сословий, равенство всех перед законом, гласный суд, уничтожение полиции и т. п. Провозглашалась необходимость «выборной и ограниченной» власти.

Обширное теоретическое введение содержало рассуждения о «самобытности» исторического развития России, противопоставление России и Западной Европы. Такой взгляд расходился с воззрениями Чернышевского. Возможно, именно это обстоятельство в какой-то мере было причиной того, что о подготовке этой прокламации, по свидетельству Шелгунова, не знал никто, кроме него самого и Михайлова, то есть она оказалась за рамками общего плана издания агитационной литературы, возникшего в окружении Чернышевского. Однако главное в содержании этого воззвания — непримиримая критика существующего строя, пропаганда демократических требований, призыв к молодежи создавать революционные кружки, вести пропаганду среди солдат и крестьян — было вполне в духе Чернышевского. Прокламация кончалась обращением: «Ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря». В заключительных словах звучал не только призыв к действию, но и мысль о преемственности революционных поколений, о продолжении борьбы, начатой еще декабристами.

Прокламация «К молодому поколению» была воспринята молодежью с большим энтузиазмом. О том, как отнеслись к этой прокламации студенты Петербургского университета, вспоминал участник студенческого движения тех лет Н. Я. Николадзе: «Кто-то из студентов старшего курса, кажется Неклюдов, снял со стены этот лист, объявив, что прочтет его всем в соседнем актовом зале... Все в прокламации представляло для нас интерес откровения... Тут звучал прямой призыв к восстанию, не для исправления, а для свержения всего строя... Все были в восторге, что обойдена цензура, что призыв к восстанию гуляет по белу свету под самым носом у ненавистной власти».

Злобу и ненависть вызвало распространение листовки «К молодому поколению» в правительственных кругах. 3 и 4 сентября прокламация появилась в разных концах Петербурга. Она была послана и ряду правительственных лиц, в том числе П. А. Шувалову. Разгневанный начальник III отделения вместе с обер-полицеймейстером «поднял на ноги всю петербургскую полицию», но так и не смог напасть на след распространителей. Только много лет спустя из «Первоначальных набросков» воспоминаний Шелгунова стало известно, что распространили прокламацию в Петербурге А. А. Серно-Соловьевич и брат Л. П. Шелгуновой Е. П. Михаэлис.

Если прокламация «К молодому поколению» стояла несколько особняком, то другая прокламация, написанная Шелгуновым и обращенная к солдатам, была в общем русле агитационной деятельности кружка Чернышевского. Эта прокламация, озаглавленная «Русским солдатам от их доброжелателей поклон», предупреждала, что народ не будет доволен «ни царем, ни своей волей, ни помещиками, ни начальством», предвещала, что возникнут в народе «смуты и неудовольствия», подавлять которые пошлют солдат. Прокламация призывала солдат не только не стрелять в народ, но и стать на его сторону. Эту прокламацию не удалось издать, но в том же 1861 г. Шелгунов написал и выпустил в свет листок «К солдатам», также призывавший не выступать против народа, а присоединиться к нему, «чтобы ему помочь да и свое житье поправить».

Большое внимание как революционных, так и широких демократических слоев русского общества было обращено на вышедшие один за другим несколько листов под общим названием «Великорусс». Первый выпуск «Великорусса» появился не позже июня 1861 г., второй — в сентябре, а третий — в октябре 1861 г. Листки издавались группой «Великорусс», состав которой точно не известен, так же как до сих пор достоверно не выяснено, кто же является их автором. Существует предположение, что автором «Великорусса» был Н. Г. Чернышевский. По поводу этой версии уже много лет продолжается научная дискуссия. Скорее всего кружок «Великорусса» состоял из людей, находившихся под влиянием идей Н. Г. Чернышевского. Однако составители «Великорусса», особенно его первого выпуска (возможно, из тактических соображений) далеко не в полной мере изложили политические требования русской революционной демократии, наиболее радикальным выразителем которых был Чернышевский.

На протяжении 1861—1864 гг. вышла в свет целая серия листов «Великорусса». Чернышевский, явно имея их в виду, писал в «Письмах без адреса» о появлении в 1861 г. «программы, порицаемой одними, хвалимой другими, но принимаемой к сведению всеми». На страницах «Великорусса» доказывалась несостоятельность реформы 1861 г. Призыв к пересмотру реформы сопровождался требованием по меньшей мере передать крестьянам всю землю, которой они пользовались при крепостном праве, без всяких особых платежей и повинностей. Выкуп земли должен был идти «на счет всей нации». «Великорусс» призывал к введению конституции, к решению национального вопроса. Он обращался с предложением «организовать и дисциплинировать движение», создавать для этого конспиративные комитеты. Адресуя свои слова к «образованным классам», то есть к интеллигенции, «Великорусс» предвещал, что летом 1863 г. неизбежно произойдет народное вос-

стане, если к тому времени не удастся заставить правительство устранить причины недовольства.

В октябре 1861 г. за распространение «Великорусса» был арестован и отправлен на каторгу В. А. Обручев, сотрудничавший в «Современнике». Вместе с ним к следствию привлекался и доктор П. И. Боков, также близко знакомый с Чернышевским.

После выхода в свет первого листка «Великорусса» в номере «Колокола» от 15 сентября 1861 г. был напечатан «Ответ „Великоруссу“». Под «Ответом» стояла подпись: «Ваш. Один из многих». Большинство исследователей считает автором «Ответа» Н. А. Серно-Соловьевича. Высказывались предположения, что «Ответ» был написан М. Л. Михайловым или А. А. Серно-Соловьевичем. Встретив с «горячим сочувствием» появление «Великорусса», автор «Ответа» критически воспринял его обращение к «образованным классам» общества. По его мнению, привилегированная часть общества была заодно с правительством, а незначительное меньшинство (имелось в виду демократические силы) хотя и сочувствовало народу, но не имело с ним никакой связи. Автор «Ответа» считал, что этому меньшинству необходимо опереться на массы народа. Он также призывал, и это очень важно, к объединению разрозненных революционных элементов, к созданию революционной организации. Относительно цели борьбы в «Ответе» говорилось, что следует выдвигать более радикальные требования, чем требование конституции, хотя она «лучше самодержавия». «Наша цель,— писал автор «Ответа»,— полное освобождение крестьян, право народа на землю, право его устроиться и управляться самим собою, освобождение и свободный союз областей».

«Ответ „Великоруссу“» явил собой образец четкого и решительного обращения, призывавшего к созданию революционной организации и напоминавшего революционно-демократическим силам об их долге перед народом. Последующие листки «Великорусса» были значительно радикальнее первых, что снимало многие упреки, брошенные ему со страниц «Колокола», и в гораздо большей степени соответствовали взглядам Чернышевского.

Революционеры 1860-х гг. не только думали об объединении усилий всех революционных элементов, но и предпринимали практические шаги, направленные на создание единого революционного центра, способного объединить деятельность как революционного подполья в России, так и революционной эмиграции. Именно в этом направлении действовали Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен, Н. П. Огарев. В 1859 г. Чернышевский отправился в Лондон для переговоров с Герценом. Непосредственным поводом их встречи были объяснения, связанные с полемикой между «Свистком» (юмористическим приложением к «Современни-

ку») и «Колоколом». Разногласия между Герценом — Огаревым, с одной стороны, и Чернышевским — Добролюбовым, с другой, были вызваны тем, что программа, предложенная сторонниками Чернышевского, группировавшимися вокруг «Современника», была более последовательной. Герцен первоначально не в полной мере сознавал важность борьбы против либерализма. Во время переговоров в Лондоне несомненно речь шла не только о статьях, напечатанных в «Свистке» и «Колоколе» и приведших к обострению разногласий. В советской исторической литературе приведено немало доказательств того, что Чернышевский и Герцен во время встречи в Лондоне обсуждали возможные пути налаживания совместных действий обоих революционных центров.

С том, что, несмотря на имевшиеся разногласия, русское революционное движение представляло собой единое целое, а его участники считали освободительную борьбу своим общим делом, свидетельствовали опубликованное в «Колоколе» «Письмо из провинции» и ответ на него Герцена. В «Письме из провинции», обращенном к Герцену и подписанном «Русский человек», в частности, говорилось: «Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к обедне, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать». Отвечая на это письмо, Герцен хоть и не принял предложение его автора, но выражал свою готовность сохранить единство в борьбе: «Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах, не в началах, а в образе действия. Вы представляете одно из крайних выражений нашего направления».

Вопрос об авторе «Письма из провинции» до сих пор вызывает спор между историками. Называют имена Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Так или иначе, бесспорно, что письмо исходило из ближайшего окружения Чернышевского.

В 1859—1861 гг. возникло несколько планов создания революционной организации. Один из них, составленный Н. П. Огаревым, предусматривал «немедленное уничтожение всякого крепостного права помещичьего и казенного на людей», созыв Земского собора, уничтожение сословий и т. д. Огарев полагал, что в случае нежелания императора созвать Земский собор «неурядица неизбежно доведет до восстания». Это восстание возглавит революционный центр, который, по мысли Огарева, должен был находиться в России, а его отделение — в Лондоне. В 1861 г. Огарев напечатал в «Колоколе» статью, озаглавленную «Что нужно народу?». Ответ гласил: «Народу нужна земля да воля». Статья эта, написанная Огаревым совместно с Н. Н. Обручевым и Н. А. Серно-Соловье-

вичем, выдвигала политическую платформу революционной организации «Земля и воля», возникшей в начале 1860-х гг.

История «Земли и воли» 60-х гг. отличается от истории большинства революционных организаций второй половины XIX в. тем, что она не была раскрыта властями. Организация была так строго заэкспроприрована, что после ее самоликвидации не осталось практически никаких документов. Это очень затрудняет изучение истории «Земли и воли». Тем большую ценность и интерес представляют воспоминания о ее деятельности. Долгое время они являлись чуть ли не единственным свидетельством существования организации.

Сохранившиеся в мемуарной литературе, прежде всего в воспоминаниях А. А. Слепцова, сведения дают основание говорить, что в Петербурге в окружении Чернышевского еще осенью 1861 г. предпринимались первые шаги, направленные на объединение разобщенных групп и кружков в единую революционную организацию. Практические шаги, целью которых было создание «Земли и воли», относятся к концу 1861 г., к моменту возвращения из-за границы Н. А. Серно-Соловьевича и Н. Н. Обручева. По словам А. А. Слепцова, «в центре будущего, еще не оформленного» общества стояли Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, сам Слепцов, Н. Н. Обручев и В. С. Курочкин. Общество «Земля и воля» налаживало связи с передовыми слоями студенчества Петербурга и Москвы, с революционно настроенными молодыми офицерами. В воспоминаниях А. А. Слепцова, к сожалению дошедших до нас лишь в отрывках, есть упоминания об участии Чернышевского в одной из пятенок, на которые делилось общество. Вместе с тем там говорится, что Чернышевский, будучи осведомлен о деятельности «Земли и воли», тем не менее формально в нее не вошел. Эти обстоятельства до сих пор с полной достоверностью не выяснены, но несомненно, что Чернышевский был идейным вдохновителем землевольцев, так же как и Герцен и Огаревым.

Ядро «Земли и воли» как революционного центра складывалось в сложной политической обстановке. В 1862 г. снизилось по сравнению с 1861 г. число крестьянских восстаний и выступлений.

Политика правительства становилась все более реакционной. Власти переходили на путь открытых репрессий. Наступление на права студенчества было только первым шагом в этом направлении.

Осенью 1861 г. был арестован поэт М. Л. Михайлов, обвинявшийся в распространении прокламации «К молодому поколению». Этот арест был грубым вызовом со стороны правительства. В глазах передовой части русского общества имя Михайлова стало символом протеста против несправедливых репрессий, зовущим к борьбе против самовластия.

В марте 1862 г. был выслан из Петербурга профессор

П. В. Павлов, позволивший в публичной лекции по случаю «тысячелетия России» весьма умеренные, но негодные властям прогрессивные суждения. Все это было только началом. Реакционные силы требовали, чтобы правительство перешло к широким репрессиям. В конце апреля 1862 г. III отделение составило записку «О чрезвычайных мерах». Оно собиралось произвести обыски у 50 «сомнительных лиц», а затем одних из них отдать под суд, других — выслать, над третьими учредить полицейский надзор. В списке фигурировали Н. Г. Чернышевский, Н. Н. Обручев, Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Г. З. Елисеев, Г. Е. Благосветлов, П. Л. Лавров. Особенную злобу вызывал у жандармов, да и у самого Александра II, Чернышевский.

С конца октября 1861 г. III отделение следило буквально за каждым шагом Чернышевского. Агенты III отделения подкупили швейцара, который вел точный учет посетителей и выяснял фамилии неизвестных ему лиц. Он же задерживал почту, с тем чтобы с ней мог познакомиться агент III отделения. Жена швейцара, поступившая к Чернышевским в качестве кухарки, извлекала из мусорной корзины черновики рукописей и передавала их в III отделение. Агенты старались добывать сведения от кучера, от типографского рассыльного.

В жандармских донесениях действительные факты причудливо переплетались с домыслами, тем не менее из них можно почерпнуть немало сведений, воспроизводящих образ жизни Чернышевского и круг его знакомых.

Чернышевский не мог не заметить постоянного наблюдения за ним. Его осторожность отмечается и в агентурных донесениях. Там говорится, что Чернышевский запирает кабинет, даже выходя в столовую, сжигает какие-то бумаги, что «у Чернышевского всегда секреты со всеми проходящими... они постоянно говорят шепотом, двери все закрыты, при приходе кого-либо разговор прерывается». В донесении от 26 февраля 1862 г. было сказано: «...Чернышевский уверен, что за ним следят, а потому ведет себя крайне осторожно». Чернышевский, видимо, заподозрил в чем-то кухарку и в начале мая 1862 г. уволил ее. После этого в донесении агента от 8 мая появились слова о том, что «наблюдение за Чернышевским и бывающими у него лицами сделалось затруднительным с тех пор, как он отказал помещенной к нему в кухарки женщине».

В середине мая 1862 г. в руки властей попали первые экземпляры прокламации «Молодая Россия». Составленная в кружке московских революционно настроенных студентов во главе с П. Г. Заичневским, она выделялась среди других листовок 1861—1863 гг. Написанная в резкой форме, «Молодая Россия» призывала уничтожить существующий в России строй и провозгласить «социальную и демократическую республику Русскую», во имя чего установить диктатуру «рево-

люционной партии». В демократически настроенных кругах резкий тон «Молодой России» вызвал как одобрение, так и критические отзывы.

Прокламация «Молодая Россия» появилась почти в одно время с пожарами, случившимися в Петербурге и других городах. В Петербурге особенно сильный пожар, начавшийся на Апраксином рынке и охвативший центральную часть города, произошел 26 мая 1862 г.

Пожары посеяли много слухов. Власти, показавшие при их тушении всю свою нераспорядительность, стали поощрять тех, кто распространял обвинения, адресованные «нигилистам» — революционерам и студентам в том, что будто бы они были поджигателями. Эту клевету подхватили не только невежественная и необразованная публика, но и некоторые либерально настроенные лица. Профессор М. М. Стасюлевич, известный своими либеральными взглядами, писал в те дни в одном из писем, что общество видит якобы существующую связь между пожарами и программой «Молодой России». Либеральный профессор-юрист К. Д. Кавелин в письме Герцену писал: «Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения».

Правительство решило использовать создавшуюся обстановку, чтобы обрушить преследования на демократическую часть общества. Впоследствии министр внутренних дел Валуев во «всеподданнейшем докладе» писал, что майские пожары «послужили поводом к принятию новых мер для ограждения общественной безопасности».

Дело было, конечно, не в пожарах. В. И. Ленин, напоминая, что еще до пожаров, 12 мая 1862 г., были утверждены новые, более суровые правила о печати, писал: «След., *«ход жизни»* резко направлялся в сторону реакции и независимо от пожаров»¹. Опять-таки до пожаров была создана особая следственная комиссия, которая сначала должна была заниматься расследованием о «мятежных воззваниях», но затем превратилась в самостоятельное учреждение, которое, находясь в непосредственном подчинении Александру II, на протяжении девяти лет занималось борьбой против революционного движения и вообще любых проявлений «крамолы».

Зловещие приготовления властей создавали напряженную атмосферу. Многие ждали ареста. Скорее всего именно опасение ареста было причиной того, что 3 июля 1862 г. Чернышевский отправил жену и детей в Саратов. Да и сам он собирался туда ехать, вероятно надеясь избавиться там от постоянной слежки. Впоследствии С. Г. Стахевич в своих воспоминаниях писал, что находившийся вместе с ним в тюрьме Чернышевский рассказывал о полученных им предупреждениях о возможности ареста. Незадолго до ареста к Чернышевскому при-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 29.

шел адъютант петербургского генерал-губернатора А. А. Суворова и от имени последнего посоветовал уехать за границу — «если не уедет, в скором времени будет арестован». Далее, со слов Чернышевского, Стахевич воспроизводил его разговор с адъютантом: «Да как же я уеду?хлопот сколько... заграничный паспорт... Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта.— Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим...— Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого? — Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют; сошлют в сущности без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно.— Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: «...Не поеду за границу, будь что будет»».

Итак, Чернышевский ехать за границу отказался, а уехать в Саратов не успел. Продолжавший неусыпно наблюдать за Чернышевским агент написал в донесении от 7 июля 1862 г.: «Сегодня во 2 часу пришел к нему подполковник П. С. Ракеев с надзирателем Мадьяновым, и только они вошли, от Чернышевского вышли доктор Боков и Антонович». Ракеев с Мадьяновым пришли, чтобы арестовать Чернышевского. Жандармское начальство не случайно поручило арест Чернышевского Ракееву. Это был старый жандармский волк. Еще в 1837 г. именно ему было поручено сопровождать гроб с телом А. С. Пушкина в Святогорский монастырь. Он же осенью 1861 г. производил аресты М. Л. Михайлова и В. А. Обручева.

Вслед за Чернышевским были арестованы Н. А. Серно-Соловьевич и Д. И. Писарев. Находясь в каземате Петропавловской крепости, Чернышевский написал роман «Что делать?», который пропагандировал идею переустройства общества на социалистических началах и призывал идти к достижению этой цели революционным путем.

Чернышевский был приговорен к каторжным работам на основании обвинения, сфабрикованного жандармами при помощи провокатора Всеволода Костомарова. После вынесения приговора (он был осужден на семь лет каторги и вечное поселение в Сибири) его подвергли унижительной процедуре гражданской казни, которую он выдержал с редким спокойствием и достоинством. Во время казни собравшаяся на Мытинской площади молодежь демонстративно выражала Чернышевскому свое сочувствие.

Герцен с гневом заклеил расправу над Чернышевским. Он писал в «Колоколе»: «Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безумное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику, которая накликала это гонение... Чернышевский был вами выставлен к позорному

столбу на четверть часа — а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?»

Н. А. Серно-Соловьевич был отправлен на поселение в Сибирь, где погиб в начале 1866 г. Четыре года томился в каземате Петропавловской крепости Д. И. Писарев. Вслед за процессами Чернышевского и Писарева состоялся процесс над большой группой лиц, обвиняемых в связях с Герценом и Огаревым, которых правительство называло «лондонскими пропагандистами». Начались гонения на демократические журналы. Временно были закрыты «Современник» и «Русское слово». Был запрещен так называемый «Шахматный клуб» в Петербурге, в котором власти усмотрели «сборище неблагонамеренных литераторов». В правительственных кругах считали, что достигнуты большие успехи в борьбе с революционным движением. Начальник III отделения В. А. Долгоруков в годовом отчете за 1862 г., представленном Александру II, утверждал, что «удалось рассеять скопившуюся над русскою землею революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удобном случае». Однако шеф жандармов недооценивал силы и возможности русского революционного подполья.

Несомненно, революционный лагерь понес тяжелые потери: смерть Дзобролюбова в ноябре 1861 г., аресты Чернышевского, Серно-Соловьевича, Писарева. Однако революционеры не только не прекратили своей деятельности, но и продолжали сплачивать силы. В начале сентября 1862 г. петербургская группа общества «Земля и воля» выпустила написанную Н. И. Утиным прокламацию «К образованным классам». «Среди разгара правительственной и общественной реакции организовалось тайное общество, известное под названием „Земля и воля“», — писал впоследствии Н. И. Утин, имея в виду, очевидно, окончательное оформление этой организации. Как говорилось выше, к созданию «Земли и воли» приступили еще летом 1861 г. В связи с арестами в руководящий центр общества, получивший в ноябре, по словам А. А. Слепцова, название «Русский центральный народный комитет», тогда же были введены Н. И. Утин и Г. Е. Благодетлов. Репрессии лета 1862 г. значительно ослабили руководящее ядро общества и в целом революционно-демократического лагеря. После того как были арестованы Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич, а А. А. Серно-Соловьевич, поехавший за границу, вынужден был там остаться, так как был заочно осужден, нарушилась связь «Земли и воли» с лондонским эмигрантским центром.

Чтобы восстановить прерванную связь, А. А. Слепцов в январе 1863 г. отправился в Лондон, где встретился с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Во встрече принял участие и М. А. Бакунин, активный участник революционного движения в России и в Западной Европе еще с 1830-х гг., впоследствии ставший теоретиком анархизма. В 1863 г. он хотя и

расходился в некоторых вопросах с Герценом и Огаревым, все же сотрудничал с редакторами «Колокола». У Герцена и Огарева вызвали некоторые сомнения утверждения Слепцова о масштабах деятельности «Земли и воли». При этом Огарев был все же готов на объединение редакции «Колокола» с землевольцами. Герцен же находил это преждевременным. Он считал, что члены «Земли и воли» (об этом он писал Огареву в феврале 1863 г.) сначала должны доказать, что «они — сила». Герцен и тогда уже в принципе готов был поддерживать землевольцев, но, «прежде чем брать солидарную ответственность», хотел «видеть их журнал, их „Profession de foi“»¹. Спустя некоторое время он писал Огареву: «Миф „З[емли] и в[оли]“ должно продолжать потому уже, что они сами поверят в себя. Но что теперь „З[емли] и в[оли]“ нет еще, это ясно». Это не означало, что Герцен вообще сомневался в существовании «Земли и воли». В «Былом и думах» он писал: «Что в России клались первые ячейки организации, в этом не было сомнения: первые волокна, нити были заметны простому глазу; из этих нитей, узлов могла образоваться при тишине и времени обширная ткань. Все это так; но ее не было, и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины». Хотя слияния с «Землей и волей» не произошло, отношения редакции «Колокола» с этой революционной организацией были установлены. «Колокол» сообщил своим читателям о создании «Земли и воли» и призвал всячески ее поддерживать.

Важным событием в деятельности «Земли и воли» был выпуск зимой 1862/63 г. первого, а в июле 1863 г. второго листка под названием «Свобода». Зимой 1862/63 г. было отпечатано также обращение «От русского народного комитета». В первом листке «Свободы» разоблачалось самодержавие как источник всех бедствий, «терзающих Россию». Второй листок был целиком посвящен вопросам, связанным с польским восстанием против гнета царизма. Этому вопросу касалось и обращение «От русского народного комитета». В нем говорилось об образовании в русских войсках, находившихся в Польше, революционной организации, о ее объединении с «Землей и волей». Начавшееся в январе 1863 г. восстание, охватившее Польшу, Литву, Белоруссию, было серьезным испытанием для русского освободительного движения. Как члены «Земли и воли», так и Герцен и Огарев с честью выдержали его, решительно поддерживав восстание 1863 г. В деятельности «Земли и воли» в 1863 г. большое место отводилось сотрудничеству с участниками освободительной борьбы в Польше. Поражение восстания и связанное с этим усиление позиций самодержавия, крах надежд на крестьянское восстание в России создали крайне неблагоприятную обстановку

¹ «Исповедание веры», изложение своих взглядов (франц.).

для деятельности «Земли и воли». Это привело к снижению активности организации, а зимой 1863/64 г. произошла ее саморликвидация.

Наступление реакции накладывало свой отпечаток на литературу и публицистику. Вместе с тем демократические силы продолжали защищать свои позиции. Главными органами демократических кругов выступали в это трудное время возобновленный в 1863 г. «Современник» и «Русское слово». Во главе «Современника» стояли Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, М. А. Антонович, Г. З. Елисеев, А. Н. Пыпин, Ю. Г. Жуковский. Самым значительным и влиятельным среди сотрудников «Русского слова» был Д. И. Писарев. На страницах журнала печатались также Г. Е. Благосветлов, В. А. Зайцев, Н. В. Соколов, Н. В. Шелгунов, при Чернышевском сотрудничавший в «Современнике».

Д. И. Писарев, решительный сторонник материализма в философии, проповедник разрушительных идей, предусматривавших полное уничтожение существующего строя, занял видное место в истории русской общественной мысли. Однако он склонен был преувеличивать значение науки и образования в процессе борьбы за новое общество и одновременно недооценивал роль народных масс. Это вызывало возражение у людей, считавших себя последователями Чернышевского.

Идеи Чернышевского защищал «Современник». Вместе с тем и его авторы порой отступали от той платформы, на которой стоял Чернышевский. Так, Елисеев развивал совершенно чуждые Чернышевскому идеи о самобытности русского исторического процесса. Спор между «Современником» и «Русским словом», получивший название «раскол в нигилистах», вызвал злорадство в реакционном лагере. Однако, несмотря на все разногласия, революционно-демократические силы продолжали борьбу во имя общего дела — уничтожения самодержавия и несправедливости и построения нового, свободного общества. Они выступали за то, чтобы народ получил землю и волю. От революционной организации, взявшей эти слова в качестве своего названия, от «Земли и воли», тянулась ниточка к новым революционным группам и кружкам, чья деятельность пришлось уже на середину и вторую половину 1860-х гг.

Отличительной чертой революционного подполья середины 1860-х гг. была его тесная связь с разного рода легальными начинаниями, которые в конечном счете тоже должны были служить делу революции. Лица, участвовавшие в создании и деятельности читален, воскресных школ, артелей, как правило, были связаны с непосредственными участниками революционной борьбы. Сторонниками сочетания легальных и нелегальных форм деятельности были и члены революционной организации, вошедшие в историю под именем ишутинецов или каракозовцев. Они считали себя последователями Чернышев-

ского и критически относились к Писареву, усматривая в его взглядах отклонение от основных идей Чернышевского о службе народу и главным образом крестьянству. Свое название организация получила по имени ее создателя — Н. А. Ишутина. Ишутинский кружок сложился в Москве, а в Петербурге было своего рода отделение ишутинского кружка, о составе, структуре и деятельности которого до сих пор нет достаточно полного представления.

Известный в то время составитель «Великорусских сказок», литератор-фольклорист И. А. Худяков играл наиболее заметную роль в деятельности петербургского отделения ишутинского кружка. В Петербург он приехал в 1862 г., имея за своими плечами активное участие в студенческом движении в Казани и в Москве. В Петербурге он вошел в кружок своих земляков, уроженцев Сибири, — таких, как Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, затем сблизился с Г. З. Елисеевым, на квартире которого некоторое время жил. В дальнейшем он познакомился с членами «Земли и воли» П. П. Княгининским, Л. Ф. Пантелеевым, Н. И. Утиным. По одним свидетельствам, Худяков лишь вращался в кругу лиц, принадлежавших к «Земле и воле», по другим, был даже осведомлен о ее конспиративной деятельности.

Летом 1862 г. в Москве Худяков встретился с Ишутиним. Усилия революционного подполья в Москве и в Петербурге объединялись. Были составлены планы совместных действий. Предполагалось организовать побег из тюрьмы Н. А. Серно-Соловьевича и освободить находившегося на каторге Чернышевского. В подготовке побега Чернышевского, к сожалению неосуществленного, наряду с членами ишутинского кружка в Москве участвовали Худяков и Елисеев, представлявшие его петербургскую часть.

7 августа 1865 г. Худяков с ведома Ишутина, снабдившего его деньгами, уехал в Женеву. Там он встречался с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, Н. И. Утиным и другими русскими эмигрантами. Сведения о пребывании Худякова за границей крайне отрывочны, и о содержании его встреч и бесед с русскими революционерами, жившими за границей, большей частью можно только строить предположения. Тем не менее несомненно, что Худяков не только налаживал контакты между революционным подпольем в России и эмигрантами, но и внес некоторое оживление в деятельность эмигрантской колонии в Женеве.

Худяков с Ишутиним не рассматривали террористические акты как главное средство борьбы. Однако многие ишутинцы отдавали предпочтение именно террору. В феврале — марте 1866 г. ишутинский кружок и его петербургская группа жили напряженной жизнью. В центре происходивших событий был двоюродный брат Ишутина Д. В. Каракозов, намеревавшийся совершить покушение на Александра II. Не все ишутинцы

поддерживали Каракозова. Раздавались голоса, направленные вообще против террористической деятельности. Сам Каракозов был весьма активен. В феврале и в марте он приезжал в Петербург. Здесь он встречался в первую очередь с И. А. Худяковым. Сначала Худяков отнесся к Каракозову с большой настороженностью. Затем отношения между ними наладились. Возможно, в связи с подготовкой покушения Каракозова Худяков ездил в марте в Москву, куда был вызван письмом Ишутина. События, предшествовавшие каракозовскому выстрелу, во многом неясны.

В конце марта 1866 г. Каракозов вновь приехал в Петербург. Здесь он распространял написанную им листовку «Друзьям-рабочим», в которой призывал к революции и социалистическому переустройству общества. 4 апреля Каракозов стрелял в Александра II у ворот Летнего сада, но промахнулся и тут же был арестован. В III отделении он назвал себя бывшим крепостным крестьянином Алексеем Петровым и отказался давать какие бы то ни было показания. Начальник III отделения В. А. Долгоруков на четвертый день допроса Каракозова докладывал Александру II: «Преступник до сих пор не открывает своего имени... Хотя он действительно изнемог, но надобно его еще потомить, дабы посмотреть, не решится ли он сегодня на откровенность». Больше недели не давали Каракозову уснуть, но он перенес и пытку бессонницей, и непрерывные допросы. Только неосторожность Каракозова, не соблюдавшего правил конспирации, а также чрезвычайные меры, предпринятые властями, позволили следственной комиссии напасть на след И. А. Худякова, Н. А. Ишутина и членов его кружка, находившихся в Москве.

8 апреля вечером состоялась последняя встреча Ишутина с его товарищами. Они собирались на следующее утро отправиться в различные города и там заняться созданием агентуры тайного общества и пропагандой. Однако ночью согласно телеграфному приказу из Петербурга все они были арестованы. Доставленный в Петербург, Ишутин по предъявлении ему улики признал, что покушавшийся на Александра II человек, чье имя еще не было установлено, его двоюродный брат Д. В. Каракозов.

Выстрел Каракозова был использован правительством для широкой волны репрессий. Были закрыты «Современник» и «Русское слово», арестованы многие прогрессивно настроенные писатели, публицисты, общественные деятели. Необоснованность арестов была настолько очевидна, что спустя некоторое время многих арестованных, в том числе Г. Е. Благовестлова, Г. З. Елисеева, Н. В. Шелгунова, освободили. Прокатившаяся по России волна преследований получила название «белого террора». В подобной атмосфере шло и следствие по делу о покушении Каракозова.

Несмотря на все старания властей, ни во время следствия,

ни во время начавшегося 18 августа процесса по делу Каракозова им не удалось полностью раскрыть все стороны деятельности революционного подполья. 3 сентября на Смоленском поле был казнен Д. В. Каракозов, приговор которому был вынесен раньше других обвиняемых. Окончательное решение суда было объявлено 24 сентября. Н. А. Ишутин был также приговорен к смертной казни. Остальные, из-за недостатка улик, — к каторжным работам или к ссылке. 4 октября на Смоленском поле, когда на Ишутина уже надели саван и накинули петлю, появился фельдъегерь с известием о замене ему смертной казни пожизненной каторгой. Над товарищами Ишутина был совершен обряд гражданской казни, большинство из них было отправлено в Сибирь.

По всей России свирепствовала реакция. Однако она оказалась не в состоянии погасить огонь революционной борьбы. Несмотря на самоликвидацию «Земли и воли», разгром ишутинского кружка, самый факт их возникновения свидетельствовал о том, что в русском освободительном движении непрерывно предпринимались попытки создания действенной революционной организации.

Революционное движение не только не угасло, но показало, что оно способно вновь разгореться. Характерным симптомом оживления революционных сил были студенческие волнения в конце 1860-х гг. Первые открытые выступления студентов произошли в Петербурге в марте 1869 г. В то время петербургское студенчество, по свидетельству одного из современников, переживало «крайне напряженное состояние, оно волновалось, кипело, горело». На этот раз первыми выступили студенты Медико-хирургической академии. Медиков поддерживали студенты Петербургского университета. Затем волнения охватили и Технологический институт. Борьбу своих петербургских товарищей поддержали студенты Москвы, Киева, Харькова, Одессы.

Студенческие волнения не только выражали протест против наступления административных и полицейских властей на права студенческой молодежи. Студенты выдвигали и политические требования. При аресте активного участника студенческих волнений Ф. В. Волховского полиция обнаружила у него среди других бумаг прокламацию, озаглавленную «Программа революционных действий». В ней был сформулирован призыв к революции. Предполагаемыми авторами «Программы» были вольнослушатель Петербургского университета С. Г. Нечаев и известный литератор П. Н. Ткачев. Хотя имя Нечаева связано со студенческими волнениями в Петербурге, не следует преувеличивать его влияния на эти события. Еще в марте 1869 г. Нечаев уехал за границу.

Ткачев дольше продолжал свою деятельность среди петербургских студентов. Он вел среди них пропаганду, устраивал у себя дома сходки. Наконец, написал и при помощи своей

невесты А. Д. Дементьевой тайно отпечатал написанное в защиту студентов воззвание «К обществу». Воззвание привлекло к себе большое внимание. Ведь со времени прокламаций, распространенных в начале 1860-х гг., петербуржцы не держали в руках подобного рода подпольных изданий. Однако Ткачев и Дементьева вскоре были арестованы. После заключения в Петропавловской крепости Ткачев был отправлен в ссылку, откуда сумел бежать за границу. В эмиграции он стал одним из идеологов революционного народничества.

Что же касается Нечаева, то он сумел заручиться за границей поддержкой Бакунина, вернулся в Россию и, прибегая к мистификации, выдавая себя за представителя мнимой широкой революционной организации, стал создавать в Москве узкую заговорщическую группу, названную им «Народной расправой». При этом Нечаев не гнушался прибегать к обману и шантажу. Его жертвой стал студент Петровской земледельческой академии Н. И. Иванов, осудивший недостойные методы Нечаева и заявивший о своем нежелании оставаться в рядах «Народной расправы». Убийство Иванова повлекло за собой разгром «Народной расправы» и многочисленные аресты. Сам Нечаев скрылся за границу.

Используя убийство Иванова, царское правительство устроило открытый суд над «нечаевцами». Оно рассчитывало тем самым скомпрометировать революционное движение. Однако на процессе, вопреки замыслам правительства, стало ясно, что приемы и методы Нечаева глубоко чужды революционному движению. Русские революционеры, в числе которых были и обманутые Нечаевым члены «Народной расправы», со всей определенностью осудили «нечаевщину». В ходе широкого обсуждения процесса над «нечаевцами» в передовых слоях общества, особенно в среде демократической молодежи, все более утверждался тезис о сочетании революционной борьбы с самыми строгими и высокими понятиями революционной этики и общечеловеческой морали. Уничтожающей критике подверглись и выдвигавшиеся Нечаевым планы переустройства общества. С особенно резким осуждением «нечаевщины» выступили К. Маркс и Ф. Энгельс. «Нечаевщина» явилась печальным, но единичным и нетипичным эпизодом в истории русского революционного движения. Он не смог поколебать авторитета русских революционеров. Авторитет этот еще более повысился благодаря самоотверженной борьбе последующих поколений героических борцов за свободу народа. Наоборот, отвергнув все наносное, чуждое революционной этике, русское освободительное движение после краха «нечаевщины» укрепило свои ряды и усилило свое влияние в передовых слоях общества. Большое значение стало придаваться моральному облику революционера. Оставшиеся на свободе или вернувшиеся из ссылки участники революционных организаций, студенты, участвовавшие в выступлениях

конца 1860-х гг., начали создавать новые кружки и группы, которые стали играть активную роль уже в начале 1870-х гг.

В конце 1860-х — начале 1870-х гг. русское революционное движение обрело новые черты. Этот процесс проходил на фоне таких важных событий в революционном движении, как Парижская коммуна и создание под руководством Карла Маркса Международного товарищества рабочих (I Интернационала), возникновение Русской секции Интернационала. На арену политической борьбы в России вступало поколение семидесятников. Революционеры 1860-х гг. передавали им эстафету.

В сложных условиях середины XIX в. революционеры-шестидесятники пытались проложить путь тем, кто должен был окончательно добиться свободы для русского народа, уничтожить самодержавие и социальную несправедливость. Выступая защитниками интересов угнетенного народа, прежде всего крестьянства, они провозгласили своим лозунгом борьбу за землю и волю для народа. Их призыв был подхвачен последующими поколениями русских революционеров. Однако впереди еще были нелегкие годы борьбы, преодоления трудностей и исправления ошибок.

Свергнуть самодержавие, уничтожить эксплуататорские классы в России суждено было уже следующему, пролетарскому поколению русских революционеров.

Изучение истории русского освободительного движения связано с немалыми сложностями потому, что условия конспирации заставляли его участников тщательно скрывать следы революционной деятельности. Правительственные учреждения так и не смогли во всей полноте раскрыть деятельность революционеров 1860-х гг.

Исключительную ценность для изучения и правильного понимания сложных явлений, в своей совокупности представлявших революционное движение 60-х гг., имеют труды В. И. Ленина. В них дан глубокий анализ социально-экономических и политических факторов, определявших важнейшие черты освободительной борьбы середины XIX в., четко определена роль революционных вождей тех лет, подчеркнута особая заслуга Н. Г. Чернышевского в развитии передовой общественно-политической мысли и революционной борьбы.

Ленинские труды вооружают исследователей подлинно научной методологией. На ее основе возможно как плодотворное изучение разнобразных печатных и рукописных источников, так и критическое освоение большого комплекса фактического материала, содержащегося в трудах дореволюционных историков, в основном либерального направления (таких, как М. К. Лемке).

Важное значение для изучения истории освободительного движения 1860-х гг. имеют труды Г. В. Плеханова.

Советскими историками, специалистами по истории освободительного движения, проделана большая работа по воссозданию как общей картины революционной борьбы 60-х гг., так и истории отдельных революционных организаций, биографий их участников. В трудах большой группы советских ученых, среди которых такие знатоки истории революционного движения, как Б. П. Козьмин, М. В. Нечкина, Ш. М. Левин, исследованы разные стороны первой революционной ситуации, деятельности и взаимоотношений двух революционных центров — лондонского во главе с Герценом и петербургского во главе с Чернышевским, петербургского революционного подполья, «Земли и воли» 1860-х гг., петербургского отделения ишутинского кружка, студенческих выступлений.

Наряду с многочисленными монографиями и статьями вышли в свет обобщающие коллективные труды — такие, как «Революционная ситуация в России в середине XIX века» (М., 1978).

О больших успехах в изучении советскими исследователями проблем истории революционного движения 1860-х гг. свидетельствовали научные конференции, состоявшиеся в 1978 г. в связи с празднованием 150-летия со дня рождения великого русского революционера-демократа, ученого и писателя, предшественника русской социал-демократии Н. Г. Чернышевского.

В настоящее время продолжается изучение истории русского освободительного движения 1860-х гг. Очень важное значение имеют любые детали, касающиеся конспиративной деятельности «Земли и воли» 60-х гг., участия в ней Н. Г. Чернышевского. Сложной проблемой остается история петербургского подполья середины 1860-х гг., вопрос о борьбе между противниками и сторонниками террористической деятельности накануне выстрела Каракозова.

Одним из источников по истории революционного движения являются воспоминания его участников. Эти мемуары начали появляться в печати еще до революции. Большую работу проделали советские ученые и литературоведы по изучению и публикации воспоминаний русских революционеров. Однако нужно помнить, что мемуары революционеров 1860-х гг. печатались в разное время и в самых различных изданиях. Многие из них стали библиографической редкостью. Вместе с тем они имеют не только большое научное значение. Живые свидетельства борцов за свободу несут в себе и большой идейно-воспитательный потенциал. Поэтому они достойны того, чтобы быть доступными не только узкому кругу исследователей, но и самому широкому кругу читателей.

Именно с этой целью предпринято настоящее издание.

В нем впервые собраны воедино воспоминания, воссоздающие деятельность революционеров 1860-х гг. Большая часть мемуаров воспроизводится по ранним изданиям, подготовленным советскими учеными, крупными специалистами по истории 1860-х гг. Составители настоящего издания сочли возможным снабдить том предельно кратким научным аппаратом, в связи с чем в примечаниях использовали обстоятельные комментарии к существующим изданиям. При этом, разумеется, учтены и достижения современной советской историографии.

В настоящем томе помещены воспоминания участников революционного движения 60-х гг., чья деятельность связана с Петербургом. Среди авторов воспоминаний — Н. Г. Чернышевский, его ближайшие сотрудники по «Современнику» Н. В. Шелгунов и М. Л. Михайлов, непосредственно связанные с составлением и распространением революционных прокламаций, с другими начинаниями революционного ядра шестидесятников.

Том открывается воспоминаниями Н. В. Шелгунова. Написанные спустя десятилетия, в трудные годы реакции, эти воспоминания воссоздают общую атмосферу 60-х гг. Не имея возможности во всей полноте рассказать о революционной деятельности своих единомышленников, Шелгунов тем не менее сумел с большим мастерством и правдивостью передать главные признаки общественно-политического подъема тех лет, борьбу передовых сил против реакции.

«Записки» М. Л. Михайлова, видного деятеля революционно-демократического лагеря, оказавшегося одной из первых жертв перешедших в наступление реакционных сил, передают подробности его мужественного единоборства с жандармами, свидетельствуют о нравственном и духовном превосходстве революционеров 60-х гг. над слугами самодержавия.

В воспоминаниях другого активного сотрудника «Современника», М. А. Антоновича, переданы живые черты Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Незаурядные способности Добролюбова проявились еще в ранней юности. Знакомству с молодым Добролюбовым и посвящен отрывок из воспоминаний Чернышевского. О самом Чернышевском вспоминает Н. И. Утин. Обстоятельства ареста Чернышевского рассказаны М. А. Антоновичем, а Ф. В. Волховский повествует о мужественном и достойном поведении Чернышевского во время гражданской казни, о сочувствии к нему со стороны большинства присутствовавших на Мытинской площади.

Воспоминания А. А. Слепцова и Л. Ф. Пантелеева, членов «Земли и воли» 1860-х гг., долгое время были единственным свидетельством деятельности этой организации и до настоящего времени сохраняют ценность важного исторического источника.

Воспоминания И. А. Худякова интересны тем, что они написаны непосредственным участником «каракозовского дела»,

человеком, находившимся во главе петербургского отделения ишутинского кружка.

Многие воспоминания, как говорилось выше, были написаны в условиях, когда авторы не могли сказать в полный голос все, что знали о революционной борьбе шестидесятников. Несмотря на это, общий тон большинства мемуаров хорошо передает настроение, свойственное людям, которые понимали, что их удел — прокладывать путь грядущим поколениям, сознавали неизбежность жертв, но были твердо уверены в конечном торжестве революционного дела.

А. Н. Цамугали



Н. В. Шелгунов

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

VII

Еще никогда не бывало в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856—1858 годах. Издания появлялись как грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Одними объявлениями об изданиях можно было бы оклеить башню московского Ивана Великого. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные и научные, политические и вовсе не политические. Появлялись даже летучие уличные листки. Вся печать, с официальной, доходила до двухсот пятидесяти изданий.

Главными местами изданий, как и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербург. В петербургских изданиях следилось преимущественно за интересами дня, за тем, что делалось в русском мире, за вопросами, которые намечались и разрешались. Петербургская печать была передовым и главным боевым полком. Она стремилась руководить и не одним общественным мнением и ставила иногда вопросы, если и не опережавшие правительственную мысль, то пытавшиеся расчистить ей путь и в действительности его расчищавшие. Москва больше теоретизировала и углублялась в основы русского духа. Как только явилась большая свобода и повеяло духом перемен, Москва принялась издавать славянофильские и полуславянофильские органы, объявила войну истории Запада и Петру Великому (конеч-

но, вместе с Петербургом), и в поддержку «Русской беседы» Кошелева явился «Парус» Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный орган на западноевропейской подкладке — «Русский вестник», основанный в 1856 году в умеренно-либеральном направлении и сразу завоевавший популярность интересом и дельностью содержания; но уже в 1857 году возник в «Русском вестнике» раскол по вопросу о централизации, и часть его сотрудников, отделившись, основала «Атеней» (погибший скоро «в борьбе с равнодушием публики»). В Москве же издавался тогда критический орган «Московское обозрение», в котором участвовали только безыменные сотрудники, поставившие себе задачей полную свободу и независимость от авторитетов ¹.

Но умственный центр был не «в сердце» России, а в ее голове — в Петербурге, где начал издаваться и занял первое место между журналами «Современник». За «Современником» стояли «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения». Петербург не уступил Москве, а превзошел ее обилием и разнообразием новых органов. В Петербурге явился «Экономический указатель», проповедовавший свободу торговли, неограниченную конкуренцию и личную поземельную собственность; «Искра», юмористический и сатирический журнал, основанный В. Курочкиным с целой компанией поэтов и юмористов; «Русский дневник» Павла Мельникова, а в 1858 году — «Русское слово» графа Кушелева ².

Это было удивительное время — время, когда всякий захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившиеся в зависимость от того или другого разрешения реформ. Эта заманчивая работа потянула к себе всех более даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых, имена которых навсегда связались с историей русского просвещения и с блестящим, но коротким моментом шестидесятых годов, надолго давшим свое направление умственному движению России, как бы оно по временам ни затихало. В 1857 и 1858 годах, о которых пока речь, свершалось только на-

чало этого громадного умственного труда; блестящий же, самый оживленный и зрелый момент журналистики был еще впереди и начался после 1859 года.

С этого года мои личные воспоминания получают другой характер. Я вступаю в сношения с людьми, память о которых связана с лучшими годами моей жизни. И какая же это память, какая благоговейная память, и как она дорога мне! Самая широкая гуманность и великодушные чувства нашли в этих людях лучших своих поборников. Если у меня, старика, у которого уже нет будущего, бывают еще теплые и светлые минуты в жизни, то только в воспоминаниях о них <...>

IX

В эту вторую поездку я пробыл за границей год³, из которого четыре месяца провел с Михайловым: месяц в Париже, месяц в Лондоне и затем опять в Париже.

С Михаилом Ларионовичем Михайловым познакомил меня тоже Пекарский⁴ (они были земляки). Пекарский в моей жизни сыграл роль «случая», но я был гостеприимнее того сказочного крестьянина, который не отворял случаю двери, когда тот стучался. Не припомню точно, когда я познакомился с Михайловым, но к концу Крымской войны мы уже были знакомы очень близко.

Рассказав в «Семейной хронике» историю Куролесова, С. Т. Аксаков прибавляет: «Без сомнения, скоропостижная смерть Куролесова повела бы за собою уголовное следствие, если бы в Парашине не было в конторе очень молодого писца, которого звали также Михаилом Максимовичем и который только недавно был привезен в Чурасово. Этот молодой человек, необыкновенно умный и ловкий, уладил все дело...» Затем автор ставит две строки точек и продолжает: «Впоследствии он был поверенным, главным управителем всех имений и пользовался полною доверенностью Прасковьи Ивановны (вдова Куролесова). Под именем Михайлушки он был известен всем и каждому в Симбирской и Оренбургской губерниях. Этот замечательно умный и деловой человек нажил себе большие деньги, долго держался скромного образа жизни, но, отпущенный на волю после кончины Прасковьи Ивановны, потеряв любимую жену, спился и умер в бедности. Кто-то из его детей, как мне помнится, вышел в чиновники и, наконец, в дворяне».

Замечательно умный и деловой человек, известный всем и каждому в двух губерниях, был дед Михайла Ларионовича Михайлова; но он умер не потому, что спился на воле, а вот почему. После смерти Прасковьи Ивановны Михайлушка был отпущен на волю, но вольная была сделана не по форме. Этим воспользовались наследники и всех уволенных Прасковьей Ивановной, в том числе и Михайлушку, опять закрепили. Дед Михайла Михайлова протестовал, за что его заключили в острог, судили и высекли, как бунтовщика. Вот отчего он умер; очень может быть, что он и запил, но уже, конечно, не оттого, как объясняет Аксаков (крестьяне были Аксаковых), что Михайлушка «держался скромного образа жизни», пока был крепостным, и разбаловался на свободе. «Вышел в чиновники, а потом и в дворяне» отец М. Л. Михайлова, бывший потом управляющим Илецкой соляной защитой.

М. Л. Михайлов получил хорошее домашнее воспитание. У него было три гувернера: ссыльный поляк (тогда Илецкая защита была ссыльным местом), немец и француз Шевалье, живший у Михайловых с женою и сыном. По обычаю тогдашнего времени, каждый должен был служить, и отец пристроил Михайла Ларионовича на службу в нижегородское соляное правление. Но молодой Михайлов (ему было тогда шестнадцать лет) думал другую думу, да и русская судьба, должно быть, хотела создать ему другую будущность, хотя и по тому же горному ведомству (Михайлов умер в Кадаинском руднике, в пятидесяти верстах от Нерчинского завода, в августе 1865 года, тридцати шести лет).

Литературная жилка сказалась в М. Л. Михайлове рано, и, как большинство писателей, он начал стихами, которые стал писать чуть ли не ребенком. Первое его печатное стихотворение явилось в 1847 году в «Литературной газете»⁵ Зотова, который Михайлова очень обласкал, и к В. Р. Зотову Михайлов чувствовал всегда самое теплое, признательное чувство. Вторую вещь была повесть в прозе «Адам Адамыч». Эта повесть была напечатана в пятидесятых годах в «Москвитянине» Погодина, в том «Москвитянине», о котором Герцен со-стрил, что в Москве издается только один журнал, да и тот «Москвитянин»⁶. Михайлов писал много, даже большие романы, но лучше «Адама Адамыча», в котором он дал художественный портрет своего добродуш-

ного губернатора-немца, он не написал ничего. В этой вести как бы вылилось все, что накопилось в душе Михайлова за время его счастливого и спокойного детства, когда он был окружен лаской и любовью; собственно, это не художественный образ немца-губернера, привязанного всеми силами души к своему маленькому воспитаннику, а выражение той свежести, искренности, гуманности и любви, которыми был полон сам Михайлов. Вместе с тем «Адам Адамыч» был тем роковым первым опытом, который навсегда решил судьбу Михайлова. Известно, что человек, написавший хоть пол-листа с несомненным успехом, становится писателем. То же случилось и с Михайловым. Одобрения и похвалы только подняли то, что уже таилось на дне его души и ждало лишь толчка. Михайлов оставил нижегородское соляное правление и на гонорар, полученный из «Москвитянина», приехал в Петербург — в тот заманчивый, магнитный Петербург, который всегда тянул к себе всех даровитых людей увлекательными мечтами о широкой деятельности, известности и славе.

В Петербурге Михаил Ларионович поступил вольным слушателем в университет и на первой лекции встретил студента, обратившего на себя его внимание. Студент был в поношенном форменном сюртуке.

— Вы, верно, на второй год остались? — спросил Михайлов студента.

— Нет; а это вы насчет сюртука? — ответил студент.

— Да.

— Так я старенький купил.

Студент этот был Н. Г. Чернышевский (пишу со слов Михайлова).

Когда я познакомился с Михайловым, он хотя и не был начинающим литератором, но его литературная физиономия не выяснилась еще вполне. Сам Михайлов считал себя беллетристом и, кажется, мало ценил себя как переводчика и знатока иностранной литературы. А другого подобного знатока тогда не было. Михайлов был ходячей библиографией иностранной литературы, и не было в английской, немецкой и французской литературах такого беллетриста или поэта, которых бы он не знал. Как переводчик Михайлов, можно сказать, оставил вечное наследие, и любимым его поэтом был Гейне,— конечно, потому, что у Михайлова был тот же душевный склад, те же переходы от серьезного настроения

к внезапной иронии или шутке и тот же острый, тонкий ум, умевший схватывать оттенки мыслей и чувств. Михайлов любил или вещи с гражданскими мотивами, или такие, где глубокая мысль разрешалась внезапной злой иронией. Для примера приведу «Вопросы». У полночного пустынного моря стоит грустный юноша и просит волны разрешить ему загадку жизни, над которой с сотворения мира думало много голов и ничего не разрешило: что есть человек? Откуда пришел он? Куда он пойдет? И кто там, над нами, на звездах живет?

Волны журчат своим вечным журчаньем;
Веет ветер, бегут облака;
Блещут звезды. безучастно-холодные...
И дурак ожидает ответа!⁷

Можно сказать, что без Михайлова Россия не знала бы многих произведений европейских поэтов. Михайлов же перевел и «Песнь о рубашке» Томаса Гуда. Некрасов, знавший людей и умевший находить тех, которые ему были нужны, пригласил Михайлова вести в «Современнике» отдел иностранной литературы.

Михайлов был небольшого роста, тонкий и стройный. Он держался несколько прямо, как все люди небольшого роста. В его изящной фигуре было что-то такое, что сообщало всем его манерам и движениям стройность, грацию и какую-то опрятность. Это природное изящество сообщалось Михайловым всему, что он носил. Галстук, самый обыкновенный на других, на Михайлове смотрел совсем иначе, и это зависело от того, что Михайлов своими тонкими, «умными» пальцами умел завязать его с женской аккуратностью и изяществом. Самый обыкновенный сюртук, сшитый самым обыкновенным портным, принимал на Михайлове стройный, опрятный вид, точно с иголочки (в лучшие времена Михайлов шил платье у портных-французов). Это происходило просто от чистоплотности и физической порядочности. Михайлов не был красив: маленькие, узкие, вкось, как у киргиза, разрезанные глаза и бледно-смуглый цвет лица имели что-то восточно-степное, оренбургское; а приподнятые и загнутые дугой брови придавали его лицу своеобразную оригинальность. Но именно эта-то оригинальность лица и гармонировала со всей его фигурой; казалось, что фигура его была бы совсем другою, если бы у него было другое лицо. Ему нужно было делать

усилие бровями, чтобы открыть глаза; от этого и вся фигура его получала какой-то приподнятый вид, точно усилие бровей приподнять веки приподнимало и всего его самого. И это-то некрасивое лицо светилось внутренней красотой, лучилось успокаивающей кротостью и мягкостью, чем-то таким симпатичным и женственно привлекающим, что Михайлова нельзя было не любить. И его все любили. В незлобивой натуре Михайлова было слишком много нервности чисто женской, его было легко огорчить и вызвать на глазах слезы. Но огорчения его обыкновенно быстро сменялись веселым настроением, и вообще Михайлов, как все люди живого темперамента, отличался порядочной долей легкомыслия. Я говорю это не в смысле порицания, потому что легкомыслие не есть недостаток; оно — красивая принадлежность известных натур, делающая их более привлекательными. Часто легкомысленные бывают пустыми и глупыми людьми, но не было также ни одного гениального и даровитого человека, который бы не был легкомыслен. Только скучные не легкомысленны. Легкомыслие состоит из чувства веры и надежды, двух лучших человеческих чувств, этих наших ангелов-хранителей, помогающих так легко переносить тяжелые случайности и удары жизни. Песталоцци говорит, что только легкомыслие спасало его в несчастии. Вот этим-то легкомыслием, составляющим основу мужества, создающим быстрые переходы настроений и сообщаящим душе светлый, праздничный характер, был богат Михайлов. С посторонними Михайлов держал себя с приветливостью, не допускавшей особенной близости, и с авторитетом, что происходило частью от сильно развитого в нем чувства литературного достоинства, а частью оттого, что в нем, как во всех художественных натурах, было сильно чувство формы. Свое литературное достоинство Михайлов нес высоко и тщательно оберегал. Михайлов развился на тех старых литературных преданиях, когда талант считался даром неба, а писатель — носителем искры божией. Это чувство известной исключительности не только поднимало человека в его собственных глазах, но и возлагало на него моральное обязательство охранять свое достоинство, создавало чувство литературной чести, литературного благородства, литературной независимости. Писатель с настоящим, живым, деятельным чувством свободы-не продавал своей независимости за

чечевичную похлебку. Таким именно писателем и был Михайлов, а его внешний, несколько вызывающий и импонирующий вид служил только показателем той внутренней цены, которую он себе придавал.

Тогда, правда, и время было такое, что на пиру русской природы первое место принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни после, писатель не занимал у нас в России такого почетного места. Когда на литературных чтениях (они начались тогда впервые) являлся на эстраде писатель, пользующийся симпатиями публики, стон стоял от криков восторга, аплодисментов и стучання стульями и каблуками. Это был не энтузиазм, а какое-то беснованье, но совершенно верно выражавшее то воодушевление, которое вызывал писатель в публике. И действительно, между тем временем, когда можно было рассказывать (и все верили), что Пушкина высекли за какое-то стихотворение, и шестидесятыми годами легла уже целая пропасть; теперь писатель встал сразу на какую-то исключительную высоту. В умственную пору, когда, по общему мнению, Пушкина можно было высечь, писатель не имел корней в обществе и по своим интересам был для общества недосыгаем. Поэт и беллетрист услаждали тогда лишь праздный досуг, доставляли занимательное чтение, а вкусы и требования были еще настолько неразвиты, что в известной части «образованной» публики трагедии Баркова⁸ были понятнее и выше «Полтавы» Пушкина. В шестидесятых годах точно чудом каким-то создался внезапно совсем новый, необычайный читатель с общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший научиться тому, что он хотел знать. Когда можно было верить, что высекли Пушкина, у нас была только литература (Сенковский⁹ уверял, что у нас была тогда не литература, а только книжная торговля); теперь же явилась печать, то есть литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, как творец этой литературы, стал общественным учителем, воспитателем и пророком, открывавшим горизонты будущего, указывавшим идеалы и цели стремлениям. Отношения между читателем и писателем установились теперь вполне практические, осязательные, так сказать, земные, утилитарные; писатель перестал только развлекать праздный досуг,— он стал наставником и учителем общественного строи-

тельства. В этом высоком положении заключалось для писателя и его нравственное обязательство быть достойным высоты, на которую его поставили общественные обязанности. Оценка писателям была строгая, и проба людям делалась быстро. Помню такой случай. Раз к нам (я жил с Михайловым) обещал приехать вечером Писемский. Михайлов сказал, что за ужином Писемскому должна быть поставлена отдельная бутылка хересу, что и было исполнено. За ужином зашли разговоры о текущих делах. Государственный банк уже понизил тогда проценты по вкладам, явился курс, явились процентные бумаги. Когда заговорили о реформах, Писемский начал раздражаться и, достав из бокового кармана бумажник (довольно толстый, замечу), щелкнул по нем пальцами и сказал: «Вот тут тысяча рублей, а почему я знаю, что она будет завтра,— может, из тысячи останется шестьсот». И меня сразу отрубил от Писемского, и не потому, что он любил деньги, а потому, что я почувствовал, что он не «наш», что в нем сидит враждебное чувство к переменам, которых он не понимает, что он не стоит на высоте понятий, для него, как писателя, обязательных, что он не вождь.

Когда весь успех реформ зависел от общественного развития, нельзя было не ставить высоко тех, кто творил это развитие. Даже специальные издания того времени расширили свои программы, и сделали это не из «моды», а потому, что нельзя было иначе. После Парижского мира¹⁰, когда прогрессивные стремления охватили официальную Россию и проникли в правительственные и высшие сферы, правительственные органы взяли на себя тоже воспитательную роль и стали печатать не только беллетристику и этнографию, но даже ввели отделы критики и политики. К таким официальным изданиям, перешагнувшим через свою специальность, принадлежали «Военный сборник» и «Морской сборник». «Военный сборник» пригласил в сотрудники Чернышевского, а «Морской сборник» уж и совсем выскочил из своей программы. Морское министерство (по мысли великого князя Константина Николаевича), пригласив нескольких литераторов, предложило им ехать в разные местности России для их изучения, с тем чтобы результаты этого изучения, то есть статьи, печатать в «Морском сборнике». Были приглашены Мих. Михайлов, С. В. Максимов, Писемский, А. Н. Майков и еще

кто-то. Михайлов уехал на Урал, С. В. Максимов — на север, остальные не помню куда, да это и не важно, потому что только Михайлов и Максимов исполнили свои обязательства.

Я писем вообще не хранил, потому что по обстоятельствам моей жизни это было неудобно, но у меня как-то сбереглось одно письмо Михайлова из этой его поездки. Я приведу его целиком, без всякой фальшивой скромности. Чувства, которые питал ко мне Михайлов,— его личные чувства, и ни для кого они не обязательны; мне просто приятно не скрывать их от читателя. Письмо это лучше объяснит, какого рода услуг ожидал «Морской сборник» от писателей. К сожалению, его ожидания не оправдались и приглашение литераторов для этнографических описаний кончилось после первого опыта.

«Уральск, 25 февраля 1857 года.

Милый друг Николай Васильевич!

В настоящую минуту у меня три желания: во-первых, обнять тебя поскорее; во-вторых, быть таким же хорошим человеком, как ты, чтобы тебе не совестно было обнимать меня; в-третьих, быть богатым, чтобы не брать вперед никаких поручений от морского министерства, и если странствовать, то странствовать по своей воле, а лучше всего оставаться с теми, кого любишь. Но, взявшись за гуж, будь дюж. Надо хоть в исполнении этой пословицы быть похожим на тебя. Я, по мере сил, стараюсь об этом. Есть и некоторый успех. В статьях моих об оренбургском крае будет, надеюсь, кое-что новое. Надо тебе заметить, что я, между прочим, выучился, сколько успел, по-татарски, что и дало мне возможность заняться совсем не тронутым предметом — башкирскими преданиями, которыми полна Оренбургская губерния. Нет такой реки, нет такой горы, про которую не существовало бы легенды или песни. И таковых собрал я изрядное количество. Кроме текстов записал даже несколько мелодий с помощью брата. Ты их сыграешь на рожке? а? Курая, который я привезу с собой, ты, конечно, не сумеешь и в рот взять: я, сколько ни маялся, и один, и с учителем, не мог извлечь ни единого звука. Должно быть, зуб со свистом. Кроме очерков Башкирии, значительную часть моих заметок об оренбургском крае составит описание уральских казаков.

Везде стараюсь, по мере возможности, говорить откровенно, без прикрас о положении края. Гадостей несть числа. Образчик моих рассказов увидишь ты в апреле в «Морском сборнике». Это описание багренья. Боюсь, что половина его застрянет в цензуре. По поводу багренья ты, вероятно, думаешь, что я объедаюсь здесь икрой. Оставь эту сладкую мысль! Урал так беднеет с каждым годом рыбой, что нынче икра стала вначале один р. серебром за фунт, а потом немногим дешевле. Почему должна она быть в Петербурге? А при Палласе пуд стоил два с полтиной ассигнациями. Кстати, кланяюсь тебе за Палласа до земли. Скоро еду в Гурьев, а оттуда катну на пароходе на Мангышлак. Не мешает ведь побывать? Твои статьи читал и остался ими очень доволен, только мне попались всего три. Разве только? Как мне совестно перед «Лесной газетой», если бы ты знал! Теперь покраснел даже. Если б деньги... Да нет их. Время позднее, пора спать, а потому целую тебя и крепко обнимаю, хороший и добрый человек. Не забывай искренно любящего тебя *Михайлова*».

Кое-что в этом письме нужно объяснить. Михайлов, как я уже сказал, был настоящий литератор. Это значит, что он жил исключительно литературным трудом, но хотя он зарабатывал, и довольно, в особенности в «Современнике» Некрасова, а денег у него все-таки никогда не было. Припоминаю по поводу безденежья Михайлова вот что. В нашем обществе сложилось убеждение, неоспоримое и непреложное, как аксиома, что люди сороковых годов были идеалисты, а люди шестидесятых — реалисты. Эту аксиому знает всякий гимназист. Теперь, когда обществу опять стали говорить об «утраченных идеалах», аксиома становится еще непреложнее. Разве то, что мы видим вокруг, проистекает не из проповеди реализма шестидесятых годов? Ну, конечно. И вот басню об идеалистах сороковых годов и реалистах шестидесятых заучивает каждый «дурак, ожидающий от моря ответов» на свои глупые вопросы, старая истина становится новой истиной, и общество еще тверже заучивает, что люди сороковых годов были идеалисты, а шестидесятых — реалисты, народившие всю ту нечисть, от которой теперь всякий человек, сохранивший «душу живу», ищет спасения. Но странное дело, отчего все «идеалисты» сороковых годов так твердо знали зем-

лю и ее блага, умели вести им верный счет и знали хорошо вкус чечевичной похлебки? Я уже говорил о Писемском (тоже идеалист сороковых годов); а разве Тургенев знал хуже счет? Про Достоевского уже не говорю. Не могу, да и не хочу позволить себе говорить о последних могиканах сороковых годов, доживающих теперь свои последние годы. Дело в том, что во всякой художественной натуре есть двойственность, составляющая ее психический закон, особенно резко обнаруживающийся в чистых художниках. Художник, а еще более поэт, переживая какое-нибудь явление жизни в образах, находит в этом свое полное удовлетворение. Явление пережито в идее и затем на земле, по которой ходит художник, для него уже ничего не остается, кроме его самого. Небо он отводит для других, и на упрек, что все это «слова», художник отвечает, что «слово есть то же дело». Реалисты шестидесятых годов слили теснее слово с делом; для них, пожалуй, слова уж и не было; оно было сказано до них, и на земле для них осталось только дело. Они были не отвлеченные художники, а идеалисты земли, и, уж конечно, в России еще не бывало больших идеалистов, совсем забывших о себе, о своей личной пользе и личном интересе, как так называемые «реалисты» шестидесятых годов. Припомните судьбу каждого из них. Эти люди точно стыдились материальных благ и кончали свою жизнь не на шелке и бархате. Если от подобных бессребреников-отцов народились не такие же дети, не знаю, кого тут винить; думаю, однако, что не виноваты ни отцы, ни дети. Это все я сказал так, к слову, эпизодически; а теперь опять перейду к Михайлову.

Мы в шутку звали Михайлова «безденежным литератором», и это его всегда задевало. Необходимость заработка заставила его принять и предложение морского министерства и обещать статьи для «Газеты лесоводства и охоты». Но зависимость его очень тяготила. И вот не раз, сидя после обеда перед камельком, мы мечтали о своей газете и о редакторстве. Я думаю, каждый начинающий литератор мечтает о редакторстве, как прапорщик о генеральстве. Но, должно быть, справедлива не та поговорка, которая сулит казаку атаманство, а та, которая говорит: «Терпи, казак,— атаманом не будешь». Мы тогда в атаманство еще верили, да оно бы и могло явиться, если бы Михайлова и моя жизнь сложи-

лись иначе. Я, впрочем, наконец достиг того, о чем мечтал двадцатью годами ранее, но как та белка, которой достался золотой орех, когда у нее не было зубов.

Одно время возможность редакторства улыбнулась Михайлову довольно близко, и вот что он писал мне в июле 1859 года: «Прежде всего хочу сообщить тебе, дорогой друг Николай Васильевич, радостную для меня весть. Помнишь ли наши толки об издании журнала «Век»? Эти толки теперь осуществляются. Если только позволят, что будет известно на днях, с будущего же 1860 года будет выходить в Петербурге большая политическая и литературная газета, еженедельно два раза. Я соединился с Гербелем, чтобы издавать ее. С его стороны деньги, с моей — труд, а барыши, разумеется, пополам. Барыши, конечно, не последнее дело для нашего брата Исаакия; но главное, мне кажется, газета может быть хороша, а стало быть, и полезна. По цене (7 р.) она будет серединой между «Спб. ведомостями» и «Сыном отечества», стало быть, доступна для большого круга читателей. В ней не будет того безразличия мнений, каким отличаются «Ведомости», и, уж разумеется, не будет такой пошлости, как в «Сыне». Одним словом, это должна быть серьезная газета с благородным и определенным направлением. Гербель в этом, как и в материальном, отношении товарищ драгоценный. Он не будет стеснять направление газеты, потому что подчинится ему и сам. Я надеюсь на тебя как на каменную стену (сравнение вышло глупо, ну да извини, уже написано), что ты тоже станешь помогать нам и словом и делом. Я даже придумал для тебя специальность в газете; но обо всем этом надо говорить слишком много, а потому лучше оставить до свидания...»

Сколько мне помнится, Гербель право издания получил, но почему газета не началась — не припомню. Должно быть, однако, в книге судеб было предопределено иметь России в 1860 году «Век», потому что в этом году «Век» все-таки явился, если и не Гербеля, то П. И. Вейнберга <...>

Для русских романистов того времени, а следовательно и для Михайлова, женский вопрос не был новостью; вместе с жоржсандизмом он был наследием сороковых годов. Но разговоры и рассуждения в *Hôtel Molière* и «*De la Justice*»¹¹ Прудона были все-таки ближайшей причиной, заставившей Михайлова разрабо-

тать женский вопрос в серьезной статье. Статью эту (о женщинах) Михайлов писал в Тривиле, и она давалась ему не совсем легко. Трудности заключались, конечно, не в общей идее статьи, а в мелочах, преимущественно практического характера, в которых было легко переступить границу возможного и дать противникам повод к нежелательным выводам. В статье была частичка и моего меду, потому что в вопросах преимущественно экономических Михайлов обыкновенно советовался со мной.

Статья Михайлова была напечатана в «Современнике» и произвела в русских умах землетрясение. Тогда, при повышенной умственной восприимчивости, землетрясения вызывались легко. Все вопросы носились в воздухе, ожидая своих толкователей. И женский вопрос носился в воздухе. Михайлов его только пришил и дал ему форму и логическую цельность. Вопрос из воздушного тумана спустился на землю, из отвлеченного и теоретического стал практическим и осязательным, так что каждый мог взять его в руки, каждый мог уже думать о нем ясно и говорить ясно. А так как думающих было много и все заговорили сразу, то и получился общественный энтузиазм, а Михайлов провозглашен творцом женского вопроса. Впрочем, Чернышевский и статью Михайлова, и женскому вопросу вообще не придавал особого значения. Чернышевский находил, что женский вопрос хорош тогда, когда нет других вопросов¹². Михайлов же чувствовал теперь себя как бы законным вождем женского движения и обязательным защитником женщин. Когда г-жа Толмачева на литературном вечере в Тамбове читала «Египетские ночи» Пушкина и затем Камень Виногоров (Петр Вейнберг) осмеял ее в «Веке» и нашел выбор для чтения неприличным, то этот «безобразный поступок» «Века» вызвал такое всеобщее негодование, что оказалось невозможным оставить его без протеста. Михайлов выступил с резкой статьей, порицающей и негодующей; за этой статьей явилась еще масса статей (между прочим, и я согрешил фельетонной статьей; редакции газет брали их охотно), и не столько пристыженный, сколько заклеванный Вейнберг принес, сколько мне помнится, публичное покаяние. Не так давно (года три-четыре назад) одна петербургская газета, припоминая этот забытый случай, сказала, что Михайлов спустил на П. И. Вейнберга «свору собак». Это было сказано «немножко сильно», и весь случай был такого

рода, что не было особенной причины негодовать задним числом и звать людей собаками. Года два назад П. И. Вейнберг припомнил как-то в разговоре со мной эту совсем старую историю, говорил о ней с своим обычным незлобивым и безобидным юмором, и это было умно.

Из Трувиля Михайлов поехал в Париж, а я по моим казенным делам — в Эльзас, а потом в Бельгию, где в Брюсселе получил от Михайлова письмо с такою припискою: «Мне кажется, вовсе не zweckmässig * приглашать с собой в Лондон Гербеля. Ведь ты думаешь быть у Герцена; он, пожалуй, тоже вздумает. Не знаю, как ты; что касается до меня, я вовсе не желал бы представлять его туда. Притом, как бы после не вышло в России каких сплетен». Посещение Герцена считалось тогда не совсем осторожным, и некоторым лицам, по крайней мере близким ко двору, их визиты Герцену не прошли так. Но мое положение было другое, сплеген я не боялся и потому из своей поездки в Лондон никакого секрета не делал, но совета Михайлова относительно третьего лица послушался.

В январе 1859 года я вернулся в Париж, а в конце февраля, визировав паспорт в Англию, отправился в Лондон. Михайлов уехал дня за три ранее, чтобы приискать, между прочим, квартиру. В этом ему помог Герцен, отрекомендовав нас в одном boarding-house **. Помню, что этот boarding-house помещался в тихой местности (хотя и в центре города), недалеко от какого-то сквера, недалеко от Британского музея, недалеко от гауптвахты, с двумя неподвижными, стоявшими в нишах, конными часовыми в красных мундирах; помню еще, что каждое воскресенье за утренним чаем хозяйка говорила нам, что «греческая церковь недалеко», а мы в следующее воскресенье давали ей снова повод повторять то же, и так до самого отъезда. Так греческого богослужения мы в Лондоне и не увидели.

Х

Я не стану описывать наружности Герцена, не буду говорить и об его сочинениях (в следующем поколении

* Целесообразно (нем.).

** Пансионе (англ.).

они, вероятно, войдут в русские библиотеки), но я попытаюсь сделать легкую характеристику его, потому что политическая физиономия Герцена нашей публике, как кажется, совсем не ясна.

Есть так называемые умные люди, которые говорят хорошо и логично, но еще красивее и лучше они спорят, умеют тонко подмечать сходства и различия и находить противоположения; но обыкновенно в вещах они видят только одну сторону. Герцен принадлежал не к этому сорту относительно умных людей. Он видел в каждой вещи все ее стороны и сразу находил отношение этой вещи ко всем другим вещам. В этой всеобхватывающей способности понимания и заключалась сила ума Герцена. Это был ум глубокий, но не отвлеченный, а жизненный, реальный, схватывающий идеальную и практическую сущность каждого предмета и каждого понятия. Такой широкий, захватывающий ум не мог удовлетвориться какой-нибудь одной областью мысли или сферой знания, и Герцену действительно «была звездная книга дана, и с ним говорила морская волна». В естествознании, в математике (Герцен был студент математического факультета); философии, истории, политике, в литературе европейской (уже конечно, и русской) Герцен овладел тем внутренним смыслом этих знаний, который сливает их в одно целое и сообщает мысленное единство и стройность. Художник и глубокий психолог, Герцен понимал самые тонкие движения души и умел с изумительным искусством и меткостью делать анализ всякого болевого душевного состояния. Все это разнообразие умственных сил и способностей связывалось в Герцене, как цементом, широкой гуманностью и тем всеобхватывающим чувством любви, которые делали из Герцена не только замечательного общественного мыслителя, но и высокодаровитого писателя-художника.

Для широкой, порывистой природы Герцена требовался простор; требовалась возможность не только мыслить свободно, но и выражать свои мысли свободно; его личное чувство независимости нуждалось в таких внешних условиях, в которых бы оно могло найти себе удовлетворение, а как таких условий Герцен в тогдашней русской жизни не нашел, то он оставил Россию и переселился в Западную Европу. Последние лет пятнадцать Герцен жил исключительно в Лондоне¹³.

Как человек первого номера, Герцен, конечно, сбли-

зился в Европе с людьми того же умственного роста и того же общественного развития. Близкими людьми ему были Маццини, Кошут, Луи Блан, Ворцель, у Прудона он был сотрудником по газете. Человек слишком кипучий и живой, чтобы встать в стороне от жизни, Герцен не походил на Гофмана, который, расписывая в Варшаве театральные плафоны, негодовал на Наполеона I, проходившего с двенадцатью языцами, что он мешает ему рисовать. У Герцена была другая кровь: ему нужны были улица, шум, движение, дело; ему были нужны слушатели. Но в то же время у него был слишком трезвый и ясный ум, чтобы не видеть последствий всякого дела и не оценить верно его возможностей и успеха. От этого Герцен не был, да и не мог быть, революционером, ни таким, как Бланки и Барбес, ни таким, как Ледрю Роллен и Луи Блан¹⁴. Когда в 1848 году революционеры, собравшиеся в одном кафе в Париже, вели разговор о баррикадах, Герцен, понимавший, что из этих баррикад ничего не будет, даже в случае успеха, потому что революционерам нечего дать народу, сказал, что из всего этого выйдут только глупости.

— А, так вы, значит, не хотите идти с нами! — кричали на него.

— Нет, господа, я не говорю, что не делаю никогда глупостей, — отвечал Герцен, — извольте, я иду с вами.

И пошел.

Герцен не верил в успех февральской революции и в ее мастерские, он понимал всю неясность и неопределенность программы, которую выставили французские вожаки; в их формуле — «право на труд» — Герцен не находил никакого практического содержания. Еще меньше верил он (уже много после) надеждам и мечтам Маццини, Луи Блана, Ворцеля, Кошута, когда они доживали свои дни в Лондоне, и со скорбью смотрел на этих пострадавших мучеников, не желая огорчить их даже четвертью той правды, которая была ему ясна вся. Герцен говорил о французских эмигрантах, что между ними есть люди умные, готовые на всякие жертвы, но людей, понимающих и способных исследовать свое положение, нет.

Широко развитое чувство свободы делало для Герцена невыносимым всякое насилие, в какой бы форме и где бы оно ни свершалось; он не выносил ничего грубого, ничего царапающего, ничего, что так или иначе

оскорбляло личность. Это широкое чувство свободы, которое он так высоко ставил, было для него также священо и в других; поэтому, как политический деятель и писатель, он являлся только самым горячим защитником личной и общественной свободы, и только в этом и заключалась вся его программа. Это была художественная натура на политической основе; это был скорее клубист, проповедник свободы, оратор независимости, чем политический уличный деятель. Для улицы с баррикадами он был недостаточно демократичен и по привычкам, и по умственному темпераменту и слишком аристократичен по умственным требованиям и развитию. В этом же обстоятельстве заключалась причина, почему он разошелся с русской заграничной молодежью¹⁵.

Уже в Лондоне начались царапающие отношения между Герценом и посещавшими его русскими эмигрантами, и наконец в Швейцарии эти отношения кончились полным взаимным отчуждением. Обе стороны не понимали друг друга и разошлись с горьким враждебным чувством. Началось, кажется, с требования от Герцена денег; это его оскорбляло, потому что было требование. Затем стал исчезать и взаимный умственный интерес; умственный горизонт эмигрантов казался Герцену слишком узким: он привык к умственному простору, которого, конечно, тут бы и не мог найти. Люди оказались слишком разного умственного роста. Но не одна разница в горизонтах отделяла Герцена от эмигрантов. Кстати, припомню такой случай. В один из приездов в Петербург Тургенев пожелал познакомиться с новой молодежью, и для Тургенева устроили вечер. Между приглашенными «образцами» был и Русанов, совсем еще молодой, горячий и речистый. Тургенев и Русанов сидели на диване рядом, и Русанов целых два часа развивал Тургеневу свои экономическо-социальные идеи. Тургенев молчал и внимательно слушал. Когда Русанов кончил, Тургенев встал, развел руками и сказал: «Не понимаю!»¹⁶ Вот это-то самое «не понимаю» разъединяло и Герцена с новыми людьми, которых он встретил. Их разъединял весь склад мышления, разное понимание всех моральных отношений, личных и общественных, разные привычки жизни, то, что Герцен называл «бесцеремонным самолюбием, закусившим удила», и, наконец, разница политических программ. Было из-за чего не понимать друг друга.

Я уже сказал, что Герцен не верил в революцию. Он считал ее невозможной и вредной по последствиям. И кто должен был взять на свою совесть ответственность за жертвы в случае неудачи? Фатализма Герцен не допускал, не допускал, что личность должна быть орудием обстоятельств и событий. Для такого фатализма у Герцена было слишком сильно развито чувство личности. Он допускал только один верховный голос, имеющий право власти над личностью,— разум и понимание. Отрицая логику ломки и грубую силу, Герцен находил, что нужны проповедники, апостолы, поучающие своих и не своих, а не саперы разрушения.

Герцен понимал, что та часть русских, с которою он так враждебно столкнулся за границей, еще не вся Россия, и, как говорят, в последние годы Герцену очень хотелось посмотреть на Россию освобожденную. Так ли это, не знаю, но припоминаю, что, когда покойный государь позволил Николаю Тургеневу вернуться в Россию, Тургенев, приехав в Петербург, прожил в нем две недели и уехал за границу навсегда¹⁷. Вероятно, то же случилось бы и с Герценом.

Я видел Герцена в апогее его популярности: лондонские издания его и «Колокол» расходились с возрастающим успехом, и каждый русский, приезжавший в Лондон, считал своим долгом сходить к нему на поклонение. По свободным манерам Герцен походил немножко на студента. Обращение его было простое, дружеское, и с ним было легко и свободно. Я думаю, что это происходило оттого, что Герцен все понимал. В разговоре он был такой же, как и в статьях, с той же вечно наготове шпилькой и такой же умный. Герцен быстро переходил от одного предмета к другому, электризовал мысль собеседника, не давал ей покоя, поднимал ее, заставлял идти вперед. Разговор его был самый разнообразный, как блестящий калейдоскоп,— и современные вопросы, и освобождение крестьян, и будущие русские реформы, и эпизодически какой-нибудь остроумный анекдот, и Виктор Гюго, и Гете, и философия, и история, и политика. Герцену можно было бы сказать: «С вами ходишь точно по краю пропасти»; у непривычного могла закружиться голова. Огарев появлялся только к обеду и к чаю, и, распределяясь, должно быть, по тяготениям, я садился всегда рядом с Огаревым, а Михайлов — с Герценом. Мне казалось, что у Огарева было больше рабо-

ты, по крайней мере, по «Колоколу». Но Герцен был занят тогда новым изданием: «Былое и думы».

Первые лондонские издания Герцена начались в 1853 году, когда он завел русскую типографию. «Колокол» же начался с июля 1857 года. В первый год Герцен выпускал по одному номеру в месяц, а с 1858 года — по номеру каждую неделю, и спрос на издание усилился настолько, что в начале шестидесятых годов «Колокол» расходился в 2500 экземплярах. Но в 1863 году, когда началось польское восстание, продажа «Колокола» упала сразу до 500 экземпляров. Этот упадок Герцен приписывал тому, что он писал в «Колоколе» статьи в пользу поляков. Едва ли Герцен не ошибался. В обществе уже свершился переворот, начавшийся еще раньше польского восстания. Восстание его только подчеркнуло и лишь выдвинуло больше вперед тех, кто держался до сих пор в тени. Впрочем, и подъем патриотического чувства, вызванного восстанием, был тоже не мал. Я не был тогда в Петербурге, но мне рассказывали, что в одно из представлений «Жизни за царя», когда начались польские танцы, всегда приводившие публику в восторг, и особенно мазурка с Кшесинским в первой паре, публика разразилась таким шиканьем, свистками и криками негодования, что должны были опустить занавес. При таком настроении общества «Колокол» должен был лишиться большей части читателей, даже если бы в нем и не было статей в защиту поляков. Начавшийся отлив уже не останавливался, время «Колокола» кончилось, а с ним и яркий период популярности Герцена¹⁸.

Из Лондона мы вернулись в Париж, а вскоре приехал туда же и Герцен. Раз я прихожу к нему и застаю такую картину. В мягком большом кресле сидит величавый старик (таких стариков я еще не видывал) с длинными по плечи и белыми как снег волосами; в лице и во всей фигуре почтенного старика, откинувшегося на спинку кресла, было что-то патриаршее, спокойное; в прямом ясном взгляде чувствовалась душевная правота и та уверенность в себе, которая дается хорошо прожитой жизнью и спокойной совестью. Перед стариком стоял Герцен, относившийся к нему с такой сыновней, предупредительной почтительностью и берегущей любовью, которую если нужно уметь вызвать, то еще больше нужно уметь носить в себе. Этот патриарх-старик был декабрист князь Волконский. Возвращенный из Сибири

императором Александром II, князь Волконский был лишен возможности жить в Петербурге, но ему не было запрещено жить за границей, и он уехал в Париж <...>

XII

До 1860 года общественное внимание было занято освобождением крестьян, теперь же, когда все основания освобождения определились и шла редакционная работа Положения 19 февраля, у общества явился досуг подумать и о другом. Поэтому с 1860 года начинается как бы иной «период» в работе общественной мысли. Работа эта не представляла особенной трудности, потому что ее программа была очень проста и заключалась всего в одном слове «свобода». Внизу освобождались крестьяне от крепостного права, вверху освобождалась интеллигенция от служилого государства и от старых московских понятий. И более великого момента, как этот переход от идеи крепостного и служилого государства к идее государства свободного, в нашей истории не было, да, пожалуй, и не будет. Мы, современники этого перелома, стремясь к личной и общественной свободе и работая только для нее, конечно, не имели времени думать, делаем ли мы что-нибудь великое или не великое. Мы просто стремились к простору, и каждый освобождался где и как он мог и от чего ему было нужно. Хотя работа эта была, по-видимому, мелкая, так сказать, единоличная, потому что каждый действовал за свой страх и для себя, но именно от этого общественное движение оказывалось сильнее, неукротимее, стихийнее. Идея свободы, охватившая всех, проникала повсюду, и свершалось действительно что-то небывалое и невиданное. Офицеры выходили в отставку, чтобы завести лавочку или магазин белья, чтобы открыть книжную торговлю, заняться издательством или основать журнал. Петербургские читатели, вероятно, помнят магазин «Феникс» на углу Невского и Садовой (в окне этого магазина стояло какое-то чучело вроде водолaza), и покупатели этого магазина, конечно, не подозревали, что маленький, скромный и совсем штатский хозяин его был офицером. Тут же на Невском помещался книжный магазин для иногородних, открытый тоже офицером; на том же Невском явился еще книжный магазин Серно-Соловьевича (впоследствии Черкесова) ¹⁹.

Любопытно, что офицеры дали наибольшее число освободившихся людей и принимали очень деятельное участие в движении идей и даже в «поступках».

Припоминаю такой случай. Серно-Соловьевичу нужно было быть у Суворова, тогдашнего петербургского генерал-губернатора²⁰, для разъяснения чего-то по магазину. Обходя просителей, Суворов подходит к Серно-Соловьевичу.

— Кто вы? — спрашивает Суворов.

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

Суворов любил заговаривать на иностранных языках. Увидев пристойного и благовидного купца, Суворов заговорил с ним по-французски. Серно-Соловьевич ответил. Суворов заговорил по-немецки. Серно-Соловьевич ответил.

— Кто же вы такой?! — повторил свой вопрос немного изумленный Суворов.

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

Суворов начал по-английски, Серно-Соловьевич ответил; Суворов делает ему вопрос по-итальянски и получает ответ итальянский.

— Фу ты! — говорит озадаченный Суворов. — Да кто же вы такой?

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

— Где вы учились?

— В Лицее.

— Служили вы где-нибудь?

— Служил.

— Где?

— В Государственном совете²¹.

Суворов совсем вышел из себя от изумления: ничего подобного он не мог себе представить. И Серно-Соловьевич был не один. Каждый способный и энергичный человек становился тогда на новую дорогу, создавал себе новое, подходящее к способностям дело, искал своего места в природе. Учащаяся молодежь тоже стремилась в более широкую область мысли. Семинаристы толпами уходили в университет. Даже правоведы и лицейсты оставляли свои привилегированные заведения ради университета. Это было золотое время Петербургского университета, когда число студентов с трехсот возросло внезапно до полутора тысяч. Никогда еще не было такого сильного умственного напряжения и такого всеобщего стремления к образованию. И университет того вре-

мени не только давал лучшие средства для развигия, но и отвечал полнее всего требованиям времени, когда нужны были не сухие формальные знания, а общие идеи и общечеловеческие понятия.

Освободительный порыв только и поддерживался общественно-гуманными идеалами, только они создали все реформы, и только благодаря освободительным, гуманным идеалам Россия шестидесятих годов выдвинула такую массу замечательных людей в литературе, в журналистике, в искусстве, в музыке, на общественном поприще и в сфере государственных преобразований. В короткий период трех-четырёх лет обществу была дана такая масса идей, понятий и знаний, большая часть которых и до сих пор не дождалась практического осуществления. К этому же времени принадлежат первые попытки женщин к высшему образованию (в начале шла пока речь о допущении женщин слушать лекции в университете, против чего, замечу кстати, Ив. Аксаков написал статью в газете «День»). Был поднят вопрос даже о вольном университете. Одним словом, общество напрягало все силы, чтобы создать себе новое, независимое положение и перенести центр тяжести общественной инициативы на себя. И правительство (по крайней мере, вначале) не видело в этом ничего несогласного с его желанием. Правительство сознавало, что при новых, усложненных требованиях более развитой жизни продолжать старую систему казенного управления у него не останется сил, и оно стало продавать или закрывать казенные фабрики и заводы, поощряло и поддерживало акционерные предприятия, создало «Русское общество пароходства и торговли», открыло возможность учреждения частных банков, передало постройки железных дорог частным предпринимателям. Одним словом, реакция против прежнего всепоглощающего государственно-вмешательства и казенного руководства была не только всеобщей, но и легла в основу общественно-экономических реформ и всей системы государственного хозяйства прошедшего царствования. Но и в то время, богатое людьми — смелыми, энергическими, решительными, — людей почина было не особенно много.

К этим людям принадлежал Николай Серно-Соловьевич (его очень любил и ценил Герцен). Книжный магазин, который устроил Серно-Соловьевич, был делом не торговым, а идейным; таким же идейным делом были

для Серно-Соловьевича воскресные школы, в которых он принимал самое деятельное участие (мысль об устройстве воскресных школ принадлежала профессору Павлову). Серно-Соловьевич умер в Иркутске в 1866 году, магазин его перешел к Черкесову, а теперь не существует совсем и книжной фирмы Черкесова. Помню, как Петербург был изумлен, когда в магазине Серно-Соловьевича явилась за прилавком молодая красивая женщина в синих очках. Этой первой продавщицей была А. Н. Энгельгардт, жена артиллерийского офицера, впоследствии известного автора «Писем из деревни». Встать женщине за прилавок было тогда так же необыкновенно, как лицеисту, служащему в Государственном совете, сделаться купцом. Теперь тысячи женщин стоят за прилавками, и для этого не нужно ничего, кроме нужды. Но тогда и стоянье за прилавком было идейным делом, было практической пропагандой нового поведения, демократическим отрешением от сословности и предрассудков, прав рождения. А чтобы выступить с таким протестом, требовался не только смелый и энергичский ум, но смелый и энергичский характер.

Обыкновенно думают (и не раз это высказывали наши ретроградные газеты), что журналистика шестидесятых годов терроризировала общественное мнение и деспотически направляла его в ту сторону, в которую это было нужно журналистам. Эта мысль тенденциозная, и высказывалась она только для того, чтобы вызывать и оправдывать меры против печати. Трудно сказать, кто давал больше тон жизни — печать или общество. Базарова Тургенев списал с живого человека, который именно и заставил Тургенева подумать об отцах и детях. Семейные идеалы в романе «Что делать?» взяты тоже из фактов живой жизни, существовавших ранее романа. Общество думает и без журналов; журналистика и печать только облегчают обществу работу мысли. То же повторилось и в шестидесятых годах. Тогда думали все, и думали очень дружно и согласно. Если «Современник», а потом «Русское слово» находили в обществе такое сочувствие, то только потому, что говорили обществу то, что оно хотело слышать и знать. Очень часто публика шла гораздо дальше, стремилась неудержимее и, так сказать, опережала печать, — вот откуда явилось известное мнение, что тогдашний читатель был очень чуткий и читал между строк. Читатель был действитель-

но чуток в том отношении, что ему хотелось все большего и большего, не на словах только, а в жизни, в возможностях простора; и смелые люди делали смелые выводы. Вот эти-то смелые люди и читали между строк то, чего автор иногда совсем и не думал. Я, конечно, этим не хочу сказать, что журналистика того времени была вполне цензурна (когда же она бывает цензурна?) и что авторы вовсе не рассчитывали на проницательность читателя. Я говорю только, что печать и читатели шестидесятых годов стояли друг друга, что между ними были самые тесные умственные симпатии и что в практических выводах читатель шел дальше печати.

Особенность тогдашнего общества (то есть печати и читателя) составляла гуманность — этот самый лучший, самый благородный и великодушный протест шестидесятых годов против тупости, грубости и жестокости прежнего общественного и домашнего строя.

Я помню хорошо то страшное «доброе старое время», когда все общественные порядки и отношения цементировались шпицрутенами. Тогда даже детей секли, как солдат. У нас в корпусе был воспитанник, которого секли восемнадцать раз. Моему товарищу, мальчику двенадцати лет, дали двести пятьдесят солдатских ударов двухаршинными розгами. Это была картина возмутительная не только по ненужной жестокости, но и по ее торжественной тупости. Нас выстроили в зале фронтом. Потом солдаты принесли скамейку и огромный пук розог — длинных, тонких, рассчитанных на боль. Затем фронту скомандовали «смирно», и среди воцарившейся мертвой тишины вошел в зал директор с блестящей свитой. Мне даже как будто помнится, что свита была в мундирах, точно она пришла на праздник. «Климш», — выкрикнул директор, и несчастный Климш выступил из фронта. Директор сказал назидательную речь, которая к нам относилась, пожалуй, больше, чем к Климшу (и секли его, как видно, только в назидание нам), и заключил ее приказанием: «Ложитесь». Началась возмутительная сцена насилия над двенадцатилетним ребенком. Несмотря на всю строгость военной дисциплины, весь фронт повернул головы в сторону. Во все время наказания Климш не издал ни одного стога, но стал бледный, как полотно. Через полгода его исключили, потому что он бросил учиться и не ставил начальство ни во что. В дворянском полку директор Пущин сек воспитанника

с утра до вечера и дал ему две тысячи ударов. Воспитанник умер, но Пущин остался директором, чтобы не колебать дисциплины и уважения к власти ²².

В тех, кто вынес на себе это страшное время, не могла не явиться реакция против подобных порядков. Реакция была полная, не только против телесных наказаний, но и против всякого общественного и семейного деспотизма и насилия. Конечно, не «Записки из Мертвого дома» создали эту реакцию: они только познакомили общество с судьбой целой категории несчастных людей, показали только один из уголков русской жизни (кажется, и теперь остающийся таким же). Тогда рассказывали, что «Записки из Мертвого дома» читала покойная императрица и плакала. Я думаю, что можно заплакать, их читая. И Островский приподнял завесу тоже немалого уголка русской жизни, показав, как живут люди в средней купеческой и чиновной семье. Параллели и выводы для читателей уже были не трудные. Еще больше помогло «Темное царство» Добролюбова, уяснив непроглядную и, в сущности, вовсе не злобную, а просто животную тупость отцов-самодуров и всяких утеснителей, не ведавших, что они творят, и такую же тупость всех этих безмолвно покорных своей судьбе и безропотно подавленных, загнанных людей, влачивших свое зависимое, страдательное существование. «Темное царство» Добролюбова читалось с увлечением, с каким не читалась тогда, пожалуй, ни одна журнальная статья. Молодежь носилась с этой статьей, как с откровением, и она действительно была откровением для всех слабых и угнетенных, показав им их врага. Но и «Темное царство», давшее работу общественному сознанию, не могло усилить общественного доброжелательства и тех гуманных, жалостливых чувств, которые уже достаточно накопились в обществе. Заслуга «Темного царства» не в том, что оно прибавило чувств, а в том, что оно укрепило общественный протест против утеснителей, против условий, их создающих, что оно дало размах общественной мысли, ширь общественному сознанию и имело общественно-воспитательное значение. И вот под совокупностью всех этих влияний совершилось действительно чудо. Чудо заключалось в общем крутом повороте от тупой жестокости к гуманности, в явившемся преобладании небывалой до того мягкости в общественном и семейном воспитании и в семейных отношениях. В шес-

тидесятых годах все потребности общества точно будто предупреждались и предусматривались. Кто кого предупреждал — литература ли общество или общество литературу, — вопрос существенно не важный. Важно то, что, когда общество пожелало узнать, как лучше воспитывать детей, к его услугам уже были готовы переводные и русские руководства и педагогические журналы. Матери, и прежде любившие своих детей, тут точно просветлели и в первый раз поняли, что значит любить и как нужно любить. Теперь дети стали первыми людьми в семье, им — начали отводить самые лучшие комнаты, светлые, просторные. Прежде о физическом воспитании никто ничего не слышал, — теперь оно стало предметом самой главной семейной заботы. Явилось даже небывалое понятие о физической нравственности. Небольшая книжка Маутнера о физическом воспитании разошлась в громадном числе экземпляров. Теперь есть книжки много лучше. «Мать» г. Жука, конечно, неизмеримо выше по подробностям и по богатству содержания тоненькой книжечки Маутнера, но едва ли она будет иметь то общественное значение, какое имел Маутнер. Тогда было такое время, что все получало общественный характер, все являлось во множественном числе. Такое дело, как воспитание детей, ограниченное стенами детской, кажется, дело совсем маленькое, домашнее, но если это маленькое дело является переломом в прежней системе и реакцией против прежних воспитательных порядков, если новая система проникает сразу в десятки тысяч семейств, — такое маленькое дело становится большим общественным делом, тем более что оно делается горячо, с увлечением, поспешно. И вопросы в этом новом деле являлись вовсе уж не такие простые. Например, хоть бы вопрос о том: пеленать или не пеленать ребенка. Маутнер вместо пеленанья предлагал «конвертики». Положим, что старый способ имел много недостатков, но этот способ все-таки испытанный, а кто знает, к чему приведут «конвертики»? Чтобы перейти к новому, требовалось мужество решимости, а его при общем стремлении к новому и при общем протесте против старого у общества было довольно. Но воспитание детей не исчерпывалось одними «конвертиками»; было немало и других вопросов, требовавших разрешения, и все эти вопросы вызывали рассуждения, толки, споры, возбуждали страсти, поднимали мысль от забот о грудном ребенке

дальше к домашнему и общественному воспитанию, к будущему детей, к последующей ожидающей их жизни, к общим условиям этой жизни. Одним словом, мысль, зачинавшаяся в детской с физического воспитания грудного ребенка, уходила затем очень далеко.

Считаю необходимым оговориться. Все, что я говорю о шестидесятих годах, я говорю более чем серьезно, придавая большое значение прогрессивным мелочам, повлиявшим на изменение умственного склада общества. Шестидесятые года — слишком серьезное явление в исторической жизни России, и они заключали в себе такую всеобщую обновляющую силу, что о них следует или совсем не говорить, или говорить только с тем глубоким уважением к людям и идеям того времени и к вожакам общественного сознания, какое вызывается величием самого явления и прогрессивным местом, которое оно занимает в ряду других явлений русской истории. И второстепенные деятели, и рядовая масса, шедшая вперед, занимают такое же почетное место. Не генералы только творят военные победы, а творят их армии, те массы рядовых людей, стремления, желания и порывы которых находят свое выражение в военачальниках. Когда говорят о военных подвигах армий или народов, никто не вспоминает мелких случаев трусости, неспособности или неудач; им нет и места в итоге общей славы. И в шестидесятих годах были свои ошибки, которыми только и пользовались враги и порицатели общественного движения того времени. Что сказать о том летописце, который, описывая нашу народную кампанию двенадцатого года, собрал бы отдельные случаи неудач и просмотрел Бородино и Москву? Такие же непрошенные летописцы были и у шестидесятих годов, и я не думаю, чтобы эти летописцы стяжали себе почетную известность даже у тех, кому были на руку их писанья. Я уже не говорю о мелких писателях, но даже и крупные люди, как Писемский, не были в состоянии ничего понять в движении шестидесятих годов. Теперь пора острого отношения к тому времени уже миновала, и если для него еще не наступила пора беспристрастной истории, то несомненно, что наступила пора сравнения, а эту пробу шестидесятые года и люди того времени, конечно, выдержат.

Перемены и перестройки в семье не обошлись без борьбы, когда они коснулись людей, уже вышедших из

детской. Если вообще отцы и мужья оказались достойными своего времени и свобода и гуманность были для них не одним красивым, модным словом, но и действительным делом, то встречались и такие случаи, когда семья говорила на разных языках и никакое примирение оказывалось невозможным. Это печальное явление породило и печальные результаты. Вот семья (я сообщаю факт): отец — старомодный чиновник, застрахованный от всяких новых понятий и способный к крутым «законным» средствам. Мать — скромная, добрая, хорошая женщина, натерпевшаяся уже довольно от своего «характерного» сожителя. У них двое детей, сын и дочь, оба даровитые, пылкие, всецело захваченные движением шестидесятых годов. Сын потом сделался известным журналистом, а когда последующее время не оправдало его общественных ожиданий, он уехал за границу, где и умер. Но не сын стал предметом преследований отца, а дочь; пошли неудовольствия, раздоры, обе стороны обнаружили одинаковую неподатливость, и разрешить ее мог только какой-нибудь кризис. Кризис этот создала «законная» власть отца и начавшиеся угрозы, что он на непокорную дочь пожалуется III отделению. Сначала угрозам не верили, но потом пришлось убедиться, что отец не шутит; даже был им назначен день, когда он поедет с жалобой. Надо было на что-нибудь решиться, и, главное, быстро. И решение нашлось необыкновенное — фиктивный брак. Девушка венчается с тем, чтобы сейчас после обряда разъехаться с мужем в разные стороны, легальный муж переживает легальные права отца, и девушка свободна. Подобных фиктивных браков было тогда немало. Для тех, кто склонен придать этому факту иное толкование и думать, что в спасители девушки предложил себя какой-нибудь шаршавый, нечесаный, пропащий человек, которому терять нечего, прибавлю, что фиктивным мужем был молодой человек с законченным высшим образованием, родовитый, титулованный (князь Голицын), с большим состоянием. И подобных фиктивных браков было тогда немало. Фиктивный брак был, конечно, мерой отчаянной. Он являлся последним средством для выхода, когда не оставалось никаких других средств. Конечно, он был явлением ненормальным, но ведь и порядок, вызвавший его, был тоже ненормальным, и если подобный порядок не мог разрешиться правильно, он должен был разрешиться непра-

вильно. Когда при безвыходном положении приходилось выбирать между такими средствами, как колодезь или фиктивный брак, то последний выход был, разумеется, благоразумнее и практичнее. Прибавлю к чести отцов того времени, что к выбору между колодезем и фиктивным браком приходилось прибегать немногим.

Вообще недоразумения между отцами и детьми решались в шестидесятых годах легко, и прежняя форма семейного управления уступила сама собой свое место новой форме, основанной на большем равенстве и свободе. Когда я был маленьким, нас учили говорить: «папенька», «маменька» и «вы»; потом стали говорить: «папа», «мама» и тоже «вы»; в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы, и сами отцы учили детей говорить: «отец», «мать», «ты». Теперь говорят: «папа», «мама» и тоже «ты». Вот краткая и наглядная история вопроса об отцах и детях за шестьдесят лет.

Труднее была другая сторона семейного вопроса — отношение между мужем и женой; но и этот вопрос, насколько он зависел от идеи свободы и равенства, разрешился тоже легко. Несмотря на грубую внешность отношений: «отец», «мать», «ты», за нею скрывалось много мягких, гуманных, любящих чувств. Впрочем, и реакция заключалась только в том, что против прежней жестокости и грубости выступила жалость и уступчивость. Поэтому большие сами постарались стать меньше, маленькие сделались больше, и все вышли ровнее и ближе. Теперешним людям новый порядок семейных отношений достался простою наследственной передачею, и вопросы, которые волновали нас, для теперешних людей даже вовсе и не вопросы. Какая женщина пойдет теперь смотреть на комедии Островского, чтобы переживать в них свое личное положение; кому из мужчин станет стыдно и больно за общество и его нравы, которые рисует Островский? А ведь тогда это была живая, сочащаяся, болевая общественная рана, в которую каждый неверующий мог вложить свою руку. Шестидесятые года все это пережили и изменили и сдали теперешнему поколению «темное царство» Островского как историческое воспоминание о чем-то давно минувшем. Новые дети растут уже не в глупом страхе перед грозным домашним повелителем, перед которым все ходит на цыпочках и на вопрос повелителя: «Кто меня может оби-

деть?» — отвечают: «Кто тебя обидит, ты сам всякого обидишь», — теперешняя семья вырастает в мягких нравах простою механическою привычкою и получает готовые каштаны, которые испекло ему предыдущее поколение. Но, разрешив то, что можно было разрешить новыми понятиями о свободе и равенстве, общество дальше этого разрешения и уйти не могло. Оно могло покончить с грубыми нравами, оно могло поднять значение женщины и жены, но решить тех случаев, когда непримиримое несходство разделяло мужа и жену, общество не могло. Разрешение лежало только в разводе, новое же законодательство о разводе на помощь обществу не пришло. И вот общество поступило так, как ранее поступали дочери, искавшие спасения от родительского гнета в фиктивном браке. Никогда еще не было в России столько жен и мужей, живущих отдельно, сколько их явилось в шестидесятых и после шестидесятых годов. Разделившиеся неудачные семьи составляли затем новые семьи, но уже нелегальные, и общество относилось к этим нелегальным союзам с неизбежною полною снисходительностью. Вопрос о том, легальная или нелегальная у кого жена, стал невозможным, не имеющим смысла. Общество настолько осватило своим признанием этот порядок отношений, что даже закон о браке утратил свое прежнее значение, и рядом с законным браком распространилось теперь сожитительство гражданское. Таким образом, закон о разводе, не явившийся вовремя на помощь обществу, вместо того чтобы укрепить легальный брак, укрепил брак нелегальный и практику гражданского сожитительства, оставшуюся единственным выходом для тех, кому был закрыт законный брак. С этим вместе изменился, конечно, взгляд на так называемых «незаконных» детей. Впрочем, суровый закон не отнял от них ни университета, ни высшего технического и специального образования. Он закрыл от них только право на титулы да заведения, требовавшие дворянской грамоты. Затем весь широкий и длинный путь жизни стоит для них открытым. Жизнь давно уже обогнала закон и даже забыла, что он существует.

С шестидесятых годов, как видит читатель, семейные отношения испытали полную революцию: все стало в них гуманнее, порядочнее, чище, а главное — правдивее. Правдивость, искренность и свобода сделали русскую семью ровнее, ближе, счастливее и создали ей внутрен-

ний мир, какого она прежде не знала. Такой сравнительно полный успех получился, нужно думать, оттого, что семейный переворот, предоставленный собственным силам общества, не испытывал внешнего вмешательства. Никакой доморощенный химик не стоял над ним, чтобы руководить брожением или чтобы закрыть крышку котла, когда это показалось бы нужным химику. Котел работал свободно и до сих пор продолжает еще свою нескончаемую работу. Старая и вечно новая история стремления человека к личному счастью!

Боюсь, что эта глава, написанная слишком обще, не удовлетворит читателя, и особенно читательницу. Женщины в семейных вопросах ищут подробностей, наводящих на размышление. Но если бы я стал рассказывать семейные истории (а я мог бы это сделать, потому что знаю довольно семейных историй и был не совсем в стороне и от «женского вопроса»), мое изложение потеряло бы свой обобщающий характер. Далее, хотя я и приурочил семейный вопрос к 1860 году, но это — вопрос не одного этого года, хотя несомненно, что с 1859 года, когда явилась статья Михайлова о женщинах и затем «Темное царство» Добролюбова, семейное движение получило более определенный и сильный толчок и стало более широким и всеобщим, но затем оно и не останавливалось. Конечно, самая широкая струя этого потока принадлежит шестидесятым годам, когда она промыла себе русло. Теперь течет только ручей, хотя и по тому же руслу, но течение это характера общественного движения не имеет.

ХIII

Мои личные воспоминания о Петербургском университете начинаются довольно рано: я помню студентами людей, которые нынче достигли уже степеней известных и занимают видные места в литературе. Тогда это были юноши, очень симпатичные, чистенькие, благовоспитанные и ничем не отличавшиеся от других студентов. А петербургские студенты того времени именно выделялись своею внешнею благовоспитанностью и благопристойностью. Мундирчики были у них всегда с иголки, сшитые стройно, воротники у мундиров свежие и безукоризненно синие, с блестящими петлицами, шпаги маленькие, изящные, вообще студенты того времени имели франтоватый, изящный вид и очень гордились

своим званием. Для гимназистов студенчество было предметом стремлений и тайных мечтаний, а для кадетов и воспитанников юнкерских школ — предметом зависти, не без примеси некоторого священного страха перед высшим образованием. Равновесие устанавливалось только тем, что студент был все-таки «штатский». Но этот штатский удерживал с достоинством свое положение и в гостиных, и на танцевальных вечерах и балах, был предметом гордости своих маменек и тайных вздохов и мечтаний барышень. В дореформенное время петербургский студент был по преимуществу благовоспитанный юноша и светский молодой человек. Публика знала университет еще и по его воскресным концертам, которые устроил в 1847 году инспектор студентов Фицтум фон Экштед, большой любитель музыки. Концерты эти более десяти лет собирали в белом мраморном актовом зале университета петербургскую публику и служили одной из немалых причин популярности тогдашних студентов. Общество любило и уважало студентов. Университет, как рассадник людей высшего образования, стоял высоко в общественном мнении, а университетское образование открывало не только более широкие пути в жизни, но и создавало привилегии, в особенности когда число студентов в университетах было ограничено. В провинции университетские были редки, а потому на них смотрели еще с большим уважением; конечно, это не обходилось и без того, чтобы их не подозревали в «фармазонстве». Но что бы там ни было, а в провинции университетские играли ту же привилегированную роль, какую играли офицеры Генерального штаба в армии: они садились на шею служакам. Кандидат университета, лет двадцати пяти, занимал место асессора, а иногда и советника палаты, тогда как обыкновенным порядком эти места доставались уже в таком возрасте, когда человек нажил себе седые волосы или лысину. Вообще университет был привилегированным заведением, а чиновники из университетских — привилегированными людьми. Их было вообще мало, и ими очень дорожили. И, отдавая должное, нельзя не признать, что университеты внесли много света в русскую жизнь и очень расчистили и подготовили пути для всего последующего умственного движения шестидесятых годов.

Порядок внутренней жизни Петербургского университета был тогда очень прост. Говорят, что у универси-

тета был устав (устав 1835 года действительно был); но в чем заключался этот устав, не знал ни один студент, да едва ли знали и профессора²³. Университет всецело управлялся попечителем, а попечителем был Мусин-Пушкин (он был сначала попечителем Казанского округа, а в 1845 году сделан попечителем Петербургского). Мусин-Пушкин управлял университетом «отечески», «патриархально». Это значило, что для него не существовало университетского устава, а он руководствовался личными соображениями и обстоятельствами минуты и соответственно им издавал циркуляры и частные постановления, которыми в конце концов устав оказался почти совсем отмененным. Про Мусина-Пушкина говорят, что он был добряк, но также не подлежит сомнению, что он был груб, резок и что студенты боялись его как огня (вероятно, и профессорам не дышалось при нем особенно свободно). В 1856 году Мусин-Пушкин уступил свое место новому попечителю, князю Г. А. Щербатову, и с этого времени взойшло над университетом солнце, все отогрелось и оттаяло от патриархального управления Мусина-Пушкина, совсем было заморозившего университетское образование. Оставлять университет под этим патриархальным режимом было невозможно, да, конечно, не для этого был назначен князь Щербатов. Университет нуждался в уставе, в точно определенных правилах управления, в органическом статуте, который бы устанавливал основы университета как учено-учебной корпорации. Преобразовательные замыслы князя Щербатова были широки и либеральны и отвечали вполне тогдашнему настроению общества. В летописях Петербургского университета князь Щербатов займет, конечно, самое видное место. При князе Щербатове университет встрепенулся и ожил, и только теперь студенты поняли, какой большой, тяжелый и дикий камень лежал на университете в виде «патриархального» попечительства Мусина-Пушкина. Г. А. Щербатов сразу привлек к себе симпатии не только студентов и профессоров, но и петербургского общественного мнения. В новом попечителе личная порядочность, деликатность и мягкость соединялись с ясным прогрессивным умом, способным к широким преобразовательным планам, и если бы эти планы были осуществлены, если бы университет получил те широкие права, которые замышлял дать ему князь Щербатов, не последовало бы тех печальных

недоразумений и тяжелых возмутительных сцен, которые явились после удаления Щербатова; не было бы и ненужных жертв этих печальных недоразумений. Студенческие истории показали еще раз, насколько «печальные недоразумения» кроются далеко не в ошибках тех, кто становится их жертвой, и насколько не требуются жертв для разрешения таких недоразумений.

Составление проекта нового университетского устава по широким замыслам князя Щербатова требовало времени, и, пока проект реформ составлялся и обсуждался, князь Щербатов разрешил студентам иметь кассу, библиотеку, читальню, издавать «Сборник», для заведования этими частями студенческого хозяйства избирать депутатов и редакторов, а для обсуждения вопросов хозяйства составлять сходки. Студенческая жизнь получила более широкий смысл и содержание, еще недавние «ученики» теперь выросли, ожили, почувствовали себя общественным организмом и стали гораздо серьезнее относиться к учебным занятиям. Насколько подъем духа действовал оживотворяющим образом на занятия студентов, служат доказательством два напечатанных тома «Студенческого сборника» и литографированные студентами лекции. Ничего подобного Петербургский университет при последующих порядках создать не мог. И, несмотря на резкий переход от отеческого управления Мусина-Пушкина к свободной и несколько шумливой жизни, вызванной князем Щербатовым, жизнь эта текла мирно и спокойно. При Щербатове не было ни одного случая так называемых нарушений порядка, ничего, что бы указывало хоть на малейшее нарушение внутренней гармонии корпоративного студенческого самоуправления и каких-либо шероховатостей в отношениях студенческой корпорации к заведовавшей университетом власти. Но вот мирное течение этой жизни нарушается и наступают так называемые студенческие истории.

Мирное течение нарушилось сейчас же с выходом в 1860 году в отставку князя Щербатова²⁴. При князе Щербатове, как и при Мусине-Пушкине, не было никакого университетского устава и все зависело от воли попечителя. Но эта воля была мягкая, благорасположенная, гуманная, понимавшая природу молодежи и бережливо относившаяся к ее чувству достоинства. Отношения между попечителем и студентами были чисто личные, как бы добровольные, не скрепленные никаким

писанным регламентом. Поэтому-то еще большего удивления и похвалы заслуживают тактичность и искусство управления князя Щербатова такой многолюдной корпорацией, как университет, и в такое время всеобщего возбуждения, какое было тогда. После князя Щербатова наступает время писаных учреждений и перемена в личном составе министерства народного просвещения. 1860 год прошел еще сравнительно мирно, хотя студенты уже начинали волноваться, но роковым временем для Петербургского университета был 1861 год. В мае этого года были утверждены новые правила для студентов, отменявшие форменную одежду и сдававшие в архив традиционный студенческий мундир с синим воротником, запрещавшие сходки и ограничивавшие число освобождаемых от платы за лекции.

Правила эти совпали с назначением министром народного просвещения моряка, адмирала Путятина. Попечителем же был сменивший князя Щербатова кавказский генерал Филипсон. В автобиографии Костомарова²⁵ сделана такая характеристика Путятина и Филипсона: «Назначили нового министра народного просвещения Путятина. Он позвал к себе профессоров и начал читать им грозную речь: «Знаю, ваше дело! (это было после шествия в Колокольную). Между вами есть такие, которые волнуют студентов! Я доберусь, разберу эти дела! Вы понимаете, господа, я говорю откровенно!» О Филипсоне же Костомаров приводит отзыв генерала Ребиндера: «Попечитель Филипсон — добрый малый, но это просто несчастная подставная палка!» Не знаю, насколько безошибочна эта характеристика, по крайней мере, о подобном приеме министром профессоров ни слова не говорит г. Спасович в своей статье о Петербургском университете. Граф Е. Ф. Путятин, моряк школы Лазарева и его любимец, известен заключением торгового договора с Японией в 1854 году и Тяньдзинского трактата с Китаем в 1858 году. Генерал Г. И. Филипсон — офицер Генерального штаба, служивший на Кавказе у Раевского и пользовавшийся его доверием. Этими ссылками я хочу сказать, что и Путятин и Филипсон не были рядовыми генералами, взятыми из строя. Мало того что Путятин не был рядовым генералом, но у него была точно определенная программа, с которой он вступил в управление министерством. Граф Путятин желал преобразовать университеты в закрытые заведения по

английскому образцу, дарового высшего образования он не допускал, чтобы не заставлять бедный народ платить за образование людей состоятельных²⁶. Это, несомненно, была программа очень определенная. Все несчастье программы заключалось в том, что она готова была обрушиться на университет внезапно и что исполнителями ее явились военные люди, и по воспитанию, и по роду занятий совершенно чуждые университету, но зато очень способные применить к нему приемы той школы, в которой они воспитались: граф Путятин — черноморской школы адмирала Лазарева, а генерал Филипсон — кавказской школы Раевского. Как скоро реформа университета и высшее его управление впади в полную зависимость от военных взглядов и привычек, не могли не явиться и те последствия, которые явились.

В течение лета 1861 года, когда занятия в университете прекратились, составлялись новые правила для студентов.

Правилами этими сразу вычеркивалось все, к чему студенты уже привыкли при князе Щербатове. Ими запрещались сходки, упразднялись публичные лекции, которые читали профессора для увеличения средств студенческой кассы, упразднялись концерты, которые тоже давали порядочный доход, библиотека и касса подлежали закрытию, студенческая корпорация упразднялась, наконец, каждый студент обязан был взять матрикулы. Сами по себе матрикулы не заключали ничего такого, что могло бы привести университет в возбужденное состояние. Это были особые книжки, служившие видом на жительство и в которых помещались правила поведения студентов и вообще, так сказать, студенческая конституция. Но студенты обобщили матрикулы с теми запрещениями и ограничениями, которые были введены, и взять матрикулы — значило признать новые стеснительные правила и им подчиниться. Не матрикул не хотели студенты — они не хотели лишиться прав, которыми уже несколько лет пользовались при Щербатове; студенты не могли понять, почему их лишили внезапно этих прав, почему то, что еще можно было вчера, нельзя сегодня. При большем такте и мягкости Филипсон мог бы не довести дела до катастрофы, хотя совсем устранить беспорядки едва ли было возможно. Не нужно было мантий студентов корпоративным самоуправлением, чтобы потом отнять и то и другое внезапно. Тут, очевидно,

ошибка заключалась в отсутствии общей системы для управления университетами, а не в Филипсоне²⁷.

Уже до открытия курсов студенты знали о предстоящих переменах, но новые правила не были ни напечатаны, ни объявлены студентам. Когда курсы были открыты, студенты после молебна составили сходку и отправили депутацию к попечителю просить его прийти на сходку, чтобы пояснить, в чем заключаются новые правила. Попечитель ответил иронически депутатам, что он не оратор, и советовал им заняться науками, а не сходками. Такой ответ, конечно, меньше всего мог успокоить волновавшуюся молодежь. Между тем лекции начались, а вместе с ними каждый день в пустых свободных аудиториях собирались сходки, и с каждым разом волнение росло. Университетская власть растерялась; не зная, как поступить, она сочла лучшим совсем не показываться, а студенты, предоставленные себе, от этого, конечно, не становились спокойнее. Наконец начальство придумало успокоительную меру: оно велело запереть на ключ те аудитории, в которых собирались сходки. Найдя двери запертыми, студенты направились к актовому залу, но и двери актового зала были тоже заперты. Толпа заволновалась, зашумела, надавила на двери, не выдержавшие напора, и хлынула в зал. Началась сходка. Предметом обсуждения был вопрос о бедных студентах, которые по новым правилам не могли слушать лекции даром. Бедным студентам это внезапное установление закрывало университет. Было о чем подумать. Студенты, желая выяснить этот очень важный для них вопрос, послали просить на сходку ректора. Явился Срезневский (Плетнев был за границей); он старался успокоить студентов, просил их разойтись, но ничего из этого, конечно, не вышло. Затем к вечеру, когда университет опустел, попечитель с инспектором и с субинспекторами освидетельствовали дверь актового зала и составили протокол о взломе (для чего был нужен этот протокол?), и по докладу попечителя лекции были прекращены и университет на время закрыт. Все это случилось 23 и 24 сентября.

На другой день, уже с раннего утра, студенты собрались к университету огромной толпой, но в университет никого не пускали. Студенты знали, что университет закрыт, но сколько времени не будут читаться лекции, какие причины закрытия университета, что затем будет,

куда деваться студентам — все это тревожило и волновало молодежь. Никто ничего не знал. Чтобы разрешить недоумение, студенты решили обратиться к попечителю. Хотя Филипсон и был тогда в университете, но велел сказать, что его нет, и кто-то предложил идти к Филипсону на квартиру. Он жил в Колокольной. Толпа, как один человек, тронулась в стройном порядке по набережной, на Дворцовый мост, по Невскому. Это было действительно еще никогда не виданное зрелище. Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется. Пока студенты медленно подвигались, полиция дала знать по начальству, и студенческую процессию встретили в Колокольной с.-петербургский военный генерал-губернатор Игнатьев, обер-полицеймейстер Паткуль и рота солдат стрелкового батальона. Рота эта явилась случайно, она шла занимать караулы, и ее вернули с дороги. Почему потребовалось привлечь в Колокольную вооруженную силу — неизвестно; и так же неизвестно, чем все это могло бы кончиться, если бы не приехал попечитель, в первый раз наконец явившийся для объяснения. Филипсон понимал, как далеко он завел дело. Он старался успокоить студентов, просил полицию и военное начальство не вмешиваться и согласился принять студентов для объяснений, но не на квартире, а в университете, куда и обещал сейчас же приехать. Студенты, помня, как Филипсон уклонялся от объяснений, не поверили обещанию и просили его отправиться в университет вместе с ними. Шествие двинулось обратно с Филипсоном во главе; у Гостиного двора Филипсон сел на дрожки, но его просили ехать шагом, и вся процессия тем же путем, через Дворцовый мост, медленно подошла к университету. Студенческая толпа осталась на улице и на дворе, а Филипсон принял для объяснения трех депутатов. Объяснение заключалось в том, примут ли студенты матрикулы. Депутаты ответили, что если студенты и примут матрикулы, то только потому, что нельзя иначе, но будут ли исполняться правила — они не знают. Чтобы успокоить студентов, попечитель сказал, что лекции начнутся на следующей неделе, и просил разойтись. Толпа разошлась. Ночью были аресты.

Университетское начальство думало, что, арестовав «зачинщиков» и отняв у движения предводителей, оно

прекратит беспорядки. Но вышло, однако, не так. Шествие в Колокольную происходило в понедельник, 25 сентября, а во вторник оно было уже предметом общих разговоров. Арест тридцати студентов не уменьшил, а, напротив, увеличил волнение еще более потому, что некоторые были арестованы по недоразумению или по ошибке. Прекращение лекций, хоть и временное, тоже не заключало в себе ничего успокоительного. Наконец, полторы тысячи студентов, считавших себя участниками этого дела, внесли живой интерес к их судьбе, по крайней мере, в четырех-пяти тысячах семейств, более или менее близких к университетской молодежи и ей сочувствующих. Даже воспитанники других заведений были живо заинтересованы университетским делом, считая себя солидарными со студентами. Дело как бы принимало характер общеучебного дела и еще более расширяло симпатии к студентам. Молодежь (неучащаяся), в особенности офицеры военных академий, тоже принимала горячее участие в студентах. Говорили даже, что и воспитанники военно-учебных заведений собираются на сходки и замышляют демонстрации. Что же касается студентов, то они волновались чуть ли еще не более, чем раньше, и решили опять собраться в университете. Вся эта подготовительная работа происходила во вторник.

По вторникам вечером у профессора Артиллерийской академии, полковника Лаврова²⁸, собирался кружок преимущественно из артиллеристов; собрались и в этот вторник. Конечно, университетская история была главным предметом разговора. Лавров откуда-то узнал, что сделано распоряжение, чтобы в среду у университета была наготове вооруженная сила. Это известие всех очень встревожило. Боялись каких-нибудь нечаянных столкновений, какого-нибудь глупого, непредвиденного обстоятельства, которое могло, однако, привести к последствиям очень печальным и никому не желательным. Чтобы предупредить всякие случайности, Лавров думал, что было бы лучше, если бы между собравшимися студентами было побольше офицеров, что тогда и командиры войск и солдаты будут сдержаннее и не рискнут решительными действиями. План этот был приведен в исполнение таким образом: утром в среду два артиллерийских офицера встали по обеим сторонам Литейного моста, у Литейной, и всех офицеров (академистов) и студентов-медиков, шедших в город, останавливали,

объясняли им, что у университета будет сходка, что явится войско, что студентов нужно выручить, и направляли идущих назад, через мост, на Васильевский остров. Перед университетом действительно собралась толпа студентов, и на этот раз более многочисленная: тут были и студенты, и штатские, и офицеры. Студенты явились, чтобы добиться освобождения арестованных товарищей, а если этого нельзя, то чтобы арестовали всех. Генерал-губернатор, обер-полицеймейстер и министр народного просвещения находились в зале совета, а перед университетом стоял батальон Финляндского полка, жандармы и полицейские. Возбуждение в толпе было сильное, вид вооруженной силы приводил молодежь в экзальтированное состояние, чуть не дошло до столкновения; жандармского офицера, въехавшего в толпу, едва не стащили с лошади; полицеймейстер, полковник Золотницкий, взял одного офицера за руку, и тот обнажил против него саблю; другого офицера генерал-губернатор арестовал и велел солдатам его отвести. Это было нарушением военной дисциплины. Отойдя несколько шагов, офицер скомандовал солдатам: «Налево, кругом марш!» — и солдаты исполнили команду, а офицер ушел. Ни до чего серьезного, впрочем, не дошло, и около трех часов студенты разошлись, а войско возвратилось в казармы. Усиленные патрули ходили до ночи по Васильевскому острову, а ночью снова были аресты. В следующие дни сходки продолжались, и так почти регулярно каждый день; приходила полиция, приходили войска; войска были поставлены в манеже 1-го корпуса, и, наконец, было сделано распоряжение, что университетский двор, сени и нижний коридор подчиняются генерал-губернатору. Университет как бы находился в осадном положении. Так продолжалось до октября. Государь был в Крыму, и все меры против университета принимались генерал-губернатором и графом Путятиным.

В начале октября явилось в газетах объявление министра, которым студенты, желающие продолжать занятия в университете, приглашались взять матрикулы и прислать прошение об этом по городской почте на имя ректора; не приславшие прошений признавались оставившими университет. Распоряжение это было задумано довольно ловко и не могло не внести смуты между студентами. Было очевидно, что прошений поступит немало, и действительно из полутора тысяч студентов пять-

сот обратились к ректору с просьбой о выдаче матрикул. Наступало начало конца, но конец был не простой, а с шумным финалом. В день открытия университета у дверей были поставлены сторожа, не пропускавшие никого без матрикул, но и матрикулистов явилось немного. Человек сорок — пятьдесят ходили как потерянные по коридорам, в аудитории не заглядывали, и лекций не было. То же повторилось и на другой день, и в университете царил полная пустота. Но не то было перед университетом. Здесь собралась огромная толпа студентов — матрикулистов и нематрикулистов, и нематрикулисты, как видно, не теряли надежды одержать верх. И действительно, их энергия и возбуждение оказались настолько заразительными, что более слабые, уже заявившие готовность подчиниться новым правилам, ощутили прилив мужества, стали рвать матрикулы и перешли на сторону непокорных. Волнение росло, и чем все это могло кончиться, предсказать было трудно. Конец волнению положила военная сила. Студентов, стоявших толпою у двери, как наиболее беспокойных, окружили тройною цепью солдат и увели на двор университета через задние ворота со стороны Малой Невы. Студенты шли, не оказывая никакого сопротивления, были веселы и даже довольны. На дворе полиция переписала имена арестованных, и затем их вывели под конвоем из ворот, чтобы вести в крепость. У ворот между тем собралась большая толпа публики и студентов, не попавших под арест. С шумом и возгласами встретила толпа арестованных, одни прощались с ними, другие с криком кидали вверх фуражки, махали платками, наконец, многие требовали, чтобы и их тоже отвели в крепость. Вся эта шумящая толпа была окружена солдатами и уведена в крепость. К сожалению, этот арест не обошелся так спокойно: солдаты, вероятно, были возбуждены, так что пустили в ход приклады, и один из публики получил удар штыком по голове до крови. Это обстоятельство комментировалось затем Петербургом на разные лады. Говорили, что солдаты были очень озлоблены, что чуть не произошла рукопашная стычка, что приклады работали довольно энергически, что одному из арестованных разбили голову прикладом. Так как этими действовавшими солдатами была рота преображенцев, то заинтересованное общественное мнение не поскупилось порицанием и чувством негодования по адресу всего Преоб-

раженского полка. Несомненно, что в прикладах и кровопролитии надобности никакой не было.

Во все время студенческой истории было арестовано человек триста, и так как для всей массы не нашлось места в Петропавловской крепости, то последнеарестованных отправили на пароходах в Кронштадт. Правительство, как видно, относилось к арестованным не строго, да и всей вообще студенческой истории не придавало серьезного значения. Студентов держали в крепости в общих камерах и не стесняли их ни в чем. Арестованные получали книги, газеты, свободно ходили из одной камеры в другую и устраивали разные развлечения: литературные вечера и даже спектакли.

Для следствия над студентами была назначена особая комиссия, в которой депутатом от университета был профессор Андреевский. Следствие продолжалось месяца полтора и закончилось административным распоряжением: пятеро студентов были сосланы, тридцать два студента исключены из университета, остальные освобождены, а университет снова открыт. Но этот открытый официально университет не был уже живым организмом,— это был труп без души. Лекции хотя и начались, но их никто не посещал, и матрикулисты в аудитории не заглядывали; наконец и профессора перестали ходить на лекции. Возбужденное состояние молодежи тоже продолжалось, все были как-то натянуты, во всех, не только в студентах, но и в профессорах, и в университетском начальстве, чувствовалось недовольство, неудовлетворение, тревога; студенты пытались составлять сходки, были настроены враждебно, строптиво и легко переходили к неповиновению. Такой университет, конечно, не мог существовать, и 20 декабря он был закрыт окончательно до пересмотра университетского устава. Вслед за закрытием университета вместо графа Путятина был назначен министром народного просвещения А. В. Головин.

Перед этим окончательным финалом университетской истории случилось еще одно обстоятельство, имевшее для университета, конечно, немалое значение и составлявшее предмет общих разговоров. Университет оставили лучшие его профессора: Борис Утин, Кавелин, Спасович, Пыпин и Стасюлевич²⁹. Это был, во всяком случае, гражданский подвиг, к которому очень сочувственно отнеслось общественное мнение. Причиной отстав-

ки было то, что профессора не видели никакой возможности служить с пользой университету, не имея убеждения, что новый порядок вещей, устанавливаемый графом Путятиным, принесет пользу. В это же время оставил университет и его ректор Плетнев, больше двадцати лет занимавший эту должность. Таким образом, граф Путятин, принявший университет цветущим, полным жизни, сдал его через год в виде развалин.

В университетских историях участвовал мой близкий родственник, с которым мы жили вместе, студент первого курса Е. П. Михаэлис. Это был замечательно даровитый, энергический и глубоко нравственный юноша, каких и в то время, богатое людьми, было немного. Он-то и был тем нервом, через который мы чувствовали биение университетского пульса. Пылкий, умный и смелый, Михаэлис, несмотря на свои восемнадцать лет, сумел выделиться настолько, что был выбран в депутаты, имел влияние и, к сожалению, попал в категорию первых пяти. Вместе со студентом Геном он был выслан в Петрозаводск, а потом, по представлению губернатора Арсеньева, отправлен в Тару, Тобольской губернии. Поводом послужило ничтожное обстоятельство. Устраивалась свадьба одной девушки помимо воли родителей. Такие свадьбы всегда бывали, всегда бывало и то, что подобные свадьбы делались тайно,— не на глазах же тех, кто не позволяет венчаться! И тут венчание происходило за городом, на первой почтовой станции. Был ли Михаэлис только шафером или принимал более деятельное участие (что при его характере и чувствах было возможно), послужило ли поводом то, что Михаэлис выезжал из города, чего он не имел права делать,— но эта тайная свадьба, не имевшая никакой связи с университетским движением, за которое Михаэлис попал в Петрозаводск, привела его в Тару. Ссылка в Сибирь, да еще в Тару, восемнадцатилетнего юноши, взятого с первого курса, уж конечно не могла помочь раскрытию для юноши горизонтов будущего. Так Михаэлис в Сибири и остался.

С даровитым Михаэлисом повторилась наша старая-престарая история. Никогда Россия не была богата умственными людьми, и в то же время она никогда не берегла и не ценила своих даровитых и способных людей, точно их у нас такие неистощимые запасы, что экономничать ими вовсе и не нужно. Наше внутреннее на-

родно-государственное хозяйство было всегда только пространственное, и как при Иване III мы только собирали и укрепляли землю, так то же хозяйство продолжаем и до сих пор. Периода интеллектуального, когда все силы страны направляются на развитие ее умственных средств, для нас не наступило; мы все еще пока растем, но не умнеем; мы даже боимся сильного и энергического умственного возбуждения, какое было у нас, например, при Петре, в начале царствования Александра I и в шестидесятых годах; скоро утомляемся и затем уходим в реакцию. Постоянно кипучую жизнь, какую ведут другие европейские народы, мы вести не можем, и в нашей так называемой интеллигенции есть пока очень небольшая часть, способная на постоянную и энергическую, поступательную и критическую умственную работу. У Гейне есть одно очень меткое замечание относительно Франции первой революции. Гейне говорит, что Франция отрубила тогда свои лучшие головы и, когда потом ей нужно было думать, у нее не нашлось для этого способных голов. Мы тоже всегда боялись лучших голов и потому всегда оставались с худшими. Все это я говорил по поводу Михаэлиса, способности которого нельзя было не ценить; из него, несомненно, вышел бы превосходный профессор-натуралист и выдающийся ученый, но судьба устроила иначе. Именно судьба. Петрозаводская ссылка его могла бы иметь и другой конец, если бы в конце письма к государю, написанного Михаэлисом, не вышел случайно чернильный жид (клякса.— *Сост.*). Эту историю я слышал потом, уже много лет спустя, от князя А. А. Суворова. Я жил тогда в Кадникове, куда приехал Суворов. После покушения 4 апреля (Каракозова) Суворов оставил петербургское генерал-губернаторство и был замещен генералом Треповым. Приезжал ли Суворов в Вологодскую губернию для инспекции войск или как вологодский помещик, не помню, но я нашел его в передней в мундире, с орденами, принимавшим ординарцев. Князь Суворов встретил меня дружески, точно он был рад увидеть человека, которому мог передать, чем болела его душа. А душа у него болела. Суворов увел меня в гостиную (ему была отведена квартира у помощника исправника), сел на диван, посадил меня рядом, на кресло, и стал припоминать все недавние события, нити которых так или иначе были в его руках, как генерал-губернатора. Выстрел Каракозо-

ва и затем недоверие, выраженное к управлению Суворова, глубоко его обижало. Это была еще совсем живая, сочащаяся рана, не дававшая ему покоя, и он, точно нарочно, бередил ее. Ему было больно и обидно, что были предпочтены ему менее преданные. В особенности не любил Суворов Муравьева и не скупился на эпитеты, для него не особенно лестные. «Я люблю государя, я предан ему, я глубокий монархист,— говорил Суворов,— но...» — и затем он относился порицательно ко всей системе Муравьева, к его жестокости и к запоздалым мерам преследования. «Лаврова,— говорил Суворов,— надо было сослать в 1862 году, а не теперь; я ничего не мог сделать, ведь это случай (покушение Каракозова), у меня и средств не было тех, а разве они предупредили покушение Березовского? Я поступал иначе; мне доносят, что подготавливается движение, я посылаю за Чернышевским (передаю буквально), говорю ему: «Пожалуйста, устройте, чтобы этого не было». Он дает мне слово, и я еду к государю и докладываю, что все будет спокойно. Вот как я поступал!» (Еще раз повторяю, что пишу с буквальной точностью, слышу эти слова как бы теперь.) Затем воспоминания перешли к университетским волнениям. Часть их свершалась уже при Суворове, сменившем Игнатьева. К студентам Суворов относился с замечательною мягкостью и добротой. Он искренно любил молодежь, был всегда внимателен к ее нуждам, помогал чем и в чем мог, и студенты платили Суворову любовью и популярностью. Михаэлиса Суворов знал. На одной из сходок Михаэлис (еще с кем-то) был выбран депутатом и послан к Суворову для переговоров. Суворов обещал исполнить желание студентов, если Михаэлис даст слово, что сходка разойдется и не произойдет беспорядка. Михаэлис дал слово, явился в университет, с бочки или с дров произнес речь, и сходка разошлась. Своим умением ладить со студентами Суворов тоже гордился, а весь его секрет заключался в том, что он с ними говорил по-человечески и не боялся вежливостью и гуманностью уронить свое достоинство и авторитет власти. Когда мы вспомнили о Михаэлисе, Суворов рассказал мне историю о злополучном чернильном жиде, изменившем всю судьбу Михаэлиса. Не явись случайно этот жид, Михаэлис был бы возвращен в Петербург и не попал бы в Тару. Михаэлис и Ген написали из Петрозаводска письмо к государю с про-

сьбой о позволении вступить снова в университет и, по торопливости или небрежности, сделали в конце письма чернильное пятно; вместо того чтобы переписать письмо, они слизнули пятно языком. Прочитав письмо и увидев в конце его пятно, государь остался недоволен и не дал просьбе движения. «Государь не привык получать такие письма», — заметил Суворов серьезно.

XIV

Осенью или зимою 1860 года³⁰ приехал из Москвы в Петербург с письмом от А. Н. Плещеева к Михайлову Костомаров (Всеволод Дмитриевич, племянник историка Костомарова)³¹. Тогда, конечно, никто не думал, что знакомство это будет таким роковым. А. Н. Плещеев рекомендовал Всеволода Костомарова как поэта и переводчика Гейне и просил Михайлова оказать ему содействие и помочь в чем можно (так мне помнится). Рекомендация была чисто литературная. Но у Костомарова была и своя рекомендация, и совсем иного свойства. Он привез напечатанное на отдельных листках совсем нецензурное стихотворение, внизу которого стояло пропечатанное всеми буквами «Костомаров». Это было тогда настолько ново и настолько смело, что не могло не казаться чем-то выдающимся, особенно когда Костомаров объявил, что и печатал он сам, что у него дома, в Москве, есть шрифт и все, что нужно для печатанья. Не припомню, начали ли появляться уже тогда в Петербурге прокламации, или произведение Костомарова было первым запрещенным плодом этого рода.

Впоследствии (да и в это время, когда они стали появляться) значение прокламаций было преувеличено. Очень может быть, что, если бы они свершили свой полный цикл, получился бы иной результат, но ничего этого не случилось. В Петербурге явилось несколько прокламаций: «Великорусс», «К молодому поколению», «Молодая Россия» и еще какие-то мелкие; были, говорят, прокламации на Волге. У прокламаций не было ни общего центра, ни общего руководства, это были, скорее, партизанские действия неизвестных отдельных кружков, не имевших никакой связи. По своему содержанию прокламации не отличались тоже ничем, что бы заставляло бояться за их воздействие, но они очень волновали общество, и волновали не содержанием, а просто актом

смелости, который они собой выражали, и риском опасности, которую вызывала эта смелость³². Я говорю, собственно, об обществе. Те, кто писал и печатал прокламации, вероятно, имели в виду не это одно, а хотели и пропагандировать известные идеи или выяснить народу условия и обстоятельства предстоящего ему освобождения. Такою, вероятно, и была прокламация «К народу», найденная у Костомарова наполовину напечатанной. Я, впрочем, не знаю, за что судился Костомаров и за что он был разжалован в солдаты. В свои приезды из Москвы Костомаров жаловался на брата, что тот хочет на него донести и раз даже просил сто пятьдесят рублей, которые брат требовал за молчание. Очень может быть, что ничего этого не было, но тогда Костомарову верили. Был, впрочем, слух, что на Костомарова донес брат. Во всей костомаровской истории было что-то темное³³.

Костомаров был уланский корнет и, несмотря на военную форму, имел как бы подавленный, несколько жалкий вид; в нем чувствовались беднота и не то какая-то робость, не то какая-то зависимость. Вообще он на свое положение жаловался и, как видно, очень нуждался. У Костомарова был узкий кверху и убегающий назад, совершенно ровный, без возвышений, лоб и под гребенку остриженная голова. Костомаров обыкновенно смотрел вниз и редко заглядывал в глаза, а если это и случалось, то он сейчас же опускал глаза книзу. Разговаривал Костомаров мало, да и говорил вообще немного и имел вид человека молчаливого и сосредоточенного. На меня эта молчаливость, глаза, опущенные книзу, и убегающий, узкий, гладкий лоб производили впечатление силы и решимости. Нужно думать, что такое впечатление производил Костомаров и не на меня одного. Во всяком случае, ему верили, его жалели, ему старались помочь и помогали в действительности. В зиму 1860/61 года Костомаров приезжал в Петербург раза четыре.

Летом 1861 года мы с Михайловым уехали за границу, сначала в Наугейм, на воды, потом я уехал в Париж, а Михайлов — в Лондон³⁴. Из-за границы Михайлов вернулся месяцем раньше меня. Я приехал только к сентябрю, к началу лекций, и узнал от Михайлова, что он виделся несколько раз с Костомаровым. В эти свидания Михайлов не находил нужным ничего скрывать от Костомарова и даже дал ему один экземпляр привезен-

ной Михайловым из Лондона прокламации. Затем прошел слух, что Костомаров арестован, но за что, никто не знал. Обвиняли брата. Арест Костомарова прошел незаметно, потому что никто Костомарова не знал, но Михайлова этот арест кольнул в сердце и заставил тревожиться. Он как бы увидел уж над собою тучу, и предчувствие его не обмануло.

Прокламация «К молодому поколению» была распространена с большим шумом и с замечательной смелостью. В это «прокламационное время» прокламации вообще распространялись с большой смелостью и довольно открыто. Случалось встречать знакомых с оттопыренными боковыми карманами, и на вопрос: «Что это у вас?» — получался совершенно спокойный ответ: «Прокламации», точно это какое-нибудь дозволенное и даже одобренное произведение печати. Или у вас звонят. Вы отворяете дверь и видите знакомого, который, не говоря ни слова и даже делая вид, что не узнал вас, сует вам в руку пук прокламаций и торопливо уходит с таким же инкогнито. Прокламации раскладывали в театре на кресла, в виде афиш, приклеивали к стенам в концертных залах, совали, как рассказывают, даже в карманы; а про прокламацию «К молодому поколению» говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево. Наконец, прокламации рассылались по почте. С особенной смелостью распространялась и прокламация «К офицерам». Она была распространена в Христову заутреню и, как рассказывали, раздавалась даже в церквах. Я уже говорил, что этого рода мелкие прокламации были просто актом смелости и производили впечатление хлопающих петард. По отношению к обществу они не имели никакого значения.

На другой день после распространения прокламации «К молодому поколению» у Михайлова был обыск, очень тщательный, окончившийся только к седьмому часу утра. Ничего компрометирующего найдено не было. В числе лиц, производивших обыск, был молодой и благовидный господин в штатском, с бриллиантовым перстнем на пальце. Господин этот прямого участия в обыске не принимал, так что роль его казалась несколько таинственной. Дня через два таинственный человек обогнал меня на Миллионной, он ехал в эгоистке³⁵, на сером рысаке. Через несколько времени мне нужно было быть

у Суворова, и, когда начался прием, вошел этот самый таинственный человек, но уже не в штатской, а в полицейской форме и с «Станиславом» на шее. Суворов подошел к нему, поговорил и отпустил. Таинственным человеком оказался известный в то время сыщик Путилин, способностями которого теперь думали пользоваться в политических дознаниях³⁶.

По окончании обыска лица, его производившие, были как бы в нерешительности, как им поступить. Была написана записка, послана куда-то с жандармом, прошло более получаса томительного для всех ожидания, но наконец жандарм вернулся с ответом. Михайлова просили одеться и увезли. Вечером я поехал к Добролюбову и передал ему все подробности обыска и ареста.

Арест Михайлова произвел большое впечатление, особенно в литературном кружке. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя. Арест Михайлова был, во всяком случае, событием крупным и действием серьезным, возбудившим тревогу и боязнь за его судьбу. Дня через два или три у графа Кушелева собрались почти все петербургские литераторы, чтобы обсудить это дело, посоветоваться и предпринять что-нибудь в пользу Михайлова. Толпа была большая, по крайней мере человек до ста, совещались в бильярдной и решили подать министру народного просвещения (печать состояла тогда в его ведении) петицию от сословия литераторов, с просьбой принять участие в судьбе Михайлова, и если в действиях его есть что-нибудь несомненно подвергающее его ответственности, то к следствию назначить депутата от литераторов³⁷. По крайней мере, в таком виде у меня удержалось в памяти наше решение. Прошение к министру поручено было составить Громеке, который тут же, на бильярде, редактировал его, и редакция была одобрена. Громека был жандармский штаб-офицер, литератор и отличался энергическим, сильным стилем. Это тот самый Громека, о котором Добролюбов сказал, что он:

...с силой адской
Все о полиции писал.

С такой же «силой адской» было составлено и наше прошение.

Чтобы представить его министру, были выбраны депутатами граф Кушелев, Краевский и Громека. На вто-

рой или на третий день депутация отправилась к министру и просила о себе доложить. Путятин, уже достаточно искушенный университетскими историями³⁸, попросил к себе в кабинет одного графа Кушелева. Когда Кушелев объяснил, что он не один, а что с ним и другие депутаты, явившиеся от сословия литераторов с просьбой принять участие в судьбе Михайлова, то Путятин ответил, что «сословия» литераторов в России нет, но просьбу принял. Понятно, что для Михайлова полезных последствий она никаких иметь не могла, но зато имела неприятные последствия для депутатов. Государь велел посадить их на одну или две недели (кажется) на гауптвахту, но потом простил.

Через неделю прошел слух, что Михайлов во всем сознался и затем был передан суду сената.

Михайлов содержался в крепости, и содержался очень хорошо. Свидания с ним, конечно, никому не разрешались; но дозволялось посылать ему книги, съестное, папиросы. Так как большинство этих предметов проходило через мои руки и доставлялось женщинами, то не думаю, чтобы было преувеличением, если я скажу, что Михайлов, конечно, во всю жизнь не ел столько рябчиков и всяких родов варенья, сколько ему теперь посылалось. Вообще он вызывал к себе большое сочувствие, тем более что по роду обвинения было уже ясно, что может его ожидать. Сибирь и каторжная работа, предстоявшие Михайлову, леденили кровь даже при одном упоминании о них. Михайлов же был очень слабого сложения и страдал болезнью сердца. Понятно, насколько близкие к нему люди старались принять заблаговременно меры, чтобы по возможности облегчить ему хотя бы только путешествие по Сибири. Но для этого требовались средства, а их у Михайлова не было. И вот в разных кружках пошла подписка, в энергии и успешности которой мужчины соперничали даже с женщинами. Женщины, однако, я думаю, были все-таки энергичнее. Они, например, собрали сто рублей серебряными пяточками, чтобы Михайлов не нуждался в дороге в мелких деньгах.

Суд над Михайловым происходил очень торжественно; торжественность заключалась уже в одном том, что это был суд сената. Но, кроме того, этот первый, давно уже не виданный обществом суд по политическому преступлению и над человеком известным, и в ту пору об-

щего возбуждения, когда волновали общество еще и университетские истории, не мог не повышать впечатлительности и без того уже наэлектризованного общества. Волновалась, конечно, больше всего молодежь. В день суда у ворот Галерной, в самых воротах и на задней лестнице сената в этих воротах стояла толпа молодежи и не молодежи, ожидая, когда привезут Михайлова, и расходилась только тогда, когда Михайлова опять увозили в крепость.

Дело Михайлова шло быстро и кончилось в два месяца. Сенат приговорил его к пятнадцати годам каторжной работы в рудниках, но государь помиловал и уменьшил срок до семи лет³⁹. Теперь наступило время снаряжения Михайлова в дорогу. Я составил записку и отправился с нею к Потапову, управляющему III отделением. В записке я объяснял, что у Михайлова нет никого в Петербурге родных, кто бы мог принять участие в его судьбе, что он слабого здоровья, что длинный сибирский путь зимою может быть для него гибелью и что поэтому я, как самый близкий человек к Михайлову, прошу дозволить мне доставить ему вещи, необходимые на дорогу. Потапов, прочитав записку, взглянул на меня вбок и сказал: «Вы, кажется, жили с Михайловым в одном доме?» Я поклонился, но ничего не ответил (я жил с Михайловым в одной квартире). Разрешение Потапов мне дал. Я купил хороший зимний троичный возок и массу теплых вещей и все это доставил куда следует. Кроме того, Михайлову был сшит ватный нагрудник, простеганный в клетку, и в каждой клетке была защита рублевая бумажка, и их было, кажется, сто; купил Евангелие, в крышках переплета которого были заклеены тоже деньги. Это делалось потому, что каторжным денег иметь при себе нельзя, а нагрудник и Евангелие иметь можно. Нагрудник и Евангелие я доставил, для передачи их Михайлову, крепостному коменданту.

Время отправления Михайлова приближалось, и хотя я и знал, что по закону дворяне от кандалов освобождаются, но для большей уверенности, что это так и будет, поехал переговорить к Суворову Суворов никак не соглашался отправить без кандалов, сколько я ни ссылался на закон, стоял на своем и указывал на декабристов, которые отправлены были в кандалах. Оставалось, конечно, только подчиниться. В этих хлопотах с отправкой мне случилось не раз бывать у Суворова, ко-

торый делал все, что он мог, чтобы облегчить положение Михайлова; такого доброго, мягкого и простого в обращении генерала мне еще не случалось встречать. В последнее посещение, когда я просил разрешения проститься с Михайловым, Суворов мне говорил: «Знайте, что, если будет какое-нибудь покушение, чтобы освободить Михайлова, жандармам отдано приказание его застрелить». Я понимал, что Суворов пугает, но ответил, что Михайлова никто освобождать не хочет, да и прежде, чем освобождать, нужно его спросить, захочет ли он, чтобы его освобождали. Но тем не менее Суворов принял меры предосторожности, и Михайлов был вывезен из Петербурга в крытых санях, и только со станции Шальдихи (за Шлиссельбургом) Михайлова повезли в его возке и обычным порядком — с жандармами.

В то время о Сибири знали по «Запискам из Мертвого дома»⁴⁰, и этого, конечно, было вполне достаточно, чтобы бояться за Михайлова. И я поехал к Суворову просить его написать к местным властям, чтобы Михайлову было оказано возможное снисхождение. Суворов обещал и написал письма к соответственным властям (к кому именно — я не знаю). Письма эти помогли Михайлову, но вместе с тем породили и некоторые недоразумения, имевшие печальный конец, — не для Михайлова, конечно, свершившего дорогу спокойно и благополучно. Теперь прошло уже четверть века с тех пор, но не только теперь, когда все страсти давно уже успокоились, но и тогда нельзя было не отнестись с полной признательностью ко всем лицам, от которых так или иначе зависела судьба Михайлова. Я уже не говорю о Суворове — этом действительно добром, гуманном и вполне культурном человеке, сочувствовавшем каждому человеческому страданию; но и все остальные властные лица, от высших до низших, начиная с крепости и кончая сибирскими властями, относились к Михайлову с бережливостью и внимательностью, которая делала им большую честь. Такое уж было время.

Прибавлю, что Герцен не одобрял прокламации «К молодому поколению», и мне думается, что он боялся за Михайлова.

В то время как дело Михайлова и судьба его привлекали к себе общее внимание, Костомаров сидел в заключении, и никто не интересовался ни им, ни его судьбой. Прошло года полтора, Костомаров был разжалов-

ван в солдаты и отправлен на Кавказ. Но он был отправлен способом не совсем обычным: его сопровождал жандармский офицер, капитан Чулков. В Туле Костомаров заболел, и, вероятно, настолько серьезно, что почувствовал потребность написать откровенное и задушевное письмо к близкому ему человеку. Этим близким лицом оказались не мать, не кто-нибудь из родных его, а совершенно посторонний человек, некто Николай Иванович Соловьев⁴¹. Соловьев, как показывал Костомаров, был почтенный старик, у которого Костомаров брал уроки греческого и санскритского языков. Старик полюбил Костомарова, который тоже к нему привязался. Вот этому-то почтенному и близкому по душе человеку Костомаров излагал свой взгляд на внутреннее состояние России и на ее общественное движение последнего времени. Костомаров в порядках России не находил ничего такого, что могло бы вызывать против них неудовольствия, а тем более протесты. Главную причину, порождавшую смуту в умах и приводившую к беспорядкам, Костомаров усматривал в поведении отдельных лиц. И между ними он считал особенно виновными Чернышевского, которому приписывал прокламацию к народу (наполовину набранную Костомаровым и у него арестованную), Михайлова, написавшего прокламацию «К молодому поколению», и меня (следовало обвинение тоже в прокламации). Это письмо, адресованное «До востребования» в Петербург, имело несчастье попасть не по своему адресу и дало основание для двух новых судебных дел⁴². Дел этих я здесь касаться не стану, потому что имею в виду сделать только характеристику Костомарова.

Для выяснения личности Николая Ивановича Соловьева были сделаны справки, и в Петербурге оказались три Николая Ивановича, и все они Соловьевы, и все они надворные советники (как и тот, к которому писал Костомаров), но когда их показали Костомарову, а Костомарова им, ни Костомаров не признал их знакомыми, ни они Костомарова. Очень может быть, что тот Соловьев, которому писал Костомаров, не был лицом мифическим; но, во всяком случае, во время справок его в Петербурге не оказалось. Да и для чего бы Костомарову изобретать мифического корреспондента, когда то, что он писал, он мог бы написать и матери и брату, хотя бы даже и тому, который на него донес. Ведь сущность

заклучалась не в лице, которому писалось, а в письме, которое писалось. Костомаров, когда я уже потом стал всматриваться в него, особенно после некоторых фактов, показался мне не в «порядке». Откуда его озлобление, мрачное, подавленное, сосредоточенное состояние и выдумки, похожие на бред человека, страдающего галлюцинациями? Он просто сочинял обвинения и выдумывал чистые несообразности, которые всем и сразу были очевидны. И все это он делал с какой-то упрямой, злой настойчивостью, по своему обыкновению опустив глаза вниз, точно он в этом злом упрямстве черпал мужество обвинения и боялся, что оно исчезнет, если он взглянет в глаза. И странное дело, этот обвинитель возбуждал сострадание: в нем чувствовалось что-то ноющее, какая-то внутренняя болеющая точка. Вся мрачная, молчаливая подавленность, которая замечалась и ранее в Костомарове, приняла двойные размеры, и в то же время ни одной искры теплого чувства не выскакивало теперь из его мрачного, холодного и злого взгляда. Костомаров точно весь застыл, закалился и ушел в себя. Раз мы стояли с Костомаровым на двух противоположных концах довольно длинного канцелярского стола, оба должны были писать по очереди. Чернильница стояла у моего конца. Когда очередь дошла до Костомарова и он потянулся с пером к чернильнице, я взял ее и подвинул к нему. Это была даже и не вежливость: я видел, что человеку неудобно, и просто сделал то, что он бы и сам мог сделать. Костомаров взглянул на меня таким стальным, острым, злым взглядом, каким нормальный человек в подобном случае никогда бы не взглянул⁴³. Причины для ненависти ко мне у Костомарова быть не могло. Лично у меня с Костомаровым почти не было никаких отношений, и не знаю, сказал ли я с ним во все наше знакомство больше десяти слов. А между тем именно я стал главным «объектом» его фантазии и озлобления. Так этот вопрос и остался для меня темным.

Главными отличительными чертами характера Костомарова, как мне кажется, были трусость и хвастливость. Хвастливость довела его и до либеральных стишков, и до их печатания. Вообще это натура была придавленная, приниженная и пассивная. И вот когда уж и так урезанная жизнь Костомарова кончилась заключением и солдатчиной, этого оказалось слишком, чтобы он

мог вынести без протеста, но протеста в форме жалобы и обвинения других. Это обыкновенная форма протеста всех слабых людей, привыкших повиноваться чужой воле. Слабый и неумный, Костомаров, потеряв душевное равновесие, потерял и способность правильно понимать свои поступки. Личное чувство, и так уже в нем, должно быть, безмерное, в заключении развилось еще больше; он преувеличил свое несчастье и озлобился. Неоспоримо, что это был человек больной и несчастный. Теперь уже его нет в живых. Костомаров не пережил шестидесятих годов, в которых не нашел себе места.

XV

Как я уже сказал, в 1860 году П. И. Вейнберг начал издавать «Век». П. И. Вейнберг рассчитывал на «имена» и пригласил в сотрудники солидных ученых и известных писателей. Но в то время требовались от публицистического органа нерв, чуткость и живое слово, а не солидная ученость — такое уж было живое время; в головных же ученых нерва не было. Я приведу отзыв о «Веке» Добролюбова (в «Свистке») и сделаю это, чтобы было виднее, чего публицисты того времени требовали от публицистики. «В нынешнем году,— говорит «Свисток»,—водворился новый «Век» в русской литературе. О наступлении его возведено было задолго до нового года; появление его было приветствовано громкими рукоплесканиями. Все стремились к этому журналу, в котором обещалось верное и нелицеприятное служение науке и полное уважение к высоким принципам современной цивилизации. Все журналы почтительно обратили свои взоры на нового собрата, в редакции которого участвовали такие лица, как К. Д. Кавелин, А. В. Дружинин, В. П. Безобразов и П. И. Вейнберг. После выхода первого номера написано было даже восторженное стихотворение, неизвестно почему не появившееся в печати:

Новый век
Зреет все, что было зелено,
Правде зиждется престол;
Век Дружинина, Кавелина,
Безобразова пришел.
Век Пожарского и Минина.
Дружбу князя с мясником,
«Век» Кавелина, Дружинина
Возвратил нам целиком.

В «Веке» Вейнберга, Кавелина
Будет всюду тишь да гладь,
Ибо в нем для счастья велено
Все законы изучать.
«Век» счастливый Безобразова
Бедняка обогатит,
Зрячим сделает безглазого
И банкроту даст кредит...
Будет зрело все, что зелено,
И свершится человек...
«Век» Дружнина, Кавелина,
Чернокнижникова «Век».

В шуточной форме Добролюбов высказал серьезную правду. О зрелости и незрелости уж и тогда много говорили, а от «имен» в журнале могла получиться только «тишь да гладь». Но тогда, кажется, и ее не дали солидные служители науки, и «Век», начавший громко и имевший в первый год несколько тысяч подписчиков, на второй имел их сотни.

Как и кому пришла мысль издавать артельный журнал, не припомню, но в 1861 году образовалась такая артель все из молодых писателей, и после разных совещаний было порешено приобрести «Век» от П. И. Вейнберга. Пайщиков набралось тридцать два человека. Тут были Г. З. Елисеев, Щапов, А. Потехин, Н. и А. Серно-Соловьевичи, А. Н. Энгельгардт, Стопановский, Курочкин (остальных помню без уверенности). Каждый пайщик должен был внести сто рублей. Редактором единогласно был избран Г. З. Елисеев, у которого (он жил тогда на Литейной, близ Невского) и собирались раз или два раза в неделю все пайщики. Скажу несколько слов о двух выдающихся пайщиках нашей артели, потому что говорить о них едва ли представится еще случай, — о Г. З. Елисееве и Щапове.

Подробности жизни Григория Захаровича Елисеева мне известны недостаточно точно, да не в них и дело⁴⁴. Последнее время до приезда в Петербург Григорий Захарович был профессором русской истории в Казанской духовной академии. Из воспоминаний Шашкова я знаю, что рациональное, живое слово Г. З. Елисеева среди царившей до него схоластики уже прокладывало путь новому умственному движению и создавало новое направление. Шашков, слушавший Григория Захаровича в Казанской академии, считал себя многим ему обязанным. Г. З. Елисеев принадлежит к людям редкого ума, тонкого, пронизательного, понимающего вещи и людей в са-

мой их сущности, насквозь. Это — муж по преимуществу разума и совета, занимающий первое место. По умственному складу, умственным симпатиям и по условиям среды, имевшим влияние на его развитие (Елисеев — из духовного звания и сибиряк), он — разночинец-народник. Своими «внутренними обозрениями» Г. З. Елисеев вносил существенное содержание в «Современник» и затем был главным руководителем и правителем «Отечественных записок» Некрасова. «Мужик», который занимал так много места в «Отечественных записках» и давал им цвет, обязан во всем Елисееву. Конечно, не Елисеев его выдумал, но он его сконцентрировал в журнале, которого был душой, и можно сказать, что Елисееву «мужик» обязан более всего тем, что к нему повернуло общественное мнение и что наконец явилась даже «мужицкая» внутренняя политика. Эта заслуга останется за Елисеевым.

Елисеев много работал и в «Современнике», и в «Отечественных записках». «Внутренние обозрения» и того и другого журнала, которые он, однако, никогда не подписывал, принадлежали ему. Статьи же свои (больше статистические) он подписывал псевдонимом «Грыцько»⁴⁵. В истории русской журналистики Г. З. Елисеев, как крупная, выдающаяся сила, займет одно из видных мест, и если его имя было мало известно обыкновенной читающей публике, то оно было хорошо известно и пользовалось большим уважением в литературном мире и в кругу читателей, к нему (литературному миру) более близком. Теперь Г. З. Елисеев уже оставил журнальную работу, расстроив на ней окончательно свои силы.

Щапов был тоже профессором истории и занял кафедру ее в момент начавшегося уже пробуждения мысли. Щапов принадлежал к тем редким натурам, которые произносят новое слово. Появление его на кафедре русской истории было яркой искрой, блеснувшей в царившем вокруг умственном мраке. Щапов вполне отвечал умственным и нравственным требованиям молодежи, хотевшей служить идее, чему-то благородному, прекрасному, возвышенному и свободному. Всем верилось, что наступило время водворения правды на земле и бесповоротного нового времени, когда не будет больше ни обиженных, ни угнетенных, ни бедных, ни несчастных. Людям, прошедшим бурсу, хотелось больше, чем кому-

побудь, верить этому и стремиться к его осуществлению (Щапов был семинарист). Юристы того времени мечтали явиться защитниками и адвокатами всех несчастных и угнетенных, и их пленял общественный характер их дела, его рыцарская сторона. И вот в момент такого настроения Щапов, в 1860 году, занимает кафедру истории в Казанском университете. Первая его лекция произвела в Казани целое землетрясение, и колебание распространилось по всей России. Лекция эта начиналась так: «Скажу наперед, не с мыслию о государственности, не с идеей о централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на университетскую кафедру русской истории»⁴⁶. Эта простая мысль была высказана с такой силой внутреннего убеждения и с таким воодушевлением (Щапов был фанатической натурой), что по аудитории пронесся гул, все вскочили со своих мест и тесно окружили молодого профессора. После панихиды по Антоне Петрове Щапов должен был оставить Казань, жил некоторое время в нужде в Петербурге, который тоже должен был оставить, и умер в полной нищете в Иркутске <...>

XVI

<...>Шестидесятые годы были не только первой попыткой общественной самодеятельности, но и первой пробой сил — пробой характеров и изучения общественных типов. Этот опыт был бы очень полезен для общества и в будущем, если бы он уж не забылся в настоящем. Многие из того, что находили ненужным, бесплодным, бесцельным и даже напрасно губившим молодые силы, было естественным следствием небывалого простора, который каждый теперь почувствовал. Все это было естественно, неизбежно и необходимо, и ни для кого и никакой опасности тут не было, кроме самих тех, кто пробовал свои силы. Как птицы, начинающие летать, пробуя силу своих молодых крыльев, бравировать опасностью и совершают смелые полеты, так и в шестидесятых годах многое и многими делалось просто потому, что это смелость и что в смелости ради смелости ощущается наслаждение силы. Каждому тогда нравилось нести высоко, гордо и смело голову, чувствуя свое личное достоинство, личную неприкосновенность и относительную свободу. Рядом с первыми попытками свободной мысли и свободного слова это были первые по-

пытки и свободного поведения, и общественной независимости, первые пробные шаги к огульности и разрешению самим обществом того, что оно хотело считать своими вопросами.

И такое направление в отдельных лицах, пытавшихся дать ему общественный характер, не было вовсе следствием недоразумения. Это была общая черта времени, когда все сливались в одну общую силу, стремившуюся к одной цели. Резкого различия между задачами общества и правительства тогда не только не было, а, напротив, и общество и правительство одинаково стремились к одним и тем же переменам. Чтобы провести свои реформы, правительство обратилось к обществу, и весь необходимый для этого многосложный материал был доставлен людьми из общества и разработан ими и печатью. Я уже говорил, что после Парижского мира прогрессивные стремления, охватившие официальную Россию, проникли и в высшие правительственные сферы, а правительственные органы печати взяли на себя воспитательную роль. Так «Военный сборник» и «Морской сборник» совсем вышли из пределов своей прежней программы и ничем не отличались от обыкновенных толстых журналов. Это было простым следствием слияния общественных и правительственных интересов и дружного, совместного движения общества и правительства⁴⁷. В этот-то момент солидарности общества и правительства и были возможны, например, такие факты, что жандармский штаб-офицер Громека участвует не только в газетах и журналах, но избирается редактором петиции литераторов к министру народного просвещения и членом депутации от литераторов. Нельзя сказать, чтобы в подобном союзе совсем не было частички недоразумения, но оно не было тогда еще достаточно ясно. Размежевание началось после, когда участие общества в преобразованиях стало оказываться менее нужным и когда правительство, более обособляясь, заняло положение строго определенное. Заметнее всего стало это в министерстве графа Валуева, когда между официальной и неофициальной средой была проведена уже довольно резкая грань. Теперь, например, занятие литературой считалось несовместным с официальным положением лица и чиновникам было прямо запрещено принимать участие в печати. Громека в образе депутата от литераторов был бы теперь, уж конечно, немислим. Но внача-

ле было не то, даже настолько не то, что лица официальные сообщали о намерениях и секретных предположениях правительства тем, кому это менее всего следовало знать (известное дело о тринадцати тверских мировых посредниках)⁴⁸. Министерские мнения того времени частью под влиянием господствовавшего недоразумения, а частью и вследствие общности интересов утрачивали свой исключительно правительственный, а иногда и секретный характер и становились общественным достоянием. Громадный секретный материал министерства внутренних дел о раскольниках весь по частям был списан и выслан Герцену в Лондон. О размере этого материала можно судить по шести томам «Сборника» Кельсиева. А сколько, кроме того, высылались копии с официальных столичных и провинциальных распоряжений и постановлений, записок, докладов и т. д. и всяких других негласных сведений для напечатания в «Колоколе». Чем секретнее была мера или распоряжение, тем было больше вероятия, что о ней уже будет напечатано в «Колоколе». Достаточно, чтобы в правительственной канцелярии завелся один человек, «охваченный волной времени», чтобы секреты канцелярии перестали быть секретами; а тогда «охваченных» были десятки, сотни в каждом министерстве. Официальный мир и печать не составляли тогда изолированных миров, а заходили один в другой. Это только теперь печать очутилась вне всякой связи с официальным миром (кроме некоторых органов, стоящих зато и среди печати изолированно). Даже между коренными чиновниками (не охваченными) являлись любители, которые частью «так», для себя, а частью удовлетворяя явившемуся спросу, снимали копии с секретных дел и бумаг иногда за несколько лет и составляли сборники, разумеется, не для того, чтобы хранить их у себя.

Кроме канцелярских тайн литературного характера, случались разглашения более серьезные, уже несомненных секретов. Бывало, что лицо, у которого предполагался обыск, предупреждалось об этом письмом. Предупреждались и об арестах. Так, был предупрежден Н. Утин, убежавший за границу, был предупрежден и Александр Серно-Соловьевич, поступивший так же⁴⁹.

Об Александре Серно-Соловьевиче сохранились у меня самые светлые воспоминания. Это был человек ки-

пучей энергии, горячий, скорый, смелый и очень умный. Когда я с ним познакомился, ему было лет двадцать пять. Он был именно способен ехать среди белого дня на рысаке по Невскому и разбрасывать направо и налево прокламации. В Швейцарии, где он поселился, он стал вождем и трибуном рабочих. Когда он умер, швейцарские рабочие поставили на его могиле памятник. Это нужно было заслужить. Вначале Серно-Соловьевич сблизился с Герценом, но потом разошелся и кончил печатной с ним полемикой. В ней Серно-Соловьевич обнаружил большой талант и по едкости, блеску и остроумию брал решительный верх над Герценом. Постоянное сильное возбуждение, экзальтация и жизнь всюду разбили наконец сильный организм Серно-Соловьевича, и он сошел с ума. Вначале болезнь перемежалась со светлыми промежутками, и когда светлый промежуток приходил к концу и наступали приступы болезни, Серно-Соловьевичем овладевало сильное беспокойство и он очень мучился. Но, должно быть, состояние помешательства было еще мучительнее и томило нравственно гордого и самолюбивого Серно-Соловьевича, потому что он просил директора заведения, в котором лечился, сказать ему, когда наступит последний светлый промежуток. И доктор имел неосторожность исполнить просьбу больного. Тогда Серно-Соловьевич поставил на ночь к себе в комнату жаровню с калеными угольями, лег -- и кончилась его боевая, деятельная и рано погибшая, несчастная жизнь. А впрочем, может быть, то был и лучший исход? По энергии темперамента, по пылкой страстности характера, по быстроте соображения, тонкому, ироническому уму и по беззаветности, с какой Серно-Соловьевич отдавался делу, не думая о себе, он был один из очень немногих людей того времени. И эта замечательная, протестующая и реформационная сила не нашла себе места. Мне думается, что подобные люди должны рождаться для таких эпох, как эпоха Петра Великого. Для этого типа людей требуется очень много дела, и крупного дела, а между тем их страшная сила уходит на мелочи, а подчас на дразги.

Н. И. Костомаров рассказывает, между прочим, в своей автобиографии о литературном вечере, устроенном Тибленом в зале Раудзе, на котором читали Чернышевский и Павлов. Вечер был устроен не Тибленом, а другими; Тиблен же был только подставным распоряди-

тслем. Вечер устраивался в пользу учащихся, но известная сумма сбора была выговорена в пользу Михайлова. Воспоминанья Чернышевского о Добролюбове вызвали целую бурю криков и рукоплесканий; но главным центром вечера, против ожидания, оказался профессор русской истории Платон Васильевич Павлов, незадолго перед тем перешедший из Киевского университета в Петербургский. Около того же времени перешел на петербургскую митрополию и киевский митрополит Исидор. Павлов явился в Петербург с репутацией поколебленной. Повод же был такой: показывая знакомым киевские пещеры, Павлов делал объяснения такого рода, что монах, сопровождавший посетителей, счел долгом передать слышанное настоятелю лавры, а тот доложил митрополиту. Вот этот-то самый неблагонамеренный профессор Павлов читал на вечере статью о тысячелетии России. Статья была пропущена для публичного чтения цензурой и ничего особенного не заключала. Но Павлов в чтении изменил знаки препинания, и получился неожиданный эффект. Например, после параллели настоящего с прошедшим у Павлова стояло: «не увлекайтесь» — с простой точкой; в чтении же он произнес «не увлекайтесь» с тремя восклицательными знаками. И так он прочел свою статью. В зале стоял гул, раздавались какие-то вопли неистового восторга, стучали стульями, каблуками. Я сидел за сценой, тут же сидел, между прочим, и Некрасов, ожидая своей очереди. Прибегает взволнованный Егор Петрович Ковалевский и, обращаясь к нам, говорит:

— Удержите его, удержите! Завтра его сошлют!

Но из-за сцены удержать Павлова было невозможно; увлекаясь все больше и больше, он среди оглушительных криков публики кончил чтение и сошел со сцены. Назавтра пророчество Ковалевского сбылось: в двенадцать часов дня Павлов уехал с провожатыми в Кострому. В публике сидел между прочими оренбургский генерал-губернатор Безак. Он попал на вечер по указанию Николая Михайлова (брата Михаила Ларионовича), состоявшего при Безаке чиновником особых поручений. На другой день князь Долгорукий нашел нужным заметить Безаку, что вечер этот имел характер демонстрации против правительства и присутствие на нем официального лица едва ли было удобно.

Зима 1861 года прошла спокойно, без всяких событий, но тем не менее горизонт уже начал заволакиваться и конец года оказался роковым. Отдельные случаи, нарушавшие будничное течение жизни, например кельсиевская история, студенческое движение, прокламации, дело Михайлова, хотя и возбуждали тревоги в некоторой части общества и усиливали осторожность и бдительность правительства, но не обнаруживали пока решающего влияния на его поведение. Но вот летом 1862 года случился пожар Шукина двора⁵⁰, и в Петербурге (и тоже в известной части общества) распространилась паника. Молва, под свежим впечатлением студенческих историй, приписывала пожар студентам. Конечно, это был очевидный вздор, слух мог быть пущен даже намеренно кем-нибудь, но это не разбиралось; при всяких других обстоятельствах пожар прошел бы незамеченным (ведь Петербург видал пожары и больше, при императоре Николае сгорел даже Зимний дворец); теперь он имел роковое влияние на дальнейший ход внутренних мер и привел к последствиям совершенно неожиданным. Решено было принять деятельные меры к устранению причин, будто бы создававших волнения и поддерживавших общество в возбужденном состоянии. А причиной этого считали либеральную журналистику, и в особенности некоторых ее представителей. «Современник» и «Русское слово» были по высочайшему повелению приостановлены на шесть месяцев, и арестован Чернышевский. Обыск у него не обнаружил ничего компрометирующего, и фактических обвинений против него никаких не было. Так прошло шесть месяцев. Но вот в марте 1863 года было послано Всеволодом Костомаровым письмо к Соловьеву «До востребования» (о содержании которого я уже говорил), и затем в дорожном мешке того же Всеволода Костомарова нашлась забытая им записка на клочке бумаги такого содержания: «Вместо *срочнообязанные*, наберите везде *временнообязанные*. Н. Ч.»⁵¹. Для обвинительной власти такой материал представлял очень серьезное значение. Чернышевский отрицал подлинность записки и даже просил разрешить ему доказать это при помощи увеличительного стекла, но секретарями-экспертами было уже признано, что большинство букв тождественно с почерком Чер-

нышевского, и обвинение Всеволода Костомарова было признано доказанным.

Со смертью Добролюбова, исчезновением с литературного горизонта Чернышевского и с закрытием «Современника» кончился первый и самый яркий литературный период шестидесятых годов. Возникшие затем «Отечественные записки» новой редакции были уже иными и по составу сотрудников, и по содержанию, и по направлению. Журнал стал серьезнее, даже учение, но пульса жизни в нем уже не чувствовалось.

О шестидесятих годах наше общество имеет или очень смутное понятие, или ровно никакого, и я думаю, что меньше всего ясно понимали и понимают то время его порицатели. Говорят, что эпоха шестидесятих годов была временем какого-то движения, брожения, временем чего-то нарушившего стройное и правильное развитие жизни и вдвинувшегося в русский прогресс в виде постороннего клина. Все это неверно. Не было тут ни клина, ни брожения, ни нарушения, а был простой ряд логических движений мысли и естественный рост общест-венности. Если в этом росте оказалась деятельной только одна небольшая часть общества, а другая явилась или антитезой этого роста, или просто инертной массой, которая раз по инерции шла вперед, а потом по той же инерции остановилась или даже пошла назад, то это только исторический факт, повторявшийся и не у нас одних. У нас он вышел несколько резче и явился быстрее, обнаруживши слишком большой диссонанс со светлым, радостным и дружным возбуждением, охватившим своей увлекающей волной сначала всех. Но уже с первого движения этой волны, с первой минуты начавшегося освобождения, в стремительном потоке наметилась попятная струйка, которой суждено было наконец разрастись и расшириться настолько, что первоначальный поток и сам смешался наконец с этим обратным течением.

Любопытно, что о шестидесятих годах не появилось до сих пор ни одного известия, в котором бы не слышалось более или менее сильное скрежетание зубов. Все, что о них печаталось у нас и за границей, могло иметь только одну цель — поселить к ним ужас и отвращение, спасти русское общество от их тлетворной, разрушающей силы, изобразить их в виде самума, уничтожающего всякую жизнь и оставляющего за собою только

смерть. В другом виде о шестидесяти годах «друзья» их и не писали. Начиная с Шедо-Ферроти (псевдоним), напечатавшего в 1867 году за границей книжку о русском нигилизме по-французски, и кончая Николаем Карлович (тоже псевдоним), напечатавшим в 1880 году, и тоже за границей, книжку о русском нигилизме по-немецки, не имеется о шестидесяти годах ничего, кроме полемических увлечений и памфлетов⁵². Из отечественных произведений этого рода первое место принадлежит бесспорно полемическим брошюркам г. Цитовича⁵³. Весь этот богатый материал нашел в лице известного Иоганна Шерра трудолюбивого бытописца, изобразившего русский нигилизм (непреренно нигилизм) в последовательной исторической картине, начиная с Петра Великого и до наших дней (Die Nihilisten von Joh. Scherr, Leipzig, 1885), в которой шестидесятие годы занимают одно из звеньев, соединяющих реформы Петра Великого с Первым марта. И по этой-то книжке, переполненной полемическим задором, немцы знакомятся с историей движения общественных идей в России! Если с шестидесятии годами полемизируют Шедо-Ферроти, Николай Карлович или г. Цитович — это понять можно. Сами русские, они, охваченные водоворотом новых идей, которому хотели противиться и в котором не находили себе места, могли увлечься страстью и в пылу борьбы забыть всякое благоразумие в выборе оружия для нападения. Но о чем хлопочет немец Иоганн Шерр, которому, вероятно, нет особенных причин брать близко к сердцу русскую историю и волноваться, что в России явилось земство и гласный суд, о которых он отзывается с полемическим задором сотрудника «Гражданина»⁵⁴. И вот историк, у которого если не Европа, то, по крайней мере, Германия принуждена знакомиться с лучшей порой русского общественного сознания. Образчик шерровской оценки шестидесятих годов читатель может увидеть из следующей характеристики Добролюбова. По словам Шерра, в Добролюбова (Чернышевском и др.) царил полнейший мрак непонимания и безграничного невежества относительно прав и нравов, литературы и искусства и всех благ и приобретений цивилизации. Шерр уверяет, что Добролюбов и писатели его направления признавали только физические, химические и физиологические процессы, а затем не допускали уже никаких психических и моральных мотивов в людских

отношениях — ни брака, ни семьи, ни воспитания, ни образования (усматривая во всем этом только разные виды психического насилия); они оправдывали убийство и воровство, доказывая, что убийца не может не убивать, а вор не может не воровать. Конечно, Шерр (написавший некогда «трагикомедию человеческой истории», по которого потом, во время франко-прусской войны, укусила муха) не повинен в том, что не читал Добролюбова ни одной строчки; но Николай Карлович и те, кто спешил переводить брошюры г. Цитовича на иностранные языки, несомненно, повинны в том, что распространяли в Европе нелепости о писателях, составляющих нашу гордость и занимающих в истории нашего литературного развития одно из первых мест.

Сущность шестидесятих годов заключалась совсем не во внешних событиях или в фактах, придававших тому времени характер некоторого своеволия. Все эти факты, заставлявшие говорить о себе, волновавшие, пугавшие или приводившие иногда к тому, что кто-нибудь то здесь, то там выходил в тираж, не составляли содержания и души времени. Прокламации могли являться, а могли бы и не являться; студенческие истории могли быть, а могли и не быть,— развитие идей и понятий от этого нисколько бы не изменилось. И в появлении новых идей и понятий не было тоже ничего произвольного, ничего такого, что могло бы быть объяснено случайностью, заносом, что походило бы на кафтан с чужих плеч. Некогда новые идеи разносила по Европе французская армия, но к нам никакая армия с новыми идеями тогда не доходила, и никакого умственного подарка мы ни от кого не получили. Все умственное движение шестидесятих годов явилось так же неизбежно и органически, как является свежая молодая поросль в лесу на освещенной поляне. Как только Крымская война кончилась и вседохнули новым, более свободным воздухом, все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало. Думать заставил Севастополь, и он же пробудил во всех критическую мысль, ставшую всеобщим достоянием. Тут никто ничего не мог ни поделать, ни изменить. Все стали думать, и думать в одном направлении, в направлении свободы, в направлении разработки лучших условий жизни для всех и для каждого. Счастливой случайностью или подарком природы бы-

ли, пожалуй, те люди, которые явились как бы представителями или толкователями общих стремлений, выразили их точными идеями и указали точные формулы жизни. Да и то еще вопрос, была ли это счастливая случайность, или она была тоже логической неизбежностью.

Умственное направление шестидесятых годов (я говорю преимущественно о литературном движении мысли), выразившееся наиболее ярко с 1859 по 1862 год, соиздалось не в эти годы. Оно проходит через целый ряд годов и в первый раз в своем зачаточном виде было провозглашено в 1855 году на публичном диспуте в Петербургском университете. Я говорю о публичной защите Чернышевским его диссертации «О эстетических отношениях искусства к действительности». Задолго до публичной защиты о ней было уже известно в кружках, более близких к автору. Пекарский, как всегда не без известной таинственности и некоторого священного трепета сообщивший мне об этом, с волнением ожидал приближения знаменательного дня. Мы отправились вместе. Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер Генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым). Во время диспута Сераковский приходил в самый шумливый восторг и увлекался до невозможности (Сераковский был горячий и увлекающийся человек). Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнев (председательствующий) обратился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!» И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на диссертацию смотрела только аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, а диссертация была положена под сукно. Факультет, впрочем, готов был признать Чернышевского магистром, но об его диссертации

ции считал долгом довести до сведения министра народного просвещения И. И. Давыдова — и утверждение не состоялось⁵⁵. Если Чернышевский готовился для университетской кафедры, то этот диспут, конечно, закрыл ему к ней путь, но зато он открыл ему возможность отдать теперь все свои силы журналистике. Я напомним читателю главное содержание диссертации.

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априористическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке; к тому же знаменателю следует привести и наши эстетические убеждения, говорил молодой магистрант. Наука о прекрасном, эстетика, имеет разумное право на существование только в том случае, если прекрасное имеет самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал всевозможные достоинства и был чужд всех недостатков. Прихотливая строгость требований ведет только к праздности, холодности и пресыщенности. Русские женщины не так красивы, как итальянки, которых рисовал Рафаэль, но как бы ни было велико наше недовольство этим, русские женщины от него не похорошеют. Недовольство действительностью совершенно бесплодно и нелепо, когда оно обращено на красоту, и, напротив того, оно необходимо, когда направлено против житейских неудобств, устроенных умами и руками людей. «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Искусство не может создавать таких чудес красоты, каких не бывает в действительности, и оно должно воспроизводить действительность, то есть все то, что интересно для человека в жизни. Для чего же нужно это воспроизведение? А вот для чего. Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи.

си. Портрет пишется не потому, что черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности. Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над подобными пустяками? Бесполезное не имеет права на уважение. Человек сам себе цель; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. В этом отношении чаще других погрешали поэты. Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека; вообще вся поэзия и изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношей, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человечества свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его — для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, — воспроизвести по мере сил эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действитель-

ности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

Эти прекрасные мысли, выраженные с такой страстной любовью к людям, и до сих пор дышат свежестью и будят в душе благородные чувства. Какой же увлекающей силой они явились тридцать лет назад! Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Вот в чем заключалась влекущая сила этого нового слова, приведшего в восторг всех, кто был на диспуте, но не тронувшего только Плетнева и заседавших с ним профессоров. Плетнев, гордившийся тем, что он угадывал и поощрял новые таланты, тут не угадал и не прозрел ничего; он даже и не предчувствовал, что перед ним восстала во всем своем будущем величии новая идея, которой суждено овладеть всем движением мысли и указать новый путь, которым и пойдет затем наша литература и журналистика. Теперешние читатели могут заметить, что в мыслях, высказанных в диссертации, о которой идет речь, нет ничего нового; они могут сказать: «Мы все это знаем». (Мне случалось встречать таких.) Да, верно, что вы все это знаете, но откуда вы это узнали? Вы, пожалуй, даже и не узнавали ниоткуда; вы просто выросли на литературе и критике, которая вся создавалась уже по этому рецепту и шла этим путем, впервые указанным ей тридцать лет назад.

Явился эта диссертация только шестью-семью годами раньше, когда кончал Белинский и выступал В. Майков, влияние ее, конечно, не перешло бы литературных пределов. Но теперь было другое время, теперь мы уж узнали Севастополь. Общественное внимание хотя и смутно, но уже устремилось к оценке действительности. И момент не мог быть выбран более удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дела у него не может и не должно быть, как только думать о своих делах. Еще внушительнее и необходимее было это указание для художников слова, раньше не знавших, о чем им следует говорить. «Говорите о жизни, и только о жизни,— возвестил им один из лучших представителей своего времени,— отражайте действительность, а если люди не живут по-человечески, учите их жить, рисуйте им картины жизни хороших людей и благоустроенных обществ». Но эта задача была нелегкая и, во всяком случае, очень многосложная.

Россия того времени походила на ту девятистолетнюю бабу, которая во всю свою жизнь ни разу не выходила из своей деревни. Арсенал наших знаний, особенно общественных, был очень скуден. Было известно, что на свете существует Франция, король которой, Людовик XIV, говорил: «Государство — это я», и за это был назван великим; знали, что в Германии, и в особенности в Пруссии, солдаты очень хорошо маршируют, наконец, краеугольное знание заключалось в том, что Россия — страна самая большая, богатая и сильная, что она служит «житницей» Европы, и если захочет, то может оставить Европу без хлеба, а в крайности, если вынудят, то и покорить все народы. Хотя после Севастополя уверенность в непогрешимости некоторых из этих истин и поколебалась, но новых на смену их в наличности не было, и их, во всяком случае, приходилось частью создать, частью найти. Одним словом, работу приходилось начинать с самого начала, а где было это начало и как мало было у общества познаний,— приведу следующий факт, который может показаться даже невероятным. В 1863 году мне довольно часто приходилось беседовать с офицерами, моими судьями. Обыкновенно беседы эти происходили в ожидании приезда презуса * военного суда. В одну из подобных бесед разговор коснулся Стеньки Разина, и один из членов суда (морьяк, капитан-лейтенант) выразил большое изумление, услышав о подвигах Разина. (Это было, конечно, тем изумительнее, что монография Н. Костомарова была уже в продаже.) Тем не менее капитан-лейтенант слышал имя Стеньки Разина в первый раз. (После этой беседы я принялся за популярную статью из русской истории: «Россия до Петра Великого».) Или такой случай. При аресте у меня была взята рукопись, начало перевода первых глав двенадцатого тома «Всемирной истории» Шлоссера, где, между прочим, была глава о «крестьянских войнах». Эта глава дала повод к вопросам, на которые я объяснил, что о «крестьянских войнах» пишет Шлоссер, а я только перевожу двенадцатый том его «Всемирной истории», едва ли имеющий отношение к моему делу. И все это понятно. Я учился около того же времени, как и капитан-лейтенант и другие члены военного суда, а если и не совсем в то время, то, во всяком случае, при том

* Председателя.

же воспитательном режиме. И у нас не включался в курс русской истории Стенька Разин, не был известен и Пугачев, а еще меньше сообщалось о каких-либо народных волнениях. История, которой нас учили, была история благополучия и прославления русской мудрости, величия, мужества и доблестей. Оканчивалась она царствованием императрицы Екатерины II, и все последующее время представлялось нам в виде туманного пятна с большим вопросительным знаком.

Первые статьи «Современника», до возникновения крестьянского вопроса, были чисто популярные и отвечали потребности в ближайших общих знаниях. То был ряд статей о гоголевском периоде русской литературы и затем ряд статей по Шлоссеру из его «Истории XVIII столетия». Завеса, закрывавшая до сих пор от публики политические и исторические отношения Европы, была приподнята. Картина европейских порядков оказывалась поразительною: с одной стороны — беспутство, разврат и мотовство правителей и придворных, с другой — бедствие и нищета разоренных дурным управлением народов представляли резкий контраст и вызывали поучительные сравнения. Публика читала и думала. И в это и в последующее время козлом отпущения служила обыкновенно Австрия. Несмотря на «свободу», которую теперь пахло и на цензуру, оказывалось все-таки невозможным обходиться без иносказательности, и Австрия, явившаяся на выручку писателей, учила и читателей проникательности и уменью понимать иносказания. Постепенно, шаг за шагом (мысль, впрочем, шагала тогда большими шагами), само собою, по инерции общество начинало думать политически и понимать, какую роль в истории народов играют государственные учреждения, то есть порядки, устроенные умами и руками людей. Начавшиеся реформы послужили лишь практическим подтверждением того, что сначала понималось лишь теоретически. Крепостное право было учреждением, уничтожение его было опять новым учреждением; все перемены, какие были предприняты тогда и в крупных и в мелких общественных отношениях, были лишь изменениями учреждений. Все эти перемены только отвечали требованиям жизни, выразителем которых являлся «Современник», занявший передовое место как орган и представитель политического и социально-экономического мышления. «Прекрасное есть жизнь; пре-

красно то, что создаст счастье и довольство» — стало теперь основной формулой, из которой исходило все общественное мышление и к чему стремились все желания. Но прекрасное виделось не в одном том, что делалось, но и в том, что должно было делаться. И такое требование не было ни увлечением, ни мечтой, а простым логическим движением мысли, вставшей на пути перемен: это было просто лозунгом всех тех, кто видел неизбежность и логическую необходимость всеобщего обновления русских условий общественного существования на началах справедливости. Не юноши только рвались вперед (эти всегда рвутся); мне случалось видеть семидесятилетних стариков, для которых «Современник» был «учебником жизни» и руководителем для правильного понимания разрешавшихся тогда вопросов. Особенную услугу оказал «Современник» общественному сознанию своей полемикой с «Экономическим указателем», находившим для крестьян более выгодным быть освобожденными без земли. «Современник» стоял за освобождение с землей, за общину, за круговую поруку. «Современник» же познакомил русское общество с исследованием Гакстаузена. Наконец, «Современник» дал перевод Стюарта Милля с теми поправками и дополнениями, которые были необходимы для лучшего уяснения мыслей Милля или для их поправки⁵⁶. Для сохранения исторического беспристрастия прибавлю, что читался и «Русский вестник» (вначале). М. Н. Катков был тогда англоман и поучал английской конституции, хотя обнаруживал уже направление, стяжавшее ему впоследствии известность не особенно передового борца за общественные интересы⁵⁷. «Полемические красоты»⁵⁸, несомненно, помогли публике понять вернее задачи, которые преследовал орган Каткова. И Европа точно вторила нашему общему стремлению к переменам, точно хотела поддержать в нас энергию преобразований, точно желала предостеречь от влияния доморощенных консерваторов, понимавших под консерватизмом возвращение к крепостным порядкам. Консервативный (конечно, на английский, а не на русский лад) «Times» находил, что России совсем не приходится ссылаться на английский консерватизм. «Мы консерваторы потому, что довольны своими порядками, а чем же быть довольною России? Для нее выход только в переменах», — писал «Times». И путь перемен, на который мы

вступили, привлек к нам симпатии Европы. Европа радовалась, что в реформенной России она найдет прогрессивного союзника и Россия перестанет изображать в европейском концерте консервативный устой и служить поддержкой европейским правительствам против их же собственных недовольных подданных. Европа еще помнила и итальянский поход императора Павла, и Венский конгресс, и Священный союз, и венгерскую кампанию.

Еще шире и общественнее стал захват «Современника», когда толкователем новой эстетической теории в применении к литературной критике явился такой высокоодаренный и полный страстной любви к людям человек, как Добролюбов. Пускай читатель прочтет внимательно его «Темное царство», чтобы оценить, к каким широким выводам привела вновь установленная точка зрения на задачи и цели литературы и искусства. Справедливо было замечено, что Островского создал Добролюбов. Но не Островского он создал, он создал нечто более важное, чем Островский. Бессознательное творчество Островского дало ему повод показать и осветить ту страшную пучину грязи, в которой ходили, пачкались и гибли целые ряды поколений, систематически воспитанных в собственном обезличении. «Темное царство» Добролюбова было не критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие, — это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий. Я не преувеличу, если скажу, что это было эпохой перелома всех домашних отношений, новым кодексом для воспитания свободных людей в свободной семье. Добролюбов был именно глашатаем этого перелома в отношениях, неотразимым, страстным проповедником нравственного достоинства и тех облагораживающих условий жизни, идеалом которых служит свободный человек в свободном государстве. Добролюбов пользовался всеми разнообразными средствами своего замечательного ясного ума и многостороннего таланта, чтобы очистить многовековой мусор нравственных понятий, накопившийся веками. Чтобы раскидать всю эту кучу непреложных истин силвестровского Домостроя, требовался могучий работник, и таким могучим работником и был именно Добролюбов. Замечательно, какую громадную умственную работу свершили эти два человека (Чернышевский

и Добролюбов) каждый в своей области и как, пополняя один другого, они составляли одно законченное целое. Всё они знали, всё они понимали, всё они могли разрешить. Едва ли в какую-либо будущую эпоху умственного пробуждения России будет возможно что-нибудь подобное этому медовому месяцу нашего общественного мышления, этому громадному напору накопившейся силы и той энергии, с какой эта сила стремилась разрушить косность и расчистить ниву для ростков новой жизни.

Добролюбов поражал своей сосредоточенной, замкнутой силой, объективным спокойствием, с каким он обыкновенно держал себя при людях, ему мало знакомых. К нему было вполне применимо замечание Гейне о неподвижном взгляде богов. У Добролюбова был именно этот взгляд богов, неподвижно устремленный как бы в беспредметную точку. Но за этим спокойным, неподвижным взглядом скрывалась затаенно-страстная, сильная и цельная натура, а внешняя спокойная бесстрастность и служила именно признаком громадной внутренней силы. Добролюбов жил в лучшую пору стремлений и надежд русского общества в наступающее светлое будущее. И он верил, и он надеялся, и с этой верой и надеждой он и умер. Я был у него за три-четыре дня до его смерти, когда он лежал у Некрасова. Это был разгар дела Михайлова, общественного возбуждения, вызванного судом над ним и студенческими историями. Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня, но уже неподвижным взглядом богов: его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы. 17 ноября Добролюбова не стало.

Я уже говорил, что смертью Добролюбова и удалением Чернышевского с литературного поприща закончился первый период шестидесятых годов. Это был самый яркий расцвет их. Теперь, во второй период шестидесятых годов, тоже очень короткий, выдвигается «Русское слово», с Писаревым во главе. Любители определенных называли «Современник» журналом молодого поколения, а «Русское слово» — журналом юного поколения. Это определение, конечно, ничего не объясняет. «Совре-

менник» был чисто политическим и социально-экономическим органом, и политическое направление известного оттенка давало ему главный цвет. От этого и читатели его были по преимуществу политические, искавшие общих политических и экономических руководящих понятий. «Русское слово» не было политическим органом. Употребляя для характеристики его не совсем точное, а главное, затасканное выражение, пришлось бы назвать его органом нигилистическим. Цвет ему давало крайнее отрицательное направление, во главе которого выступили Писарев и Зайцев⁵⁹

XVIII

Я познакомился с Писаревым зимой 1861 года у Благосветлова⁶⁰. Благосветлов был уже редактором «Русского слова» и жил в доме Кушелева, в отдельной небольшой квартире (на дворе), где помещалась и редакция.

Раз утром зашел я к Благосветлову. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным, умным лбом и с большими, умными, красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев. Благосветлов назвал нас по фамилии, мы пожали друг другу руки и перекинулись какими-то незначительными фразами.

В ту же зиму я видел Писарева еще два раза на литературных сборищах Кушелева. Писарев совершенно стусевывался в многолюдной толпе, вероятно чувствуя себя начинающим. Тогда никто не предвидел будущего значения этого «начинающего», и сам начинающий, конечно, тоже ничего не предвидел.

В 1862 году я оставил Петербург, и мои личные отношения к Писареву на этом и остановились. В 1863 году, когда я находился в Алексеевском равелине, я узнал от Полисадова (бывшего тогда протоиереем Петропавловского собора), что Писарев находится тоже в заключении⁶¹. И к Писареву, и ко мне отец Полисадов проявлял большое внимание и часто к нам заходил. Писарев не доверял Полисадову и приписывал его посещения причинам, которых нельзя было бы оправдать, если бы

Писарев не ошибался. Полисадов был в этом отношении вне всяких подозрений и держал себя умно, с тактом и осторожно (по крайней мере, таким я его помню). От Полисадова я знал, что Писарев находился постоянно в сильно возбужденном состоянии. Был даже такой случай. Раздражившись на Полисадова, Писарев выгнал его из своей камеры и бросил за ним по коридору книгой. Полисадов отзывался о Писареве с глубоким уважением и сочувствием и видимо старался облегчить ему его одиночество.

Прошло еще года три. Писарев, отсидев срок (четыре года), в конце 1866 года был выпущен на свободу. Я жил тогда в Вологодской губернии, и Писарев, через мою жену, предложил «заботиться о моих умственных интересах», то есть попросту высылать мне книги. Я поблагодарил его за внимание и получил в ответ следующее письмо:

«Николай Васильевич! Мне было в высшей степени приятно получить ваше милое, дружеское письмо. Я часто думал о том, как бы нам хорошо было жить в одном городе, часто видаться, много говорить о тех вещах, которые нас обоих интересуют, и вообще по возможности помогать друг другу в размышлениях и работах. Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, счетом три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно хорошо и когда книга составляет единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного собрата.

Я предложил Людмиле Петровне служить вам по части выбора книг, но, право, не знаю, сумею ли я в скором времени быть вам полезным. Скажу вам откровенно, Николай Васильевич, что я теперь сам не свой и что голова у меня преглуная. Я все-таки живой человек, и на меня нахлынули такие впечатления, которых я был лишен в продолжение четырех лет, когда был вашим близким соседом. Вы видите, что в письме моем нет ничего дельного и пишу я его к вам, собственно, для того, чтобы показать вам, что я очень дорожу перепискою с вами, что я вас уважаю и люблю. Надеюсь, что когда-нибудь я поумнею снова и буду иметь возможность быть вам полезным».

Письмо это было писано Писаревым вскоре после освобождения и само говорит за себя. Четыре года за-

ключения были для Писарева временем самой производительной умственной деятельности, временем, когда он написал свои лучшие статьи, но зато и временем такого усиленно-возбужденного нервного состояния, которого бы не выдержал и чугунный организм. Сосредоточенная сила создала изумительные результаты, но зато и съела сама себя, как съедает яркая лампада масло. За крайне возбужденным состоянием последовало такое же угнетение, и Писарев вышел на свободу уже не тем, чем он был даже накануне. Ему следовало бы уехать куда-нибудь, ну хоть за границу, года на два, чтобы окрепнуть и собраться с силами, но этого не случилось, и эта замечательная сила погибла, не сказав последнего слова.

Историю заключения Писарева я слышал в таком виде⁶². Приходит к Писареву какой-то господин (кажется, студент) и просит написать прокламацию. Писарев отвечает: «Извольте» — и пишет. Затем у «господина» происходит обыск, находят прокламацию, спрашивают об ее происхождении, господин указывает на Писарева, и сенат приговаривает его к четырем годам крепостного заключения. Последствия заключения были, однако, для Писарева легче, чем для других, потому что он остался в Петербурге, тогда как обыкновенно за заключением следовала высылка.

Месяца через два я получил от Писарева еще письмо, но такого неожиданного содержания, что совсем расстроился. Вот сюрприз, которым поразил меня Писарев:

«Николай Васильевич! Я перед вами виноват без оправдания. Вызвавшись в разговоре с Людмилой Петровной заботиться об интересах вашей умственной жизни, я до сих пор не только не указал вам ни одной книги и не сказал вам ни одного дельного слова, но и вообще не ответил толком ни на одно из ваших писем. Теперь я пишу к вам, чтобы сообщить известие, которое, по всей вероятности, будет вам очень неприятно и, может быть, значительно уронит меня в ваших глазах. Я разошелся с тем журналом, в котором мы с вами работали, и должен вам признаться, что разошелся не из принципов и даже не из-за денег, а просто из-за личных неудовольствий с Григорием Евлампиевичем (Благосветловым). Он поступил невежливо с одною из моих родственниц, отказался извиниться, когда я этого потребовал от него,

и тут же заметил мне, что если отношения мои к журналу могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить. У меня уже заранее было решено, что, если Григорий Евлампиевич не извинится, я покончу с ним всякие отношения. Когда я увидел из его слов, что он считает себя за олицетворение журнала и смотрит на своих главных сотрудников как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним, принявши меры к обеспечению того долга, который остался на мне. Эта история произошла в последних числах мая. Так как я не имею возможности содержать в Петербурге целое семейство, то моя мать и младшая сестра в начале июня уехали в деревню, а я остался, ищу себе переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешний адрес мой: на Малой Таврической, д. № 23, кв. 2. Вы, может быть, скажете, Николай Васильевич, что из любви к идее мне следовало бы уступить и уклониться от разрыва. Может быть, это действительно было бы более достойно серьезного общественного деятеля. Но признаюсь вам, что я на это не способен. Я решительно не могу, да и не хочу, сделаться настолько рабом какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нее от своих личных интересов, желаний и страстей. Я глубокий эгоист не только по убеждению, но и по природе. До свиданья. Глубоко уважающий вас *Д. Писарев. 1867 г., 15 июня*.

После этого письма у меня так же сжалось сердце, как если бы мне написали, что «Дело» закрывается. Журнал только что начинался (историю «Дела» я расскажу в следующей статье), начинался с верой и надеждой, что в нем опять соединятся прежние силы, опять окажется более или менее возможно продолжить на время прерванное журнальное дело, опять явится орган, безусловно необходимый для умственных интересов общества и в интересах его общественного сознания; сколько было положено труда и энергии, чтобы обойти разные мели и подводные камни, которых такую массу встретило возникавшее «Дело», и вот когда журнал был готов занять свое место, лучшая сила оставляет его. Я чувствовал, что что-то порывается, что из журнала улетаet его душа, что открывается пустота, которой никому из нас, остальных сотрудников «Дела», не наполнить. Не зная подробностей размолвки и характера

Благосветлова, я считал примирение нетрудным и думал, что Благосветлов не затруднится сделать первый шаг. В этом смысле я сейчас написал Благосветлову и получил от него такой ответ:

«Вы пишете мне, чтобы я подал Писареву первый руку примирения; я охотно и даже с удовольствием сделал бы это, но я перестал его уважать. А как скоро я перестаню кого-нибудь уважать, пусть горят хоть два Рима: спасать я их не буду. Не знаю, в каком виде передана вам наша размолвка... Дело было так: я поставил в объявлении между известными вам лицами имя Марко Вовчок, поставил на том основании, что она участвовала в «Русском слове» и изъявила желание участвовать в «Деле». Кажется, в этом вины еще нет особенной. На это воспоследовал вопрос со стороны этой г-жи, каким образом редакция смеет распоряжаться ее именем? Ответил я, что ведь сама же она упрашивала редакцию дать ей работу в «Деле», прибавив при этом, что «Дело» определяется только тремя именами. Затем явился Писарев и потребовал от меня, чтобы я ехал к Марко Вовчок извиняться, или он оставит журнал. Такие отношения к органу, успехом которого больше всех следовало бы дорожить именно Писареву, такой взгляд на свою общественную деятельность мне показался до такой степени мелким, что... пошляк я был бы в своих собственных глазах, если бы позволил себе хоть один шаг сделать вперед ради таких отношений... Вы, кажется, считаете меня очень запальчивым? Нет, Николай Васильевич, никто так не дорожит хорошими человеческими отношениями, как я, и мне очень больно порывать их так резко и глупо, но что же делать в болоте, где все гниет и ползет врозь...»

Мне стало больно, что я привел эти письма, точно я оскорбил память Писарева, этого изумительно хорошего и правдивого человека, память о котором для всех, кто его знал и читал, была так же светла и ясна, как была ясна и светла его действительно чистая душа. Но эпизода этого нельзя же было вычеркнуть, когда приходилось говорить, почему Писарев, создавший «Русское слово» и затем (когда оно было закрыто) вступивший в «Дело», перешел потом в «Отечественные записки». Конечно, историк литературы сказал бы, что Писарев оставил «Дело» вследствие размолвки с его редактором. Но я еще

не историк, да и читателю нужна не история, а живая жизнь, какой она была.

В этой размолвке и в обстоятельствах, ее вызвавших, не приходится искать ни правых, ни виноватых; тут просто сложились роковым образом различные случайности, и умный, блестяще умный Писарев, ум которого, по выражению того же Благосветлова, был светел и ясен, как кристалл, не выдержал ни невозможного для человеческих сил напряжения в последние четыре года, ни нахлынувших на него новых живых впечатлений. Писарев отлично это чувствовал и понимал. «Я все-таки живой человек», — писал он. И живой человек не устоял. Надорванные силы совсем порвались, и ровно через год Петербург провожал труп Писарева на Волково кладбище.

Оставив «Дело», Писарев очутился без места в природе. Всякий заурядный писатель нашел бы себе место в каком-нибудь из второстепенных журналов, но Писареву нужно было занимать или первое место, или никакого; первое же место было возможно для него лишь в «Деле», единственном по направлению журнале, в котором Писарев мог бы найти себе полный простор. Отказываясь же от «Дела», приходилось отказываться от журналистики, и как раз в такое время, когда она походила на утлый челн, получивший пробоину. «Современник» и «Русское слово» были закрыты окончательно; остались только такие журналы, как «Отечественные записки», «Литературная библиотека», «Библиотека для чтения», «Женский вестник», «Русский вестник», в которых для писателей «Современника» и «Русского слова» места быть не могло. «Дело», едва возникшее на развалинах «Русского слова», не могло одно спасти утлого челна, готового, казалось, совсем погибнуть. Но нужно сказать к чести «Дела», что оно очень энергично боролось за собственное существование и подавало признаки сильной живучести. Место «Современника» пока еще не было занято, но и в его сотрудниках сказывалась живая струйка, и, во всяком случае, люди верили, надеялись, и пожалуй, и знали, что пробоина в утлом челне будет заделана и челн не утонет.

Вот к этому-то времени, когда и верилось и боялось, Писарев в ноябре 1867 года писал мне:

«Николай Васильевич! Я все лето собирался написать к вам, а осенью уже перестал собираться и поду-

мал, что, должно быть, не напишу никогда. Вчера я получил ваше письмо и сегодня отвечаю на него. Вы желаете знать подробности о положении нашей журналистики. Я сам стою теперь в стороне от нее. С «Делом» я разошелся в конце мая вследствие личных неудовольствий и с тех пор не сходиллся с ним. Получая книжки «Дела» и видя мое имя в каждой из них, вы могли думать, что мы помирились. Но этого нет и, вероятно, не будет. В «Деле» печаталась и печатается до сих пор моя большая историческая работа, которая была отдана туда задолго до нашего разрыва и которую я не считал себя вправе брать назад, тем более что начало ее было уже отпечатано. Я не участвую ни в «Деле», ни в каком бы то ни было другом журнале. Что же у нас теперь, кроме «Дела», есть в журналистике? «Отечественные записки» — известный вам разлагающийся труп, в котором скоро и червям нечего будет есть. «Всемирный труд», в котором роль первого критика играет Николай Соловьев; «Литературная библиотека», или, вернее, собрание литературных инсинуаций и абсурдов; «Женский вестник», которого издательница ведет постоянно до сорока процессов в мировых судах по поводу отжиливания денег.

Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой цена,
Нет, не дряхлому Востоку
Покорить меня!

И, конечно, не этим журналам заманить меня. Есть действительно слухи о том, что затевается новый журнал, в котором будут участвовать некоторые из прежних сотрудников «Современника». Но эти слухи много раз проносились и оказывались ложными или, по крайней мере, преждевременными. Как бы то ни было, но до сих пор я не получил никакого приглашения участвовать в этом ожидаемом журнале. И, вероятно, я его не получу. Партия «Современника» меня не любит и несколько раз доказывала печатно, что я очень глуп. Искренно ли было это мнение — не знаю, но, во всяком случае, сомневаюсь, чтобы Антонович и Жуковский захотели работать со мною в одном журнале...

В то время как Писарев писал мне это письмо, Некрасов уже кончил переговоры с А. А. Краевским, и с 1868 года «Отечественные записки» стали выходить под редакцией Некрасова при новом составе сотрудников.

В число их вступил и Писарев. Нужно думать, что он был доволен своим положением; по крайней мере, в феврале 1868 года он мне писал, что работает в «Отечественных записках», поступивших под редакцию Некрасова. «Это журнал бесцензурный,— писал Писарев,—и я пользуюсь в нем тою степенью свободы, которая совместна с интересами целого, то есть именно тою степенью свободы, которую я сам желаю пользоваться».

«Если вы будете иметь в руках «Отечественные записки» и читать в этом журнале мои работы и статьи других сотрудников, то по прошествии года вы, более чем теперь, будете в состоянии решить, насколько я был прав или не прав, приняв участие в этом журнале».

Но решить мне этого не пришлось. 10 июля Благовосветлов мне писал: «Печальная новость! Писарев утонул, то есть утопился, в душевно-расстроенном состоянии. Великая потеря, если бы Писарев сделался прежним Писаревым; но если нет, то слава богу. Он умер уже давно как умственный деятель, то есть умер в конце прошлого года. Я знаю, что эта скверная новость неприятно отзовется в вашем сердце, как она отозвалась в моем. Но будем верить, что люди умирают, а идеи, честные и хорошие идеи,—живут. Ужасно жалко Писарева...» Эта скверная новость действительно отозвалась на мне тяжело; положение журналистики было трудное, очень трудное, ряды наших сотрудников редели: одни отделялись по робости, другие куда-то исчезали, а тут смерть начала косить свою жатву, когда и без того людей было мало.

Действительно ли Писарев «утопился в душевно-расстроенном состоянии», или это была только догадка Благовосветлова — я не знаю. Я знаю только, что Писарев уехал на лето на морские купанья в Дуббельн и в одно из купаний был вынут из воды мертвым.

Тридцатого июля Благовосветлов мне писал: «Сегодня похоронили Писарева. Свинцовый гроб его (около сорока пудов) несли до самой могилы, верст пять, молодые люди, и даже молодые дамы помогали. Человек двести шло за гробом, и я радовался, что кружок умных и честных людей понемножку растет. При похоронах Добролюбова, несмотря на то что они были в ноябре, то есть при полном сборе людей, понимающих его, я видел не более пятидесяти человек. После нескольких слов, сказанных мною над могилой Писарева, две дамы, зали-

ваясь слезами, бросились на его могилу и стали целовать ее. Я дальше не мог говорить и сам заплакал».

Писарева схоронили на Волковом кладбище, в том же месте, где лежат Добролюбов и Белинский. Тут же на могиле, во время похорон, была открыта подписка, но не на памятник, а для стипендии имени Писарева. «И без памятника не потеряется его могила,— писал Благосветлов,— а это все, что и нужно. Собрано было на могиле рублей семьсот, и авось цифра достигнет того итога, какой нужен хоть для уплаты двух матрикул двум бедным студентам».

Какая удивительная судьба! В 1860—1861 годах (будучи двадцати лет) Писарев, едва вступивший в журналистику, сразу обращает на себя внимание; следующие за тем четыре года он проводит в заключении и создает себе громкую известность и широкое влияние; обессиленный излишне напряженной нервной жизнью, Писарев выходит на свободу с надорванными силами, а через полтора года друзья и почитатели его уже плачут над его могилой. Едва ли есть другой пример так быстро и так ярко сгоревшей жизни, лишенной всего того, что люди обыкновенно зовут счастьем. У Писарева не было личной жизни и в обыденном и в необыденном смысле: сначала он к чему-то готовился, потом напряженно думал, потом, охваченный нахлынувшими впечатлениями, которых он был лишен в продолжение четырех лет, потерял равновесие и внезапно умер. И это чувство жизни, оставшееся неудовлетворенным и постоянно напоминавшее о себе, служит разгадкой характера Писарева и характера его дум и размышлений. Он, кажется, и в самом деле считал себя глубоким эгоистом и по убеждению, и по природе. Как же поступал этот глубокий эгоист и на что он потратил свою жизнь? Всю эту жизнь, все свои силы Писарев истратил, «проповедуя, несмотря ни на что и в безвыходном уединении, свою честную идею, к которой он шел прямо, не оглядываясь ни назад, ни вперед, к своей цели», как сказал на могиле его Благосветлов. На могиле другого такого же эгоиста, Добролюбова, Некрасов сказал: «Бедное детство в доме бедного сельского священника; бедное, полуголодное ученье; потом четыре года лихорадочного, неутомимого труда, и наконец, год за границей, проведенный в предчувствиях смерти,— вот и вся биография Добролюбова». А Чернышевский над тою же могилою и тогда

же сказал: «Добролюбов умер оттого, что был честен». Биография Писарева не длиннее биографии Добролюбова, и Писарев умер от того же, что был честен. Когда опускали гроб Добролюбова в могилу рядом с Белинским, Чернышевский указал на третье свободное место и сказал: «Но нет для него человека в России». Это третье, свободное место подле Белинского и Добролюбова Писарев не занял: его похоронили против Добролюбова, через дорожку.

XIX

О «Современнике» сложилось уже давно очень точное и определенное мнение; о «Русском слове» же и тогда, когда оно выходило, и после, когда о нем заходила в печати речь, редко высказывалось что-нибудь ясное и вполне его характеризующее. Было известно лишь, что «Русское слово» есть журнал подрастающего поколения, в отличие от «Современника», который считался журналом поколения молодого. Читатели «Современника» смотрели на «Русское слово» с оттенком некоторого высокомерия, как на журнал начинающих писателей для начинающих читателей. Между теперешними зрелыми людьми вы найдете многих, считающих себя умственно обязанными во всем «Современнику» и у которых для «Русского слова» не сохранилось никаких благодарных воспоминаний. Но нужно думать, что и у «Русского слова» были свои ученики, сохранившие о нем тоже благодарную память. Когда, года три тому назад, умер Зайцев, я получил из провинции письмо от неизвестного мне корреспондента, исполненное такого трогательного уважения и таких почтительных чувств к умершему, которые могли явиться лишь к человеку, сумевшему внушить их плодотворным умственным и нравственным влиянием. К сожалению, письма этого у меня нет. Я отослал его к сестре Варфоломея Александровича Зайцева, в семействе которой все, что касается памяти его, чтится, уважается и хранится как святыня. Неизвестный корреспондент настаивал, чтобы были изданы сочинения Зайцева и написана его биография. Сочинения его едва ли бы оказалось возможным издать, даже и помимо внешних препятствий; что же касается его биографии, несомненно имевшей бы большой и поучительный интерес, как изображение необыкновенно честного, правдивого и последовательного характера, то и ее, к

сожалению, мне не удалось достать. Я очень убедительно просил одного известного писателя, хорошо знавшего Зайцева, дать для «Дела» его биографию, но получил ответ, более похожий на молчание.

В ходячей характеристике «Современника» и «Русского слова», вероятно, была и правда, вероятно, было для нее и основание, но тем не менее оценка эта не давала об этих журналах ни точного понятия, ни устанавливала осязательной между ними разницы.

Теперь, когда прошла целая четверть века, что эти журналы уступили свое место другим журналам, когда успело народиться уже новое поколение, когда нравы, понятия и сама жизнь изменились настолько, что даже не верится, что у нас были сороковые и шестидесятые годы, делать характеристику «Современника» и «Русского слова» как журналов было бы, уж конечно, и скучно для того, кто взялся бы за эту работу, и еще скучнее для того, кому пришлось бы ее читать. Если каждый писатель не переживает своего поколения, то так же не переживает его и журнал, в котором работал этот самый писатель. Живым людям нужно живое, нужно то, чем они живут в свое время, что близко им, что заставляет их думать и волноваться, и чувствовать, и размышлять. Поэтому, говоря о «Современнике» и «Русском слове», я вовсе не думаю беспокоить тени этих сослуживших свою общественную службу публицистических органов; я буду делать собственно характеристику того времени, его течений, его направлений, его стремлений, симпатий и умственного темперамента.

«Современник» действительно был журнал более серьезный и разрешавший иные вопросы, чем «Русское слово». Может быть, это зависело от состава его сотрудников, но, пожалуй, еще больше и от времени, в которое он издавался. «Современник» начал занимать свое руководящее положение в 1855 году, когда «Русского слова» еще не существовало. Когда же «Русское слово» начало приобретать значение, то есть когда в 1860—1861 годах в нем явились Писарев и Зайцев, Добролюбов уже умер, освобождение крестьян свершилось, а вскоре выбыл из «Современника» и Чернышевский. Таким образом, «Современник» и «Русское слово» прежде всего принадлежат разному времени.

Пока не начались реформы, «Современник» отдал свои силы популяризации общих исторических понятий

и первоначальных общих идей из области литературы. В это первое время, когда в жизни пахнуло чем-то освежающим и свободным, и читатели и писатели только готовились еще для того будущего, которое их ждало и было впереди. Это будущее наступило вместе с первыми идеями реформ, и задачами реформ определились и задачи журналистики. Статьи «Современника», с которыми он выступил на разрешение выдвинувшихся вопросов, составляли действительно настолько замечательное и самостоятельное явление, что даже европейская экономическая литература, считавшая за собою никак не менее ста лет, не имела у себя ничего подобного. Я перечислю только некоторые из статей Чернышевского, посвященных крестьянскому вопросу. Статья по поводу «Русской беседы», об общинном владении; статья по поводу книги Гакстгаузена, «О поземельной собственности», «Критика философских предубеждений против общинного владения», «Экономическая деятельность и законодательство», «Суеверие и правила логики», «Труден ли выкуп земли?», «О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб», наконец, перевод политической экономии Стюарта Милля и примечания к нему. Затем, в области беллетристики, представителями которой явились теперь Тургенев и Островский с навеянными на них временем вопросами, содержание произведений зависело вполне от общего умственного движения. Новое содержание беллетристики, в связи с изменениями внутренних и общих условий, определило и характер критики Добролюбова. Это был плотный клубок, в котором все было тесно связано одно с другим и зависело одно от другого. Тут ничего нельзя было ни выпустить, ни прибавить,— до того все общественное мышление, какие бы оно ни принимало формы, было цельно и последовательно-логично.

И «Русское слово» создано тою же логичностью общественного мышления. Оно явилось уже в такое время, когда острый момент всех вопросов миновал. Освобождение крестьян (худо или хорошо) теперь уже свершилось, а остальные реформы, следовавшие за освобождением, конечно, не могли заполнить всей журналистики или составить ее исключительный интерес. О судебной реформе, о земстве было достаточно двух-трех статей. Что же затем могло составить содержание

ежедневной печати и журналистики, в чем могли заключаться интересы общества, что ему было нужно, о чем оно думало или хотело думать? Внутренняя политика в своих дальнейших вопросах стояла вне компетенции общества и журналистики и до обсуждения не допускалась. А между тем освобождение и новый суд, а потом и земские учреждения открывали очень широкий простор для новых вопросов и идей, непосредственно с ними связанных и как бы на время заслоненных таким грандиозным делом, как освобождение. Этим новым очередным вопросом было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к обществу и к общему прогрессу. До сих пор, думая о реформах и переменах в учреждениях, как бы забывалось, что их на своих плечах должна вынести личность; говорили только о новых мехах, до времени умалчивая о вине. Нельзя сказать, чтобы и о вине не было речи. О нем хорошо помнила консервативная печать, и «Русский вестник» усиленно доказывал, что, прежде чем шить новые мехи, нужно приготовить вино, то есть отложить реформы, пока подготовятся люди. Но если не приготовить раньше новых мехов, куда же влить новое вино? Кажется, прогрессивная печать была в этом отношении последовательнее.

Итак, личность как личность не составляла задачи «Современника», и задача эта досталась на долю той последующей журналистики, для которой реформы и ближайшие, связанные с ними вопросы являлись уже чем-то прошлым. Для этой части журналистики настоящее заключалось в вопросе о личности, которой теперь, как кажется, и наступила очередь занять главное внимание общества. Любопытно, что Н. Г. Чернышевский в это же время, когда Писарев выступил с разрешением личных вопросов в «Русском слове», написал «Что делать?» — роман, специально посвященный вопросу о личном счастье и лучшем личном устройстве жизни. Очевидно, что в новом движении его мысли была логическая связь с предыдущим движением.

Конечно, не Писарев и не Зайцев создали вопрос о личности; еще за много до них этот вопрос нашел в Герцене даровитого исследователя и популяризатора, как в том, что он писал в России начиная с «Кто виноват?», так и в том, что он писал за границей. Мне случа-

лось встречать многих, теперь уже сорока- и сорокапятiletних людей, которые именно из Герцена усвоили себе теорию личности (и в практическом ее приложении не сделали чести своему учителю), а из Писарева, которого они хотя и читали, не усвоили ничего. Случилось это потому, что между тем, что говорил Писарев, и тем, что говорил Герцен, была разница частью в содержании, а еще более в объеме и характере их умственного захвата. Как сказали бы в то время, Герцен был эстетик, Писарев — реалист (нигилист). Поэтому Герцен был менее радикален (хотя и считался революционером мысли) и оберегал известные традиции, которых как бы не признавал Писарев. Я говорю «как бы» потому, что и Писарев не рубил всех традиций и часто пугал и вводил в недоразумение лишь резкостью своих приговоров.

«Русское слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник». Если «Современник» говорил преимущественно о новых мехах, то «Русское слово» говорило о новом вине, которое должно их наполнить. Но как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к «Современнику». Оба журнала, несмотря на то что хронологически шли один за другим, принадлежали к одному периоду движения общественной мысли и являлись первыми пионерами в области тех вопросов, разрешение которых сообщало им специальный цвет и характер, создало каждому законченную и определенную физиономию. Областью «Современника» были учреждения и порядки, областью «Русского слова» — интеллигентная личность.

Умственная физиономия Писарева выяснилась достаточно определенно уже в его первых статьях. Первую большую статью, с которой Писарев выступил в «Русском слове», был «Аполлоний Тианский» (кандидатская диссертация Писарева; в собрание сочинений его она не вошла). В этой диссертации, написанной по источникам

и обнаружившей большую начитанность, Писарев высказывает вполне определенный взгляд на политику, общество, религию (второе заглавие диссертации: «Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном и религиозном состоянии») и на общем фоне картины, на первом его плане, выдвигает замечательную личность Аполлония Тианского, хотевшего обновить нравственно погибавший древний мир. Аполлония хотя и обоготворили, но учение его не нашло себе ревностных последователей, и обновить мира ему не удалось. Учение его было философией, а не религией. Реформировать принцип существующей религии Аполлоний не мог потому, что поддерживал существующее, стараясь только подкладывать в него другой смысл, которого, однако, масса не сознавала. Восставая против отдельных уклонов от нравственности, он не дал нового, лучшего кодекса. «Мудрость оставалась замкнутою святынею и ни разу не спускалась до понимания малых сих и нищих духом» — так кончает Писарев.

Не в том, что Писарев говорит, а в том, чего он не говорит, с чем он не соглашается и что он отрицает, видно, чего он хочет. Выбор темы для диссертации был, очевидно, навеян на Писарева обстоятельствами времени и параллелями, которые при чтении источников не могли не возникнуть в нем, как в мыслящем человеке. И величая, строгая, серьезная личность глубоко нравственного Аполлония Тианского, остановившая на себе внимание Писарева, тоже указывает на значение, которое он уже придавал личности. Наконец, во всей диссертации проходит отрицательный прием изложения и чувствуется смелость мысли, не пугающейся никаких логических выводов и решительных заключений. Сравнительно с тем, что писал потом Писарев, «Аполлоний Тианский», конечно, изложен относительно скромно, потому что все-таки это была диссертация; но в то же время эта диссертация наметила уже, куда и как пойдет Писарев.

В «Схоластике XIX века», написанной года два спустя после «Аполлония Тианского» и напечатанной в «Русском слове» в одно с ним время (1861 год; статья эта, как мне помнится, тоже не вошла в собрание сочинений Писарева), Писарев выступает уже публицистом и выставляет определенную программу, которой потом и держится. «Наша изящная словесность,— говорит он,— представляет интерес преимущественно психологи-

ческий, она рассматривает человека, а не гражданина. Главные пружины романического интереса обыкновенно скрываются во внутреннем развитии отдельных характеров. В этом отношении литература служит верным отражением жизни; у нас каждый занят собою и своим семейным бытом; гражданские доблести и патриотическое чувство пробуждаются только тогда, когда всем угрожает опасность. Но и тут соединяют людей отдельные личные интересы» (Писарев прибавляет: «Мне кажется»). «Трудно решить a priori*, — говорит он, — составляет ли эта разрозненность черту русского характера или простое временное следствие внешней организации нашего общества; но как бы то ни было, факт существует, и из него нужно извлечь пользу. Вместо того чтобы проповедовать гласом вопиющего в пустыне о вопросах народности и гражданской жизни, о которых молчит изящная словесность, наша критика сделала бы очень хорошо, если бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы, на вопросы частной нравственности и житейских отношений. В уяснении этих вопросов нуждается всякий; они затемнены и запутаны разным старым хламом, который не мешало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и каждому можно было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и на добрых людей. Наша беллетристика дает повод к обсуждению разных сторон нашей вседневной жизни; а эти стороны нуждаются в пересмотре и в расчищении. Это выразил еще в «Петербургском сборнике» талантливый и рыцарски честный человек, автор статьи «Капризы и раздумье» (Герцен), и эта мысль нашла себе полное сочувствие в теплой душе Белинского. Отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, между воспитателем и воспитанником — все это должно быть обсуживаемо и рассматриваемо с самых разнообразных точек зрения. И это обсуждение не должно привести к составлению законов семейной нравственности. Боже упаси! Догматизм вреден в таких отношениях, в которых не должно быть ничего условного, в которых понятие обязанности должно совершенно уступить место свободному влечению и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убеждения об условиях домашней жизни должно не

* Заранее (лат.).

для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековой плесенью».

Эти мысли повторяет Писарев не раз в своих последующих статьях. «Дайте мне человека, с человеческим хочением»,— говорит он. И этому человеку он нигде не навязывает своих взглядов, не дает ему катехизиса, не предписывает ему заповедей. Он хочет действовать, как фермент, шевеля и расшевеливая мысль и возбуждая ее на самостоятельную работу. Он не поучает, он только думает и вызывает читателя думать вместе с собою. Вывести мысль из инерции, возбудить критическую самостоятельность мысли и пробудить личное чувство — вот все, к чему Писарев стремится и чего он желает достигнуть. В одной из статей Писарев говорит, что с каждым в жизни бывает, когда одна какая-нибудь мысль, одно слово заставляют его очнуться и приняться за внутреннюю перестройку, и тогда-то начинается генеральное выкидывание за борт. Это-то «выкидывание за борт» и есть начало того спасительного обновления, без которого невозможна разумная жизнь. И Писарев во всех своих статьях роется на всякие лады в своей душе и в душе читателя, возбуждая его на подобную работу. Считая умную и развитую личность основанием всякого порядочного общежития, Писарев заботится только о ней и думает, что всякое другое понимание общественно-критических задач не приведет ни к чему. Поэтому ему кажется, что наша литературная критика берется за дело не с того конца. Если у нас есть только личность, но нет общества, то как же судить об обществе, как наблюдать за проявлениями его жизни, когда общества нет и когда жизнь общества ни в чем не проявляется? «Задача действительно мудреная,— говорит Писарев («Схоластика XIX века»),— и за решение этой задачи критика наша берется («сколько мне кажется»,— прибавляет он) не так, как следовало бы. За неимением общества она старается его выдумать; она пытается привить к нам общественные интересы и истощается в благородных, но бесполезных усилиях; она забывает, что критика может только обсуживать существующие явления, выражать потребности, носящиеся в обществе, а не порождать новые явления и не будить в обществе такие потребности,

для которых еще нет почвы в действительности». Таким образом, Писарев желает, чтобы общественно-умственное движение шло снизу вверх, а не сверху вниз, и политическим прогрессивным влияниям противопоставляет психологические влияния.

Это любопытная особенность в критике-публицисте того времени, когда шло такое сильное обновление в области политических понятий. Но это объясняется его взглядом на политическую зрелость. В «Реалистах» он говорит: «Кто в Англии считается дураком, тот в Турции мог бы прослыть за очень порядочного человека. Когда общество доходит до известной высоты развития, тогда оно начинает требовать от своих членов, чтобы у них были определенные и сознательные убеждения и чтобы они держались за свои убеждения. Кроме обыкновенной честности является тогда еще высшая честность — честность политическая. Воспитавши в самом себе великое чувство политической честности, общество начинает вменять его в обязанность каждому из своих членов, и тем более таким людям, которые, опираясь на свои умственные дарования, присвоивают себе право действовать словом или пером на развитие общественных убеждений». Таким образом, как бы отодвигая политическую зрелость и устраняя политику из критической области, Писарев в других своих не критических статьях отводил ей место и в политических и экономических вопросах шел рука в руку с Чернышевским. Только в вопросах бытовых и личных он держал себя вполне независимо и, при всем своем глубоком уважении к Добролюбову, обвинял его не раз в уступчивости и непоследовательности. В одном месте «Реалистов» Писарев говорит, что если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полной откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. «А если бы мы (Писарев) поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте. Читатели «Русского слова» знают уже, как радикально мы разошлись с Добролюбовым во взгляде на Катерицу, то есть в таком основном вопросе, как оценка светлых явлений в нашей народной жизни». Добролюбов говорит, что Катерина — «светлый луч в темном царстве», а Писарев делает ей такую характеристику: «Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из

одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, а между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь, и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством — самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой». Оценку Добролюбова Катерины Писарев называет увлечением; он говорит, что Добролюбов поддался порыву эстетического чувства и что «ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского».

В возражениях, которые делал Добролюбову Писарев, выразилась только его последовательность. Писарев глубоко уважал Добролюбова. Но он не мирился с тем, что называл «эстетикой», которую он считал игрой в красивые слова и чувства, самым прочным элементом умственного застоя и самым надежным врагом разумного прогресса. Конечно, Писарев понимал эстетику только в этом смысле, то есть как помеху для здравого критического анализа явлений жизни, чувств и поступков людей, а не в том, что сапоги — выше Шекспира. «Литературные противники нашего реализма,— говорит Писарев,— простодушно убеждены в том, что мы затвердили несколько филантропических фраз и во имя этих афоризмов отрицаем сплошь все то, из чего нельзя изготовить обед, сшить платье или выстроить жилище голодным и прозябшим людям». Конечно, подобные обвинения не были серьезны и делались лишь в пылу полемического задора, который Писарев имел талант вызывать.

Проповедуя, что только мысль может переделать и обновить весь строй человеческой жизни, Писарев называл безусловно полезным только то, что заставляет людей задумываться и что помогает им мыслить. «Конечная же цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека,— говорит Писарев,— состоит все-таки в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать». И, перенося эту цель в область художественного творчества, Писарев требовал, чтобы

поэт, например, понимал вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, чтобы поэт знал и понимал все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа, и чтобы каждый писатель писал, как Берне, кровью сердца и соком своих нервов. «Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки».

Как высоко ставил Писарев призвание и задачи поэта, читатель увидит из следующей, довольно длинной выписки из «Реалистов», которую я считаю необходимым сделать в умственных интересах самого читателя, если он недостаточно знаком с Писаревым. «Чтобы действительно писать кровью сердца и соком нервов, необходимо беспредельно и глубоко сознательно любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненавидеть и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и много узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь между отдельными явлениями, когда он понял, что надо и что можно сделать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на умы читающих людей, тогда бессознательное и бесцельное творчество делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его к себе; он счастлив, когда видит ее перед собою яснее и как будто ближе; он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его пожирающую страсть и сами с трепетом томительной надежды смотрят вдаль, на ту же великую цель; он страдает и злится, когда цель исчезает в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят ошупью, сбивая друг друга с прямого пути».

Предъявив поэтам такое требование, Писарев не мог не прийти к заключению, «что у нас поэтов нет, никогда не было, никогда не могло быть и, по всей вероятности, очень долго еще не будет». «У нас,— говорит Писарев,— были или зародыши поэтов, или пародии на поэта».

К зародышам он причисляет Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова, а к пародиям—Пушкина

и Жуковского. Первые остались на всю жизнь в положении зародышей, потому что им нечем было питаться и некуда было развиваться: силы у них были, но не было ни впечатлений, ни простора. Что же касается «пародий», то Писарев относится к ним очень сурово. Он думает, что Жуковский и Пушкин (процветавшие, «яко крин», и щебетавшие, как птицы псвчис) ничем уже не связаны с современным развитием нашей умственной жизни и потому имена их должны скоро забыться или превратиться для русских людей в такие же пустые звуки, в какие уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина. «С именем Жуковского уже свершилось это превращение,— говорит Писарев,— но Пушкина мы все еще не решаемся забыть, или, вернее, мы боимся признаться самим себе, что мы его почти совсем забыли».

Этот страстно и последовательно мысливший, отважный и бесстрашный идейный боец, в течение многих лет лишенный живых, непосредственных впечатлений и оттого думавший еще сосредоточеннее, должен был на тех, кого он звал эстетиками, производить своими решительными приговорами весьма понятное впечатление. Конечно, эстетики не могли думать так, как думал Писарев, и мало того, что они не могли думать, как он, они не были в состоянии и понять, почему он так думает. Следовательно, исчезала даже малейшая возможность для умственного сближения. Отсюда неизбежно должно было получиться то ауканье, о котором говорит Писарев, разъяняя отношения Базарова к его старикам. Базаров, по сравнению Писарева, взобрался слишком высоко на дерево, откуда и ходу нет назад и спуститься невозможно, а старикам так же невозможно подняться кверху. И Писарев не мог не забраться на крайние умственные верхи, не мог ни думать иначе, ни говорить иначе. В Писареве свершалась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он позади. Такой именно ум и был у Писарева. Масса новых открытий и истин, созданных колоссальными успехами новейшего естествознания и точных наук, и новейшие исследования в области по-

литических и экономических знаний вошли в него какой-то светозарной силой, разлили повсюду свой свет и осветили все его умственные потемки. И всем своим существом Писарев почувствовал, что только в этом свете и заключается та истина, которая, наполнив все его существование, составляет нескончаемый источник его умственного и нравственного существования. Насколько страстно Писарев воспринял этот новый свет, настолько же он явился и страстным проповедником тех новых мыслей и идей, которые этот свет в нем вызвали. Несмотря на массу работы, которую Писарев произвел, он считал ее еще далеко не оконченной. Он хотел перебрать и пересмотреть всю массу литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться этим отборным материалом. «Такая обширная задача,— говорит Писарев,— не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, постараюсь все-таки со временем подвинуть это дело вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека». Статья «Пушкин и Белинский» была, кажется, началом этой работы, которой Писареву окончить не пришлось.

Значение Писарева заключается не в умственном наследии, которое он оставил. Пройдет еще несколько лет, и его так же не будут читать, как не будут читать тех авторов, по поводу которых он писал. Писарев был слишком живой человек, слишком человек своего времени, чтобы не жить исключительно его горестями и радостями. Время вызвало его и на всю ту работу, которую он произвел и которую он сознательно считал необходимою. К Писареву вполне применимо то, что он говорит о Белинском, подобном же страстном и искреннем борце за истину и просвещение. «Для мыслителей, подобных Белинскому, необходима живая и непрерывная умственная связь с настоящими страданиями и радостями настоящих людей. Для них необходимо размышлять о действительной жизни и откровенно передавать свои размышления всем тем людям, которые могут и желают их понимать. Эти мыслители голько тем и счастливы, только тем и живут, что пробуждают в человеческих

умах деятельность мысли и сознательное стремление к разумному, светлому и далекому, очень далекому будущему». И вся литературная критика Писарева имела этот же жизненный характер; ему было нужно не литературное произведение, а люди, которые в нем изображены, чтобы разобрать, как они живут, чем они сами себе портят жизнь и отчего они несчастны. Поэтому, вероятно, найдутся историки литературы, которые затруднятся поставить его имя рядом с Белинским и Добролюбовым.

К Писареву совсем неприменим обыкновенный прием оценки писателей. Все его идеи как бы концентрируются на его собственной личности, на его внутренних силах; это не ученый, оставляющий какое-нибудь открытие, не мыслитель, создающий руководящую систему; Писарев не сделал никакого открытия и не создал никакой системы. Во всем, что он писал, вы чувствуете на первом плане его собственную личность, с обуревающими ее вопросами, с открыто происходящей внутри ее работой, заключающейся не столько в указании того, что нужно для правильного вывода, сколько в отрицании того, что ему мешает. Писарев очень хорошо понимал, что именно в этом приеме и заключалась его сила, и в положительные построения не пускался, желая лишь возбуждать мысль и ее критическую самостоятельность. Поэтому он и своих мыслей и заключений не считал ни безошибочными, ни обязательными. Отрицая умственный деспотизм и требуя не того, чтобы с ним соглашались, Писарев хотел, чтобы каждый думал самостоятельно и сам, без частных указаний, устраивал свою жизнь на общих началах правды, добра, любви и справедливости. В этом и заключалась теория эгоизма, которую он проповедовал.

XX

«Русское слово» было так же невозможно без Зайцева, как оно было невозможно без Писарева. Только вместе, пополняя один другого, они составляли одно целое, совершенно как в «Современнике», в котором цельность была возможна лишь при совместной работе Чернышевского и Добролюбова.

Разница между Писаревым и Зайцевым заключалась не в содержании их идей—они думали одинаково, а в употреблении, которое они из них делали. Писарев

был пропагандист, Зайцев — боец; Писарев прокладывал широкую дорогу и рубил крупные деревья, Зайцев занимался больше подробностями этой дороги. Писарев бил более сильным и далеким ударом, Зайцев — ударами близкими, мелкими и частыми. Соответственно этому разному характеру сил была разница и в том, что они писали. Писарев вел критический отдел, Зайцев — библиографический листок. Но читатель очень ошибется, если подумает, что этот листок Зайцев вел, как ведут обыкновенно библиографию. У Зайцева библиография была не сухим и скучным отзывом о книгах, — это была пропаганда и публицистика в форме библиографии, живая, горячая, боевая, писанная именно кровью сердца и соком нервов. Каждый отдельный отзыв заключал в себе цельную, законченную мысль, и все эти отдельные мысли составляли одно законченное общее, проникнутое одной идеей. Зайцев имел хорошее специальное (сколько мне помнится, он был медик) и широкое, законченное образование. Поэтому Зайцев во всех областях — в литературе русской и иностранной, в истории, политике, естествознании — чувствовал себя хозяином и, как хозяин, распоряжался со своим материалом, сообщая ему ту или иную группировку. Теперь этот прием не практикуется, да, может быть, он и не нужен; но тогда, когда читатель рос и воспитывался на общих идеях, для публицистского органа, как «Русское слово», именно этот прием и был силой, ибо сообщал журналу полное единство.

По темпераменту и складу понятий Зайцеву удавались больше всего политические, боевые статьи, как большие, так и малые; в них была вся его сила, и он это знал. Статьи критические и теоретические ему не удавались и проходили незамеченными (их, впрочем, он почти и не писал). Но зато там, где требовалось напасть на противника, подметить слабые стороны, выискать нелепости и противоречия, Зайцев был незаменим и неподражаем. Свежесть, молодость, последовательность, свободное и игривое изложение делали каждую библиографию и политическую статью Зайцева цельной, живой, блестящей вещью, читать которую было истинным наслаждением. Яркий талант Зайцева не мог не привлекать к нему симпатий свежих и молодых читателей и те, кто его читали, так же не забудут его, как и своей молодости.

Но не один талант составлял привлекательность Зайцева. К нему тянула его искренность, правдивость и та не знавшая никаких уступок страстность, с какой он обличал всякую фальшь и ложь, с какой он выступал на защиту всего слабого и претерпевающего. Привлекали не одни его хорошие слова, а то, что чувствовались у него и такие же хорошие дела.

Кроме библиографического листка и отдельных статей Зайцев давал время от времени обзор текущей печати под общим заглавием «Перлы и алмазы русской журналистики». Для такого искусного открывателя перлов и алмазов, каким был Зайцев, время было особенно благоприятно. Внешние события (начиная с 1862 года) заключались в пожаре Шуккина двора, в приостановлении «Современника» и «Русского слова» на полгода и в польском восстании. События эти произвели полный переполох в общественном мнении и совершенно подавили журналистику. Растерянность ее была до того велика, что писатели, казалось, вполне установившегося образа мыслей складывали свое либеральное знамя и переходили в издания, в которых они прежде считали бы за стыд работать. Что же касается таких журналов, как «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Эпоха» Достоевского, сменившая его же «Время», и даже либеральный «Голос» («Русский вестник» уж и раньше начал обнаруживать твердость), то они в одно и то же время старались делать и шаг вперед, и шаг назад. С одной стороны, они чувствовали, что нельзя не идти вперед, с другой — их пугало, что либерализм порождает нигилизм, а нигилизм приводит к событиям. Впрочем, более последовательные, не затрудняясь ни колебаниями, ни сомнениями, ополчились без всяких размышлений против «нигилистов» и «стриженных барышень», точно это они произвели все смуты и польское восстание. Дошло даже до сравнения нигилистов с коровами. Так, один московский поэт сказал, что нигилист обязан уважать корову как свою родственницу, но находящуюся пока в диком и необразованном состоянии.

Вот в это-то время общего умственного омрачения и явился ряд таких общественно-обличительных романов, как «Взбаламученное море», «Некуда», «Марево»⁶³, и в каждой книжке каждого журнала проскакивало какое-нибудь обвинение против нигилистов, а кстати (чаще — некстати) приплеталось и «Русское слово». Растерявша-

яся журналистика ничего не могла сообразить и решительно не знала, о чем ей думать и как думать. «Отечественные записки» впали, по выражению Зайцева, в детство, «Библиотека для чтения» печатала в одно время и «Некуда», и статьи Евгении Тур, совмещая, таким образом, несовместимое и раскрывая свою полную умственную наготу; такой же наготой отличалась и «Эпоха», которую, впрочем, она старалась прикрыть «почвой»; что же касается беллетристики, то, как сказал Зайцев, она и драмы перекладывала в романы («Разлад» Я. Полонского). Характеризуя это умственно-смутное время, «Эпоха» сказала, что «славянофилы победили», а «Московские ведомости» — что общество отрезвилось. Какими же внешними признаками выразилась «победа славянофилов»?

Когда общество и журналистика усомнились в самих себе, когда все разбежались врассыпную и недавнее еще умственное возбуждение сменилось умственной паникой, жизнь, отвернувшись от общественных задач, потеряла всякий смысл, а умственные силы, направлявшиеся раньше на разрешение общественных вопросов, оказались теперь свободными. Томительное душевное состояние, явившееся вслед за этой паникой, охватившей общественную мысль, разрешилось, как и всегда в подобных случаях, отыскиванием лично виноватых и обвинением друг друга. Вместо рассуждения об общих делах теперь стали говорить о личных, и, вместо того чтобы успокоить встревоженную мысль на общих идеях, раздраженное и неудовлетворенное личное чувство искало дела в личной полемике. Полемика, точно поветрие, точно повальная болезнь, охватила всех, и никогда еще не доходила до таких поистине чудовищных размеров, когда исчез не только всякий такт и благопристойность, но исчез даже всякий стыд перед печатным словом. Противники подыскивали самые крупные и отборные ругательства, и нужно отдать полемизаторам справедливость, что они ушли по этому пути так далеко, что уж дальше идти было некуда. В виде небольшого образчика той художественности, до которой дошла теперь полемика, приведу одно полемическое выражение «Отечественных записок» (Дудышкина). Журнал этот сказал, что «Русское слово» только тем и дышит, что пережевывает мертвую слюну Добролюбова. «Перебранки,— говорит Зайцев, перечисляя перлы и алмазны

журналистики, — доходящие до таких изумительных непристойностей и составляющие главную и самую видную часть журналистики, свидетельствуют о плачевном состоянии литературы. Они показывают, что область, подлежащая литературе, доведена до самых микроскопических размеров, что на ней не осталось ровно ничего, кроме самой журналистики и личностей, подвизающихся на поприще ее. Журналы друг другу и сами себе опротивели до крайности, но за неимением другого дела должны заниматься друг другом, что не способствует смягчению и умиротворению их взаимных отношений. Дело доходит, наконец, до того, что существование какого-нибудь направления в журнале объявляется нелепостью, подвергается шуткам и насмешкам. Возвещается, что в жизни нет ничего, что бы могло дать журналу какое-нибудь направление» (слова «Библиотеки для чтения»).

Даже «Современник» и «Русское слово», журналы, отличавшиеся наибольшим самообладанием, были увлечены общим настроением. Разноречие между «Русским словом» и «Современником» (редакции гг. Антоновича и Жуковского) началось с появления «Отцов и детей». Критик «Современника» и Писарев резко разошлись во взглядах на этот роман. Находя, что Тургенев отнесся несочувственно к своему герою и, следовательно, питает подобное же несочувствие и ко всему молодому поколению, «Современник» отозвался не только очень резко о самом романе, но даже отрицал и существование базаровского типа, считая его за карикатуру. Напротив, Писарев, оставляя в стороне намерения Тургенева, высказал, что подобный тип не только существует, но что он даже полезен обществу. Тургенев, как эстетик и человек другого поколения, разумеется, не мог уловить и вполне выяснить черты своего героя, но отнесся к нему, как к представителю современного реализма, беспристрастно. Критике осталось только разъяснить и дополнить черты, которые Тургенев упустил из виду. Таково было мнение Писарева. Через два года после первого обмена мнений в 1862 году «Современник» в разгаре общего полемического настроения, разбирая «Взбаламученное море» Писемского, снова коснулся Базарова и хотя не назвал критика «Русского слова», но по его адресу послал фразу о «критиках-детях» и о «простоватых слушателях, принимающих за комплименты деликатные колкости

Тургенева», статью же «Нерешенный вопрос» («Реалисты») принял как прямой вызов. «Русское слово», однако, уклонилось на этот раз от полемики и ответило короткой заметкой, что не желает полемизировать, потому что сознает всю бесполезность полемики, особенно в такое время, когда она, «кроме удовольствия нашему журнальному стаду», не может оказать существенных услуг литературе. Писарев не только уклонился от полемики, но в «Нерешенном вопросе» взял на себя защиту базаровского типа от клеветы, которую взвела на него остальная журналистика, и задумал показать значение базаровского элемента в жизни общественной и семейной, в науке и искусстве. Защищая базаровский тип, Писарев защищал собственно молодое поколение. Но что могла поделать эта защита и кого мог успокоить и убедить голос одного Писарева, тем более что причины общего разъединения лежали не в базаровском типе.

К этому времени применяется вполне то, что писал мне Благосветлов двумя годами позже по поводу «Дела», из которого ушли Писарев и Зайцев. «Причина разъединения лежит не во мне,— писал Благосветлов,— а в духе времени, в том боязненном настроении общества и в личных интересах, которые управляют всем. И Писарев и Зайцев — оба утонули в этой каше. Я подал бы всегда руку примирения своему злейшему врагу ради общего хорошего дела, но бесполезно. Достаточно какой-нибудь сплетни, чтобы опять разъединить и поссорить. Плохо наше молодое поколение...»

Конечно, в поводах к этому письму примешивалось немного личного чувства и самого Благосветлова, но что настроение было вообще болезненное, что разъединение было той кашей, в которой утонули даже лучшие люди, что раздор проник в самое сердце журналистики — в этом Благосветлов не ошибался. В зиму 1865/66 года жил я уже в Вологодской губернии и получил от Зайцева приглашение вступить в коалицию против Благосветлова. Предполагалось свершить *coup d'état** и устранить Благосветлова (не помню, от главенства или совсем от журнала). Зайцев уже списался с Писаревым, находившимся в заключении, и получил его согласие. Мне казалось, что, заняв втроем место Благосветлова, мы все-таки не разрешили бы общего вопроса,— кто-ни-

* Государственный переворот (франц.).

будь оказался бы четвертым, то есть вне нас тронх; кроме того, мне не думалось, чтобы в том положении, в котором мы все тогда находились (один только Зайцев был на свободе), было возможно ведение журнала, и в этом смысле я ответил Зайцеву. Характерно, что к этому же времени относится и намерение сотрудников «Современника» свершить нечто подобное с Некрасовым. Разлад и разъединение чувствовались везде и во всем, но скоро стало и еще хуже...

В 1866 году «Современник» и «Русское слово» были запрещены совсем, но это было лишь видимою смертью этих двух главных представителей журналистики шестидесятых годов. «Современник» уже умер со смертью Добролюбова и удалением Чернышевского. «Русское слово» жило дольше потому, что жить начало позже, но и оно готовилось к смерти и само не могло существовать при тогдашних общественных условиях. Когда я приглашал к участию в «Деле» Зайцева, и мне еще верилось, что от нас самих, то есть работников, зависит вернуть лучшие журнальные времена, и в числе доводов указывал на умственные интересы молодого поколения, то Зайцев мне ответил, что из личных причин готов бы согласиться на мое предложение. «При этом, конечно,— писал он,— я нимало не увлекался теми соображениями об интересах молодого поколения, которые вы представляли мне. Я слишком хорошо знаю сущность журналистики нашей, чтобы связывать с ней что бы то ни было высокое, хорошее и честное. Восстановление прежнего «Русского слова» — дело невозможное ни при каких условиях, а тем более при нынешних. Это невозможно, как нельзя возвратить себе юношеские годы с их иллюзиями, как нельзя забыть опыт жизни и все пережитое до сих пор.



М. Л. Михайлов

<ЗАПИСКИ>

Дома

I

 В последний день августа, поутру, я зашел зачем-то в книжную лавку Кожанчикова, на Невском проспекте. Я стоял у прилавка и перелистывал какую-то книгу. В это время туда явился, гремя саблей, приземистый жандармский офицер в шинели,— судя по апломбу и по немолодой корявой роже, уже в штабских чинах. Он обратился к стоявшему около меня приказчику с вопросом, где тут живет управляющий домом. Приказчик сказал, что в глубине двора, и прибавил, что можно пройти через магазин. Жандарм попросил провести его и пошел вслед за приказчиком.

Другой приказчик, на другой стороне лавки, старый мой приятель, Василий Яковлевич Лаврецов, пришел в неописанное волнение от этого неожиданного визита.

— Да ведь это Ракеев!— кричал он мне.— Ракеев ведь!

— Какой Ракеев? — спросил я.

— Вы Ракеева не знаете? Ракеева? — восклицал Лаврецов.— Ведь это он меня в Третье отделение брал.

Лаврецов был довольно долго библиотекарем в публичной библиотеке Крашенинникова (бывшей Смирдинской), на Михайловской площади, и там я с ним познакомился. Его знание своего дела, симпатичный характер, страсть к чтению и большая любознательность сблизили его скоро со многими молодыми людьми, посещавшими библиотеку для своих ученых и литературных занятий. Как бедный мещанин, Лаврецов не получил

никакого образования и обязан был всем себе. В 1857, кажется, году он был арестован за то, что выдавал для чтения абонентам библиотеки несколько лондонских русских изданий, собрать которые стоило ему большого труда. Его продержали несколько времени в Тайной канцелярии¹ и затем отправили из Петербурга в Вятку, под надзор полиции; правительство тогда еще либеральничало, вертя перед публикой радужную призму будущих реформ и воображая, что может держаться одним красноречием, не купая рук в крови. Около того же времени, помнится, в газетах было напечатано, что кто-то (кажется, Мухин по фамилии) читал в одном трактате в Петербурге во всеуслышание «Колокол» и был за это *только* сослан под полицейский надзор в Петрозаводск или куда-то в другое место на север. Теперь за это шлют уже в каторгу. Лаврецова вскоре возвратили, и он поступил приказчиком в книжный магазин Кожанчикова.

— Он это! Он! — продолжал Лаврецов волноваться. — Ракеев! Его лицо. Я его хорошо помню, — не ошибусь. Это ведь Ракеев был? — обратился он к возвратившемуся приказчику. — Зачем он?

Я вскоре ушел и, конечно, забыл бы об этой встрече, если бы о ней не напомнило мне очень ясно следующее утро².

II

В это утро, то есть 1 сентября, когда только что начинало светать, меня разбудили торопливые шаги горничной мимо моей спальни к двери прихожей.

— Что такое? — спросил я.

— К вам кто-то; того и гляди, колокольчик оборвут.

Тут и мне послышался звонок, который надо было рвать слишком сильно, чтобы у меня было его слышно.

В отворяемой двери прихожей загремели сабли, и около двери спальни тотчас же показалась высокая фигура полковника с красным воротником. Слегка притворяя дверь, он произнес:

— Потрудитесь одеться, *monsieur** Михайлов. Мы обождем.

Лицо этого господина мне было несколько знакомо, но я не сразу вспомнил, где я его видал.

* Господин (*франц.*).

Цель, с которой он прибыл, для меня тотчас объяснилась, когда из-за него выглянул голубой мундир и исковерканное лицо вчерашнего полковника. С ними был еще квартирный, длинный, испитой и бледный.

Когда я набросил халат и вышел в кабинет, ранние гости отрекомендовались мне:

— Полковник Золотницкий.

— Полковник Ракеев.

Первый, полицеймейстер званием, объявил мне с должными извинениями, что они имеют поручение произвести у меня *маленький* обыск.

Затем он спросил, где кончается моя квартира, и затворил дверь кабинета в половину Шелгуновых³.

— Вы, как имеется сведение, привезли что-то недозванное из-за границы,— объяснил Золотницкий.— Позвольте посмотреть ваши бумаги, книги.

Жандармский уселся за мой письменный стол, спросил, нет ли у меня в нем денег и драгоценных вещей, и стал выдвигать ящики, вынимать бумаги, письма и проч.

— Это что-с?

— Это семейные письма.

— Это мы не станем смотреть.

— А это-с?

— Это корректуры журнальных статей.

— Все больше по литературной части?

— Да.

— Какой у вас порядок во всем! Приятно видеть.

Он, может быть, хотел сказать: «Приятно производить обыск».

Иное он клал назад, в ящики, другое оставлял на столе. Полицеймейстер тоже брал какую-нибудь бумагу или тетрадь и опять опускал на стол, говоря: «Что же тут, ничего такого...»

— А вот нет ли у вас каких запрещенных книг? — обратился он ко мне,— или «Колокола», например? Я уже давненько его не читал. Вы, верно, привезли последние номерки. Интересно бы прочесть.

Между прочим, им попался мой заграничный паспорт.

— Это мы отложим. Как же вы это его не представили? Ведь следовало по приезде тотчас предъявить в канцелярию генерал-губернатора.

Этого вовсе не следовало; но следовало, чтобы тотчас по приезде адрес мой был записан в квартале, а

этого дворник не сделал, хотя я воротился уже больше месяца.

По этому поводу Золотницкий сообщил мне, что меня очень долго искали, не зная, где справиться об адресе. Заграничный паспорт и аттестат мой об отставке, служивший мне видом на жительство, он отложил, чтобы взять с собой.

В столе и в бумагах ничего не оказалось. Да притом полковники, кажется, и сами не знали, чего ищут.

— Да нет ли у вас чего? — стали они приставать ко мне. — Вот из книг-то, из книг-то. Вы уж лучше скажите!

Обилие книг, по-видимому, смущало их.

— Да каких же вам запрещенных книг? Вот смотрите! Ну, вот Прудон был прежде запрещен, Луи Блан. А теперь не знаю. Да у кого же нет таких книг?

— На французском?

— Да.

— Нет-с, это что! Вот на русском бы чего-нибудь.

Мне так надоели эти господа, что я готов был сунуть им что-нибудь, чтобы они только уехали поскорее. Им же, кажется, не хотелось уезжать с пустыми руками.

— Ну, вот Пушкина есть берлинское издание⁴, — сказал я, сымая с полки книгу.

— Что же Пушкин! Помилуйте! — воскликнул Ракеев, глядя на меня своими маленькими светло-серыми зрачками, которые почти сливались с покрасневшимися воспаленными белками.

Я заметил потом, что эти воспаленные белки — одно из характеристических отличий жандармских лиц. Не оттого ли, что их часто будят по ночам?

— Пушкин! — продолжал с некоторым пафосом Ракеев. — Это, можно сказать, великий был поэт! Честь России! Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина. Как ваше мнение?

Он задвигал как-то особенно нелепо своими колючими подстриженными усами и заговорил почти трогательно:

— А знаете-с? Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был, — Осипом, кажется, или Семеном звали⁵ Что за преданный был слуга! Смотреть даже было больно, как убивался. При-

вязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба; не ест, не пьет. Да-с, великий был поэт Пушкин, великий!

И Раксеев вздохнул.

Полицеймейстер перелистывал между тем взятую книгу и с некоторою любовью остановился на отрывках из «Гавриилиады».

— Да ведь тут,— обратился он к жандармскому, называя его по имени и по отчеству,— тут все запрещенные стихи Пушкина. Это надо, я думаю, взять.

— А! Если так,— воскликнул с явным удовольствием жандармский,— отложите! Да нет ли у вас еще чего-нибудь в этом роде? — обратился он ко мне.

Золотницкий подошел к одному из шкафов и тупо читал заглавия книг.

— Это вот-с что такое? — спросил он.— О революции, кажется?

— Да, «Французская революция» Карлейля.

— А! Ну это ничего! Да уж, верно, у вас есть что-нибудь из русского заграничного.

И он начал придвигать книги к задней стене, к которой они были поставлены не вплоть,— и как раз тот ряд, где было несколько лондонских изданий.

Я начал уже терять терпение.

— Ну, вот вам брошюрка! — сказал я.— Она, может быть, и запрещенная. В Лондоне напечатана.

Это были речи международного революционного комитета, изданные под заглавием «Народный сход»⁶.

— А! Вот-с, вот-с!

И полицеймейстер передал ее жандармскому.

— Отложим, отложим,— произнес Раксеев.

Он встал из-за стола, подошел к одному шкафу, взглядел на книги, подвигал их, к другому, к третьему, наконец и он и Золотницкий подошли к столу между окнами и стали раскрывать и закрывать коробки с бумагами.

Золотницкий взял лежавший на столе альбом и готов был раскрыть его, но в это же время рассматривал портрет Герцена в простенке, разбирая под ним факсимиле.

Я очень опасался, чтобы он не стал рассматривать альбом и не наткнулся в нем на подписи Огарева и Герцена: тогда альбом прощай! Я решил жертвовать портретом, чтобы не лишиться альбома.

— Это ведь Герцена портрет,— объяснил я.

Ни полицеймейстер, ни жандармский, должно быть, никогда не видали его портрета и, снявши, принялись рассматривать с великим вниманием. Маневр мой был удачен относительно альбома: его отложили в сторону и совсем забыли.

— Это надо взять, непременно надо взять,— сказали оба почти в один голос.

— Как же вы это так на виду его держали? — с укоризной заметил Золотницкий.

— А это кто?

Он указал на другой портрет.

— Это Гейне.

— Ну, это другое дело. Это ведь, кажется, немецкий сочинитель?

— Да.

Квартальный все это время стоял, держась за спинку кресел около дивана и молчал. Только на предложение мое выкурить папиросу отвечал, что не может, потому что болен, вчера был с вечера в бане, думал, все пройдет, да только хуже разломило всего; а тут еще и соснуть не удалось.

— Ну-с, я думаю, и акт можно составить? — заметил жандармский, овладев портретом. — Нет ли у вас чемоданов, сундуков?

— Нет.

Полицеймейстер пошел в спальню, отворил столик около постели, заглянул туда, взглянул на стены и воротился в кабинет.

— Я думаю, можно уж и акт составить? — повторил жандармский.

Но полицеймейстер снова, чуть не в десятый раз обратился ко мне с вопросом, нет ли у меня еще чего.

Вообще этот идиот с оловянными глазами, каким-то нелепым завитком на лбу и конусообразной головой, притом с развязными гвардейскими манерами, казался мне вдесятеро гаже жандармского.

— Садитесь,— обратился Ракеев к квартальному. — Вы знаете, как пишутся акты?

— Знаю-с.

Квартальный сел и принялся выводить писарским почерком:

«Сентября 1-го дня сего 1861 года, прибыв, по приказанию высшего начальства», и так далее.

Ракеев диктовал, повторяя фразы раза по два, чтобы слог вышел лучше.

— Как-с вы эти французские-то книги называли? — спросил он меня. — Это, я думаю, тоже записать не лишнее? — обратился он к Золотницкому. — Имеют ли они право их держать?

— Да, записать! записать! — подтвердил Золотницкий, грациозно раскачиваясь на ногах.

— Так как же-с вы их назвали? — спросил меня Ракеев.

— Луи Блан, Прудон.

«При обыске найдены сочинения Луи Блана и Прудона на французском языке», — диктовал он.

С заботами о слоге диктовка длилась не менее полчаса. Весь же обыск продолжался, наверное, часа два с лишком.

Наконец полковники подписали акт и попросили расписаться меня, потом завернули две книжки и портрет и запечатали моей и своею печатями и, к великому удовольствию моему, удалились с прежним грохотом сабель. При прощании были, разумеется, разные извинения, что обеспокоили.

Эта деликатность была особенно некстати после того, как эти незваные гости, заслышав в другой комнате стук чашек и ложек, напрашивались тонким образом на чай, — именно замечали, что на дворе холодно и что они не успели еще в это утро выпить чаю. Они, видно, вовсе не считали своего посещения неприятным для меня. Я, однако ж, остался глух к их намекам.

На свертке с портретом и книгами они попросили меня написать, что эти вещи действительно взяты у меня. Я написал. Им, конечно, нужен был мой автограф⁷.

III

Почти вслед за отъездом двух полковников я отправился к Цепному мосту, в Третье отделение, чтобы узнать от Шувалова о причине обыска.

В приемной меня встретил Золотницкий, только что вышедший из кабинета, и очень удивился моему приезду.

— Зачем вы? Ведь ничего у вас не нашли, — говорил он мне. — Разве вас призвали сюда?

— Нет.

— Так уезжайте лучше. Что вам тут с ним разговаривать?

Я, однако ж, остался.

Шувалов, выйдя, пригласил меня в кабинет, тот самый кабинет, где мне после того случилось быть еще не один раз, и спросил о причине моего приезда к нему. Я, в свою очередь, спросил о причине бывшего у меня неприятного посещения. Он немного замаялся. Я сказал, что, кажется, к этому не было с моей стороны никакого повода.

— Разве только мой образ мыслей кому-нибудь не понравился? — прибавил я.

— Помилуйте, — возразил на это Шувалов. — Дело не в образе мыслей. Я сам человек либеральный.

Слышать такое золотое изречение от шпиона en chef⁸ и не засмеяться стоило мне некоторого усилия.

Видя, однако ж, что я не уйду без объяснения, Шувалов сказал мне, что на меня есть подозрение по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография⁹, но что так как дело это передано из Третьего отделения в министерство внутренних дел, то я оттуда получу на днях вопросные пункты.

— Вы ведь никуда не собираетесь ехать из Петербурга?

— Никуда.

IV

Весть о московских студентах немного удивила меня. Я знал, что с их стороны не может быть на меня ничего, кроме голословных показаний. Только на другой день, на сходке у Николая Курочкина по поводу Шахматного клуба, узнал я об аресте Всеволода Костомарова. Но и тут мне в голову не приходило, чтобы Третье отделение могло что-нибудь знать о воззвании «К молодому поколению». В этот именно вечер оно было распространено по Петербургу. Между тем, как потом оказалось, Костомаров успел уже объяснить Шувалову все, что знал о прокламации и что даже только подозревал. Собственно, знал-то он немного. У меня искали именно ее¹⁰.

После того как прокламация распространилась, старания найти ее источник были, разумеется, удвоены. За мной, вероятно, следили, и особенно старался в Петербурге и в Москве частный пристав Путилин. Этот усерд-

ный молодой человек, как я узнал потом в Тайной канцелярии, был там правой рукой¹¹.

Как же было и не усердствовать какому-нибудь частному, когда агентами шпионского отделения с величайшею готовностью соглашались быть и особы в генеральских чинах, не имеющие надобности хлопотать о Владимире в петлицу, и притом совсем постороннего ведомства? Ты, конечно, помнишь, как меня удивила записка от цензурного глухаря, барона Медема, о том, не я ли доставил к нему какую-то небывалую статью о бельгийской конституции. Курьер ждал от меня тотчас же ответа, точно дело шло о пожаре или наводнении. Мою записку я видел потом в Третьем отделении. Ее сличали с двумя рукописями, взятыми у Костомарова (вернее — предоставленными им), и нашли, что я писал то, чего никогда не писал¹².

V

Я делал разные предположения, прежде чем меня арестовали; но мне ни разу не пришло в голову, что Костомаров подлец (уже потом я слышал, что один близкий к Третьему отделению человек говорил одному литератору: «Хороши ваши литераторы! Сваливают друг на друга». Это относилось именно к Костомарову).

Кажется, дня через четыре после бывшего у меня обыска заехал ко мне Гаевский, никогда прежде у меня не бывавший, чтобы сказать, что хотят сделать обыск в какой-то деревне, тогда как у меня никакой деревни нет и я никуда не ездил из Петербурга¹³. Откуда могли идти такие вести? Тот же Гаевский говорил, что в Третьем отделении убеждены, что подозрения на меня вполне основательны и что у них есть мои рукописи, компрометирующие меня.

Все эти глухие слухи не просветили меня, к несчастью, относительно Костомарова, и я продолжал относить всю вину на человека, который был несколько в этом не виноват, да и быть-то виноват не мог. Мне совестно думать теперь об этом подозрении¹⁴.

А между тем Костомаров, в последний приезд свой из Москвы, произвел на меня далеко не такое приятное впечатление, как прежде. Я в этот раз убедился, что он любит лгать, и, когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его

довольно хладнокровно. Я думаю, что все это вздор и никакой брат не думал на него доносить; но если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики?

Я припоминаю теперь еще одно обстоятельство, которому, впрочем, не хочу придавать важности. Упомяну о нем только потому, что оно не раз приходило мне на ум в продолжение следствия надо мной. Ты знаешь, как часто жаловался Костомаров на свою бедность, на то, что литература не дает денег, что журналисты не платят, и пр. Именно в последнее свое свидание со мной он говорил, что, если будет так продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валленрода, и говорил шутя, но слова его чрезвычайно неприятно подействовали на меня.

О Костомарове, впрочем, речь впереди.

Как бы то ни было, я вовсе не подозревал, что дело идет именно о прокламации «К молодому поколению». Если я принял кой-какие предосторожности, уничтожил разные письма и бумаги и пр., то лишь потому, что думал: подозрение может пасть на меня по какому-нибудь новому поводу.

Меня мало тревожили и слухи о том, что меня арестуют, распространявшиеся не раз по городу. Помнишь приезд Блюммер и ее предложение спрятать меня в своей квартире и потом выпроводить за границу?

Второй обыск нагрянул совсем неожиданно. Сведения были собраны уже довольно обстоятельные, и можно было явиться ко мне с двойным трезвоном и с большею наглостью.

VI

Утро 14 сентября было так богато разными наглыми и возмутительными подробностями, что его нельзя забыть. И при всем этом известная деликатность обращения! Не деликатен разве был только звонок, которым можно было насмерть испугать больного.

А все остальное (даже призыв в твою спальню, для присутствия при твоём одеванье, бабы Аграфены) было так все светски и гвардейски вежливо. Черту неделикатности выказал, правда, также один из свидетелей или понятых, — помнишь, тот, что был одержим глухотой и облачен в зеленый сюртук с гербовыми пуговицами. Он

садился все в разных местах, и где ни сядет, непременно возьмет со стола бумагу какую-нибудь или письмо и примется читать. Но ведь это даже нельзя и неделикатностью назвать. Просто глупость. Притом же, как только я сказал, что это мне не нравится, гвардейские любезники его тотчас остановили. Благодушный полковник Щербацкий наклонил также свою мягкую физиономию к моим письмам и также не без любопытства почитывал их. Но ведь это было полным его правом. А какая тонкость в обращении жандармского полковника Житкова! («Вы *твердо* изволите писать или *добро*¹⁵ в вашей фамилии?» — спрашивал его тот же квартальный, на этот раз уже здоровый, выписывая начало акта. «*Те... Жит...*, а не *Жид...*» — отвечал полковник.) У него белки были тоже красные, все в напряженных жилах. Но как ласково он смотрел! Как мило улыбался! Наибольшую серьезность хранил черный сыщик Путилин, показавшийся всем нам особенно загадочным лицом, но и он раза два улыбнулся, и голос у него был такой мягкий. Его глаза с черными масляными зрачками и с какою-то синеватою тенью под веками и на белках я готов был признать такими же характеристическими для шпиона, как красные для жандарма; но не слишком ли уж это будет? А именно, точь-в-точь такие глаза и такой же вид, почему-то напоминающий ворона, был и у следователя, который трудился выклевывать у меня признание в Тайной канцелярии.

Воспоминание об этом гнусном утре до сих пор возбуждает во мне желчь. Эта куча народа — ведь одних солдат жандармских и полицейских было человек десять (не считая бабы и четырех высших шпионов, расхаживавших с двумя понатыми по всем комнатам), эти поганые глаза, осквернившие своим взглядом столько чистых страниц, эти дрянные воровские руки, готовые пачкать все своим прикосновением, это расхаживанье из комнаты в комнату и собачье обнюхиванье всего, эта наглость, сопровождаемая или предшествуемая извинениями, наконец, самая продолжительность этой пытки, тянувшейся с пяти часов утра чуть не до часу пополудни, — у меня теперь от одного того, что я припомнил их, сохнет во рту, как сохло в то утро.

До сих пор я не могу объяснить себе одного факта. Когда жандармский сидел в гостиной, пересматривая твои письма, а Щербацкий занимался сниманьем с по-

лок и перелистываньем книг у меня в кабинете, Путилин, притворив дверь, в прихожей шептался с высокой, красивой и молодой дамой, к которой его вызвали. Этой даме он, кажется, что-то передавал, и чуть ли она не два раза тут была. Я приотворил дверь и смотрел на них, но ничего не слышал. Я тут же спросил Путилина, что это значит. Он глухо отвечал, что это к нему по постороннему делу. Я потом очень хорошо узнал эту даму во дворе Третьего отделения. Она не раз проходила там ¹⁶

VII

Уже судя по продолжительности и по тщательности обыска (при котором все-таки ничего особенного не найдено) можно было догадаться, что меня не оставят дома. Если бы им вздумалось тут же читать груды бумаг и писем, без толку набранных у меня и Шелгунова, им пришлось бы тут гостить дня два. Когда коробки с бумагами были запечатаны и в доме ничего не осталось не обшаренного, даже до чердака, полковник Житков, предпослав приличное извинение, объявил мне, что «принужден пригласить меня с собой».

Я только что умылся и принялся одеваться в спальне, как ко мне вошел жандармский и конфиденциально спросил, как же я оставлю свои вещи и нужно ли их опечатать и передать кому-либо.

Я сказал, что пусть они остаются как есть, у вас на руках, без всякого опечатания.

— Я должен, однако ж, вас предупредить,— сказал он еще конфиденциальнее,— что и *они* (он кивнул на кабинет), может быть, должны будут быть удалены из квартиры ¹⁷ Впрочем,— продолжал он, как бы соображая,— покамест можно будет оставить. Теперь вы поедете только одни.

Ты, разумеется, помнишь, что он говорил вроде утешения:

— Вы, вероятно, часа через полтора узнаете о них (то есть обо мне).

Это было сказано с целью, именно для меня, и я слишком поздно догадался, с какою.

Я был сильно встревожен, когда мне пришлось прощаться со всеми. У меня точно было уже предчувствие, что дело разыграется именно так глупо, как оно разыгралось. Преследование было слишком нагло, и мне по-

неволе думалось, что оно не может же основываться на каких-нибудь пустяках.

Уже сходя с лестницы, я был как будто охвачен всеми теми мыслями, которые потом все росли и давили меня в Тайной канцелярии. Я простился внизу с Николаем Васильевичем и Веней¹⁸, но подумал взглянуть наверх, на окна нашей квартиры, только уж тогда, как карета отъехала от ворот.

VIII

На передней лавке кареты поместили коробки с бумагами и чемодан мой с бельем и кой-какими книгами, взятыми мною на время ареста. Рядом со мной сидел жандармский в шинели.

Мне смутно помнится, что утро было яркое и нехолодное и слышался церковный звон (был праздник Воздвиженья). Близ наших ворот, у соседнего дома, на углу, у гимназии, стояло немало народа, явно привлеченного жандармами в воротах и у ворот.

Это любопытство не понравилось моему полковнику.

— Я всегда говорю,— заметил он,— что обыски гораздо лучше делать по ночам, как прежде делали. А этак поутру — непременно наберутся любопытные.

Мы, сколько помнится, ехали Большой Морской, потом, кажется, Миллионной, к Летнему саду.

Житков предложил мне несколько вопросов, может быть, с целью, а может быть, и так, именно: давно ли я вернулся из-за границы, долго ли там проездил и где жил.

Я чувствовал такую сухость и горечь во рту, что мне не хотелось и слова сказать. Было как раз время завтрака, а я утром выпил только стакан чаю без хлеба. Я сказал, что поездка в Третье отделение не дала мне и позавтракать.

— Как жаль, что теперь не вечер,— заметил на это Житков,— а то мы могли бы заехать с вами в какой-нибудь ресторан и закусить.

Действительно, жаль. Какое было бы прекрасное препровождение времени!

— Впрочем, вы можете спросить, чего вам угодно, и там.

Это там было уже почти здесь.

Мы переехали Цепной мост; но опытный извозчик не повернул по набережной, где мне было известно пара-

дное крыльцо Тайной канцелярии, а поехал в Пантелеймоновскую (кажется, так) улицу и в конце ее повернул направо в ворота, в которых стояли жандармы.

— Вы посидите покамест в карете,— проговорил Житков, выскакивая.— Я сейчас.

И точно, минуты через две он явился к дверцам и попросил меня следовать за собой. Тут же под воротами в подъезд стали мы подыматься по довольно опрятной лестнице. Здесь вышел к нам навстречу во втором этаже (из двери, на которой я прочел: «Зарубин») офицер с красным воротником и общеармейским лицом. Это был еще человек молодой, белокурый и самого беззаботного вида.

— Вот-с господин Михайлов,— объяснил ему Житков.— Поместите их. А мне надо спешить. Мое почтенье, monsieur Михайлов.

И мой провожатый с архангельскою легкостью запорхал вниз по лестнице, по-архангельски гремя о ступени своим длинным мечом.

— Пожалуйте за мной,— обратился ко мне Зарубин, как оказалось, смотритель дома, смотритель каземата при Тайной канцелярии, эконоом, одним словом, нечто вроде домашнего гения этих милых мест.

Мы и без того были уже высоко, но пришлось подыматься еще выше, и наконец-то, пройдя еще десятка три ступеней, я вступил в дверь, где капитану брякнул на караул ружьем солдат.

— Ох, высоко! — проговорил и смотритель, отдуваясь, хотя бегать взад и вперед по этой лестнице ему было, вероятно, в привычку.

Тут я очутился в какой-то горнице, похожей и на грязную лакейскую в беспорядочном помещицьем доме, и отчасти на буфет какой-нибудь захолустной харчевни, и, наконец, на сторожку. Тут пахло сапогами и угаром и возился около стола с чайными чашками и сапожными щетками высокий и неуклюжий человек, видом и одеждой похожий на дворника.

— Где же вахтер? — крикнул смотритель.— Вахтера послать!

Вахтер, черный, приземистый, в серой шинели, был легок на помине.

В двери, выходявшей в описанную мною комнату, повернулся большой ключ, и передо мною распахнулась моя первая тюрьма.

Это была довольно просторная комната, очень обыкновенного вида, оклеенная обоями, с двумя большими окнами. Что это тюрьма, напоминали, однако ж, очень ясно железные перекладины за этими окнами. Кроме койки был тут небольшой стол, довольно удобный диван и несколько стульев и в одном углу снаряд, показывавший, что из этой комнаты нельзя выходить даже по крайней надобности.

Из окон виднелись только крыши да трубы; двор внизу представлялся чем-то вроде колодца — так высоко поднялась эта тюрьма.

Смотритель велел внести мой чемодан и сказал, что сейчас придет дежурный — записать мое имя и осмотреть вещи. Сам он ушел.

Вскоре явился гусарский офицер глупого вида и молодой, с одной особенно одутловатой щекой, которая была будто во флюсе; но этот флюс — потом я увидел — был постоянный. Гусар принес шнуровую книгу. За ним вошел вахтер с кучкой белья. Чемодан мой поставили на пол.

Гусар спросил мое имя, звание и проч. и записал в своей книге. Потом он объявил мне, что я должен раздеться и надеть все казенное. Мне пришлось снять с себя все дочиста — даже чулки. Взамен мне дали казенные чулки, белые штаны с костяными пуговицами, сшитые на человека вдвое выше и толще меня, рубашку и, поверх всего, белый больничный халат, а на ноги старые стоптанные башмаки.

Пока я переодевался, черномазый противный вахтер производил обыск по всем карманам моего платья, которые выворачивал и опять вправлял. Все, что было в них, я заранее выложил на стол. Белье из чемодана тоже было выложено, переписано в книгу; все, что было на мне, тоже; часы, кошелек с деньгами, шапка... Ничего из всего этого, объявил мне гусар с флюсом, не может быть оставлено при мне.

— А книги?

— Книжки тоже надо передать в экспедицию. Там просмотрят. Только сегодня уж некому — праздник.

Гусар обещал со временем хорошего шпиона. Мало

того, что при нем были обшарены мои карманы — он велел вахтеру вскрыть запечатанный ящик с папиросами, взятый мною из дому, и, когда вахтер раскрыл его, он начал перерывать папиросы своею пястью с самым серьезным видом и даже чуть ли не с сознанием собственного достоинства.

Ему было на вид лет двадцать; усы маленькие; бороду он едва ли еще брил. Надежды подаст приятные. Впрочем, таких милых юношей в мундирах разных полков я видел больше десятка во время пребывания моего у Цепного моста. Все они прикомандированы к начальнику Третьего отделения в чайнии мест адъютантов и чиновников особых поручений по жандармерии; состоят тут как бы на испытании и должны зарекомендовать свою скромность и показать отчасти свою дельность. Шляясь по трактирам и по гостям в свободные от дежурства дни, они обязаны от времени до времени поддерживать хорошее мнение о себе в глазах начальства легкими доносиками. Должно быть, они очень дорожат своим положением, потому что отвечают самым уклончивым образом даже на самые обыкновенные вопросы, вроде справок о погоде.

Обобрав меня дочиста, офицер с вахтером ушли, и дверь за ними была заперта. Я уж не помню теперь, была ли она стеклянная, как в другом моем помещении, или с квадратным оконцем, прикрытым снаружи железным клапаном, как в тюрьме. В этой комнате я пробыл слишком недолго.

Смотритель, уходя, спросил меня, не хочу ли я обедать или чаю. Я спросил чаю, и мне принес его тот косолапый, похожий на дворника человек, о котором я упоминал.

Чай, конечно, не успокоил моего нервного раздражения после этого отвратительного утра. У меня разбаловалась голова. Я попробовал лечь на койку и задремать, но сон не шел, хоть я и не выспался в эту ночь как следует. Притом я не мог отделаться от разных предположений относительно своего ареста, но в них все-таки не подходил даже и близко к настоящему их поводу, доносу Костомарова. Мне хотелось, чтобы хоть эта нерешительность скорее миновала, — чтобы меня позвали на допрос.

Вскоре опять явился смотритель и за ним — вахтер с моими сапогами и платьем.

— Потрудитесь одеться,— сказал смотритель,— мы вас переведем в другой номер.

Я стал одеваться и спросил — зачем.

— Здесь высоко, неудобно и далеко от экспедиции,— сказал смотритель,— а вас часто будут спрашивать. Велели поближе перевести.

Мы спустились с лестницы в сопровождении вахтера, несшего за нами больничный халат и стоптанные башмаки. Пройдя первый двор, загромаженный страшным количеством дров (смотритель говорил мне потом с гордостью, что у них на шпионскую канцелярию выходит их в год на 8000 р.), мы вступили на второй двор, неправильной формы и поменьше. Дальше были еще ворота, в которые виднелся жалкий садик. Не доходя до них, вправо, почти в углу, была небольшая дверь, около которой стоял жандармский часовой. Дверь была отворена, но вахтер в темных и грязных сенях, откуда шла вверх такая же грязная лестница, позвонил в какой-то разбитый, но громкий колокольчик. Он давал знак наверх о прибытии начальства.

Мы поднялись на второй этаж. Тут перед нами оказалась тяжелая дверь из продольных железных жердей, как у звериных клеток, с тяжелым замком. За дверью полумрак; там в недлинном коридоре, шагов в тридцать, виднелись солдаты с ружьями, двое или трое.

Вахтер отомкнул замок, и мы прошли в самую глубь коридора, мимо трех одностворчатых дверей, со стеклами в верхней половине, которые снаружи были задернуты белым коленкором. Такую же дверь (это была крайняя) отперли мне.

Новый номер был далеко не так изящен, как первый. Стены голые, просто выбеленные; диван крошечный, старинного фасона; вместо стола какой-то шкафчик и два старомодных стула. Койка была такая же железная, как и там. Около нее у самой печки (больше некуда было поставить) возвышался громадный ящик, крышка которого не совсем плотно прикрывалась. Постоянная отравка из этого ящика слышалась в тепло натопленной комнате. Потолок был низкий, опять-таки не то что в первом моем помещении, где он был и высок,

да вдобавок еще и с лепными какими-то украшениями. И печь, выходящая на полкирпича в комнату, была самая простая, а там изразцовая и с разными художественными орнаментами. К счастью, в моей новой комнате было два окна, и оба еще об одной раме. Их можно было отворять. Решетки были в них такие же.

Номер имел форму трапеции, как и двор перед окошками. Кровать стояла у стены, образовавшей тупой и острый углы.

Опять раздевание, и опять я был в белом халате. Смотритель с вахтером ушли; я остался один и стал смотреть в окно.

Во дворе было пусто. Изредка проходил какой-нибудь жандарм, то солдат, то в офицерской шинели, приезжал курьер в тележке, с пакетами, баба проходила или дама. Появление дам заставило меня предположить, что в самом здании есть шпионские квартиры, со шпионшами и шпионятами. Им-то, конечно, принадлежали эти окна в третьем этаже, справа от моих окон, завешенные гардинами, с горшками цветов. Этажом ниже были видны в окна столы, этажерки с бумагами и все прочие обычные принадлежности присутственного места. Это было, как я предположил, самое ядро шпионской деятельности. У одного из окон показывался то дежурный гусар с флюсом, то чиновник со светлыми пуговицами, должно быть тоже дежурный.

Я слышал шаги у своих дверей и оглянулся. Белая занавеска, заслонявшая с той стороны стекло, была огдернута, и ко мне глядело солдатское лицо с черными усами и бакенбардами, в какой-то белой куртке. Вслед за тем повернулся ключ в замке, и этот самый длинный солдат, несколько облысевший спереди, с худощавым и довольно добродушным лицом, внес ко мне нанизанные на ремень судки с обедом. Он постлал на шкафчике, заменявшем стол, салфетку, вынул из него солонку и затем расставил судки, показывая мне содержание каждой глиняной чашки, словно хотел пленить меня. «Вот суп, ваше высокоблагородие, а вот холодное, а вот жареное,— а огурцы тут (огурцы лежали в застывшем говяжьем сале); а вот и пирожное на закуску, ваше высокоблагородие».

Несмотря на чувство как будто голода, я не мог есть. Неприятное раздражение все еще не проходило. Я хлебнул ложки две жидкого трактирного супу, и мне

показалось, что, если я съем еще ложки две, меня, пожалуй, стошнит. К супу была серебряная ложка, но к остальным блюдам таких опасных орудий, как нож и вилка, не полагалось.

III

Только к сумеркам я стал немного успокаиваться, но успокоился ненадолго. Опять слегка отдернулась занавеска, опять повернулся ключ в двери. Вошел черный вахтер с моим платьем и предложил мне одеться.

— Куда?

— Не могу знать-с.

Я оделся.

Тут пришел гусар с флюсом и сказал, что меня просят в «экспедицию».

Когда в коридоре вслед за нами хотели направиться в виде конвоя два солдата, гусар развязно махнул им рукой и сказал гуманно и современно: «Не надо!»

Мы вошли во двор, потом в ворота направо, где был цветник, обошли его кругом и по разным лестницам и коридорам пришли к двери, на которой было написано: «2-е отделение». Я прочел эту надпись совершенно равнодушно, еще вовсе не подозревая, что она почти равняется для меня, по значению, надписи над воротами Дантова ада.

Прихожая; потом что-то вроде канцелярии. Тут за тремя или четырьмя столами сидело человек пять, несмотря на праздник, и строчило какую-то черноту. (Дела, как я заметил потом, тут много. Все пишут и пишут.) Прогресс давал о себе знать тем, что некоторые из этих господ всгавали с места и закуривали у камина папиросы. Как вообще всякий чиновник, они желали высказать свой вес тут при постороннем: проходя мимо, принимали какую-то особенно развязную походку и беспечный вид. Лица, разумеется, пошлые, как и следует иметь шпионской мелюзге.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— обратился ко мне опухший гусар, а сам отправился доложить.

Через несколько минут дальнейшая дверь отворилась, и оттуда сделал несколько шагов вперед высокий чиновник во фраке со светлыми пуговицами и со Станиславом на шее. Остановясь почти посредине комнаты, он обратился ко мне с приглашением:

— Не угодно ли вам пожаловать сюда, господин Михайлов?

Я пошел и, через маленькую проходную комнату, очутился в самом сердце второй экспедиции. Дверь чиновник за собою затворил.

IV

Тут стояли все шкафы кругом и один только письменный стол.

Чиновник, стоявший теперь передо мной лицом к лицу, был еще почти молодой человек (он сказал мне как-то потом, что ему тридцать шесть лет). Лицо у него было сухое, бесстрастное и незлое. В выражении было что-то напряженное, как будто он постоянно прислушивался к чему-то; фамилия чиновника — Горянский. Эконом и сторож называли его не иначе, как «Федор Иванович». Он был худощав, с несколько втянутыми щеками, с тонкими и постоянно запекшимися губами, как будто от долгого поста или от долгого молчания. Черные волосы, черные глаза с синевой под веками, тонкий нос, смуглый цвет лица сообщали ему вороний характер. Эти черты были почти постоянно в нервном движении так же, как и сухие руки.

— Я очень уважаю ваш талант, господин Михайлов,— сказал он с возможно любезным видом,— и очень сожалею, что мне приходится познакомиться с вами при таких обстоятельствах.

Как будто я мог бы познакомиться с ним при других!

— Да в чем дело? — спросил я.— В чем меня подозревают?

— На вас падает сильное подозрение, во-первых, в соучастии в сочинении прокламации к крепостным людям, во-вторых, в привозе из-за границы другого печатного воззвания — «К молодому поколению» и в распространении его.

— Да на чем же основываются эти подозрения?

— Против вас есть показания некоторых лиц и, кроме того,— вот-с!

Он взял со стола письмо и подошел с ним ко мне. Я сел у окна.

— Известна вам эта рука?

Довольно было взглянуть раз на рукопись, чтобы узнать почерк Костомарова. В первых же строчках бросилось мне в глаза: «М. Михайлов»,

— Чье это письмо, не знаю,— сказал я.— Дайте прочесть.

Горянский боялся дать мне его в руки. Он положил его на окно и придерживал сверху, вероятно, чтобы я не схватил и не разорвал его.

В письме Костомарова, адресованном к Ростовцеву¹⁹, говорилось, что на него, Костомарова, сделан донос его собственным братом и при этом украдены рукописи, из коих одна писана рукою М. Михайлова и может его сильно компрометировать²⁰. Далее он просил справиться у Плещеева о моем адресе и поехать или послать ко мне в Петербург, предупредить меня, чтобы я (вот что было умнее всего) «принял все зависящие от меня меры уничтожить»,— не то чтобы уничтожил, а именно сделал со своей стороны все возможное, чтобы уничтожить все, до единого, экземпляры «Молодого поколения» (и это подчеркнуто для большей выразительности).

Какое сцепление мыслей заставило Костомарова писать подобные вещи, когда за ним наблюдали (он и это упомянул в письме),— зачем понадобилось ему извещать меня, когда пять строк, написанных моею рукою, без его собственного показания не подали бы никакого повода подозревать не только меня, но и кого бы то ни было,— понять все это очень трудно. Если это письмо было написано не с преднамеренною целью выдать меня, то в это время в голове Костомарова происходил странный процесс. И добро бы оно обличало торопливость, состояло из набросанных наскоро беглых строчек! Нет, оно было довольно длинно и написано спокойной рукою. Только тупоумный человек мог дописать его до конца, не уничтожив. И хоть бы это писалось в другой город, а то в том же городе посылать подобную цидулку с горничной. Ничего не понимаю. В письме именно говорилось с изумительной логикой: «За мною следят, так я посылаю это письмо с Александрой» (так, кажется, была названа горничная).

Дальнейшее содержание письма просто озлобило меня своею подлостью. Костомаров прямо говорил, что он ничего не скроет про московских студентов, потому, видите ли, что они не стоят того, чтобы их беречь!

Я уж никак не могу сказать, чтобы поступал умно в Третьем отделении. Но этому немало содействовало опасение, что откровения, сделанные уже Костомаровым

(как я сразу увидел из слов Горянского), могут сопровождаться еще большими откровениями²¹.

— Вы признаете руку Костомарова? — спросил меня Горянский.— Он признал это письмо.

Я промолчал и еще раз перечитал письмо.

Горянский в это время говорил, что упорство мое в показаниях только повредит мне, именно заставит перевести меня в крепость, где я буду содержаться с величайшей строгостью. Этим он, кажется, хотел испугать меня, но, конечно, без толку.

— Третьему отделению,— продолжал он,— хорошо известны и лица, содействовавшие вам в распространении воззвания. Уж и теперь арестованы некоторые, но придется арестовать и других.

Он назвал несколько имен.

— Мы давно уже не арестовывали женщин,— продолжал Горянский,— а теперь должны были прибегнуть и к этой мере. Арестованы мать и сестра Костомарова. Часа через полтора после вас взята и полковница Шелгунова²².

Перечитывая письмо Костомарова, я думал, как бы объяснить его так, чтобы оно не могло служить обвинением мне. Я, разумеется, прежде всего не признал бы самого письма, если бы меня не сбили немного с толку слова Горянского.

Мне казалось самым удобным сказать, что из-за границы я действительно привез несколько экземпляров воззвания (именно десять), но их не распространял, а уничтожил, боясь ответственности; что Костомаров видел у меня только один экземпляр, что было совершенно справедливо; а что касается рукописей, то я не помню, какие у него могут быть компрометирующие меня бумаги. Пусть мне покажут.

— Их у нас нет,— отвечал Горянский,— они переданы следственной комиссии, назначенной над студентами, но вы их увидите завтра.

Вскоре его потребовали к «графу Петру Андреевичу»; и он попросил меня выйти с ним опять в канцелярию и там подождать.

V

Тут на этот раз был Путилин в черном фраке и со Станиславом на шее. Этот Станислав здесь чуть не на каждом шагу. Он немедленно подступил ко мне со слад-

кой улыбкой и стал тоже предлагать вопросы. Я отвечал ему вскользь. Он возбуждал во мне особенное отвращение.

Он обратился ко мне прежде всего с вопросом:

— Ведь вы изволите знать Благолюбова?

— Нет, не знаю.

— Как не знаете-с? Он-с ведь в одном с вами журнале участвует.

— Нет, такой не участвует.

— Ах, виноват-с. Я хотел сказать — Добролюбова. Его знаете-с?

— Знаю.

— Давно с ним виделись?

— Недавно.

— На той неделе-с?

— Не помню.

— Вы ведь изволили с ним вместе за границей быть?

— Вовсе нет.

— Но с ним там виделись?

— И того нет.

Все в таком диком роде.

Смеркалось уже. Зажигали свечи. Глупые вопросы Путилина были прерваны приходом Горянского, который попросил меня идти с ним к Шувалову.

Я прошел разными коридорами и лестницами в ту самую приемную, где дожидался Шувалова в день бывшего у меня обыска. Горянский юркнул сначала к нему в кабинет, потом ушел из приемной. Тут был только дежурный, развязно садившийся то на тот, то на другой стул, но не гусар с флюсом, а другой.

Шувалов выглянул и позвал меня.

VI

У него горела свеча на письменном столе и топились камин. Этот кабинет, куда, как в лужу, стекаются эссенции доносов и шпионства, был уже мне знаком, но я его еще не описал. Довольно большая комната эта была тоже обставлена с одной стороны довольно красивыми шкафами. Почти посредине, задом к камину, письменный стол. На камине часы, канделябры. Несколько мягких кресел, кажется, и диванов. Вообще кабинет имел вид более домашний, чем официальный.

Шувалов остановился по одну сторону стола, я — по другую. У него лицо как-то странно подергивало.

— Вы не хотите сказать, господин Михайлов, той правды, которая нам очень хорошо известна,— начал он.— Когда вы были у меня, тогда я уже очень хорошо знал вашу виновность; а теперь все окончательно подтвердилось. Теперь вы заставляете меня действовать, как бы мне и не хотелось.

(Тут же мне пришлось узнать, что он не только либеральный, но и честный человек. Он уверял в этом, ударяя себя в грудь.)

Затем те же вопросы почти повторил мне и Шувалов, которые я слышал уже от Горянского.

Он все уверял меня, что я писал прокламацию к крепостным людям, и говорил, что это несомненно и подтверждается сличением ее с моим почерком сколькими-то сенатскими секретарями. Я стоял на своем и требовал, чтобы мне показали рукописи.

— Хорошо-с, завтра вы их увидите,— сказал Шувалов.— Я не хочу брать у вас признания нахрапом.

А он, верно, к этому привык в полиции.

— Вы привезли с собою не десять экземпляров печатной прокламации, как говорите. Это что? Пустяки! Из-за этого вас бы нечего и преследовать. Вы привезли ее в большом количестве и распространяли со своими приятелями. У меня есть очень верные данные. Одному Костомарову вы предлагали для Москвы сто экземпляров. Ведь предлагали?

Я, конечно, отвечал, что нет.

— Костомаров сам вам это сейчас подтвердит.

Шувалов подошел к двери и спросил громко:

— Что, привезли арестанта... из крепости? — прибавил он, вероятно, для устрашения меня.

Я сильно сомневаюсь, сидел ли Костомаров в крепости.

Минуты через две (в кабинете было молчание; Шувалов закурил коротенькую папироску, ни он, ни я не сиделись) вошел Костомаров. Я не вдруг бы узнал его в каком-то толстом пальто и обросшего большой бородой. Он мне улыбнулся, но у меня не нашлось в ответ улыбки.

Известное письмо лежало уже на столе у Шувалова. Он положил его перед Костомаровым и сказал, указывая на известные буквы:

— Что это такое? «К молодому поколению»?

Костомаров молчал.

— Господин Михайлов сознается, что это так.

— Если он сознается,— сказал Костомаров,— то это действительно так.

— Предлагал он вам сто экземпляров?

Тут я перебил его, чтобы (глупое заблуждение) дать знать Костомарову, чего ему держаться в своих показаниях.

— Я не мог ему предлагать и не предлагал такое количество, потому что у меня самого было всего десять экземпляров. Но и их Костомаров у меня не видел. Он видел только один экземпляр.

— Так ли это, Костомаров!?

— Так.

— Ступайте! — сказал ему Шувалов.

Я остался. Шувалов через минуту выглянул из кабинета и спросил:

— Ушел?

Ему там отвечали.

Вы можете тоже теперь идти,— обратился он ко мне.

Не успел я выйти из кабинета, как ко мне вынырнул откуда-то из мрака Путилин и сказал по секрету:

— Попросите у графа, чтобы он возвратил письма госпоже Шелгуновой. Полковник давеча взял их к себе в карман. Их, пожалуй, представят при следствии.

От этих слов меня покорило, но я промолчал.

Гусар с флюсом ждал уже меня, и мы отправились.

VII

Когда, пройдя двор с садиком, мы вошли в ворота, я взглянул на окна своего каземата. Окно рядом с моими окнами было освещено. Штора не была спущена, и мне показалось — у окна сидит девушка, белокурая, с распущенными на плечи волосами. Горянский, значит, не врал о женских арестах. Это меня встревожило.

Наш коридор был освещен газом. Вахтер явился за одеждой. Самохвалов (так звали сторожа — длинного унтера с черными баками) принес стакан чаю с хлебом.

Ночь я провел тревожно и почти не спал до самого света. Если эта ночь была первая, то не последняя.

Когда я лег в постель, Самохвалов принес ночник,

поставил его на окно, опустил шторы, потушил свечу и пожелал мне спокойной ночи. Затем он запер дверь и вынул из нее ключ, который днем обыкновенно оставался в замке. Я думал, сердился и на себя, и на Костомарова, волновался, обсуживал и проворочался всю ночь с боку на бок. Понятно, какого рода мысли не давали мне спать. Я упрекал себя, что не стоял на совершенном отрицании всего, что сознался и в десяти экземплярах, хотя дело и могло окончиться в этом случае непродолжительным арестом. Я чувствовал уже, что Костомаров не поддержит меня. Мне становилось ясно, что Костомаров высказал все, что знал, и даже что подозревал. И в то же время мне не хотелось так дурно думать о нем. (Это-то и сгубило меня.) Я придумывал, как поступать дальше, но видел, что уже сразу испортил дело. И надо всем этим господствовало опасение, как бы в дело не впутали других.

Во дворе было от времени до времени движение. Слышалось бряцанье сабель, приезжали какие-то тележки. Я вставал и смотрел в окно, отогнувши штору. Мне воображались целые истории арестов, которых, может быть, и не было. Только к утру движение совершенно прекратилось, за исключением мерных шагов смены, причем слышалась команда и бряцанье ружей. Тогда раздавались громкие шаги и в нашем коридоре. Грела железная дверь, шагали солдаты, отдергивалась занавеска у двери, и лица с усами смотрели, что делает арестант. И часовой, оставшись уже один у двери, тоже по временам заглядывал.

Ночник у меня стал гаснуть. Мне не хотелось вставать, чтобы поправить его. Вдруг я услышал голоса во дворе и потом на лестнице:

— Что ж это? Там ночник погас. Зажечь!

— Эй, Самохвалов! В номере шестом ночник.

— Что, погас?

— Да. Дежурный увидал.

— Сейчас.

Я встал, поправил светильню спичкой, и она ярко загорелась. Мне не хотелось, чтобы ко мне лезли и ночью, и Самохвалов, заглянув в мою дверь, остался, по-видимому, очень доволен и произнес с удивлением:

— Горить.

С тяжелой головой пролежал я до рассвета, почти не умея еще сообразить и часов по смене. Я слышал и звон

к заутрене и ранней обедне и заснул, видно, всего часа на полтора.

Чтобы позвать к себе сторожа, нужно было только постучать в стекло двери. Часовой передавал требования дальше.

Самохвалов принес умывальник и полотенце, подал мне умыться, убрал постель, вымел комнату и потом вскоре принес чаю. Он спросил меня, не желаю ли я чего-нибудь читать, и сказал, что у них есть книги, которые переходят из номера в номер, казенные. Я просил принести. Это были разрозненные номера «Русской беседы», «Библиотеки для чтения», «Revue étrangère». Читать в них было нечего, да и охоты у меня не было.

Часов до двенадцати я ходил из угла в угол или смотрел в окно. Во дворе проходили опять то жандармы, то чиновники, то дамы, вероятно шпионские жены и дочери. Точно так же, как и накануне, приезжал в тележке курьер с бумагами, и пр. Окна не были закрашены.

VIII

Часов в двенадцать вахтер принес платье, пришел дежурный офицер, уже другой, другого полка, и я пошел опять в экспедицию. Тот же Горянский выложил передо мною две известные мне прокламации: к солдатам и к крепостным людям, разумеется придерживая их слегка.

При этом он сказал мне:

— Костомаров показывает, что он взял эти рукописи в квартире студентов Петровского и Сороки.

Это меня очень смутило возможностью новых компрометирующих показаний.

Может быть, это и глупо было с моей стороны, но опасение худшего заставило меня сказать, что только одно из этих воззваний мог он взять у Сороки, а другое получил от меня.

Когда я указал на строчки, написанные мною в прокламации к солдатам, Горянский был, по-видимому, удивлен. По их соображениям выходило (вопреки показанию Костомарова), что, напротив, прокламация к крестьянам написана моей рукой.

Вот и все почти, что произошло в это свидание. Да, я забываю одно.

Накануне я видел в экспедиции взятые у меня короб-

ки с бумагами, еще завязанными и запечатанными. Теперь не было на них уже ни бечевки, ни печатей и все из них было, по-видимому, выбрано. Это я заметил тотчас, как вошел, и тотчас же спросил Горянского, почему не призвали меня и не распечатали этих коробок при мне. Я мог бы при этом кое-что объяснить. Да к тому же для чего иначе было прикладывать к коробкам мою печать?

Горянский принял при этом несколько торжественный вид, насколько это было возможно при его фигуре, и заметил с гордостью:

— Вы забываете, господин Михайлов, что здесь канцелярия его величества. Печать ваша не имеет здесь значения.

И я-то наивен! Как будто не знал, что тут-то именно и письма специальным образом подпечатываются.

IX

Только что воротился я в свой номер, сторож принес обед, совершенно похожий на вчерашний. Но я не съел и двух глотков супу, как Горянский явился ко мне в номер. Обед и без того был мне противен, а тут я, разумеется, уже и в рот не мог его взять. Я сказал, чтобы его убрали.

Горянский старался отбросить свой официальный, чиновничий характер, но это ему не удавалось. Он сел, попросил позволения закурить папиросу и спросил меня, не знаю ли я, где в настоящую минуту студенты Сороко и Петровский. Их найти не могут. Оказалось, что до показания Костомарова на них и подозрения никакого не падало. Я же, напротив, по слухам, думал, что Сороко арестован²³.

Потом Горянский спросил:

— А где брат Костомарова, вы не знаете?

— Какой брат?

— А про которого он пишет, что донес на него.

— Да вы разве не знаете этого? — спросил я с удивлением. — Я-то его и не видывал никогда.

— Мы его давно ищем и не знаем, где он.

Я тогда же начал думать, что донос брата — выдумка Костомарова. Хотелось бы разъяснить эту историю.

Скажу несколько слов о Горянском. Вообще это редкий подлец, подлец до глубины души, до мозга костей. Я сказал, что в выражении лица у него не было злого;

но подлость характеристически отпечатывалась в каждой черте, в каждом движении мускулов. У меня было довольно времени всмотреться в это гадкое лицо. Со второго дня моего ареста он меня посещал ежедневно в течение двух недель. Заходил и потом, но уже не так часто. Любопытнее всего было наблюдать за той игрой, которую он старался искусственно сообщить своему лицу. Игра эта не удавалась ему. Сухое, черствое лицо не поддавалось усилиям выразить то, что требовалось выразить в данную минуту, на основании тонких шпионских соображений. Но в усердии с его стороны в этом отношении не было недостатка. Напротив, он иногда, можно сказать, весь превращался в это усердие. Надежды терять, впрочем, нечего. Он еще молод, к старости, того и гляди, постоянная практика сделает свое, и его теперь неподатливое лицо будет принимать какую угодно маску, если только мы будем оставаться со своим тысячелетним терпением покорными зрителями этого разбойничьего вертепа у Цепного моста.

Х

С этого второго дня моего ареста я могу более или менее одинаково охарактеризовать все дни моего заключения. В первые две недели я не знал ни одной спокойной минуты. Только вечером, да и то после известного часа, мог я уже не ждать посещения Горянского или Путилина или того, что меня потребуют в экспедицию или к Шувалову.

Говорить с этими господами было для меня истинной пыткой. Они постоянно делали мне в разговоре разные пугавшие меня намеки, на которые я старался не выказывать никакого ни любопытства, ни внимания, тогда как внутренне они меня очень тревожили. На принесенные мне Горянским вопросные пункты о прокламации «К молодому поколению» я ответил то же, что и на словах²⁴ (рукописи, конечно, казались им не особенно важным делом)²⁵. По этим ответам со мною нельзя бы было сделать ничего особенного. Я решился стоять на этом до конца, и если б не страх, что Костомаров замешает еще кого-нибудь, дело окончилось бы разве высылкой меня из Петербурга. Намеки не сходили у Горянского с языка. Он играл передо мною, как фокусники играют ножами, разными именами, не уставая повто-

рять их. Между прочим, мне предлагали вопросы о Вене, давно ли он приехал из деревни, был ли в Петербурге, когда я вернулся из-за границы. Но это было много спустя, почти перед самым переводом меня в крепость²⁶ (вероятно, в это время держали его в Третьем отделении, дожидаясь, что я скажу)²⁷.

Говоря об этих ежедневных вопросах, мучивших меня и сами по себе и особенно теми тревожными мыслями, которые они всякий раз оставляли во мне,— я говорю, собственно, о посещениях Горянского, у которого я был, кажется, главным предметом наблюдения все это время. Путилин, не знаю почему (верно, по глупости своей), был для меня еще противнее; но он заходил реже, и я почти ни на один его вопрос не отвечал, так что он должен был поневоле уходить от меня довольно скоро.

Оригинальнее всего были расспросы Шувалова, к которому меня водили раз пять или шесть. Он обыкновенно спрашивал в таком роде:

Как вы ни запирайтесь, а госпожа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет, знала.

— Нет, не знала.

— Нет, знала.

И так далее, до злости.

— Ну, я понимаю,— переменял он тему,— что вы не хотите выдавать женщину; но брат ее знал. Мы не можем оставить его без наказания.

— Нет, не знал.

— Нет, знал и помогал вам.

— Нет, не знал.

— И что вы его защищаете? Знал.

— Нет, не знал.

— Знал, я вам говорю.

— А я вам говорю, что не знал.

Это он, должно быть, называл: не брать нахрапом.

Пример допроса, приведенный мною, я взял из времени, следовавшего уже за моим показанием. До этого вопросы были и другие, но характер исследования был тот же.

— Зачем вы не хотите сказать, что распространяли прокламации вы?

— Да я не распространял.

- Распространяли.
- Нет.
- Распространяли.
- Нет же!

Кроме допросов Горянского, меня, впрочем, ничто не смущало. Он с каким-то особенным искусством умел разнообразить свои вопросы и томить меня по целым часам.

XI

Дни, разнообразные только по моим беспокойным думам, тянулись так. Я вставал около семи-восьми часов. Следовало умывание, питье чая, к которому не подавалось молока и давалась трехкопеечная булка. Потом начиналось досадное ожидание посещений. Я пробовал читать, но не находил в этом развлечения. Я спросил у Шувалова газет, и мне приносили «Петербургские ведомости», «Инвалид». Но это было только в первую неделю. Потом газет мне не стали давать. Таким образом, я лишь случайно узнал по попавшему ко мне отдельному номеру «Русского мира», что университет закрыт. Об этом событии я, правда, слышал от Путилина и от смотрителя, но не совсем им поверил. Достаточно было пробыть тут три-четыре дня, чтобы видеть, что изо всего рассказываемого по меньшей мере три четверти оказывается ложью.

Поутру обязан ходить по номерам дежурный с вопросом, не желает ли арестант чего-нибудь. Но ко мне дежурные не всегда заходили. Эта подающая надежды молодежь часто ограничивалась тем, что, отдернув занавеску двери, заглядывала ко мне в стекло. Утром же довольно часто заходил ко мне смотритель, капитан Зарубин. Он сообщал мне преимущественно театральные новости. На каждую новую пьесу он ездил. Вдавался иногда и в политику и либеральничал. А вслед за тем жаловался на бездну хлопот в Третьем отделении. Все, говорил, так было хорошо. Сколько времени почти все номера стояли пустыми, а теперь не знаешь девать куда всех, кого арестуют. «Правительство ведь идет же немножку вперед,— рассуждал он.— Нельзя же вдруг. А вы, господа прогрессисты, очень уж торопитесь. Все бы вам сразу».

День, два, три и четыре я не прикасался к обеду. Не говоря уже о том, что он успевал простыть по пути из

трактира (откуда его брали), а если его подогревали, то вонял салом и вообще был довольно противен; я не мог есть и потому, что приносили его в двенадцать, в час. Это случалось, значит, или непосредственно вслед за приятными беседами со мной моих милых следователей, или в ожидании их, или же, наконец, во время самых визитов. Только в сумерках я как будто чувствовал себя немного легче. Беспрестанные отворянья железной коридорной двери, голоса разных местных распорядителей, шаги их и распоряжения по коридору только тут умолкали. В остальное время, прислушиваясь к этим голосам и шагам, я того и ждал, что вот идут мучить меня разговорами. Это так и случалось. Капитан Зарубин был наиболее сносным исключением. Он, по-видимому, не имел ни обязанности, ни особенного призвания разузнавать у меня что-нибудь, говорил больше сам, и все-таки я узнавал от него, хоть урывками, кой-какие новости. Я ему сказал, что совсем не могу есть так рано, и он мне предложил присылать обед в четыре или в пять часов. В двенадцать же я хотел иметь кофе. Он и на это согласился. Около сумерек чиновники расходились из присутствия по домам, Шувалов (если бывал в Третьем отделении) тоже уезжал. Значит, можно было вздохнуть по-свободнее. Я следил обыкновенно из окна, как они расходятся. Перемена времени обеда не прибавила мне, однако ж, аппетита. Я заметил некоторое изменение в характере блюд и спросил у Самохвалова, не из другого ли это трактира обед. Он сказал мне, что об эту пору они из трактира обед не берут, а этот от капитана Зарубина, который снабжает им всех арестантов, обедающих так поздно, как я. В это время и сам он обедает.

— Такая эта капитанша милосердная, — заметил Самохвалов, — что поискать другой.

Его удивляла моя умеренность. Я редко ел что-нибудь, кроме супа да салата, иногда разве только оставлял у себя кусок какого-нибудь сухого пирожного.

— Что вы не кушаете, ваше высокоблагородие? — говорил он ласковым и добродушным тоном. — Разве не нравится вам?

— Нет, не естся что-то.

— Да вы огорчаетесь, я полагаю, ваше высокоблагородие? Так вы не огорчайтесь. Что ни бог! что ни бог, ваше высокоблагородие! У нас иные и по десяти меся-

цев сидели, да на волю выходили. Что ни бог, ваше высокоблагородие!

Не было почти дня, чтобы у меня не болела голова и не билось сердце до тошноты. Я продолжал мучиться бессонницей. Ночь проходила у меня в возне с боку на бок. Если я и засыпал на полчаса, на час, то этого нельзя назвать сном. Какая-то чуткая дремота это была, наполненная в то же время беспорядочными и неприятными грезами. В них все продолжались и допросы, и думы мои, и опасения. Малейший шум в коридоре будил меня. Сплошь и рядом я не мог разобрать, дремал ли я или просто думал. Я с тоской ждал, считая смены, скоро ли дневной свет сделает ненужною эту лампадку, тихо потрескивающую на окне. Я потребовал на третий или четвертый день взятые с собою книги и хотел начать писать. Мне дали и бумаги, и перьев, и чернил. Но книг моих разом мне не дали, а давали по одной, по две. Мне казалось, что во время письма мне удастся лучше сосредоточить свои мысли на чем-нибудь постороннем. Но это было заблуждение. Писать мне было еще труднее, чем читать. Только сильнее разбалывалась и тяжелела голова. Я бросил и это и, оставаясь один, только ходил из угла в угол, считая концы. Таким образом, и тут (как потом, в крепости) мне случалось насчитывать в течение дня до 1500 концов. Устав ходить, я ложился на постель и рассеянно читал. Иногда, застав меня лежащим, Самохвалов замечал: «Вы опять на койку (он произносил именно так мягко) легли, ваше высокоблагородие, должно быть все огорчаетесь. Что ни бог, ваше высокоблагородие. У нас что,— вот, не дай бог, в крепости! А здесь что? Подержат, да и выпустят. Что ни бог, ваше высокоблагородие!»

Я вступал с ним иногда в разговор и старался его порасспросить кой о чем. Но он трусил отвечать, понижал голос и косился на дверь. Он жаловался, что дела ему много, что все номера в его отделении заняты, что с одними обедами хлопот пропасть. А там еще уборка комнат, чай и пр.; что некоторые арестанты так пачкают пол и сорят сигарами, что надо каждый день мыть; что некоторые очень капризны, сердятся, кличут каждую минуту за вздором, беспрестанно спрашивают, который час.

— Хочу уж часы в коридоре повесить. Есть там в сторожке. Пусть тут бьют,

Он и сделал это. Но боем часов я наслаждался всего дня два. Начальство приказало их снять. Верно, считало это баловством. Моих часов мне не давали, хотя я просил не раз.

Я спросил Самохвалова, есть ли между арестантами женщины. Он сначала не хотел отвечать, но потом сказал шепотом, что теперь нет, а бывали. Только им прислуживают бабы, а не он. Мне хотелось знать, кто же это около меня. Он сказал, что это молодой человек, совсем мальчик, волосы по плечам. Я догадался потом, что это был один московский студент. Я видел его, из окна, во дворе, в студенческом мундире, и думал, что его выпускают на свободу; но — как мне сказали потом в следственной комиссии — его перевели только из Третьего отделения на съезжую (кажется, Обер-Миллер фамилия) ²⁸. В другой раз я увидел в окно — как мне показалось — Владимира Обручева ²⁹, идущего с дежурным офицером, вероятно, из экспедиции. Я думал, не ошибся ли. Но это потом подтвердилось. Но чаще всего, по нескольку раз в день, видел я одного арестанта: господина с седой французской бородкой, в сером инвернесе. Меня удивляло, что его так часто допрашивают; но Самохвалов объяснил мне, что он ходит просто гулять по садику. Я мог бы тоже отправляться на прогулку, но у меня не было на это ни малейшей охоты.

Перед арестом моим я слышал, что в Третье отделение взят некто Перцов, тоже отчасти литератор ³⁰. Я почему-то решил, что это именно он. Раз он вышел с каким-то узелком. Во дворе стояла извозчичья карета. Он сел в нее один и уехал. Я так и думал, что его освободили. Видя его потом во дворе, я предполагал, что он приходил за какими-нибудь справками. Но жандармы, везшие меня до Тобольска, сказали мне, что он все еще содержится у Цепного моста, а тогда ездил, в сопровождении вахтера, в торговые бани. Раза два-три проходил по двору Боков ³¹. Он смотрел на мои окна и, вероятно, узнал меня. Я нарочно становился ближе и смотрел в открытую форточку. Однажды он поднял руку ко рту и сделал как будто три воздушных поцелуя. Может быть, они относились к Обручеву, а может быть, и к обоим нам. Я забыл сказать и скажу теперь кстати, что меня не раз спрашивали, не известно ли мне, откуда идет «Великорусс». На отрицательный ответ мне замечали: «Знаете, да сказать не хотите». Но и только.

Почти две недели допросов и надоеданий не подвинули дела моего ни на шаг, и я уже начинал думать, что тем все и кончится. Однажды, призванный к Шувалову, я услышал от него следующее:

— Я имею положительные данные, что прокламацию «К молодому поколению» написали вы.

— Какие же?

— Мне говорил один литератор, что вы читали прокламацию свою в рукописи еще другому литератору, то есть не литератору, а брату литератора, именно Серно-Соловьевичу, — что вы на это скажете?

— Что это выдумка. Какой вам это литератор говорил?

— Да Костомаров; вы с Соловьевичем советовались, и он еще говорил вам, что вы этою прокламацией восстановите против себя всех помещиков. Вы ему читали это перед своим отъездом в Лондон.

— Что это вздор, ясно уже из того, что я с Серно-Соловьевичем познакомился по приезде из-за границы.

Шувалов несколько смутился.

— Действительно?

— Да.

Об этом потом он уже не поминал.

ХIII

Вскоре после этого ко мне явился Путилин с портфелем под мышкой. Он вынул оттуда печатку в виде ручки с бархатным рукавом и спросил, знаю ли я эту печатку. Она была очень хорошо мне знакома.

— Нет.

Он вынул несколько конвертов, прошнурованных и пропечатанных, и показал мне адреса.

— А это вы писали?

— Я.

Это были адреса моих писем к Костомарову.

Он вынул еще два пакета и показал мне.

— А это?

— Это не я.

— Вы только себе вредите, не сознаваясь, — заметил Путилин. — Это ваша же рука, и печать вот эта ваша. Он повернул пакеты другой стороной.

Довольно долго приставал он ко мне и с другими вопросами, слышанными мною уже сто раз. Наконец сказал, что Костомаров прямо говорит, что прокламацию привез я в большом количестве, предлагал ему взять в Москву сто экземпляров и пр.

Вы это от него самого услышите-с,— прибавил он.— Вам дадут с ним очную ставку. Он это все на очной же ставке показал. Тут из Москвы есть один господин теперь.

Не добившись от меня ничего, Путилин ушел.

Не больше как через четверть часа после его ухода меня позвали в экспедицию.

XIV

Там встретил меня Горянский почти теми же вопросами, как и Путилин. Он говорил, что «нравственное» убеждение их, то есть Третьего отделения, в моей виновности так сильно, что они употребят все средства добраться до конца в своих открытиях. На сцену опять явились печать, конверты и пр. Он что-то заговорил было о чернилах, о сургуче, но, видно, сам увидел, что зарпортовался, и потому поспешил поправить дело, показав мне ответы Костомарова на предложенные ему вопросы пункты. Эти ответы были действительно очень компрометирующего характера. В них он говорил о прокламации «К молодому поколению» как о *моей* брошюре, утверждал, что ни у кого и быть ее не могло в Петербурге, кроме меня; о числе привезенных мною экземпляров он не упоминал, но в то же время на вопрос, зачем я привез их, отвечал,— вероятно, по его мнению, остроумно,— что, конечно, не с тою целью, чтобы оклеить экземплярами возвания стены своего кабинета вместо обоев. Он подтверждал также, что рассказывал в Москве о моем предложении ему взять прокламацию с собой,— и еще немало было глупостей самого скверного свойства в этих ответах. По особенному тупоумию меня более всего поразил, помню, ответ на вопрос: зачем он, Костомаров, предупреждал меня письмом? «Затем,— отвечал Костомаров,— чтобы Михайлов, получивши письмо, уничтожил все экземпляры (!), и тогда если б письмо и попало в руки полиции (?), то нельзя было бы никак догадаться, о чем в нем идет речь». Этот ответ, чуть ли не дважды подчеркнутый Горянским крас-

ным карандашом, как особенно замечательный, рассмешил меня. На все красноречие Горянского я ответил одним, что к тому, что сказал раз в своих ответах, я ничего не прибавлю, да и прибавлять мне нечего.

— Вот сейчас сам господин Костомаров будет здесь. Вы поговорите с ним.

Я и не думал, какой оборот могло принять и приняло это свидание. Я решился не принимать на себя ничего более того, что уже принял, и, конечно, выдержал бы свое решение, если б Костомаров не вывел меня из терпения своими упреками. Он пришел в сопровождении Путилина. Горянский попросил его объяснить разные пункты в его ответах. Я уже не помню хорошенько этих объяснений, но мне памятно, что Костомаров как-то неловко старался вывернуться из нелепых фраз. Например, относительно того, что он воззвание постоянно именовал *моей* брошюрой или статьей, он сказал Горянскому что-то вроде этого: «Ведь, говоря про этот стул, на котором вы сидите, что этот стул *ваш*, я этим не хочу сказать, что он принадлежит вам». Когда дело дошло до рассказов его в Москве о прокламации, Путилин с сладостною улыбкою сообщил, что г. Костомаров подтвердил сказанное в ответах сейчас на очной ставке. Горянский спросил его. Он сначала молчал, потом сказал, что он действительно подтвердил сейчас на очной ставке, да и теперь подтверждает, что рассказывал, что в сентябре месяце может добыть сколько угодно экземпляров возвания. Я на это заметил ему, что он мог говорить такую вещь и не имея на это прочного основания. «Всякому из нас,— сказал я,— случалось в разговоре преувеличивать. И вы, верно, не станете утверждать, что говорили на этот раз правду». Я уже начинал сильно сердиться. Костомаров стоял на своем. Я очень кротко, стараясь выбирать выражения, напомнил ему один пример сделанного им преувеличения в разговоре со мной. Он вдруг вспыхнул и рассердился.

— Вы хотите, кажется, свалить все на мою голову,— сказал он мне.— Валите, валите!

— Я ничего на вас не валю, да и нечего мне валить. Напротив, все, что касалось меня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.

— Говорите, господин Костомаров,— сказал Горянский.

— Да что мне говорить? — возразил Костомаров.—

Он (указывая на меня) хочет играть роль невинной жертвы. Ну, обвиняйте меня!

— Нам не обвинять кого-нибудь нужно, а узнать истину,— сказал Горянский.— Говорите, господин Костомаров.

Костомаров помолчал и потом резко сказал:

— Не удивительно, что я молчу, а удивительно, что молчит он.— Он показал на меня.

— Что такое вы сказали? — вскричал Горянский.— Это замечание важное, и вы должны написать его.

Он положил лист бумаги на конторку, облокотясь на которую стоял Костомаров, и подавал ему перо. Костомаров не брал пера.

— Нет, вы должны это написать, должны,— настаивал Горянский.— В ваших словах намек очень серьезный, и он должен быть разъяснен. Пишите же, господин Костомаров. Как это вы сказали? Не удивительно, что молчите вы, а то удивительно, что молчит господин Михайлов. Извольте написать эти слова.

Костомаров все еще колебался. Я едва сдерживал злобу, которая раскипалась во мне.

— Господин Костомаров никогда не покажут несправедливо,— вмешался сладким голосом Путилин, вообще мало тут говоривший и бывший, вероятно, лишь в качестве свидетеля.— Я их довольно хорошо знаю по Москве.

— Пишите, Костомаров,— сказал и я.

Он уже взял перо, но только занес его над бумагой, я остановил его словами, что у меня было гораздо большее число экземпляров, чем я показывал. Я сказал тогда, кажется, что сто пятьдесят, но потом в показании прибавил еще сто, потому что иначе не мог достичь нужного правдоподобия. Длитель эту сцену очной ставки в экспедиции мне стало омерзительно. Я боялся, что она примет еще гаже характер, и уже не в ущерб мне, а может быть, и другим. Надо было покончить. Костомаров отошел к окну, опустил на стул и начал плакать, говоря бессвязно: «Ко мне пристают с утра до вечера. Мать моя в горячке...» Путилин предложил ему выпить стакан воды. Он подошел к столу, выпил и сказал, что желал бы уйти. Горянский объявил, что это можно. Я забыл упомянуть, что, как только я сказал о том, что у меня было сто пятьдесят экземпляров воззвания, Горянский обратился и ко мне с требованием, чтобы я на-

писал это. Я отказался наотрез и сказал, что мне в таком случае мало писать одну цифру, что я напишу все, что нужно, у себя в номере, а отвечать на отдельные вопросы теперь не стану, не хочу. Горянский выразил было какое-то колебание; но Путилин обратился к нему (обычная уловка) с такими словами:

— Да господин Михайлов напишут. Разве можно в этом сомневаться? Уж если они раз сказали, то, конечно, напишут.

Вслед за Костомаровым ушел в свой номер и я.

XV

Горянский стал томить меня еще чаще своими посещениями. Он уже не предлагал мне вопросных пунктов, а сказал, чтобы я написал просто показание. Ты знаешь уже это показание в его позднейшей форме³². Прежде чем оно приняло ее, оно было вдвое короче. Но я должен был прочесть его Шувалову в черновой рукописи, и многие подробности явились только вследствие того, что им в первоначальном виде не удовлетвоовались бы и все-таки предложили бы мне еще немало вопросных пунктов. Я не помню теперь всего, но укажу кое-что. Так, например, у меня сначала было глухо сказано, что я привез воззвание с собою, а о происхождении его не говорилось. Это прибавлено. Так точно не упоминалось в нем и вашего имени. Но Шувалов и все его клеветы говорили, что я приехал вместе с вами и что в Лондоне вы должны были находиться вместе со мною. Надо было и на это ответить. Вообще многое, что казалось мне самому потом совершенно излишним (когда мне прочли это показание перед судом), было вызвано назойливыми вопросами и придирками в Третьем отделении. Когда, по-видимому, все было удовлетворено, Шувалов, прослушав показание, сказал мне: «Вам, конечно, все это неприятно. Но, согласитесь сами, принявши единожды это место, не мог же я поступить иначе». Он сказал мне, что будет стараться и надеется, что меня не более как отправят куда-нибудь в отдаленную губернию на жительство. Но может, конечно, случиться, что государь захочет меня предать суду. Потом прибавил (повторив уверение в своей честности), что у него было в руках несколько писем, взятых во время обыска жандармским полковником, но так как мне могло бы быть

исприятно, если они попадут в чужие руки, то он передал их запечатанными вам. Это (как оказалось) было вранье, которым он поддерживал вранье Путилина. Писем никаких Житковым не было взято.

Горянский пришел ко мне вскоре с просьбой указать ему кого-нибудь из моих знакомых, кто сообщил бы ему о моих прежних литературных занятиях. Это было нужно ему, как он говорил, для будущего доклада государю. «Я пошел бы к Аполлону Николаевичу Майкову или Николаю Алексеевичу Некрасову. Я их несколько знаю. Но вы ведь знаете, как на нас смотрят. Скажут: шпион!!» Он особенно выразительно произнес слово *шпион*, словно хотел передать во всей силе то презрение, с каким его обыкновенно произносят. Горянский, как он говорил мне как-то, сам сочинял стихи и чуть ли не носил какую-то поэму своего произведения к Некрасову. Я вызвался лучше сам ему продиктовать, что ему нужно. Только после этого показания я стал немного покойнее и по ночам перестал метаться без сна. Чтение, однако, все-таки плохо развлекало меня, хотя, признав за собою всю вину, я уже перестал тревожиться за спокойствие других. Другая тревога, за себя, была слишком ничтожна в сравнении с тою.

XVI

Я почти забыл, что письмо Костомарова сделало меня прикосновенным и к другому делу, по которому следствие производилось особой комиссией. Забыть было и нетрудно. Оно было слишком ничтожным для Третьего отделения сравнительно с тем, что им нужно было узнать, для чего у меня было произведено два обыска и сам я был арестован. Нет сомнения, что, будь у них в виду только эта прикосновенность моя, и обыск у меня не повторился бы и меня позвали бы в следственную комиссию, не арестуя.

Совершенно неожиданно принесли мне раз вечером платье, и смотритель пришел объявить, что я поеду сейчас в следственную комиссию для отобрания от меня показания. Я поехал в извозничьей карете, в сопровождении молодого офицера, капитана Федорова, не знаю, какого полка, будущего кандидата в жандармы, прикомандированного с этою целью к Шувалову. На козлы рядом с кучером сел вахтер. Редко встречал я таких

дураков, как этот офицер. Глупость его высказывалась в разных рассуждениях, с которыми он не отставал от меня всю дорогу от Цепного моста по Миллионной и Большой Морской. Не знаю даже, могу ли я назвать этого господина и не вполне испорченным человеком. Он выказывал, что стыдится своего положения, и старался как будто оправдаться в том, что поступил в жандармский штаб, с тем чтобы получить со временем место в провинции, что-нибудь вроде адъютанта при жандармском штаб-офицере. Он в то же время с какою-то завистливою восторженностью говорил о быстрой и блестящей карьере Шувалова и изумил меня немало, когда вдруг произнес от слова до слова формулярный список шпионского начальника. Он как-то упомянул, что был сначала преподавателем истории где-то в военно-учебном заведении. В хронологии действительно был силен. Он только что не называл мне месяцев и чисел, когда Шувалов был произведен в такой-то чин, переведен на такое-то место; но года приводил он с точностью хронологической таблицы. Чтобы оправдать свои жандармские стремления, он пускался в восхваление гуманности Шувалова и говорил, что все стремления этого добродетельного сановника направлены на то, чтобы «облагородить» службу по жандармскому ведомству, чтобы люди все служили образованные (при этом бывший преподаватель истории имел, вероятно, в виду и себя), чтобы уничтожить всякие тайные допросы (мне то это было кстати рассказывать) и предоставить все дела, бывшие прежде исключительною специальностью Третьего отделения, обыкновенному суду, а самим только наблюдать за чиновниками по всей империи: не брали бы взяток, и проч. Мне любопытнее было узнать что-нибудь про городские новости, но он ничего не знал или не хотел говорить, кроме того что дебютировал в итальянской опере какой-то новый певец да что приехала какая-то новая танцовщица. Он выразил мне, кроме того, свое сочувствие к литературе, сказал, что предпочитает всем журналам «Время», и пожалел, что в этот месяц «Современник» запоздал.

Странное чувство не оставляло меня во весь этот недалекий переезд. Окна кареты были опущены, и я с какою-то жадностью смотрел по сторонам, всматривался в лица проходивших по освещенным тротуарам Большой Морской, будто хотел узнать в толпе хоть одно зна-

комое лицо. Мне хотелось в то же время ударить по виску и оглушить этим моего спутника, вмешаться в толпу и вдруг неожиданно явиться у Аларчина моста ³³.

— Нельзя ли нам проехать мимо бывшей моей квартиры,— сказал я неумолкавшему жандармскому кандидату.— Мне хотелось бы посмотреть хоть на ее окна.

— А где вы жили?

Я сказал.

— Ах, жаль, что не по дороге. Я, знаете, с удовольствием бы, но это в сторону. Как бы чего не вышло. Вон вахтер ведь у нас на козлах.

Я не настаивал. Первая адмиралтейская часть находится на Большой Морской, рядом почти со зданием почтовых карет, откуда я провожал тебя в предпоследнюю нашу поездку за границу. Тут-то собиралась комиссия по делу печатания и распространения московскими студентами запрещенных сочинений под председательством, как сообщил мне мой проводник, действительного статского советника Собошанского.

XVII

Мы въехали во двор, поднялись по довольно узкой лестнице во второй, а может, и в третий (уже не помню) этаж, и я вошел в тускло освещенную, довольно большую комнату, где стоял посредине письменный стол и сидели мои следователи, весело разговаривая и куря. Проводник офицер остался в комнате рядом, между прихожей и той, где производилось следствие. В числе следователей мне было одно знакомо лицо. Это был Стороженко, которого я раза два-три встречал у Дружинина. Из остальных я ни с кем не встречался прежде. Кроме председателя Собошанского и Стороженко я узнал имена Фонвизина и Любимова (обер-секретаря сената). Кажется, это были и все, не считая канцелярских чиновников, сидевших за другими столами. О комиссии этой, собственно говоря, нечего бы и помнить; я вписываю только для полноты факт моего визита в первую адмиралтейскую часть. Следователи (насколько я могу судить по двум сделанным мне допросам) были все люди порядочные. Им, по крайней мере, не для чего было заранее считать меня преступником, как это было в Тайной канцелярии. Мне предложили в оба раза по несколько вопросов такого рода: зачем бы-

ли у меня взятые при обыске две книги и портрет? Справедливо ли показание Костомарова, что одна из взятых у него рукописей писана мной? Зачем я передавал их? Я ответил, что одна рукопись действительно переписана мной с дурного списка, где были пропуски, а другая, не помню откуда, попала ко мне как интересная новость, ходившая, как я слышал, по рукам в рукописи; что передавал я рукописи для прочтения — и только. Пока изготовляли вопросы, за столом шел общий разговор о других предметах. Я сидел насупротив председателя и принимал в разговоре участие. Тут я узнал, что студенты по делу типографии все содержатся при полиции, а не в Третьем отделении, что некоторых они отпускают по домам; что одного выпущенного, не имевшего при себе ни гроша, приютил в своей квартире Стороженко; что они собираются всею комиссией в Москву для получения сведений на месте. Оба раза я ездил в следственную комиссию вечером с тем же глупым офицером и возвращался в свой шестой номер у Цепного моста часов около девяти или десяти; между допросами у меня было дня три промежутка.

ХVIII

Хотя ко мне, после того как я отдал свое показание, стали реже заглядывать шпионские физиономии, но я все-таки не был настолько спокоен, чтобы чем-нибудь заниматься в течение дня. Читать давали только старые русские журналы, давно мною читанные. Только под вечер я стал пробовать хоть переводить что-нибудь в стихах из тома «Chambers»'а, бывшего у меня. Несколько тревоги, хотя и много удовольствия, доставила мне весть, принесенная Зарубиным, о беспорядках в университете. Хотя он говорил и глухо как-то, но я мог понять, что дело не шуточное. Он же сообщил мне потом о множестве арестов и говорил, что арестованы все, кто издавал «Великорусса»³⁴.

Раз во время обеда пришел Путилин, как я понял, с целью узнать впечатление мое при вести об аресте студентов, именно первом, когда был арестован и Веня. Я спокойно выслушал его рассказ, что студенты наделали «глупостей» в университете, нагрубости начальству и что многие арестованы и университет закрыт. Вероятно, с тем, чтобы вызвать у меня вопрос, не арестован ли

Михаэлис, Путилин сказал мне: «Ваши все здоровы, кланяются вам». По-видимому, он так и ждал, что я спрошу: «А где вы их видели?» и «по какому случаю?» Но в тоне его на этот раз было столько фальши, что я был убежден, что он врет, и не спросил ничего, даже не сказал ни слова. В этот или в другой раз он сказал мне, что Костомарова очень огорчает, что я на него сержусь за его образ действий, и что он просил его, Путилина, передать мне его огорчение. К этому времени относятся предложенные мне Шуваловым вопросы о Вене, которые я привел выше. В это время он, вероятно, сидел в Третьем отделении.

ХІХ

Горянский, заходя ко мне, говорил обыкновенно, что он является не как чиновник, а как частное лицо, и принимал при этом огорченный вид. Он предлагал мне в то же время, понижая голос, передать что-нибудь — на словах и, пожалуй, письмом — моим друзьям. Нашел дурака. В разговоре у него то и дело проскакивали фразы, из которых ясно было видно, что ему хочется выведать от меня еще кое-что. Он начал, между прочим, говорить мне, что для доклада государю мне следует изложить дело как можно короче, в форме письма, что всего показания моего государь читать не станет (слишком длинно) и что резолюция на таком письме решит мое дело. Без этого письма, как он утверждал, я не избежну суда, который может кончиться для меня плохо, а главное — что суд не ограничится мною одним, а постарается притянуть и всех, кто только был со мною в дружественных отношениях. Какой мог быть назначен суд, я не знал, и мне представлялись те судебные комиссии, которые отличались в царствование Николая Павловича. Я не настолько был убежден в нашем прогрессе, чтобы предполагать невозможную такую комиссию, как, например, по делу Петрашевского³⁵. Следствие в адмиралтейской части не могло успокоить. Я видел очень хорошо, что Третье отделение смотрело на дело московских студентов далеко не так серьезно, как на мое.

ХХ

Порядок жизни шел между тем неизменно в нашем коридоре и в моем номере; нарушение его заключалось только в том, что в окна вставили двойные рамы. Когда

в моем номере возился стекольщик с мальчиком, на меня напала особенная злость. Как будто я должен был остаться тут на зиму! Потом раза два случалась необычная возня по коридору, с криком и растворением железных створов.

— Что это там было такое? — спрашивал я Самохвалова.

— Кровать вносили.

— Какую? Зачем?

— Да вот тут в номер. Там одна кровать, так теперь другого туда еще сажает. Другую и койку надо.

— Разве уж места нет?

— Должно быть, что нет, ваше высокоблагородие. А впрочем, не знаю.

Раза два-три Самохвалов объявлял мне о том, что ждут Шувалова, что он собирается обойти все номера по случаю скорого возврата князя (Долгорукова). Самохвалов с особенною тщательностью тер полы мокрой шваброй и потом душил меня дымом каких-то благовонных порошков, которыми окуривал коридор и номера. Но Шувалов так и не был. Он вскоре после моего показания (то есть после студенческой истории) совершенно перестал ездить в Третье отделение, где бывал до того ежедневно. Эти сведения сообщал мне Самохвалов, да я и сам мог знать, когда Шувалов тут, когда нет, по его экипажу во дворе. До меня стали доходить слухи, что он болен, что собирается вскоре за границу; Самохвалов говорил, что вместо него назначен будет Анненков, брат апоплексического критика; но это не подтвердилось.

XXI

Взамен ожидаемого Шувалова ко мне в номер явился не ожидаемый мною вовсе шпион генеральского чина Кранц, со звездой на фраке. Это был господин значительно пожилой, довольно высокий, но немного согнутый, с вьющимися русыми волосами с проседью; лицо круглое, слегка рябоватое, не особенно неприятное, кроме маленьких глаз, которыми он не смотрел прямо и которые как будто хотел спрятать под сильными очками. Я его видел постоянно во фраке со звездой; сапоги были у него без каблуков, и он ступал неслышно, как кошка. Голос мягкий и тихий, впрочем, как у всех в

этом шпионском царстве. Он начал свое знакомство со мной почти теми же словами, как и Горянский: объявил, что очень уважает мой талант, но к этому прибавил, что я сделал непростительную («извините за мое выражение, но я вам говорю от души») ошибку. Ошибка была, видите ли, в том, что я не хотел понять, что государь совершенно одинакового со мной образа мыслей! По словам Кранца, он был в отсутствии, ездил в свою деревню, только что воротился и лишь вкратце успел познакомиться с моим делом.

Он повторил мне слова Горянского о необходимости письма к государю, чтобы дело было предоставлено административному решению. Потом он попросил у меня позволения закурить папиросу (он курил тоненькие папиросы, самые легкие, дамские какие-то, что было как-то некстати в Тайной канцелярии), сел и начал меня спрашивать о Герцене: когда я с ним познакомился, когда виделся в последний раз, как он живет и где, большое ли у него знакомство в Лондоне. Я отвечал общими местами.

— А правда ли, — спросил он, — что Герцен был нынче в Гамбурге и оттуда собирался в Петербург?

— Вам это лучше знать, — отвечал я, — а я ничего подобного не слыхал.

XXII

Не помню, в тот ли же день или на другой, только что-то вскоре после первого визита этого почтенного старца ко мне пришел Горянский и тоже (чего прежде с ним не бывало) начал расспрашивать меня о Герцене. Он только что вошел ко мне, как сказал: «Знаете, какие нелепые слухи распространились о вас по городу, господин Михайлов? Рассказывают, что вас здесь, в Третьем отделении, отравили. Ну, есть ли в этом смысл? Кажется, кроме уважения, вам здесь ничего не оказывается». Затем Горянский, разумеется, сказал, что он пришел побеседовать со мною как человек, а не как чиновник, и почти *ex abrupto** перешел к вопросам, очень интересовавшим его как человека, а не как чиновника, именно о частной жизни Герцена. На большую часть вопросов я ему отвечал, что он может это узнать из «Колокола»

* Сразу (*лат.*).

(например, о квартире) или же из «Былого и дум». Затем на некоторые я отзывался незнанием, а на другие отвечал явную дичь, которую Горянский тем не менее благоговейно принимал к сведению. В вопросах этих не было ничего любопытного. Это были все большей частью справки о том, хорошо ли, то есть богато ли, Герцен живет, много ли он получает от своих изданий, большой ли у него круг знакомых, бывает ли он в таких домах, например, у важных членов парламента, где бывает и наше посольство, и т. п.

Наконец он спросил.

— А русские газеты он получает?

— Как же.

— А есть у него портреты русских кого-нибудь?

— Есть.

— Коллекция?

— Да, и довольно большая.

Мне казалось, он имеет в виду известное, очень пространное сведение о том, что у Герцена есть портреты шпионов, находящихся на посылках у Тайной канцелярии.

— А есть у него любовница? — спросил под конец Горянский.

Я уж тут не мог удержаться от смеха. Он, должно быть, понял всю неловкость своего вопроса после того известия, которым начал разговор со мною, пробормотал что-то о том, что он интересовался всем этим *лично* как человек, а не как чиновник, и поспешил удалиться.

XXIII

Кранц приходил ко мне еще три раза. Раз он принес показание мое и говорил, что оно неудовлетворительно.

— Чем же?

— Вы не один распространяли воззвание — это раз. Потом, вы не показали, кому вы передали остальные экземпляры. Вы привезли их больше.

— К тому, что мною написано, — отвечал я, — я не имею ничего прибавить.

— Скажите лучше, не хотите.

— Не имею.

— Я не буду настаивать, — сказал он, — но вам не избегнуть ответа на эти вопросы.

— Вы знаете мой ответ.

Потом он принес мне два или три конверта, в которых была разослана прокламация, и сказал, показывая их:

— Это не вы писали.

— Нет, я.

— Это не ваша рука.

— Я изменил свой почерк.

— Это женская рука.

— Может быть, и похоже на женский почерк, а писал-то все-таки я.

— И это?

— И это я.

Кранц ушел; это было уже в конце месяца после моего ареста.

XXIV

Ровно через месяц, именно 14 октября, Кранц пришел ко мне поутру, говоря, что я, желая, чтобы мое дело кончилось административно и в него не были впутаны другие, должен написать короткое письмо к государю и что это надо сделать сегодня же, потому что приезда его ждут с часу на час. Как ни возмущалось все во мне против этого, но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня. Я после увидел, что вправе был этого бояться, если бы Костомарова Третье отделение не выгородило из суда. Я постарался написать покороче, с строгим соблюдением казенных форм, и только подтвердил в нем те мотивы, которыми оправдывал распространение прокламации и в показании. В три часа старец со звездой зашел ко мне опять, сказал, что он сейчас едет к Шувалову, взял мое письмо в карман и тотчас ушел. Не прошло и получаса, как ко мне явился Горянский с похоронно вытянутым лицом и, вздыхая, сказал мне, что принес мне неприятную весть.

— Что такое?

— Сию минуту пришло высочайшее повеление о предании вас суду. (Потом я узнал, что оно пришло накануне или даже за день.)³⁶

— Как же письмо-то?

— Мы уж отправили его; но повеление пришло по телеграфу сейчас.

Меня злость взяла. Тут только я слишком поздно догадался, что вся эта махинация была подведена, чтобы я не мог отказаться перед судом от моего показания. Письмо считалось актом полного признания, и отречься теперь от показания значило бы удвоить свою виновность. Я хотел сделать перед судом другое — именно объяснить причины написания этого письма. Ты знаешь, отчего я этого не сделал.

— Вы сегодня переедете от нас в крепость,— дополнил свое известие Горянский.— Вот как смеркнется. Мы употребляли все старания, продолжал он,— чтобы дело обошлось тише и не так ужасно для вас, как оно, вероятно, кончится; но в городе было слишком много толков и неудовольствия. Литераторы подавали адрес об освобождении вас из-под ареста. На нас идут такие парекания! А вот вы сами видели, есть ли на что жаловаться. Выдумывают про Третье отделение бог знает что! Будто здесь есть какие-то опускные полы, что секут у нас. Покамест я не служил здесь, я сам всему этому верил. Но это такой вздор! В крепость свезет вас смотритель. Мы отпустим с вами ваши книги, бумагу возьмете, карандаши. Вам это все позволят. Мы уж распорядимся. Прощайте-с! Не браните нас. Такое уж наше, собственно, положение.

Горянский застал меня за обедом. Понятно, что его известие отшибло у меня всякую охоту есть. Я сказал по уходе его Самохвалову, чтобы он убрал со стола и взамен обеда дал мне чаю. Когда я сказал ему, что переезжаю в крепость, он всплеснул руками. «Ах, жаль, ваше высокоблагородие! Жаль! Ну, да что ни бог, ваше высокоблагородие, может, и опять вернетесь сюда; а там и выпустят». После чаю пришел ко мне гусар с флюсом и с прошнурованной книгой, чтобы я расписался в обратном получении своих вещей, которые и были все принесены вахтером. Потом пришел и Зарубин, когда я был совсем одет. Кошелек с деньгами передал гусар ему, так что я не мог и на водку дать Самохвалову. Зарубин на это не согласился. Вахтер пришел сказать, что карета готова. Совсем уж стемнело. Было часов семь. Я в последний раз прошел по нашему освещенному газом коридору и спустился с лестницы. Мой чемодан, книги, сверток бумаги лежали уже в карете. Вахтер сел на жозлы и скомандовал кучеру: «В крепость!» Вечер был холодный, и мне зяблось после чаю и теплого

шестого номера в моем пальто. Зарубин сидел около меня уж в шубе. Но дорога была недолга. Мы скоро миновали Летний сад и поехали по мосту. Как теперь помню, именно на мосту спросил я Зарубина, открыли ли наконец университет и выпущены ли из-под ареста студенты.

— Где же так скоро их разобрать! — возразил он.

— Да их сколько взято?

— Легко сказать! ведь больше трехсот.

Он, однако ж, не хотел объяснить дело подробно и отделывался на все общими фразами. Наконец мы въехали в ворота крепости. Мы остановились перед комендантским подъездом, где я потом прощался с тобой. В сенях, налево от входа, ты помнишь, может быть, небольшую дверь. За этою дверью помещается канцелярия, и туда вошел я с капитаном.

В Петропавловской крепости

В первой комнате, куда мы вошли, было очень яркое освещение. Она была очень невелика, но в ней горело по малой мере восемь свечей. При свете их на трех или четырех небольших столах производился скрип перьев дюжиною военных писарей. Насколько я мог судить по взгляду мельком на их работу, они составляли какие-то списки. Бумага была разграфлена. Это были, вероятно, списки арестованных студентов.

В дальнейшей комнате, еще меньшего размера, стоял только один стол, и из-за него встал нам навстречу небольшого роста человек с конусообразной белокурой головой и полицейски любезным выражением лица. Он был в сюртуке с красным воротником и опять-таки со Станиславом на шее.

— Что это? — воскликнул он, подавая руку Зарубину. — Долго ли вы еще будете возить? Куда я помещать-то стану? Тоже из студентов? — спросил он, обращаясь отчасти как будто и ко мне.

— Нет-с, господин Михайлов, сочинитель. Уж вы, пожалуйста, отведите номер получше.

— И рад бы, да нету.

— Вот и вещи их тут.

— Не угодно ли садиться?

Я сел у стола и взял номер «Русского инвалида», лежавший тут.

Человек с красным воротником (делопроизводитель канцелярии и, как я узнал потом, правая рука Тайной канцелярии в крепости) вызвал Зарубина в другую комнату, пшщептался там с ним, потом сказал громко, что пойдет доложить коменданту.

Я прочитал между тем в «Инвалиде» немало удививший меня приказ по военному ведомству о предании суду и аресте Семевского, Энгельгардта и Штрандена за участие в беспорядках, произведенных студентами.

Когда Зарубин воротился к столу, у которого я сидел, я спросил его, что значит это и разве не одни студенты были виновниками беспорядков.

Капитан присел на место делопроизводителя и, наклоняясь ко мне, произнес:

— Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровлением дело-то было, с окровлением. Больше он, однако ж, ничего не рассказывал.

Делопроизводитель, воротясь, сказал, что комендант не совсем здоров и меня к нему водить не нужно. Он расписался в книге, привезенной Зарубиным, что получил в целости как меня, так и вещи мои, и, когда тот удалился, он пригласил меня идти с ним, а сам распорядился, чтобы следом принесли и вещи.

Мы пошли только вдвоем.

Всю дорогу от комендантской квартиры до куртины, где меня заключили, он болтал без умолку: извинялся, что теперь у них нету помещения лучше — все битком набито, говорил, что кой-какие улучшения сделаны в содержании, что дают теперь утром и вечером чай, чего прежде не было, что с 1 ноября и в ночниках будет гореть деревянное масло.

— Нельзя же в наше время, — заключил он, — держаться старых порядков.

Мы поднялись по темной лестнице в длинный каменный коридор, который тускло освещался висевшим со свода фонарем.

Жалкая светильня еле мерцала, как в уличных фонарях самых далеких и глухих петербургских захолустьев. По коридору медленно шагали или стояли в полумраке солдаты с ружьями. Часовой у входной двери, едва вступили мы в коридор, громко крикнул:

— Старшего!

Возглас этот пронесся до самого конца коридора, и скоро навстречу нам шел, гремя ключами, с оплывшей сальной свечой в руке, унтер-офицер в каске, в шинели и при тесаке.

— Отвори восьмой номер. Да где плац-адъютант?

— Они в баню ушли.

— Ну, хорошо. Отвори.

Я не припомню только хорошенько — восьмой ли это был номер или шестой. Знаю, что он был крайний направо по коридору.

Отворили тяжелую дверь, и на меня пахнуло еще худшим сырым и затхлым воздухом, чем какой был в коридоре. Не было тут только масляной копоти и чада, как там.

Я очутился под совершенно круглым, от самого пола идущим, сводом, но в номере настолько просторном, что в нем помещалось шесть кроватей. Два полукруглых и довольно больших окна, покрашенных снаружи, с мелким переплетом, белели в глубоких темных амбразурах, будто занесенные снегом. Стены были закоптевшие, с приметами сырости, со свода висела бахромой паутина.

— Это у нас было больничное отделение,— заметил смотритель,— да больше теперь решительно нигде места нет. Если *они* привезут еще кого-нибудь, поместить будет некуда. Эй! — крикнул он ефрейтору,— кликни людей. Вынести отсюда лишние койки.

Пришло несколько солдат, и вынесли.

Смотритель взял свечу и поднял ее у себя над головой, рассматривая потолок.

— Эй! Паутину обмести. Возьми метлу кто-нибудь! Обмети паутину.

Две метлы зашаркали по своду. Паутина, белила, пыль летели нам в изобилии на голову.

— Ночник подай!

Старый, сгорбленный сторож, инвалид, в каком-то рубище, не напоминавшем его военного звания, принес жировой ночник, от толстой светильни которого подымалась толстой черной струей копать.

Я спросил, нельзя ли получить свечу.

— Я думаю, можно будет, конечно, на ваши собственные деньги,— отвечал смотритель.— Вот как плац-адъютант воротится из бани, вы ему скажите. Покамест вы останетесь в своей одежде. Он уж там всем распорядится. Он скоро. До свидания-с покамест.

— Курить-то у вас позволяется?

— Разумеется-с, сколько угодно.

И он ушел. Дверь затворилась, ключ тяжело повернулся в замке, и я остался один в моем новоселье.

Деревянная койка стояла в довольно широком простенке между окнами, изголовьем к стене, впрочем, не близко. И в Тайной канцелярии постель не отличалась опрятностью и удобством, а уж здесь и подавно. Парусинный мешок, скудно набитый соломой, был прикрыт грязною простыней, подушка была тяжелая, из нее торчали острыми концами перья и летели во все стороны, только что прикоснешься. Наволочка, сшитая, очевидно, на подушку вдвое больше, была чистотою под стать простыне.

Впрочем, подушек было две, но нижняя соломенная. Одеяло из толстою солдагского серого сукна было (вероятно... с год тому назад) подшито толстой холстиной.

Около изголовья направо стоял небольшой столик без столешника, на нем помещалась оловянная кружка с крышкой, для воды. Около стола стоял стул с глухим деревянным сидением.

Больше ничего не было в номере.

Тут было не холодно, но я скоро почувствовал сырость. Только краешек железной печки, топившейся из коридора, выходил сюда.

Как ни противна была мне эта неопрятная постель, но надо было примириться с нею, я ведь не знал, как долго придется мне спать на ней. Как ни пасмурна и печальна была окружавшая меня обстановка, даже в сравнении с казематом Тайной канцелярии, у меня было как-то легче на душе. Сознание, что я перестану видеть перед собою ежедневно шпионские физиономии, снимало как будто какую-то ненавистную тяжесть и с моего мозга. Вообще я рад был своему темному своду, как перемене к лучшему.

Я промерил раз пятьдесят мой номер из угла в угол, иногда в забывчивости утыкаясь лбом в свод, потом прилег на постель.

Ночник беспрестанно нагорал, и, когда я ленился встать, чтобы поправить светильню принесенными для этой цели лучинками (ночник стоял на окне), по своду слабым сиянием ложился свет коридорного фонаря, сквозь стеклянную раму над дверью: отражение рамы протягивалось веером по своду, и чем больше мерк мой

ночник, тем ближе тянулись эти радиусы слабого света к моей постели.

Когда я лежал таким образом, поджидая плац-адъютанта, у меня все звенело почему-то слово Зарубина: «с окровлением», и в этот первый мой вечер в крепости сложились у меня в голове известные тебе стихи с этим припевом. Они, может быть, и плохи, но я ими в тот вечер был очень доволен.

Прошло, вероятно, более полутора часа, прежде чем опять раздался оклик: «Старшего!» — загремели ключи, и ко мне вошел в шинели с меховым воротником толстый плац-адъютант с большими черными усами и с высоким облысевшим лбом, старательно прикрытым редкими черными волосами.

— Вы студент-с? — спросил он меня, отрекомендовавшись и пожавши мне руку.

— Нет.

Я назвал свою фамилию.

— А! Вы сочинитель! Это, верно, по прокламации.

— Да.

— Это все пустяки.

Он говорил с такою уверенностью, как будто сам он должен был произносить надо мною суд.

— Вас скоро выпустят.

Старший принес между тем арестантскую одежду.

В числе улучшений в крепости делопроизводитель, провожая меня в куртину, упомянул, между прочим, о том, что они (он говорил *мы*) выхлопотали, чтобы белье было потоньше — кадетское.

Рубашка и все прочее, принесенное мне, было ужасно сыро, почти мокро, и я мог только надеяться, что согреюсь в шинели из серого солдатского сукна, которая заменила мне здесь больничный халат Тайной канцелярии.

Я переоделся и свою одежду переписал карандашом на бумаге. Старший связал ее веревкой, употребив вместо завертки мое пальто, и унес. Книги плац-адъютант у меня оставил, но бумагу, карандаш взял для спроса о том коменданта. Свечу обещал он мне доставить завтра, а пока обойтись ночником. Часы тоже взял.

Впрочем, они были и не нужны. Куранты на соборе разыгрывали то и дело разные коленца, не считая уж «Коль славен наш господь в Сионе» и «Боже, царя храни».

Последний гимн особенно здесь кстати. Так как его никто, конечно, не может повторить сознательно под этими сводами, то лучше всего было предоставить это занятию бессознательным медным языкам колокольни.

— А что, ужинать еще не давали?— спросил плац-адъютант.

— Никак нет-с,— отвечал старший.— Сейчас подадут.

— Давай!

В дверь вошла целая процессия, вроде той, которая выходит из царских врат, вынося разные ложечки и плошечки и поминая Анну Павловну, королеву нидерландскую. Только блеску, разумеется, того не было. Это ведь были просто солдаты, несшие арестанту ужинать.

Один принес глиняную пустую кружку и налил ее, поставив на стол, чаем из черного от копоты большого медного чайника, другой, с корзинкой в руках, вынул и положил на стол белую булку, два куса сахару и два ломтя черного хлеба, третий принес оловянную чашку с куском жареной говядины и соленым огурцом, четвертый — солонку. Этот уж вполне уподобился тому скромному попу, который выносит какую-то жалкую вилочку и на долю которого именно приходится поминать королеву нидерландскую Анну Павловну. Да, еще одного забыл, переменившего воду в оловянной кружке!

Поставивши передо мною эту трапезу, солдаты разошлись, а вслед за ними ушел и плац-адъютант, пожелав мне спокойной ночи. Меня заперли до следующего утра.

В первый раз после моего ареста я почувствовал действительный аппетит, а тут, как нарочно, еда была самая непривлекательная. Я перенес ночник с окна на стол и при его тусклом освещении принялся за говядину. Она была жестка и, как водится, не разрезана, но я уже в Третьем отделении успел немного привыкнуть есть, как съят звери в зверницах. С трудом отрывая зубами волокна жесткого жареного мяса и купая руки в масле, я уничтожил его все, добрался потом до трех картофелин, съел и огурец, сам изумляясь своему аппетиту. Так сильно было, однако ж, во мне довольство, что я уже не в Третьем отделении, что я не ограничился одною говядиной, но съел и весь черный хлеб и белую булку, поданную к чаю. Чай — надо правду сказать — подавался мало похожий на чай. Это была какая-то

травы без запаха и без вкуса. Но к чему нельзя привыкнуть? Привык я и к нему.

После этого ужина я почувствовал себя отчасти как дома в крепости. Спать еще было рано, и я уложил на окне в порядке свои книги. Еще в первый раз, по выезде из дому, у меня оказывалось их такое большое количество. Как я уже сказал прежде, в Третьем отделении мне сразу их не давали, вероятно, чтобы не баловать слишком.

Спал я в своем печальном новоселье тоже лучше, чем в Тайной канцелярии; но, к несчастью, мне пришлось раза три пробуждаться от самого сладкого сна. Часовой, ходивший мерными шагами по коридору, частенько приподымал железный ставень над оконцем моей двери и, заметив, что ночник у меня гаснет, стучал в стекло оконца и кричал, приложившись к нему лицом:

— Ночник!

Я просыпался, вскакивал, надевал на босую ногу башмаки, подходил к окну и поправлял лучинкой толстую и обгоревшую грибом свечу.

Поставить же ночник на стол, поближе к себе, чтобы, не поднимаясь с постели, поправлять его, я не решался. Он слишком уж коптел.

В эти промежутки между сном меня поражал более всего — это я замечал во все пребывание свое в крепости — тяжелый храп спавших в коридоре солдат, чередовавшийся с бредом и порой с пронзительными криками, так что часовой обыкновенно начинал будить спящего, чтобы избавить его, вероятно, от мучительной грезы.

При воспоминании о крепостном моем заключении всего живее представлялись мне именно тамошние ночи. Ночь длилась особенно долго, потому что рассвет под моим сводом начинался поздно, этак в исходе десятого, а в три и даже в половине третьего днем нельзя уже было даже близко к окну читать. И эти четыре-пять часов света нельзя назвать днем. Ложась на койку при наибольшем свете, читать было уже невозможно. Только у окна еще не совсем утомлялись глаза.

Ночник, данный мне в первую ночь, был еще из лучших, пока с 1 ноября (как объявлял мне делопроизводитель) не стали жечь деревянного масла. А то приносилась плошка, вонявшая на весь номер и коптевшая так, что наутро тяжело было поднять с подушки голову

и копоть была не только в носу, но и в горле. Чтобы избежать этой неприятности, я стал зажигать на всю ночь старинную свечу, а ночник гасил. Но это было недолго. Мне объявили, что комендант отдал приказание, чтобы везде в десять часов гасить свечи и зажигать ночники. Поводом было, как объяснил плац-адъютант, что студенты засиживаются при свечах долго. Таким образом, я не избег ни ночника в стакане на окне, ни вонючей плошки в углу на полу, ни неожиданного постукивания часового в стеклышко двери с окликом: — Ночник!

Точно так же скверно горел фонарь и в коридоре. Это я лучше всего мог следить по отражению дверной рамы на моем своде. Иногда и при потухающем награвшем ночнике у меня мерцание на потолке слабело, слабело и наконец совсем исчезало. Тогда часовой будил сторожа, и я слышал скрип блока и звон опускаемого на нем фонаря. Светлый всея на потолке, впрочем, недолго оставался светлым. Иногда меня будил часовой и произвольно. Не раз, вероятно задремавши, он ронял ружье на пол, и бряк его раздавался громко по безмолвному коридору. Слабая полоска света ложилась и на косяк одного из окон от фонаря, прибитого снаружи стены. В ночной тишине звон крепостных часов с их патриотической музыкой раздавался громче. Номер на ночь холодел, и в нем больше чувствовалась сырость. Печку, правда, топили два раза, утром и вечером, но она была слишком мала, чтобы нагревать мою тюрьму. К утру она совсем остывала, и мне только-только было сносно под одеялом и сверх него под толстою шинелью.

Я поднимался с постели довольно рано, обыкновенно часа за два до света, и взамен ночника зажигал свечу. Большею частью мне приходилось ждать, когда совсем рассветет, чтобы умыться. Часов около десяти, а иногда и позже, слышался оклик: «Старшего!» — и я знал уже, что это идет плац-адъютант.

Ключи гремели, а ко мне, можно сказать, вламывалось чуть не десяток солдат — под предводительством дежурного ефрейтора, — каждый с чем-нибудь в руках. Вслед за ними входил плац-адъютант, впрочем, иногда входил и один только ефрейтор. Вся эта многочисленная военная прислуга как будто торопилась делать дело и выказывала при этом такую косолапость, какой я, по правде, вовсе и не ожидал от русского солдата, прохо-

дящего такую длинную и тяжелую школу всевозможных выправок. Старик сторож кидался стремглав сначала к ночнику, потом к кружке с водой, потом к ящику с глухой крышкой в углу номера; что нужно, он мыл, что нужно, выносил; двое принимались скрести метлами по сухому полу или же (это бывало, кажется, через день) поливать его и пускать в ход швабры. Приносился стул, таз, и один из солдат подавал мне умываться из кружки. Кроме того, являлись, как и вечером, хлебода-ры и чаечерпии со всеми принадлежностями. Утром только чай давали без всякого иного завтрака, кроме булки.

Один из ефрейторов, бойкий, грамотный малый, о котором я скажу подробнее потом, особенно заботился о воздухе в моем номере. Воздух был действительно ужа-сен: сырость и затхлость поражали при входе, после по-сещения этого десятка солдат оставался притом запах сапожной кожи, чад от ночника, вонь от коридорного фонаря, запах грязной воды от сырого пола,— все это сгущалось так, что запах табаку (а я курил довольно) совершенно пропадал и оставался только дым. Крошеч-ная форточка в одном окне совсем не освежала, а ино-гда в нее еще валил новый запах и чад кухонный, веро-ятно из подвального этажа.

Заботливый ефрейтор кропил стены и пол жданов-ской жидкостью и курил на раскаленном кирпиче ква-сом, и только это немного и ненадолго улучшало воздух.

Умывшись и напившись чаю, я оставался опять один до обеда, если не заходил ко мне комендант или плац-майор. Их посещения, конечно, не имели ничего похоже-го на те визиты, от которых я изнывал в Тайной канце-лярии. Комендант Сорокин, сухой военный формалист, заходил лишь изредка и ограничивался краткими вопро-сами о моем здоровье, о том, всем ли я доволен, и проч. Напротив, посещения доброго и любезного плац-майора доставляли мне удовольствие.

Часов около двух приносили мне обед, который вовсе не возбуждал во мне желания прикоснуться к нему, если это не были щи да гречневая каша. К сожалению, эти простые блюда подавались редко; считалось почему-то нужным разнообразить обед и придавать ему отчасти «дворянский» характер. Ведь крепость не просто острог. Поэтому давался суп, например, и макаронны, или суп и говядина с соусом из хрена, или суп и говядина с карто-

фелем. Всегда два кушанья, и только раза два или три прибавлялся к этому пирог с кашей. Для обеда на арестанта ассигновано было одиннадцать копеек в сутки. На этикие деньги при петербургской дороговизне не очень-то разгуляешься, особенно как в этот же счет кладется и поддержка ночников. Неудивительно поэтому, что суп обыкновенно не представлял никакого отличия от грязной горячей воды, что говядина была похожа, по выражению Хлестакова, на топор, что масло было горькое, и проч. Искусство крепостного повара особенно проявлялось в приготовлении макарон. Они подавались в виде какой-то плотной массы, которую нужно было резать, чтобы есть. Но у меня, как я уже сказал, не было не только ножа или вилки, но и ложки, чтобы размешивать чай. Один из ефрейторов, видя, что я мешаю чай одним из концов лучинки, другим концом которой поправлял светильню почника, принес мне без всякого намека даже с моей стороны две лучинки, обструганные одна в виде лопаточки, а другая — в виде вилки. Последнюю я сломал, а лучинка-ложечка у тебя.

Дня через два мне так опротивел крепостной обед, что я принялся бы, конечно, довольствоваться одним чаем, если бы...³⁷

Вскоре после переселения моего в крепость, именно дня через четыре, меня потребовали в суд, в сенат. За мною пришел городской плац-адъютант Панкратьев. О суде я буду говорить дальше особо, а теперь упоминаю кстати, по случаю обеда.

Кроме книг, бывших со мной, я стал получать здесь журналы и только тут начал вполне понимать, что читаю. Почти все время и до обеда, и после обеда, и вечером я читал. Писать у меня как-то не было охоты, да притом комендант выдал мне всего один лист бумаги.

Часто после обеда я спал, потому что засиживался вечером слишком долго и вставал поутру слишком рано.

Вечером я с каким-то особенным нетерпением, почти с жадностью, ожидал чая и ужина. После скудного обеда меня обыкновенно уже часов в пять начинал прони-мать голод.

За ужином следовала такая же ночь, какую я уже описывал.

Вот как тянулся день за днем, без всякого разнообра-зия.

Особенно памятли остались мне только мои поездки

в сенат, приезд Сувороза, о назначении которого генерал-губернатором я еще не знал и потому думал, что это Игнатьев ко мне приехал³⁸. В первый визит свой он пробыл у меня очень недолго и сделал только несколько самых обыкновенных вопросов: какое мое дело? Откуда я? Не желаю ли чего-нибудь? Доволен ли содержанием? и т. п.

Потом осталось у меня в памяти утро в поябре, в которое, по случаю царских каких-то крестин, палили в крепости из пушек.

Грусть часто-таки нападала на меня все это время, хотя я всячески старался побороть ее в себе чтением или, по крайней мере, не выказывать перед тем, кто меня видел.

Особенная горечь на сердце, помню, была у меня в тот день, как выпал первый снег. Я отворил крохотную форточку свою и увидал, что комендантский сад с его голыми деревьями (только этот сад да окружающий его серый забор и видно было в эту форточку) побелел. Помню, мне живо представилась печальная и дальняя дорога, которой я действительно не миновал. В унылом саду, расположенном перед окнами моей тюрьмы, я видел раза два толпы прогуливавшихся там студентов, но меня им нельзя было видеть. Раз я встретил их также во дворе, отпросившись у коменданта погулять и хоть немного освежиться. Они шли, кажется, из бани, и я мог раскланяться с Залесским³⁹, в енотовой шубе и летней шляпе с широкими полями. В прогулке этой (снегу тогда еще не было, кажется) меня сопровождал плац-адъютант. Я вышел с ним за ворота крепости и посмотрел — это было в последний раз — на угрюмый и серый Петербург, на мерзнущую Неву, на сердито нахмуренный вдалеке Зимний дворец.

Суд в сенате

Я не сидел, кажется, еще и пяти дней в крепости, как плац-адъютант, войдя ко мне поутру, вскоре после чая, сообщил мне, что меня требуют в сенат. Я оделся в свое платье, и в мой номер вскоре пришел вместе с крепостным плац-адъютантом плац-адъютант городской, Панкратьев. Мне подали было обед (это было уж часов около двенадцати), чтобы я поехал не на тощий желу-

док, но я предпочел пообедать потом, по возвращении, и велел пока все убрать. Мы вышли из куртины и прошли к дому, где помещается — если не ошибаюсь — крепостной плац-майор. Против подъезда этого дома стояла извозчичья четвероместная карета. Я думал сначала, что мы поедем только вдвоем; но Панкратьев сказал мне, что будут еще два провожатых «архангела». С подъезда действительно сошли два жандарма. Они молча поместились в карете напротив нас, задержали тафтяные занавески на окнах двери, и мы поехали...

Мост был еще не разведен, и дорога шла по Дворцовой набережной; тут, отогнув немного занавеску со своей стороны, я заметил огромный съезд у Государственного совета. Но вот мы проехали и площадь, въехали под арку сената и тут повернули в первые ворота направо. И перед воротами и во дворе была толпа народу, так что карета едва подвигалась⁴⁰. Панкратьев не знал, кажется, где остановиться, и мы проехали почти в глубь двора, где стояло порядочное количество экипажей.

Панкратьев вышел из кареты и побежал справиться. В это время два-три кучера, привезшие, должно быть, сенаторов, указывали на меня в отворенную дверь кареты и, вероятно, острили надо мной, потому что раздражались самым веселым смехом. Жандармскому унтер-офицеру это не понравилось, кажется, и он притворил дверь.

Нам пришлось вернуться к подъезду у самых ворот, опять в толпу, которую я никак не приписывал своему приезду. Я предполагал, что по обилию дел в сенате здесь всегда такая толпа.

Жандармы вышли из кареты первые, выхватили из ножен свои палаши и стали по бокам выхода из кареты. Я пошел, с ними по сторонам и Панкратьевым, по лестнице, тоже переполненной народом...

Секретарская комната перед присутствием пятого департамента (где я должен был подождать) очень невелика. Тут первое лицо, обратившее на себя мое внимание, был священник, сидевший в уголке и державший завернутые в епитрахиль крест и Евангелие. Я сел поближе к столу секретаря. В комнату наведывались разные господа, и сенаторы в мундирах, и чиновники помельче. Обер-секретарь Кузнецов с толстым, корявым и тупым лицом, затянутый в мундир, выходил от времени до времени из присутствия и справлялся, кажется, гото-

вы ли для меня вопросные пункты. Мне пришлось, впрочем, ждать очень недолго, не более четверти часа.

Кузнецов опять вышел и, как-то минуя меня своим туным взглядом, сказал:

— Пожалуйте.

Я вошел.

За длинным столом, покрытым красным сукном и украшенным зеркалом, сидело пять сенаторов⁴¹ в своих позлащенных одеждах. По неподвижной важности лица и поз они показались мне очень похожими на позлащенных бурханов.

Особенно выдавались из них двое: Карниолин-Пинский, своею умною, но злобно-хитрою физиономией, с длинными, беспорядочно торчавшими на голове волосами, да еще Бутурлин, но этот, напротив, обличал лицом своим тупость и что-то закоснело солдатское; у него была крашная голова и крашенные усы на одутловатом, дряблом лице, глаза смотрели довольно свирепо. Низенький старичок Карнеев имел вид крайне добродушный — вот и все, что можно сказать про него. Венцель обратил на себя мое внимание особенно неподвижною и прямою своею посадкой; он сидел на своем кресле, будто верхом на лошади перед фронтом, и, вытянув длинную и тонкую свою шею, глядел на меня совсем бессмысленно своими серыми глазами. Председатель, Митусов, был лицо, не вполне для меня незнакомое: ты знаешь, что я видел его на свадьбе доктора Матвеева, у которого он был посаженным отцом. Про его наружность сказать совсем уж нечего — чиновник как чиновник. За отдельным столом, у окна, сидел обер-прокурор (фамилию его я слышал, но не помню), самое антипатичное для меня по наружности лицо, даже антипатичнее противной рожки обер-секретаря Кузнецова, хотя и гораздо красивее, — таково было общее впечатление его на меня; но я не могу припомнить даже, какого характера было у него лицо. Из судей моих, восседавших за красным сукном, двое были в военных мундирах, именно Бутурлин и Венцель, остальные в гражданских.

Не мешает, кстати, упомянуть, что один из моих судей, и, как мне говорили, самый злостный, был мне известен по рассказам отца. Это был именно Карниолин-Пинский. Он начал свою карьеру скромно — учителем гимназии в Симбирске.

Отец служил уже тогда, но, недовольный своим жалким образованием, присогласил кой-кого из своих сослуживцев просить Карниолина-Пинского читать им лекции особо от гимназистов. Тот согласился, и отец — помню — всегда вспоминал о нем с каким-то благоговением. Он приписывал ему пробуждение в себе серьезной мысли, любознательности и здравых понятий о значении образования.

Обер-секретарь указал мне место, где я должен был встать перед судьями, в конце красного стола, и сам поместился около меня, тоже стоя вполоборота ко мне. У него была в руках бумага.

Не помню, объявил ли мне сначала на словах Митусов с другого конца стола, что я предан по высочайшему повелению суду, или прямо обратился к обер-секретарю с приказанием прочесть отношение шефа жандармов, заключавшее в себе это повеление.

Обер-секретарь начал читать громко и внятно. Едва ли к кому шла в такой мере, как к нему, знаменитая характеристика Фамусова — «с чувством, с толком, с расстановкой». Главное, с чувством читал. При словах «государь император» или «высочайше повелеть соизволил» он принимал торжественно-благоговейный тон; произнося слова «государственное преступление», он упирал на них с каким-то трагическим пафосом.

Слова о государе императоре и о высочайшем его величества повелении произвели на судей моих (совершенно для меня неожиданное) внезапное действие. Точно всех их жигнул кто-нибудь прутом сзади. Они вдруг вскочили со своих мест, как вскакивают лакеи в передней, когда проходит барин, и выслушали они повеление, стоя благоговейно навывтяжку. Я едва удержался от улыбки. Трудно представить себе весь комизм этого вскакивания, которое пришлось мне видеть два раза. У большей их части ноги, видно, были уже не тверды в коленях от старости, и, чтобы разом подняться с кресел, нужно было помочь руками, упереться в стол. Особенно смешон был Бутурлин, у которого ноги как-то разъезжались при этом, словно все пружины ослабли. После той бурханской важности, с которою они сидели на своих местах, такой пассаж был мне совершенным сюрпризом.

Прочитал обер-секретарь, и они опять уселись. Председатель показал мне тут мое показание, препровожден-

ное из Тайной канцелярии вместе с экземпляром листка «К молодому поколению», и спросил меня, признаю ли я это показание.

Я отвечал:

— Признаю.

— Прочтите! — обратился он к обер-секретарю.

И опять началось то же *чувствительное чтение*.

Когда он кончил, Митусов сказал мне:

— Мы имеем дать вам несколько вопросов; но предварительно священник сделает вам духовное увещание. Пригласите его сюда,— прибавил он, обращаясь к обер-секретарю.

Обер-секретарь направился к дверям комнаты, куда я был предварительно введен; но этого мог бы он и не делать. Оттуда в полуотворенную дверь любопытно глядели к нам головы чиновников, и попу, верно, сейчас же передали, что час его приспел.

Он вступил в комнату суда во всеоружии своем, в епитрахили и с воздетыми руками — в одной Евангелие, в другой крест.

Остановившись передо мной на том месте, где стоял до этого обер-секретарь, поп начал жиденьким голосом читать заученную, вероятно, заранее речь о важности присяги и ее нарушении, о необходимости раскрыть преступление во всех его подробностях, о неукрывании никого из сообщников (на это он особенно напирал), потом стал рассказывать бессвязно, дико, и притом ни к селу ни к городу, какую-то притчу из Евангелия о рыбаках и о мрежах, решительно мне неизвестную.

Видя, что поп уже слишком зарепортовался и начал говорить совсем дичь, Митусов несколько раз говорил ему: «Довольно, батюшка! Довольно!» — но он никак не хотел отстать, не кончив своей истории и не примазав к ней какой-то морали, вероятно из начатков христианского благочестия протоиерея Кочетова. Я имел время в подробности рассмотреть безобразную живопись на кресте и на Евангелии, пока поп разглагольствовал. Из опасения рассмеяться я лишь изредка взглядывал в глупое, золотушное лицо проповедника. Он был еще молодой человек.

Наконец-то он отстал и ушел, а обер-секретарь вооружился тетрадкой вопросов.

Суд выразил свою снисходительность ко мне тем, что обер-секретарь прочел мне сразу, один за другим, во-

просные пункты. Потом стал он читать каждый пункт отдельно, и на каждый пункт я сначала отвечал словесно, а потом отходил с обер-секретарем к стоявшему в стороне большому письменному столу, садился там и давал письменно ответ, данный перед тем на словах. Ни один из судей не спрашивал меня ни полсловом о чем-нибудь, не находившемся в вопросных пунктах. Они выслушивали мои ответы в мертвом молчании и только глядели на меня.

О содержании вопросных пунктов не стоит и говорить. Они ничего не прибавляли к показанию моему, и их, пожалуй, можно бы было и вовсе не предлагать мне. Ни один из них не мог ни смутить меня, ни найти врасплох. Я слишком хорошо все обдумал.

Во второй допрос, когда обер-секретарю сказал председатель, чтобы он точно так же, как и в первый, прочел мне сначала все вопросы сряду, я отказался от этой снисходительности, сказавши:

— Зачем это? Читайте один вопрос, я отвечу, потом другой, и так далее.

На лицах судей показалось удивление, и Венцель, переглянувшись со всеми, особенно внимательно устремил на меня глаза.

Во второй и в третий допросы, такие же пустые по содержанию, как и первый, не все сенаторы, однако ж, хранили прежнее суровое молчание. Они, должно быть, увидали, что я вовсе не бука и что со мною можно говорить. Не думай, впрочем, чтобы это был действительно разговор, а так какие-то вовсе не идущие к делу вопросы. С ними обращались ко мне только два: Карниолин-Пинский и Митусов. Первый спросил, например, почему-то, говорю ли я по-английски. И еще два-три вопроса были такого же рода, ни важнее, ни интереснее.

Только в последний допрос Митусов решился на вопрос, по-видимому более серьезный. По поводу двух прокламаций, найденных у Костомарова, он обратился ко мне с такими словами:

— А вы не ходили в казармы к солдатам и словесно не возбуждали их к неповиновению?

— Нет.

— И крестьян тоже не собирали, не ездили по деревням, чтобы подстрекать их?

— Нет.

Я теперь не могу уже припомнить, в какие именно

дни были три допроса мне в сенате⁴². Знаю только, что между первым и вторым был краткий промежуток, а третьего допроса я ждал что-то очень долго.

Во второй раз такая же толпа была на лестницах.

В третий раз приняли, видно, меры и обратно провели меня какими-то задними ходами. Сенатские чиновники зато проявляли страшное любопытство и собирались сотнями на моей дороге или глядели, толпясь в дверях, когда меня привозили и увозили.

Тебе едва ли не лучше меня известно, что происходило в промежутки между моими допросами. Два месяца, проведенных мною в крепости, слились у меня в памяти в однообразный ряд длинных и скучных дней, и только ярко светится в этих тюремных потемках несколько от-
рад-ных-ми-нут, о ко-то-рых по-ка я не вправе говорить⁴³.

В сенат сопровождал меня все тот же Панкратьев. Из жандармов унтер-офицер был всегда тот же Ефимьев, выражавший желание проводить меня и до Тобольска. Другой жандарм менялся.

Кажется, после третьего допроса, которым, собственно говоря, кончался мой суд, перевели меня из Невской куртины в главную гауптвахту, о чем я скажу потом. Но до него, если не ошибаюсь, я был призван к коменданту, который подал мне бумагу и просил сесть к столу, чтобы отвечать на нее.

Это были еще вопросные пункты от следственной комиссии, с которою я еще познакомился в здании первой адмиралтейской части. Тут я, как нельзя лучше, понял, чего мог я ожидать от Костомарова, если б он был призван со мною вместе к суду и ему были предложены вопросы относительно моего дела. Каждый из вопросов, бывших теперь у меня в руках, начинался словами: «Корнет Всеволод Костомаров показывает, что...» или «Корнет Всеволод Костомаров на очной ставке показывал...» и проч.

Читая эти вопросы, можно было только одному удивляться, для чего было говорить о том, чего никто не знал, кроме меня, да и знать не мог.

Подумавши, я увидел, однако ж, что этими показаниями вся вина сваливается на меня и на московских студентов.

Стараясь в ответах своих оградить по возможности последних, я не выгораживал себя.

Во все это время, начиная со второго сенатского допроса, меня более всего томило ожидание, скоро ли наконец решение. Надо вспомнить, что во второй раз, когда возили в сенат, от меня уже была отобрана подписка, что при суде и следствии мне не было сделано пристрастия. Из этого можно было заключить, что вопросов более предлагать мне не будут, и действительно то, что спрашивали меня на третьем допросе, были совершеннейшие и бесполезнейшие пустяки.

Весть о назначенном мне наказании, разумеется, огорчила меня, но не столько, сколько огорчило бы меня помилование, если бы оно последовало, вследствие глупой выходки моей, беспокоящей меня и до сей поры⁴⁴. Я, впрочем, никак не ждал такого большого срока каторжной работы.

Мне помнится, я при тебе читал как-то статьи закона, касающиеся «преступлений» вроде моего, и мне постоянно думалось, что высшим сроком должно быть шесть лет.

Еще до произнесения мне приговора в сенате получил я известные стихи и письмо от заключенных в крепости студентов. И то и другое сильно меня растрогало. Я не мог удержаться от слез и тотчас же отвечал им стихами, которые ты знаешь.

Кажется, 7 декабря приехала за мною карета, чтобы свезти меня в последний раз в сенат. Панкратьев вошел в новое мое помещение, сообщил мне, что мне будет прочитана конфирмация. Выкурил папиросу, пока я обедал,— и мы поехали. На этот раз я был, кажется, потребован раньше, чем в прежние мои поездки.

Полиция, разумеется, приняла меры, чтобы прежних любопытствующих не было на лестнице и во дворе, и точно, когда мы приехали, было довольно пусто у входа.

В этот раз меня провели в другую комнату, вероятно канцелярию отделения, но тоже выходящую дверями с другой стороны в палату, где производились мне допросы. Формальности, с которыми сопряжено произнесение в сенате приговора, были уже мне известны.

Мне пришлось прождать тут с четверть часа. Около меня образовался целый кружок чиновников, большею частью молодежи. Некоторые рекомендовались мне, другие прямо заговаривали.

Тут мне сказали, что «с моей легкой руки» еще начинается в сенате дело такого же рода, как мое. Ведь на

мне был сделан первый в России опыт обыкновенного суда над политическим преступником. Теперь, как мне сказали, был предан суду за распространение «Великорусса» Владимир Обручев, и с ним еще четверо или пятеро молодых людей, и, между прочим, мой знакомый доктор Боков. Потом, как я узнал, все, кроме Обручева, были освобождены от суда и следствия.

Наконец сенаторы изготовились к произнесению мне приговора. Обе половинки дверей в комнату их заседания были отворены, позвали приехавших со мной жандармов, велели им обнажить палаши и поставили их по сторонам двери на пороге. Позвали меня.

Обер-секретарь Кузнецов, с бумагою в руке, стоя по ту сторону порога, указал мне на него и сказал: «Остановитесь тут».

Я стал между жандармами, и Кузнецов начал чтение своим истошным и торжественным голосом. Он мог бы быть хорошим диаконом.

Все, что он читал, за исключением мнения Государственного совета, было мне уже очень хорошо известно. Чтение длилось долго, и я пользовался этим временем, чтобы наблюдать за моими судьями. Они сидели за тем же столом, но в несколько ином порядке, и между ними я увидел совершенно незнакомого мне генерала.

Кто-то из чиновников говорил мне перед этим:

— Подлец Карниолин-Пинский нарочно сел сегодня задом, чтобы не смотреть на вас. Видно, совестно же стало под конец.

Это предположение было несправедливо. Он действительно сел задом, но весь повернулся в мою сторону и один из всех сенаторов смотрел на меня так пристально, не отводя ни на минуту своих прищуренных злобных глаз. Седые волосы и без того торчали во все стороны, но он беспрестанно еще более ерошил их, запуская в них пальцы. Другой, не менее пристальный взгляд был направлен на меня сбоку, от того стола, за которым я писал ответы на вопросные пункты. Тут сидел какой-то молодой человек очень аристократического вида в мундире (каком именно, я уже не помню) и, подавшись вперед на своем стуле, тоже не спускал с меня своих глаз.

Мнение Государственного совета зашевелило во мне злобу на себя, и я рад был только тому, что и сам Государственный совет понял, по-видимому, всю неиск-

ренность моего обращения к государю и не принял его во внимание.

Когда Кузнецов, приостановившись с чтением на минуту, прокашлялся и с еще большею торжественностью возгласил громогласно: «На мнении Государственного совета собственною его императорского...» и т. д., позлащенные идолы вскочили с своих мест.

Слова резолюции: «Ограничиваю каторгу шестью годами, а в прочем быть по сему»⁴⁵,— Кузнецов прочитал уже совсем достойно диакона, возглашающего многолетие.

Перед тем как меня позвали выслушивать это чтение, один чиновник сказал мне, чтобы я не смеялся во время его. Я и не смеялся, хоть мне подчас хотелось улыбнуться, слушая тонкие соображения сената над фактами, которые были ему известны в таком превратном виде.

Тем не менее я, говорят, заслужил неудовольствие сенаторов и даже самого государя, что выслушал решение не с достаточным благоговением и страхом. Верно, нужно было, по их мнению, стоять, вытянув руки по швам, а я держал их скрестивши и не изменил положение даже в то время, когда сенаторы вскочили по-холопски со своих мест.

По прочтении конфирмации Кузнецов вынес мне бумагу для подписи.

— Что же написать? Что я доволен вашим решением?

— Только имя и фамилию,— произнес Кузнецов, тревожно и суетливо кладя бумагу передо мною.

Что такое было тут написано, я не прочитал и прямо подписал: Михаил Михайлов.

И вся прихожая, где я надевал пальто и калоши, и вся длинная площадка и значительная часть лестницы были полны любопытных. Сенатские чиновники, верно, забросили тоже в эту минуту свои дела. Н. догнал меня, чтобы пожать мне руку на прощание. В толпе стоял Боков и, когда я проходил, выдвинулся проститься со мной. Я был очень рад его вниманию и от души пожал ему руку.

Внизу, когда я вышел уже с подъезда, справа послышались женские голоса: «Михаил Ларионыч! Прощайте». Это были Варенька и Машенька⁴⁶. Они бросились

ко мне, и я поцеловался с ними. У Машеньки глаза были полны слез. Варенька протянула мне руку, когда я и в карету сел.

— Куда прикажете? — спросил извозчик.

В крепость! — крикнул Панкратьев и вскочил в карету.

Переселение на главную гауптвахту

Ты, может быть, знаешь лучше меня, что заставило крепостное начальство перевести меня из Невской куртины на главную гауптвахту. Плац-майор говорил мне, что это делается для большего моего спокойствия; плац-адъютант — что меня хотели удалить от студентов, которые туда переводятся. Последний, впрочем, не знал сначала, что меня переведут именно на гауптвахту, и не без соболезнования говорил, что меня, кажется, хотят поместить в Алексеевском рavelине.

Я знал, что там сидит, между прочим, Владимир Обручев, и не находил в этом ничего удивительного.

Как бы то ни было, но меня перевели. Когда именно, я не помню, но вскоре после третьего допроса — около 20 ноября.

Я это предполагаю потому, что еще в куртине узнал о смерти бедного Добролюбова, а 20-го я написал стихи на его смерть, уже на гауптвахте. Это был день его похорон.

От крыльца Невской куртины до главной крепостной гауптвахты лишь шагов полтора. Я перешел туда утром вместе с одним из плац-адъютантов. Тут кстати сказать, что два крепостных плац-адъютанта разделяли сначала между собою всех крепостных арестантов на две половины и каждый заведовал своей половиной. Потом они нашли более удобным для себя разделиться днями: таким образом, два дня приходилось дежурить одному да два другому. Тут я познакомился ближе и с другим крепостным плац-адъютантом Пинкорнелли, которого видал до тех пор лишь изредка.

Пока еще не время характеризовать этих двух ближайших ко мне лиц из крепостного начальства; но я не могу не вспомнить с особенно теплым чувством доброго и милого Пинкорнелли ⁴⁷

Новое помещение мое было гораздо лучше. Комната была меньше, чем в Невской куртине, но тут был зато

прямой потолок, и меня уже не давил этот тяжелый сырой свод. Окно было одно, зато большое и светлое, хотя тоже забеленное снаружи и с еще более крепкими ршштками. В довольно большую форточку я мог видеть Иевские ворота крепости, где было обыкновенно немало проезжих и прохожих. Одним из украшений здешней моей жизни была, между прочим, большая круглая печь. Она топилась у меня, и топка ее всегда развлекала меня. Еще развлечение, кроме смотрения в форточку и печки, представляли беседы солдат в караулке рядом со мной, которая отделяла мой номер от кордегардии. Все, что тут говорилось, слышно было у меня как нельзя лучше, и я очень часто, в особенности под вечер, ложился на постель и слушал солдатские прения и разговоры. В постели тоже произошло улучшение — здесь был волосяной матрац сверх соломы. Платье мое хранилось тут у меня же, а не уносилось, как прежде, ефрейтором на сбережение куда-то.

Вот и все изменения, а затем все шло точно так же, как в куртине. У дня был тот же порядок, и прислуживали мне те же лица.

Я был особенно доволен, когда на дежурстве был бойкий белокурый ефрейтор небольшого роста, тот самый, который выстругал мне из лучинок вилку и мешалку для чая. Он был грамотный и либерал. Еще когда я был в куртине, он обратился раз ко мне с просьбой дать ему какую-нибудь книжку почитать. У меня из русских книг была только скучная и глупая «Всемирная история» Вебера. Он взял первый том, но вскоре возвратил мне его как вещь незанимательную. В карауле при гауптвахте он обыкновенно читал вслух, и здесь, слушая его чтение и рассуждения солдат, я мог убедиться еще раз (если б не был и прежде убежден), как нелепо *сочинять* какую-то особую литературу для солдат, для народа и проч. Ефрейтор читал «Солдатское чтение» или что-то подобное, рассказывавшее о воинских подвигах, какие-то исторические рассказы о Петре Великом и об Александре. Тон рассказа, с подделкою под народный говор, никому не нравился, и самое содержание казалось невероятным.

— Это так только для нас написано, — замечали некоторые, — а ничего этого и быть не могло.

Зато всех приводило в восторг чтение пушкинских «Повестей Белкина». Эти повести читались несколько

вечеров, и особенно запыли всех рассказы «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель».

Солдатский либерализм тоже замечателен.

Когда либеральный ефрейтор был дежурным, я не подвергался тому шпионству, которое почему-то явилось недели за две до моего отъезда в ссылку. Что было причиною внезапных строгостей, новый ли плац-майор, какой-то мямля, или какие-нибудь инструкции свыше, я не знаю; но только все чаще и чаще солдаты поднимали покрывало дверного оконца и наблюдали за мною, и я слышал иногда вопросы и ответы: «Не пишет ли?» — «Нет, лежит, читает». Подглядыванье это, сопровождаемое шушуканьем, меня сердило.

И сам комендант стал внимательнее и строже. Он заметил у меня как-то на столе некрепостную чашку с серебряной ложечкой, и из-за этого, как я узнал из солдатских разговоров, вышло что-то вроде следствия и допросов находившимся в карауле солдатам.

Глядя из своей форточки, я часто видел арестованных студентов. Почти как раз против моего окна было крыльцо другого отделения Невской куртины, и на нем нередко собирались студенты, сидели, курили, уходили и вновь приходили. Тут я видел Веню, Штакеншнейдера и раз явственно слышал, как они говорили, указывая на меня: «Это Михайлов, кажется».

Дня за четыре до произнесения мне приговора на площади я почти все утро простоял у форточки, глядя на роспуск их по домам. Наехало пропасть мужчин и дам, верно, все родных, и студенты сновали по крыльцу, подбегали к подъезжавшим саням, пожимали руки и весело разговаривали. Некоторые из приезжих родных или знакомых проходили на крыльцо, вероятно, с тем, чтобы посмотреть, как это содержатся люди в крепости. Слышал слова:

— Можно?

— Идите, ничего. Можно.

— Да ведь нельзя, господа! и т. п.

Внятнее всего доносился до меня голос Пинкорнелли, суетливо распорядившегося в куртине.

Признаюсь, я позавидовал этим юношам, выпархивающим на волю из тюремной западни.

Явственно слышал я и такие вопросы:

— Что, стихи-то взял?

— У тебя списаны стихи?

Я предполагал, что дело идет о моих стихах, и, кажется, не ошибался. Мне было известно, что они переписывали их для себя.

Я, однако ж, потерял хронологическую нить своего рассказа. Надо вернуться к тому утру, когда мне была прочитана конфирмация в сенате.

Только что вернулся я из сената, ко мне пришел комендант и привел с собою попа, Михаила Архангельского, как он мне отрекомендовался, и оставил его со мной.

Еще прежде спрашивал он у меня (в куртине), не желаю ли я побеседовать со священником; но я отказывался.

Поп был человек еще молодой, хотя и лысый. Мне не понравилось в нем что-то лисье. Он заговорил со мною об исповеди, о том, что мне следовало бы выслушать и божественную литургию, и все в этом роде; но в то же время он вел как будто и какой-то допрос: спрашивал, не было ли у меня каких сообщников, не собираюсь ли я избежать наказания посредством бегства и еще что-то в этом роде. Особенно налегал он на побег.

Все последнее время у меня была одна тревога: я страшился, что вам придется уехать из Петербурга раньше меня, и каждая весть, приходившая от вас, все более и более утверждала меня в моих опасениях.

Из доставленной мне статьи свода законов о церемонии, совершаемой на площади, я узнал, что поп обязан усовещивать меня две недели, если я выражу нежелание исповедаться. Эти две недели могли решить ваше дело, и я тотчас же решился не выставлять попу своих убеждений, а исполнить себе формальность, на которой он настаивал.

Я сказал ему, что чем скорее это сделается, тем лучше.

— В таком случае исповедуйтесь завтра.

— Хорошо!

Он зашел ко мне и вечером в тот день, принес святы и Евангелие, прочитал мне несколько молитв, а в Евангелии заложил лентой главу от Иоанна «Да не смущается сердце ваше» и советовал прочесть ее.

Просидел он у меня довольно долго; мы говорили о всякой всячине,— но он не раз обращался в разговоре к моей судьбе и все старался изобразить яркими красками те ужасы, которые ожидают меня, если буду столь неблагоразумен, что решусь на побег.

Откуда шли вести, что я собираюсь бежать с дороги или что меня хотят отбить от жандармов,— не знаю, но об этих вестях я слышал не от одного попа.

Я, в свою очередь, спрашивал его, не знает ли он о дне, когда будет объявлена мне на площади сентенция суда и вообще повезут ли меня для этого на площадь, но поп отзывался неведением — и врал, потому что ему был, как я потом догадался, известен этот день. Вопросы о том же, обращенные мною к коменданту и плац-майору, тоже оставались без определенного ответа. Они отвечали только «не знаю» да «не знаю». Одно только говорили мне утвердительно, что я не буду из крепости перевезен в острог, как это требуется законом. Впрочем, об этом я и сам мог догадаться, так как ко мне явился здесь поп со своими увещеваниями.

На следующее утро (это было, если не ошибаюсь, во вторник, 12 декабря) плац-адъютант пришел звать меня в церковь при комендантском доме, как меня накануне предупредил отец Михаил. Эта маленькая домашняя церковь была совсем пуста. Меня встретил здесь комендант с попом, комендант удалился, а поп пригласил меня на исповедь к аналою, поставленному перед царскими дверьми.

Исповедовал он по какой-то книжке гражданской печати, которую скрывал от моих глаз; в нее у него была вложена какая-то записочка.

Все вопросы почти исключительно касались моего дела; поп расспрашивал, не скрыл ли я имен сообщников в деле, не принял ли на себя более, чем следовало, и потом — не сговаривался ли с кем-нибудь о побеге.

После исповеди он живо отслужил обедню.

Как, однако, он ни торопился, я успел продрогнуть в нетопленной церкви и был очень доволен, когда по окончании этой церемонии комендант пригласил к себе в кабинет и меня и отца Михаила и угостил нас горячим чаем с ромом.

Перед сумерками, часа в три, приехал ко мне Суворов и сообщил, что на днях будет мне позволено видеться с моими друзьями. Он назвал поименно всех⁴⁸. Оставался он у меня довольно долго, говорил о том, что в дороге мне будут предоставлены все удобства, жалея, что не может *спасти* меня от кандалов, и т. д. Между прочим, он спрашивал меня (это по-английски), знаком ли я с Герценом и Долгоруковым — и заметил, что Гер-

цен совсем не то, что издатель «Будущности». Все, что ни пишет Герцен, все так gentlemanlike*, тогда как Долгоруков и бездарен и мало видно в нем честности.

Суворов в заключение сказал, что он еще зайдет ко мне проститься.

Только в этот вечер я сообразил, что, вероятно, мне будет произнесен приговор на площади в четверг, то есть 14 декабря,— и это вот почему: поп намекнул мне поутру, что не мешало бы мне выслушать послезавтра литургию, но я наотрез отказался.

Накануне 14 декабря я уже с большою уверенностью ожидал церемонии и вслед за нею свидания с вами; последнее ты знаешь очень хорошо. Я и ждал, что вы приедете посмотреть на мою казнь, и в то же время боялся, не узнаете о ней; в газетах, как мне говорили, не было еще объявлено.

Тринадцатого я нарочно лег раньше в постель, чтобы встать поутру раньше самому, а не дожидаться, пока меня разбудят <...>



* По-джентльменски (англ.).

Н. Г. Чернышевский

**ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ЗНАКОМСТВА
С Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ**

 **М**илый друг.
Расскажу тебе некоторые из своих воспоминаний о начале моего знакомства с Добролюбовым. Бывши учителем гимназии в Саратове, я познакомился с некоторыми из молодых людей, находившихся тогда в высших классах ее. Те из них, которым случилось попасть в петербургские учебные заведения, были частыми гостями у меня в Петербурге: одним из них был Николай Петрович Турчанинов¹, юноша очень благородного характера и возвышенного образа мыслей. Он был студент Педагогического института.

Я в те годы довольно часто бывал у Срезневского². Он читал лекции по славянским наречиям в Педагогическом институте, как в университете. Однажды он рассказал мне, что два студента Педагогического института подверглись бедственной случайности: у них были найдены заграничные издания Герцена, Давыдов (директор института) хочет вести это дело формальным порядком; если будет так, они погибнут. Одного из них ему (Срезневскому) жаль только, как было бы жаль всякого погибающего молодого человека; это юноша посредственный, скорее даже плохой, чем хороший; но другой — человек необыкновенно даровитый и уж обладающий знаниями, обширными не по летам его; притом благородный; этого молодого человека ему очень жаль; и не ему одному из профессоров Педагогического института; он и некоторые другие профессора Педагогического ин-

ститута решили настойчиво убеждать Давыдова бросить дело, по сущности своей ничтожное даже с официальной точки зрения, но при формальном порядке ведения его подвергающее гибельной судьбе попавших под него. Срезневский называл фамилии этих студентов; я плохо запомнил их. Через несколько дней Срезневский сказал мне, что ему и его товарищам удалось урезонить Давыдова; молодые люди избавились от беды. Избавились, то и прекрасно. Я совершенно перестал помнить эту историю.

Прошло довольно много времени, несколько месяцев, или год, или больше, не помню теперь; но много времени. Однажды Турчанинов принес мне тетрадь и сказал, что его товарищ Добролюбов просил его отдать ее мне, чтоб я посмотрел, годится ль она для «Современника». Это была статья о «Собеседнике любителей русского слова». Турчанинов очень хвалил автора и говорил, что горячо любит его.

Не помню, тотчас ли, при Турчанинове, я прочел несколько страниц и тогда же сказал ему ответ или отложил тетрадь в сторону и сказал Турчанинову, что дам ответ, когда он зайдет в следующий раз. Помню только, что, прочитав две-три страницы, я увидел: статья написана хорошо, взгляд автора сообразен с мнениями, какие излагались тогда в «Современнике», и читать дальше нет надобности. И когда, в тот ли раз или при следующем посещении Турчанинова, я давал ему ответ, то дал такой: статья хороша, будет напечатана в «Современнике», и я прошу Турчанинова пригласить автора побывать у меня.

Через день или два пришел ко мне Добролюбов; один ли или с Турчаниновым, я не помню; если с Турчаниновым, то Турчанинов вскоре ушел — то есть, может быть, через час или полтора, напившись чаю; и пока был тут, то не играл никакой роли в разговоре. Так ли или иначе, один или вместе с Турчаниновым, Добролюбов зашел ко мне в первый раз, но он просидел со мною очень долго один; пришли они вдвоем или пришел один он вечером; а часов с девяти мы сидели с Добролюбовым только вдвоем; если приходил с ним Турчанинов, то к этому времени ушел и остался (если так, то, разумеется, по моему приглашению остаться) один Добролюбов; и просидели мы с ним вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, часов до двух, и толковали мы с ним о его

понятиях. Я спрашивал, как он думает о том, другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить ему. Дело в том, что по статье о «Собеседнике» мне показалось, что он годится быть постоянным сотрудником «Современника». Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о вещах понятиям, излагавшимся тогда в «Современнике». Оказалось, соответствуют вполне. Я наконец сказал ему: «Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению „Современника“; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником „Современника“». Он отвечал, что он давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить все ему и ему. Тогда я стал спрашивать его о личных его делах. Рассказав об отце, о своем сиротстве, о сестрах, он стал говорить о своем положении в институте; дошло дело до того, что он находится в опале у Давыдова по поводу того, что у него и Щеглова (не помню эту фамилию, кажется — Щеглов)³ были найдены заграничные издания Герцена. Только тут мне вспомнилась история, слышанная от Срезневского. «Так это были вы, Николай Александрович! Вот что! — Мысли у меня в ту же секунду перевернулись.— Когда так, Николай Александрович, то дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося в товарище по журнальной работе: эту статью, так и быть, поместим; одну статью можно утаить от Давыдова. Но больше не годится вам печатать ничего в «Современнике» до окончания курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишете в «Современнике», то беда была бы вам. Итак, когда кончите курс и станете независим от Давыдова, тогда и начнете постоянно писать для «Современника», а раньше нельзя». Он возражал. Я, разумеется, остался при своем.

И не вполне выдержал решение, которое считал необходимым для безопасности Добролюбова. Через несколько недель он принес мне рецензию, написанную им об «Описании Главного педагогического института». Если чего не следовало для его безопасности печатать до окончания им курса, то, конечно, именно такой статьи. Но ему очень хотелось, чтоб она была напечатана, и я уступил. Дело сошло благополучно для него: статья была принята за написанную мною, как я и надеялся, уступая желанию Добролюбова.

Сделал я и другую уступку ему, но уж не такую неизвинительную: месяца через три напечатал его ответ Галахову; предмет был безопасен для него.

Сделал, незадолго до развязки его отношения к институту и Давыдову, и третью уступку ему: напечатал его статью «О значении авторитета в воспитании». Эта уступка тоже извинительна: предмет статьи был безопасный для него. Притом до окончания курса Добролюбову оставалось так мало времени, что можно было иметь уверенность: дело не успеет обнаружиться.

Октябрь 1886 г.





М. А. Антонович

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ

 **О**собенно же высоко ценил Чернышевский в Добролюбове — и на этот раз уже абсолютно справедливо — удивительную силу убеждения и страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот,— говорил он,— настоящий человек дела, жаждущий дела. У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявляться в соответствующих действиях. И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно и страстно. Вот я,— осуждал себя Чернышевский в самых задушевных, интимных и потому вполне искренних беседах,— не могу быть таким серьезным; к фактам и явлениям, которые Добролюбова возмущают и выводят из себя, я отношусь добродушно, даже шуточно, и во всяком случае они возмущают меня менее, чем его». И действительно, в обыкновенных случаях и в разговорах с неблизкими людьми Чернышевский держал большею частью шуточный тон, острил, хохотал, даже если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но это была только обманчивая наружность, потому что, как это знали и видели люди, близкие к нему, он все воспринимал и чувствовал, может

быть, даже и глубже и живее, и его негодование в глубине его души было еще энергичнее, чем у Добролюбова.

Далее, Чернышевский удивлялся в Добролюбове неумолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы они ни были, знакомые ли, приятели, люди высокопоставленные в литературе, авторитеты или начинающие новички; со всеми он был одинаков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду-матку. «Я,— осуждал себя Чернышевский,— не могу быть строгим с людьми знакомыми, близкими или с людьми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными и, что называется, милыми. У меня язык не поворачивается сказать им в лицо неприятную правду, духу не хватает. Я никак не мог отказать в статье для «Атенея» милым людям, просившим меня о ней,¹ и не мог сказать, что я не сочувствую их журналу,— за что Добролюбов издевался и хохотал надо мной. И, кроме того, милым и авторитетным людям я готов многое прощать и многое извинять в них. Вот Добролюбов, у него нет на лица зренья, он за дело всякого обругает в глаза без малейшего стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: к малейшему неправильному поступку отнесется с самым строгим осуждением». Относительно Добролюбова это было вполне справедливо; но и сам Чернышевский во многих случаях поступал еще строже и нелицеприятнее Добролюбова. В пример беспристрастия и нелицеприятия Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: «Посмотрите, какую штуку он отмочил. Он знаком и даже приятель с милейшим Алексеем Дмитриевичем Галаховым² и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его прекрасно принимают; он у них — свой человек; Алексей Дмитрич оказывал даже ему разные услуги,— и что же? Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе заседания Литературного фонда написал бессмысленную фразу: «Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, запрещающей не только не напрашиваться на пособие, но и *стыдливо принимать* пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в человеке, посвятившем себя литературе и науке». Добролюбов подхватил эту фразу в «Свистке», прикинулся ничего не знающим и с ехидством восклицал: «Да где же Покровский с своим памят-

ным листом ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило духу так зло посмеяться над знакомым, да еще таким милым и приятным человеком, и как он будет после этого смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не хватило на это, а ему это нишчем, он и в ус себе не дуёт. И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добролюбов возмущается, негодует на то, что русские литераторы, так сказать, законодатели русского языка, не умеют правильно выражаться по-русски».

В глазах Чернышевского еще более резким выражением строгости и нелицеприятня Добролюбова было его отношение к корифеям и ветеранам литературы. «Вы бы посмотрели,— говорил он,— как Добролюбов третирует их: обращается с ними сдержанно, холодно, даже сурово, а иногда просто запанибрата, не говоря уже об отсутствии почтительного и предупредительного внимания. К милейшему, мягчайшему и утонченнейшему Тургеневу или к добрейшему Кавелину он относится небрежно и невнимательно, точно к какому-нибудь безвестному литературному новичку: он делает им замечания, даже подтрунивает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стесняется и не смущается перед ними и режет им свое. А с другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами обращается еще дерзновеннее».

Следует заметить при этом в скобках, что несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями и авторитетами был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали такую фразу: «Добролюбов — просто змея, а Чернышевский — ядовитая гремучая змея»³. Но то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал некоторых литературных корифеев и так называемых людей 40-х годов и вообще всех и менее известных литераторов, либеральничавших только языком и пером; он безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них раздраженным тоном. В них видел, так сказать, квинтэссенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что считал позором и пре-

ступеннем со стороны всякого интеллигентного и мыслящего человека, а тем более литератора: прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрасные слова и никакого дела или даже непрекрасные дела. «И что это за люди,— с досадою говаривал он,— если мысли и намерения, лежащие у них в голове или постоянно болтающиеся у них на языке, не оказывают на их деятельность никакого влияния, не проявляются в их действиях? Это бездушные механизмы, в которые вставлены красивые и блестящие погремушки; это деревянные шкапы, в которых лежат книги с прекрасным содержанием, которое не имеет никакого отношения к шкапам и не оказывает на них никакого действия. Нет, настоящее, действительное убеждение и намерение всегда бывает сильно и деятельно, оно одушевляет и охватывает всего человека, действует на его чувства, движет его волю и служит пружиною, управляющею всеми его действиями. Осуществление на деле действительного убеждения есть естественная, так сказать, инстинктивная потребность, удовлетворить которую убежденный человек стремится с такою же настойчивостью, с какою он удовлетворяет всякую другую естественную потребность. Прекрасные, но бездельные, платонические намерения столь же неестественны и бесплодны, как платоническая любовь.

Вот, например, Кокорев, какими он одушевлен прекрасными намерениями и какие либеральные речи произносит,— это тоже убеждения? Будучи откупщиком, громит откупа, будучи учредителем акционерных обществ, громит акционеров за то, что они не строго смотрят за действиями своих учредителей⁴. Вот это полное согласие между словом и делом. А то есть стихотворцы, которые сочиняют и печатают высоконравственные стихотворения, воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ и в то же самое время занимаются ростовщичеством и предаются грязному разврату. Это тоже стихотворное выражение убеждения?!» Эти мысли были любимой темой, которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в печати.

Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог питать уважения к прекраснодушным людям 40-х годов и похожим на них литераторам других годов и его времени. Особенно сердило его то, что подобные люди были высокого мнения о себе, гордились своею бездельною

платонической любовью к людям, к общему благу и фари-сейски презрительно смотрели на толпу, не выражающую даже на словах такой любви. Я уже рассказывал печатно один случай, очень характерный для Добролюбова и очень типичный для его отношения к этим лю-дям⁵. Литераторы и другие почитатели и сверстники Белинского устраивали ежегодно в честь его обеды, на которых прекрасные тосты и прочувственные речи ли-лись такой же рекой, как и прекрасные вина. На один из этих обедов приглашен был и Добролюбов, как со-трудник «Современника»... Добролюбова же картина этих *обедов возмущала и бесила*; он не мог равнодушно слышать прекрасных, но платонических восхвалений Бе-линского и внимал им с лихорадочным негодованием, которое нашло себе такой исход: он написал на этот обед сатиру и разослал ее выдающимся участникам обе-да. Подобную же проделку устроил Добролюбов, еще будучи студентом Педагогического института. Возму-щенный празднованием юбилея Греча, он написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распространять повсю-ду. Она дошла до институтского начальства, и только полная откровенность и показное раскаяние избавили его от начальственной грозы и беды. К сожалению, этой сатиры нет у меня⁶. Но сатира на празднование в честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокра-щении. И здесь я не привожу последних четырех строк⁷. В конце стихотворения Добролюбов до того разгорячился, что уже не мог найти достаточно сильных слов для выражения своего негодования и употребил грубое, бранное выражение,— он и не предназначал своего стихотворения для печати.

На тост в память Белинского, 6 июня 1858 года:

И мертвый, жив он между нами
И плачет горькими слезами
О поколеньи молодом,
Святую веру потерявшем,
Холодном, черством и немом,
Перед борьбой позорно павшем...
Он грозно шел на грозный бой,
С самоотверженной душой
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал.
Исполнен прямоты и силы,
Бесстрашно шел он до могилы

Стелю правды и добра,
 В его нещадном отрицаньи
 Виднелась новая пора,
 Пора действительного знанья.
 И, умирая, думал он,
 Что путь его уже свершен,
 Что молодые поколенья
 По им открытому пути
 Пойдут без страха и сомненья,
 Чтоб к цели наконец дойти.
 Но молодые поколенья
 Полны и страха и сомненья, —
 Там, где он пал, на месте том
 В смущеннн рабском суетятся
 И им проложенным путем
 Умеют только любоваться.
 Не раз я в честь его бокал
 На пьяном пире поднимал
 И думал: «Только! только этим
 Мы можем помянуть его!
 Лишь пошлым тостом мы ответим
 На мысли светлые его!»
 Пока мы трезвы, в нашей лени
 Боимся мы великой тени...

Понятно, какое впечатление эта выходка должна была произвести на молодое поколение времени Белинского, сделавшееся теперь уже старшим поколением, на почтенных литераторов, учеников и друзей Белинского, и как они должны были отнестись к мальчишке самоновейшего поколения, который вздумал поучать и даже обличать и бранить их и в то же время был чуть не первым лицом в редакции журнала, издаваемого их сверстниками, такими же, как и они, учениками и друзьями Белинского. Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, вероятно, поставили решительный ультиматум редакторам «Современника»: выбирайте, или он, или мы, а вместе с ним мы не можем⁸. Как ни старался Некрасов примирить враждующие стороны и предупредить разрыв, но ничего не мог добиться и сам он, увлеченный личностью Добролюбова, стал на его сторону, чем окончательно оттолкнул от себя старых литературных друзей. Поэтому могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола

ISSUED BY THE GENERAL POST-OFFICE BY THOMAS NEWBERRY PRINTED BY THE UNITED KINGDOM.

КОЛОКОЛЪ

VIVOS VOVO!

ЛЮБЪ 1864.
15 Юня 1864.

Въспомогательный редакторъ
А. И. Герценъ

Въспомогательный редакторъ
Н. П. Огаревъ

Владимиръ Г. Г. Чернышевскій, редакторъ и издатель газеты «Колоколъ». Въ началу 1864 года. Фотография.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКІЙ.

ВЪСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОРЪ

Издательство «Колоколъ» не только не прекратило своего существования, но и продолжает существовать и развиваться. Это видно из того, что в настоящее время оно издает не только «Колоколъ», но и другие газеты и журналы. Это говорит о том, что дело Чернышевскаго не только не забыто, но и продолжает жить и развиваться. Это говорит о том, что дело Чернышевскаго не только не забыто, но и продолжает жить и развиваться.

Въспомогательный редакторъ «Колоколъ» Н. П. Огаревъ. Он был близким другом и соратником Чернышевскаго. Он продолжал его дело и в дальнейшем. Он был близким другом и соратником Чернышевскаго.

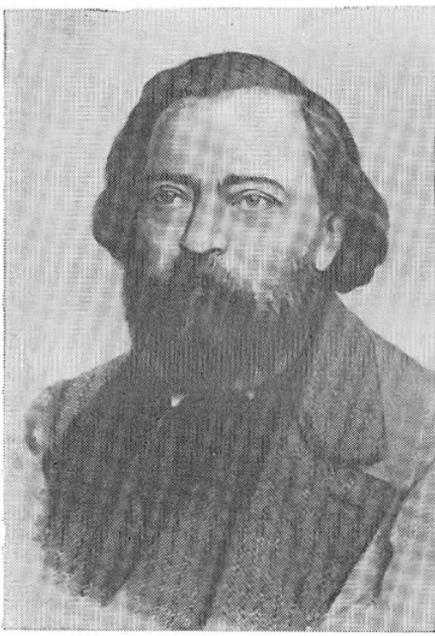
Въспомогательный редакторъ «Колоколъ» Н. П. Огаревъ. Он был близким другом и соратником Чернышевскаго. Он продолжал его дело и в дальнейшем. Он был близким другом и соратником Чернышевскаго.

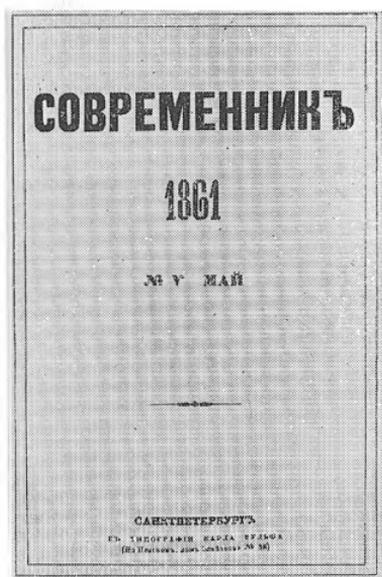


«Колокол» от 15 июня 1864 г. со статьей А. И. Герцена «Н. Г. Чернышевский».

А. И. Герцен. Фотография 1860-х гг.

Н. П. Огарев. Фотография 1860-х гг.





Н. Г. Чернышевский. Фотография 1859 г.

Титульный лист журнала «Современник».

Н. А. Добролюбов. Фотография 1850-х гг.

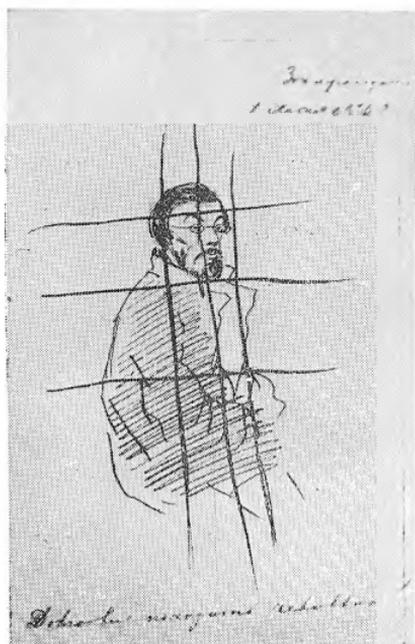
Н. А. Некрасов. Гравюра 1860-х гг.



Н. В. Шелгунов. Фотография
начала 1850-х гг.

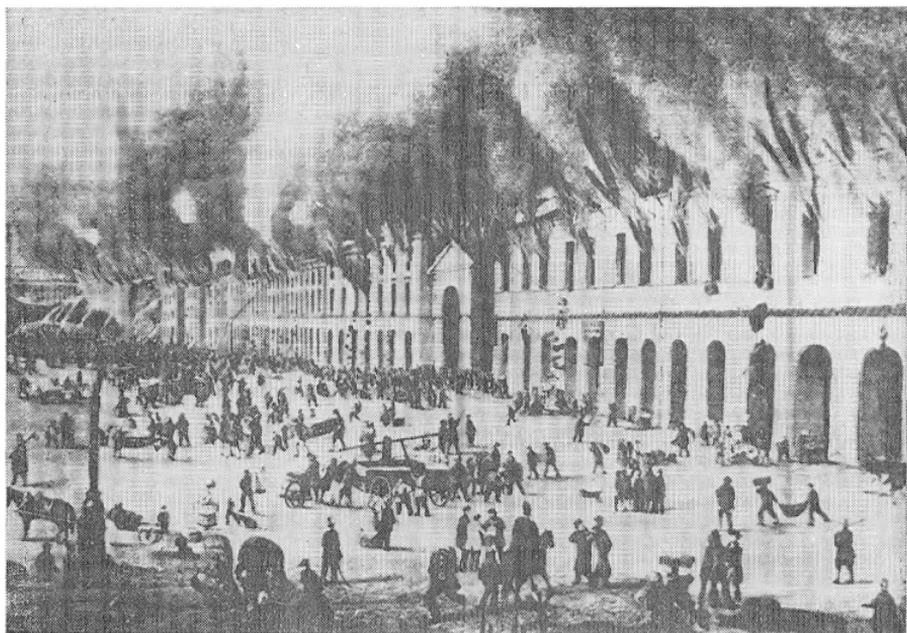
Е. П. Михаэлис. Фотография
1861 г.

М. Л. Михайлов. Фотография
1859 г.



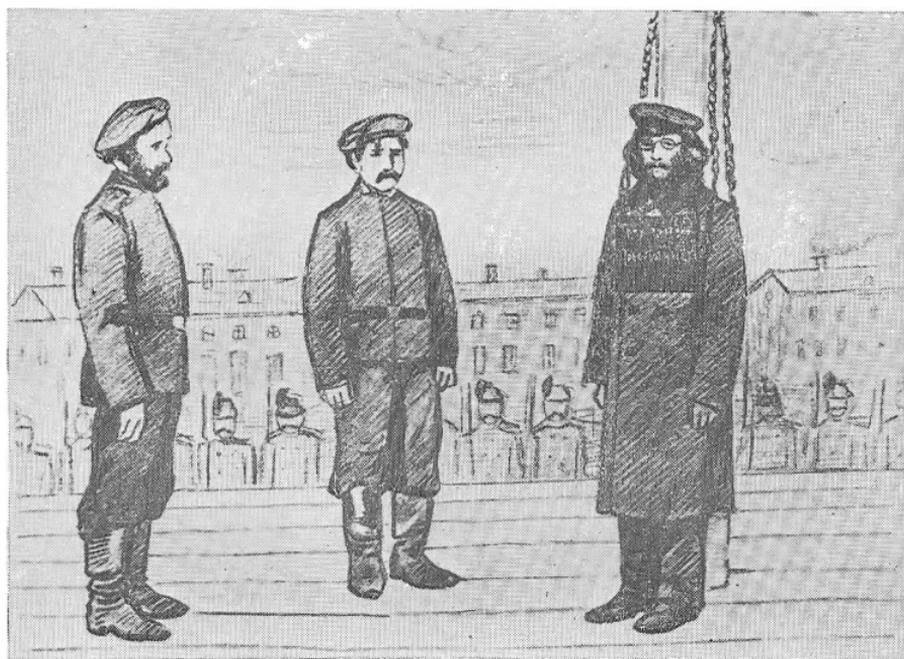
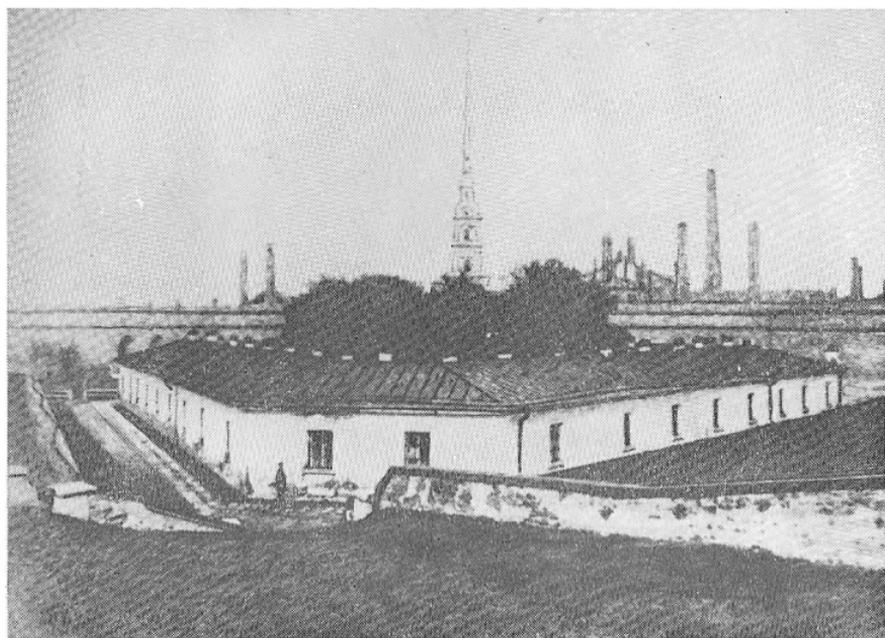
М. Л. Михайлов за тюремной решеткой. Рисунок пером Н. В. Ивлева (?) для журнала «Гудок», запрещенный цензурой в мае 1862 г.

М. Л. Михайлов в Петропавловской крепости перед отправкой на каторгу. Картина художника В. И. Якоби.



Пожар Апраксина двора в мае 1862 г. Гравюра неизвестного художника. 1862 г.

В. А. Обручев. Фотография конца 1850-х гг.



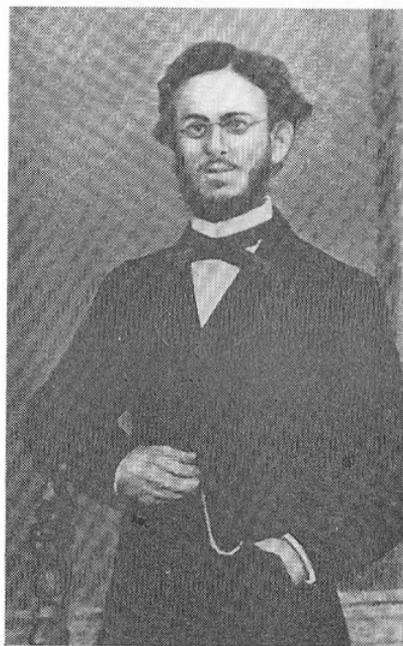
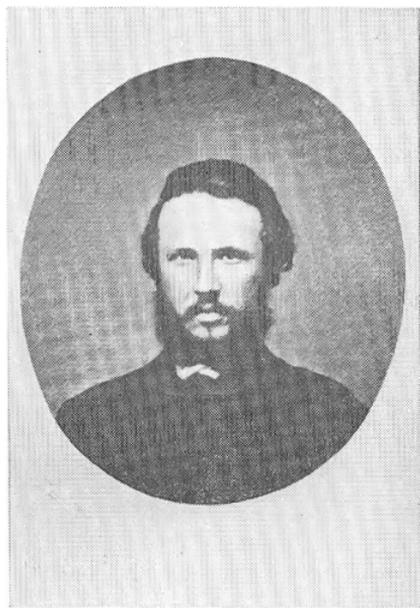
Алексеевский рavelин, секретная одиночная тюрьма. Фотография второй половины XIX в.

Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского. Рисунок очевидца. 1864 г.



Н. Г. Чернышевский. Фотография 1880-х гг.
с автографом В. И. Ленина.

Печать общества «Земля и воля» 1860-х гг.



Н. А. Серно-Соловьёвич. Фотография 1860-х гг.

Н. И. Утин. Фотография 1860-х гг.

А. А. Серно-Соловьёвич. Фотография 1860-х гг.

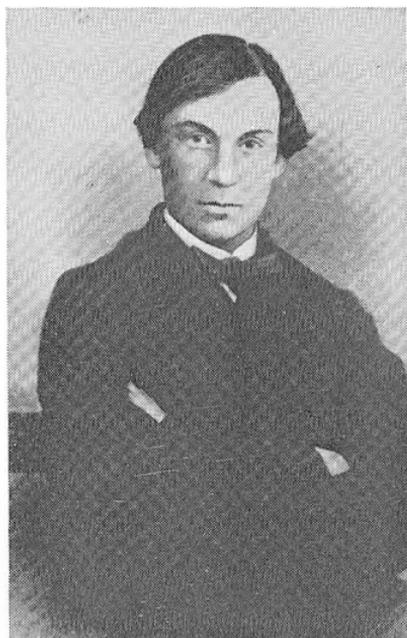
Н. Н. Обручев. Фотография 1861 г.



П. Г. Заичневский. Фотография
1860-х гг.

М. Л. Михайлов в Сибири. Ри-
сунк 1860-х гг.





Л. Ф. Пантелеев. Фотография
1860-х гг.

Д. И. Писарев. Гравюра
1860-х гг.



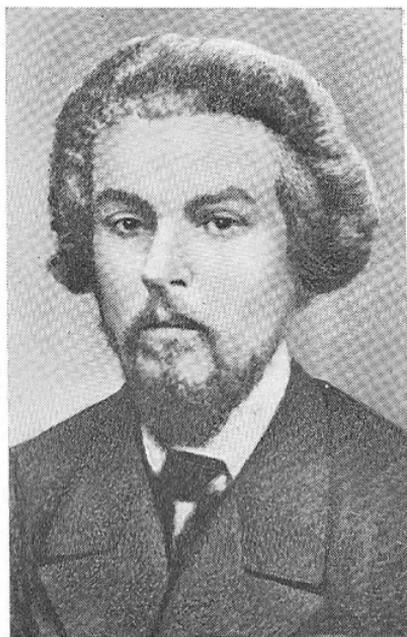
Переход крестьян из крепостного
состояния в лично-зависимое

Карикатура, высмеивавшая крестьянскую реформу. 1860-е гг.



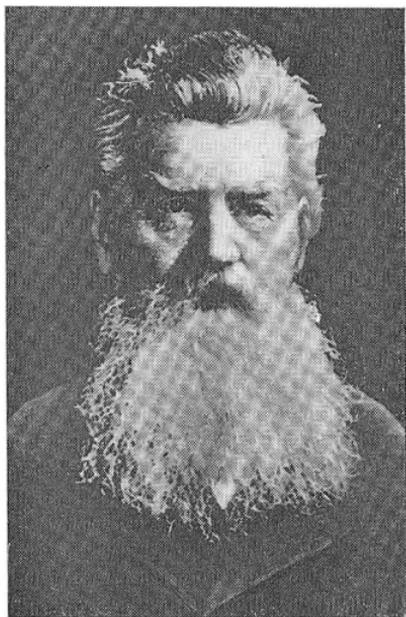
Выстрел Д. В. Каракозова.
С картины художника Гри-
нера.

Д. В. Каракозов перед каз-
нью. Рисунок И. Е. Репина.
1866 г.



Д. А. Юрасов. Фотография
1860-х гг.

Н. Д. Ножин. Фотография
1860-х гг.



Г. З. Елисеев. Фотография
1870-х гг.

Н. А. Ишутин в Иркутске. Фо-
тография.



Ф. В. Волховский. Фотография
1860-х гг.

М. А. Антонович. Фотография
1880-х гг.

лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изысканно любезен и почтителен со старшими литераторами.

Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко выразилась и окончательно установилась дифференцировка как между литераторами, так и вообще между интеллигентными людьми. В прежние патриархальные времена, времена аркадской невинности или наивности, литераторы и интеллигентные люди составляли почти одну только общую группу или хоть и несколько, но весьма немногих групп, объединявшихся слишком отвлеченною и широкою общностью понятий, интересов, стремлений и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностях не нарушалось разногласиями в конкретных частностях и подробностях, особенно практических, которым даже не придавалось особенного значения. Человек сочиняет и печатается, значит, он наш брат, литератор; с ним можно вести знакомство, приятельство и дружбу. Проявляется человек интеллигентный; он хоть не литератор, но интересуется литературой и серьезными отвлеченными вопросами; он тоже наш брат и тоже может быть в нашей компании. И вот люди сходились, сближались, дружили, собирались вместе, разговаривали разговоры, вели академические беседы о важных отвлеченных вопросах, ни к чему не обязываясь, ничем не смущаясь, ничего не боясь и никого не остерегаясь, словом, «не предвидя от сего никаких последствий», как невинные птички. Славянофилы и западники враждовали между собою только академически, и эта вражда не имела практического значения, практической жгучести. Да и они составляли собственно только две подгруппы одной группы⁹, противоположную группу составляли только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенковский, Греч и Булгарин¹⁰.

Но в начале 60-х годов в моральной и общественной атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у литераторов и интеллигентных людей открылись глаза на многое, чего они прежде совсем не замечали, подобно тому как первозданные люди, прежде не замечавшие, что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали и увидели свою наготу. Члены прежних больших приятельских групп увидели, что общие вопросы фило-

софии, этики и эстетики почему-то теряют первенствующее значение, а на место их выступают, даже, может быть, не гласно и не открыто, «проклятые» вопросы внутренней политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления их об этих улучшениях весьма различны. Приятели литераторы и интеллигенты вдруг почувствовали, что разговоры разговариваются не для одного времяпрепровождения, а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствующий известным разговорам как будто принимает некоторое обязательство действовать согласно с этим разговором, что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что от иных разговоров благоразумнее совсем уstraняться. Одновременно с этим и в окружающей внешней, но властной среде произошла соответствующая перемена. В этой среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может служить не только для развлечения и увеселения, но и для чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показалось, как будто печать не только развлекает читателей, но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы они из чтения выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. Это стремление, действительное или только подозреваемое, послужило поводом к тому, что за печатью стали наблюдать не только с одной технической, цензурной стороны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, что было неувовимо для цензуры, но уловимо для особо призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных литераторов и целых органов печати. И таким образом в понятиях указанной сферы печать разделена была на два сорта: на овец и козлиц; и один сорт признан был не имеющим права претендовать попасть под сень того, что называется покровительством печати или даже терпимостью ее; [было признано], что одной части печати нужно покровительствовать и поощрять ее, а другой нет,— что, в свою очередь, имело влияние на дифференцировку как писателей, так и читателей.

Вследствие указанных перемен прежние большие и общие группы литераторов и интеллигентов распались, и из них образовались более частные, но более опреде-

ленные и резкие группы, более требовательные и строгие относительно своих членов. И это распадение произошло совершенно естественно, без всяких личных враждебных поводов. Каждому пришлось пересмотреть свои отношения к окружающим, свои знакомства с новой точки зрения, более специальной и определенной. При этом не один мог прийти к такому заключению, что от некоторых сношений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них нет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений, лучше уйти от греха, чтобы не давать повода судить о себе по тайным рискованным знакомствам.

Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный пример такого естественного раскола, такой резкой дифференцировки. Зимой 1860-го и начала 1861 г. у Чернышевского собиралось по вечерам многочисленное и очень разнообразное общество: старые и молодые литераторы, старые и молодые профессора университета, старые академики, профессора военной академии, сделавшиеся впоследствии очень высокопоставленными лицами, офицеры генерального штаба, молодые и старые врачи и другие интеллигентные лица. Они все мирно и весело проводили время в приятных академических беседах и непринужденных разговорах; хорошо помню, что однажды был даже продолжительный разговор и спор о краледворской рукописи¹¹. Сам хозяин беззаботно острил и шутил, хохотал и веселился, кажется, больше всех. Весною же и летом 1861 г. все это отрезалось, как ножом. Почти вся компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной интимной компании, и Добролюбов был тут решительно ни при чем; его даже в Петербурге не было в это время, и потому никак нельзя было сказать, что он отпугнул эту компанию. Зимой конца 1861 г. к Чернышевскому в гости не являлись уже профессора, ни штатские, ни военные, не являлись ни старые литераторы, ни академики, ни офицеры генерального штаба, за исключением одного или двух, да и то польского происхождения. Обширный круг знакомых и приятелей Чернышевского сузился в тесный кружок, в котором были только молодые начинающие литераторы, а из старых только издатели «Современника», да несколько интересовавшихся литературой интеллигентных лиц¹².

Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилизма, хотя кличка эта еще не была пущена в ход, и все принимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой болезнью или же чтобы противодействовать этой заразе и истребить ее¹³.

Чернышевский в своих письмах к Добролюбову за границу много писал ему об этой «изумительной», как он выражался, перемене, происшедшей в русском обществе в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением признавался, что он не может понять и представить себе, что это за перемена, как она произошла и чем вызвана. Но, возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и понял.

Добролюбов пробыл за границей больше года, но здоровье его не только не поправилось, но еще ухудшилось. Он ехал туда, чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но он ничего не мог забыть и не отдохнул. Он продолжал много работать и писать для «Современника», что, конечно, постоянно напоминало ему о русских делах и растравляло его раны. Большую часть времени за границей, конец 1860 г. и всю первую половину 1861 г., он провел в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журнальной работы он изучал политические движения объединявшейся тогда Италии и написал около десяти печатных листов об итальянских делах. Но итальянские дела не до такой степени увлекали его, чтобы из-за них он мог хоть на минуту забыть об отечественных делах, и в его статьях об итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность») заметны даже довольно прозрачные кивания на домашние дела, и он как бы хотел сказать при отрадных явлениях: вот если бы и у нас так! а при безотрадных: точь-в-точь как у нас!

Его болезненное состояние, поддерживаемое нравственными муками недовольства и негодования, еще более ухудшалось вследствие материальных забот. Он должен был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге двух младших братьев; его постоянно мучила мысль, что он не заработает столько денег, чтобы покрыть все расходы, и он должен будет прибегать к неприятным авансам из кассы «Современника». Под влиянием этого опасения он, с одной стороны, много и усиленно работал, а с другой стороны — соблюдал большую экономию

и отказывал себе во многом, что для больного человека было, конечно, не безвредно. У меня сохранилась памятная книжечка Добролюбова, составлявшая его приходно-расходный журнал, веденный во время путешествия за границей. Оказывается, что он аккуратно, точно ответственный кассир, записывал все даже мелочные расходы, каждую истраченную копейку. В книжке есть, например, такие записи: «В Праге — бифштекс и черносецкое вино — 60 крейцеров; шарманщику 2 крейц. В Теплице *Lesezimmer entrée* * — 15 крейц. В Интерлакене — нищей девочке — два раза по 10 сантимов; певицам на пароходе — 30 сант., девочке за ягоды — 10 сант.». Тут же записывался и приход, и через известные промежутки выводился остаток, как у настоящего форменного кассира. Очевидно, это делалось с той целью, чтобы во всякое время знать состояние своих финансов, чтобы как-нибудь не сделать перерасхода и не выйти из бюджета, — забота очень беспокойная, особенно для больного человека.

Говорят, — хотя я сам не слышал от него об этом, — будто в Италии у него начинался роман, будто он влюбился в какую-то итальянку, ухаживал за нею и даже думал жениться на ней. Но почему-то роман кончился ничем, и итальянская сирена не удержала его в Италии; он рвался домой, несмотря на убеждения друзей остаться за границей подольше и серьезно лечиться. На все их уговоры он отвечал одно: «У вас там черт знает что такое делается, какие безобразия творятся: вы же сами пишете о каких-то зловещих «переменах». Нужно быть на месте и что-нибудь делать; нельзя же сидеть сложа руки и любоваться отечественными безобразиями из прекрасного далека». Кроме того, он рвался домой еще и потому, что считал необходимым сменить Чернышевского, на котором лежала вся тяжесть работы по «Современнику», и дать ему возможность хоть немного отдохнуть. Добролюбов возвратился через Одессу в июле 1861 г., побывав по дороге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, а даже ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть в Одессе ввиду предстоящего ему трудного путешествия на лошадях до Харько-

* Вход в читальню (нем. и франц.).

ва. Но он не послушался доктора, помчался в Петербург и прибыл в августе. По приезде в Петербург он увидел и понял изумительную перемену, происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые встретили его нерадостными новостями. Цензура, и до того строгая, стала еще строже и притом особенно была нетерпима в одном направлении, именно против усмотренной в воздухе заразы нигилизма, хотя это слово еще не было произнесено и не стало лозунгом и боевым кличем, каким оно сделалось лишь в следующем году. Действию этой заразы были приписываемы даже такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими зданиями¹⁴, студенческие волнения и всякие другие волнения. Постоянная мучительница Добролюбова, русская самодовольная печать, приготовила для него новую муку: она со своим обличительным отделом тоже выступила в поход против нигилистической язвы, которую, по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь «Современник», и во главе этого похода стояли со знаменем и с лозунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние. Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколько градусов, и таким образом его в два кнута истязали две болезни: моральная и физическая. Но он крепился, бодрился и работал не покладая рук. По его возвращении Чернышевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, причем тоже раздражали его и бесили — конечно, против воли и против всякого желания — сотрудники «Современника», в том числе и я грешный.

Однажды, придя к нему, я застал его за чтением корректуры моей рецензии о логике Гегеля, к которой я пристегнул и логику какого-то Поморцева. Едва поздоровавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. «Ужасно хорошую рецензию вы написали, — заговорил он, — и как многое провели в ней?! Не могли вы найти что-нибудь получше и поучительнее?! Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного, а вы еще приплели какую-то дрянь Поморцева, которого трогать не стоило... А кроме того, фразерст-

но какое-то,— и он прочитал несколько фраз из рецензии, чистейшая риторика!» Переконфуженный и смущенный я сказал: «Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем бросить». Эти слова еще больше рассердили его, и он резко заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швырять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще хуже этого». И рецензия действительно была напечатана без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбова я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное вообще заключение, что ему портили кровь не одни только мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все душливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные зловещие слухи, часто псевдные или, по крайней мере, преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С.-Петербург, что ему запрещен будто въезд в столицу или даже он будто арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянье воскликнул: «Что же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря безнадежному положению он оставлен был в покое.

Умер Добролюбов 17 ноября 1861 г.

Так угас этот блестящий литературный светоч, так сгорел огнем физических и нравственных страданий этот постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; умирая, он с полным правом мог сказать своему другу:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...

И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!

Друг пошел тою же стезею и кончил так же, сгорел тем же, но медленным огнем ¹⁵.

ЛИЧНОСТЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Скорбное и возмутительное чувство при мысли о том, что литературная деятельность Николая Гавриловича была так непродолжительна и была насильственно и жестоко прервана в самом полном расцвете ее, еще более усиливается при воспоминании об особенно характерной черте его ума. Это был ум повелительный, властный, действовавший на читателя неотразимо. Он как будто сам сознавал свою силу, и потому во всех своих статьях он нисколько не старался ублаживать читателя, привлекать его на свою сторону, искать его расположения, убеждать его, уговаривать, упрашивать. Казалось, как будто в глубине души он говорил читателям: хочешь ли ты соглашаться со мною или не хочешь, но непременно согласишься, раз я представлю тебе мои аргументы. И потому в статьях он говорил с читателем просто, без церемоний, строго и уверенно вел свою линию, как будто игнорируя читателя. То невнимательное и нелюбезное отношение к читателю, которое он довел до шаржа в «Что делать?» ¹⁶ и заметно сказывалось во всех его статьях, конечно, было следствием, может быть, даже бессознательной уверенности в своей силе. Его статьи отличались и действовали на читателя не увлекательностью или блеском, а строгой логичностью, очевидностью, определенностью и ясностью, без всяких прикрас и заискиваний. Эта характерная особенность статей Н. Г. выступает особенно явственно при сравнении их со статьями Добролюбова, тоже очень своеобразными. Статьи последнего увлекательны, сердечны, милы, мягки. Слово его властно и повелительно, как слово Н. Г., но оно обаятельно и увлекательно.

Да, с какой стороны ни посмотришь на Н. Г., всегда в уме является неотвязчивый мучительный вопрос: сколько пользы мог бы принести русской литературе и русскому обществу этот богато одаренный, энергичный и властный ум, если бы его не лишили возможности

продолжать работу на избранном им поприще непрерывно до конца дней его? Есть одно дело, относительно которого не гадательно и предположительно, а наверное можно утверждать, что он блестяще осуществил бы его. По закрытии «Современника»¹⁷ он задумал план издать русскую энциклопедию. По всей вероятности, образцом для нее послужила бы французская энциклопедия XVIII века, и она, наверное, немногим бы уступила французскому образцу и во всяком случае была бы в тысячу раз лучше наших нынешних онемеченных броггаузо-мейеровских энциклопедий.

Выдающийся, сильный ум, обогащенный обширными познаниями, единогласно признавали в Н. Г. как его друзья и почитатели, так, к несчастью, и его противники и враги. Но о цельном и полном психическом облике его, об эмоциональной стороне его психики мнения очень расходились; и эту сторону его природы неправильно понимали и не ценили даже люди, не бывшие ни врагами, ни соперниками его и даже водившие с ним, по-видимому, близкое знакомство. По этим мнениям Н. Г. был человек сухой, холодный и черствый, неуравновешенный правильно, беспорядочно порывистый, без эстетического чувства и вкуса, считавший искусство, как видно из его неудачной диссертации¹⁸, только обиходною утилитарною вещью. Другие находили, что это человек надменный, с колоссальным самомнением, считавший себя выше и умнее всех и потому презрительно относившийся ко всем, над всеми издевавшийся и вообще неспособный к чувствам преданной любви и горячей привязанности к людям. Вот, например, Герцену Н. Г. как человек вовсе не понравился; он находил его неискренним, лукавым, хитрым, «себе на уме», как он выражался. Кавелин, бывший близкий знакомый и, можно даже сказать, приятель Н. Г., характеризовал его таким образом: «Такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал». Так говорили не прогивники и не враги Н. Г.¹⁹ А враги, конечно, характеризовали его еще резче и хуже. Все подобные неблагоприятные отзывы о характере Н. Г. лиц, невраждебных ему, объясняются или тем, что эти люди судили о нем на основании первых и вообще немногих впечатлений, или же имели возможность и случай видеть только, так сказать, внешнюю, наружную сторону его психики и не могли проникнуть через эту наруж-

ность в самую глубь и суть его души, цельной и вполне гармоничной.

Нужно, впрочем, правду сказать, что сам Н. Г. подавал некоторый внешний повод к подобным суждениям о нем своим обращением, своими манерами и приемами при всяких как важных, так и не важных сношениях с другими. Обыкновенно речь его пересыпалась шутками, прибаутками, остротами, анекдотами и все время сопровождалась смехом, даже хохотом. Люди близкие знали эту манеру, привыкли к ней, терпеливо ожидали того момента, когда он серьезно и как бы мимоходом скажет, обыкновенно в немногих словах, то, о чем его спросили или что он хочет сообщить. Но на свежих посторонних людей эта манера производила странное неприятное впечатление: от Чернышевского они такой манеры не ожидали. В то время еще не было моды на интервьюирования, но к Н. Г. являлись многие именно с целью интервьюировать его, узнать его мысли и чувства по поводу какого-нибудь случая или события и — страшно разочаровывались. Иногда к нему являлись очень серьезные люди и с очень серьезными вопросами или предложениями. Но и в этих случаях он изменял, смягчал и прикрашивал свою манеру ровно настолько, чтобы она не казалась невежливой и обидной. Это был какой-то странный каприз, нежелание переходить сразу на серьезный тон. Известный русский офицер и польский деятель Сераковский просто был возмущен и взбешен приемом Н. Г., когда он явился к нему в первый раз. Конечно, потом, узнавши поближе Н. Г., он стал приятелем его.

Но помимо этого и вообще Н. Г. был человек в высшей степени необщительный, раскрывавший свою душу, свои интимные задушевные мысли и чувства только перед самыми близкими к нему людьми, да и то очень редко. В числе немногих и я имел счастье видеть и слышать Н. Г. в редкие минуты его откровенности, когда являлась во всей полноте и неприкровенно его гармоничная увлекательная натура. Я должен сказать, что первая моя встреча с Н. Г. и на меня произвела не вполне благоприятное впечатление. Свои первые статьи для «Современника» я приносил к Добролюбову, который принял меня весьма радушно и любезно, как давнишний знакомый и даже как приятель. Он с первого же раза очаровал меня, и я сразу же почувствовал к нему искреннее расположение. Статьи мои были поме-

цены в «Современнике», а Добролюбов скоро уехал за границу, не сообщив редакции ни моего адреса и никаких сведений обо мне. А между тем Н. Г. заинтересовался мною и желал познакомиться со мною; запрашивал Добролюбова о моем адресе и, не получив его, решил ждать, пока я явлюсь в контору «Современника» за получением гонорара и сообщу свой адрес. А я и не думал являться за гонораром; мне было совестно самому требовать его, и я решил ждать возвращения так хорошо расположенного ко мне Добролюбова. В это время Н. Г. случайно встретил где-то моего товарища по академии и справился у него обо мне. Тот не знал моего адреса, но сказал, что узнает через общих знакомых и повидается со мною. Тогда Н. Г. поручил ему передать мне его строжайший наказ, чтобы я немедленно же явился к нему в какое угодно время и, если его не будет дома, то чтобы я подождал его, так как домашние скажут, когда он наверное возвратится. Я, конечно, немедленно же отправился к нему с некоторым беспокойством и опасливым волнением. Он сразу же, что называется, накинулся на меня, стал упрекать, что я не являюсь, не даю своего адреса, прячусь, точно должник от кредиторов, тогда как я — кредитор, а редакция — должник, строго допрашивал меня, почему я не являюсь за гонораром, что думаю делать с собой, чем заняться. И когда я сказал, что по совету Николая Александровича (Добролюбова) я решил посвятить себя педагогической практике, учительствовать где-нибудь, он с недовольным видом и строго проговорил: «Вот какие глупости; бросьте все ваши затеи; вы будете учительствовать в «Современнике» и немедленно же подите в контору журнала при книжном магазине. Там я отобрал для вас несколько книг; пишите об них большие статьи или короткие, как хотите, как знаете, да только поскорее». В заключение он велел мне, кроме деловых посещений, непременно приходить к нему ежедневно вечером, уже не помню, в какой день, который был у него журфиксом*. По уходе я невольно вспомнил о первом вовсе не суровом, а чисто товарищеском приеме меня милым и симпатичным Добролюбовым, снабдившим меня и поучительными книгами и поучительными советами. Но в то же время я, к своему удивлению, заметил в себе какую-то

* От французского *jour-fixe* — приемный день.

внезапную перемену, почувствовал, что я беспрекословно и как будто даже бессознательно подчинился данным мне приказаниям, без колебания, без раздумья и без возражений бросил свои прежние планы, придуманные вместе с Добролюбовым. И я тем более удивлялся, что такая резкая и внезапная перемена произошла во мне только вследствие нескольких слов, произнесенных Н. Г. Это обстоятельство, а также два или три последующих убедили меня, что мое первое впечатление было ошибочно и несоответственно и что первый прием меня Н. Г. был еще лучше, сердечнее и любовно сочувственнее приема Добролюбовым, и я впоследствии всегда чувствовал, что меня влечет и приковывает больше к Н. Г., чем к Добролюбову.

Нечего и говорить, что я неупустительно бывал на журфиксах Н. Г., где собиралось самое разнообразное и блестящее интеллигентное общество; тут были литераторы молодые и старые, патентованные ученые-академики и простые ученые, профессора университета, военной академии и других высших учреждений, офицеры, врачи и другие, люди всевозможных настроений и направлений. Тогда (1860 г.) реакция еще только начиналась почти незаметно, и общество еще не дифференцировалось и не разбилось на два враждебных лагеря, прогрессистов и реакционеров, опасных нигилистов и благонадежных патриотов. Но уже в следующем году из прежних посетителей журфиксов Н. Г. явились к нему очень немногие, а большинство сторонилось от него как от опасного человека, одного из главарей нигилистов. На этих блестящих журфиксах я, конечно, конфузился, робел и боялся промолвить слово. Но и доставалось же мне за это от Н. Г., который сердился, бранился, но больше смеялся надо мною.

Через несколько месяцев после первой встречи с Н. Г. я коротко сблизился с ним и стал для него своим человеком; он достаивал меня своей откровенностью и запросто поверял мне свои душевные мысли и чувства. Это большею частью происходило при такой обстановке. Я жил в огромном по тому времени доме, выходящем на три улицы, и в бельэтаже этого дома помещались бани. Н. Г. почти каждую субботу ходил в эти бани и отсюда по соседству заходил ко мне пить чай. И вот здесь-то за самоваром и за чаем до очевидности раскрывалась его симпатичная, обаятельная и нежная

атура. Прежде всего он начинал выхвалять мой самый обыкновенный чай и уверял, что он никогда и нигде не пил такого вкусного и хорошо приготовленного чаю. Затем после короткого разговора или об обыкновенных житейских, или о журнальных делах он — человек якобы необычайного самомнения — раздражался самообличениями: что у него бездна недостатков, нет твердости в характере, что он очень податлив, что ему недостает мужества, что он делает много глупостей, вот, например, то-то и то-то и т. д. Эти самообличения обыкновенно пересыпались панегириками Добролюбову, у которого нет этих недостатков, он всегда тверд и непоколебим, как скала, что у него завидные и обширные познания и т. д. Однажды я попробовал было возразить ему и сказал, что ему нет оснований завидовать обширности познаний Добролюбова, потому что у него самого еще больше этого добра, и притом из разных областей, тогда как Добролюбов силен только в одной области. Он просто вскипел и горячо, почти с криком заговорил: «Что вы? Что вы это говорите? Ведь Добролюбов только что со школьной скамейки, а дайте ему дожить до моих лет, так вы увидите, что из него будет. Еще на школьной скамейке он уже окончательно сформировался и установился, а я... а я...» — и опять полились самообличения. Здесь мимоходом замечу, что я ни одного разу не слышал от Добролюбова ни одного слова, ни единого звука для выражения его суждений как о личности Н. Г., так и об его статьях, точно это такой сюжет, что говорить о нем — значит профанировать его ²⁰.

На этих же часпитиях и беседах иногда происходило то, чему ни за что не поверили бы люди, поверхностно знавшие Н. Г. и отрицавшие в нем эстетические чувства. Он с удовольствием, мало того, с каким-то особенным наслаждением декламировал любимые им стихотворения классических поэтов, наших и немецких, и французские демократические песенки. При декламировании стихотворений с политическим оттенком, например Рылеева, голос его дрожал от волнения и в глазах навертывались слезы. Признаюсь, первое такое декламирование и для меня было неожиданным сюрпризом, и я, значит, знал тогда Н. Г. так мало, что не считал возможными с его стороны эстетические увлечения. А между тем его маленькая книжка о Пушкине, в которой он так симпатично и любовно говорил о стихотворениях этого

поэта, должна была показать мне и другим, что в груди Н. Г. была очень чувствительная эстетическая жилка, что бы ни говорила нам его диссертация ²¹.

В течение моего недолгого (около трех лет) близкого знакомства с Н. Г. я видел много случаев, в которых ярко проявлялась привлекательная и обаятельная эмоциональная сторона его богатой натуры: ее альтруистические стремления, готовность делать добро и помогать всем и каждому. Когда до Н. Г. доходили сведения о стесненном положении и нуждах литераторов, особенно молодых, он всегда спешил к ним на помощь, и его агентом по этой части была его супруга, Ольга Сократовна. Во многих случаях я имел счастье и удовольствие испытать на себе действие этой стороны характера и натуры Н. Г. из них для примера я расскажу только о двух. Один — незначительный, но все-таки довольно показательный. В то время сознательная интеллигентная молодежь, или, на другом жаргоне, мыслящие реалисты, придумали такую моду: зимой не следует носить теплых меховых дорогих пальто, а нужно ходить в холодных летних пальто, а шею и грудь укутывать пледом, это, дескать, и гигиенично. Я, конечно, тоже следовал этой моде и в сильнейшие морозы щеголял в холодном пальто с пледом. А Н. Г., с которым я только что познакомился, вообразил, что я поневоле морожу себя, так как не имею средств на приобретение теплого пальто. И вот он приходит ко мне и после какого-то незначительного разговора, уходя и как бы мимоходом, говорит мне: «Ах, я и забыл; к вам придет портной, который имеет дела с конторой нашего журнала, и снимет с вас мерку для теплого пальто». Я сейчас догадался, в чем дело, что контора тут приплетена напрасно, и мне стоило большого труда убедить его, что ношу зимой холодное пальто вовсе не по недостатку в средствах, а следуя господствующей моде.

Другой случай — несколько серьезнее. По окончании курса в Петербургской духовной академии начальство назначило меня профессором в костромскую семинарию; но я наотрез отказался, и потому начальство постановило отправить меня на родину в распоряжение местного епископа, т. е. в харьковскую епархию в распоряжение архиерея Макария, известного ученого, бывшего перед тем ректором духовной академии в бытность мою там в низших курсах, а впоследствии московским

митрополитом, — о чем и сообщило мне официально, и официально же уведомило и Макария. А я себе на уме твердо решил, что ни за что не поеду в Харьков и не отдам себя в распоряжение местного епископа, а буду жить в Питере и писать статейки в журналы. Так и сделал. Начальство по неосмотрительности выдало мне на руки мой аттестат об окончании курса, вместо того чтобы отправить его Макарию, и вот по этому аттестату преспокойно я и жил, и в кварталах его прописывали без всяких возражений. А преосвященный Макарий, знавший, конечно, меня, читая мои статьи в «Современнике», тоже решил себе на уме: «Вот я же тебе, голубчик, устрою сюрприз!» Прождавши узаконенный срок и не дождавшись меня, он велел написать в харьковское губернское правление бумагу, что вот-де такой-то назначен в распоряжение епископа, но до сих пор не являлся на службу, не имеет вида на жительство и неизвестно где находится. Губернское правление, как это следует по существующим правилам, напечатало в губернских ведомостях соответствующее объявление, что-де разыскивается такой-то и всякий, кому он известен, обязан донести начальству. Я расхохотался: вот дураки, думаю себе, разыскивают меня таким путем, тогда как легко могли бы узнать в редакции «Современника». Захвативши этот курьезный номер, я немедленно отправился к Н. Г. и воображал, как и он будет хохотать. Но, к моему изумлению, он не только не расхохотался, но принял испуганный вид и серьезно заговорил: «Да вы что смеетесь? Да вы знаете, чем это пахнет? Ведь оказывается, что вы не устроили себя легально, что вы беглый бродяга, беспашпортный; я сейчас пойду в квартал и заявлю об вас и вас в 24 часа вышлют из Петербурга и отправят в Харьков даже по этапу, а я-то воображал, что вы человек обстоятельный и живете на легальном положении». Признаюсь, тут уж я струсил, повесил нос, и Н. Г., заметив это, перешел на успокоительный тон и, наконец, решил, что за это дело нужно приняться поскорее и сунуть меня куда-нибудь на штатное место. И вот, как я узнал впоследствии, он энергично принялся хлопотать, бегать, справляться, разыскивая для меня штатное место. А я в это самое время и пальцем о палец не ударил и только трусил. Оказывается, он пробовал втиснуть меня в какой-нибудь кадетский корпус репетитором или чем-нибудь другим, в университет, Педагогический

пститут и Медико хирургическую академию помощником библиотекаря или делопроизводителя, или хоть канцеляристом, только бы штатным, обращался к врачам, нельзя ли меня сделать каким-нибудь надзирателем или консультантом больничной аптеки, так как он-де знает латинский язык. Но нигде не было удачи. Наконец его знакомые профессора военной академии посоветовали ему обратиться к их товарищу, профессору Рехневскому. Тогда учреждалась военная эмеритура²², и он назначен был заведовать отделом эмеритуры при канцелярии военного министерства. Рехневский сказал, что платных мест у него нет, а он может принять меня только на бесплатное место, но все-таки штатное. Н. Г. торопил меня поскорее без всяких раздумий подать прошение на это место, что я немедленно и сделал, был принят на службу и в парадной форме со шпагой представился высшему начальнику, генералу Кауфману, брату ташкентского, который принял меня строго и сказал, что он будет давать мне много работы и чтобы я исполнял ее добросовестно, хотя и не буду получать жалованья. Никакой работы мне не давалось, на службу я не ходил и только раз в месяц ко мне являлся чиновник, говорил, что я назначен дежурным, но он будет всегда дежурить вместо меня, если я буду давать ему по три рубля за дежурство, на что я с удовольствием согласился.

Теперь я торжествовал: я — чиновник военного министерства и знать не хочу местного епископа. Но скоро явилось неожиданное обстоятельство, о котором Н. Г. сообщил мне не сразу. Инспекторский департамент, рассматривая дело о моем определении, не нашел в нем увольнительного свидетельства из духовного звания и требовал досылки его. Новые хлопоты и заботы для Н. Г. который советовал Рехневскому написать в синод бумагу об увольнении моем и лично в парадной форме и в регалиях представить синодскому обер-прокурору. Рехневский не согласился, но отправил бумагу со своим помощником. Обер-прокурор сам затруднился решить вопрос и позвал подлежащего директора, который заявил, что это — дело Макария, что увольнение зависит от него и нужно его запросить об этом. И запросили, а он ответил, что он не согласен на увольнение, так как в его епархии очень нужны епархиальные деятели с высшим духовным образованием. Получив такой сюрп-

риз, бедный Рехневский, вероятно, был очень недоволен Н. Г., впутавшим его в это неприятное дело. Н. Г. опять советовал ему лично отправиться к обер-прокурору, сознаться в своем недосмотре и просить любезной помощи, захватив с собою номер «Русского инвалида», в котором был напечатан приказ об определении меня на службу и о производстве в гражданский чин. Рехневский опять не поехал сам, а послал чиновника, которому в синоде повторили, что дело зависит от епархиального епископа; но когда он показал номер «Инвалида», то обер-прокурор строго сказал своему директору: «Что вы тут толкуете об епархиальном епископе, когда есть вот приказ,— разве приказ может ошибаться; напишите от моего имени Макарию, чтобы он немедленно прислал согласие на увольнение». Н. Г., узнав об этом, пришел ко мне в обыкновенном смешливом настроении, уверял, что дело мое довольно плохо, что мне придется отправиться к епархиальному епископу, и с хохотом рисовал картины, как меня примет и что со мной сделает епископ, пошлет меня за вольнодумные статьи в монастырь на покаяние и послушание ежедневно класть тысячи поклонов и т. д. Однако, уходя, он успокаивал меня, что дело, вероятно, устроится. И оно действительно скоро устроилось; Макарий не захотел противоречить обер-прокурору.

Нечего и говорить о том, как глубоко трогали меня и какую горячую благодарность возбуждали в моем сердце его горячее участие в моем деле, его желание, его старания и усилия помочь мне, не жалея никаких хлопот и не совсем, может быть, приятных для него обращений к разным лицам, близким и не близким к нему. Я сохраняю и сохраняю до самой смерти благодарную память о Н. Г. величие нравственных качеств которого вполне равнялось величию его ума.

Что Н. Г. должно глубоко уважать, даже преклоняться перед ним за его необычайные литературные заслуги, стоившие ему стольких мучений и страданий во всю жизнь, это — аксиома для всех знавших и знающих его литературную деятельность и самоотверженную преданность высшим интересам общества и не ставящих ему в вину его порицаемые нынешними писателями утопии. Но что Н. Г. нужно глубоко любить за его широкое любвеобилие, за его преданность и готовность служить людям и в области частных бытовых сношений, это —

аксиома, к сожалению, только для близко знавших его. Вот Кавелин представлял диаметральную противоположность Н. Г. в умственном отношении, во всех общих воззрениях и частных взглядах и считал его человеком беспорядочным, брульоном, и тем не менее, по его словам, очень и очень любил его. Было, значит, за что <...>

АРЕСТ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В 1862 г. Николай Гаврилович Чернышевский жил близ Владимирской церкви, в Большой Московской улице, в первом этаже дома Есауловой, числящегося в настоящее время под № 4. В июле, 7-го числа, мне нужно было спросить Николая Гавриловича о чем-то касательно печатания сочинений Добролюбова, и я около часу пополудни отправился к нему, застал его дома, нашел его в его кабинете, где мы и переговорили с ним о деле, по которому я пришел к нему, и потом разговор наш перешел на разные другие посторонние предметы. Николай Гаврилович жил тогда в квартире один с прислугой, так как его семья, жена и два сына, уехали в Саратов. Спустя полчаса к нам явился доктор Петр Иванович Боков, и мы трое, уже не помню почему, из кабинета перешли в зал. Мы сидели мирно и весело беседовали, как вдруг в передней раздался звонок, так около двух с половиною часов. Мы подумали, что это пришел кто-нибудь из знакомых лиц, и продолжали разговаривать. Но вот в зал, дверь в который вела прямо из передней, явился офицер, одетый в новый, иголки мундир, но, кажется, не жандармский,— так как он был не небесного голубого цвета, а черного,— приземистый и с неприятным выражением лица. Войдя в зал, он сказал, что ему нужно видеть г-на Чернышевского. Николай Гаврилович выступил ему навстречу, говоря: «Я — Чернышевский, к вашим услугам». — «Мне нужно поговорить с вами наедине», — сказал офицер. «А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет», — проговорил Николай Гаврилович и бросился из зала стремительно, как стрела, так что офицер растерялся, оторопел и бормотал: «Где же, где же кабинет?» Свою квартиру Николай Гаврилович сдавал в наем, так как решил оставить ее и переехать на другую, и потому я в первую минуту подумал,

что офицер пришел осмотреть квартиру с целью найма ее. Растерявшийся офицер, обратившись в переднюю, повелительно и громко закричал: «Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня туда». На этот зов явился из передней пристав Мадьянов, которого Боков и я знали в лицо. Появление пристава сразу осветило для нас все, и мы поняли, кто такой этот офицер и какая цель его визита. Пристав, проводив офицера в кабинет, возвратился к нам и на наши расспросы сказал, что офицер — это полковник Ракеев, которого мы знали как доку по политическим обыскам и арестам и как петербургского домовладельца. Затем пристав рассказал, что Ракеев явился к нему и потребовал, чтобы он проводил его к Чернышевскому, на что пристав заметил, что, может быть, Чернышевского нет дома; но Ракеев уверенно сказал, что ему хорошо известно, что он дома. На наши вопросы, как он думает о цели визита Ракеева, пристав отвечал, что полковник, по всей вероятности, произведет только обыск, а не арестует Чернышевского, так как он приехал на дрожках, а казенной кареты нет. Затем пристав стал убеждать нас уйти из квартиры. Да нам больше ничего не оставалось, как только уйти. «Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином», — заявили мы. «Зачем это, — убеждал нас пристав, — что за церемонии, можно уйти и не простившись». Мы решительно заявили ему, что мы непременно пойдем проститься с хозяином, и тем более, прибавил я, что моя шляпа и мой сверток находятся в кабинете. Пристав любезно предлагал принести их мне из кабинета, но я не согласился, и мы с Боковым отправились в кабинет.

Николай Гаврилович и Ракеев сидели у стола: Николай Гаврилович на хозяйском месте у середины стола, а Ракеев сбоку стола, как гость. Когда мы входили, Николай Гаврилович произносил такую фразу: «Нет, моя семья не на даче, а в Саратове». Очевидно, Ракеев, прежде чем приступить к делу, счел нужным пуститься в светские любезные разговоры. «До свидания, Николай Гаврилович», — сказал я. «А вы разве уже уходите, — заговорил он, — и не подождете меня?» И на мой ответ, что мне нужно уйти, он сказал шутливым тоном: «Ну, так до свидания», высоко подняв руку, с размаху опустил ее в мою руку. В то время, как с ним прощался Боков, я пошел к окну, взял шляпу и взял под мышку

сверток с завернутыми в жесткую бумагу ботинками, купленными мною для себя. Нужно было видеть выражение лица Ракеева; он весь насторожился и устремил жадные взоры на мой сверток. Но, нужно отдать ему честь, он не остановил меня и даже не спросил, что содержится в моем свертке. Я думаю, и в наше время всяческих свобод меня в подобных обстоятельствах непременно раздели бы донага и обыскали. Невольно припоминается мне при этом случай, который заставил меня еще более ценить любезность Ракеева. Однажды я сидел в книжном магазине Черкесова²³ и разговаривал с управляющим магазином. В это время явились жандармы обыскивать магазин. Я хотел уйти, как лицо постороннее и не состоявшее в штате магазина. Но жандармский офицер, начальник обыскательного отряда (к сожалению, я забыл его фамилию), задержал и потребовал, чтобы я предъявил ему свой бумажник. Я сказал, что у меня бумажника нет. Тогда он потребовал показать ему мое портмоне или вообще то, в чем я ношу деньги; но я отвечал, что у меня нет с собою ни портмоне, ни денег. «Как же так,—грозно окрикнул жандарм,—идете в магазин и не берете с собою денег». Я ответил, что пришел в магазин не для покупок, а повидаться со знакомым. «В таком случае,—решил жандарм,—я должен обыскать вас». И действительно, он не только обшарил, но и вывернул все мои пустые карманы и только тогда выпустил меня из магазина. Таким образом, Ракеев поступил со мною гораздо любезнее и при обстоятельствах гораздо более серьезных.

Мы с Боковым вышли из квартиры Николая Гавриловича, понуриив головы и не говоря ни слова друг с другом, и как бы инстинктивно отправились ко мне на квартиру, находившуюся очень близко от Московской улицы. Здесь, несколько опомнившись и придя в себя, мы стали обсуждать вопрос: арестуют ли Николая Гавриловича или ограничатся только обыском? Наше решение склонялось на сторону последней альтернативы. Мы думали, что Николай Гаврилович — слишком крупная величина, чтобы обращаться с ним бесцеремонно; общественное мнение знает и ценит его, так что правительство едва ли рискнет сделать резкий вызов общественному мнению, арестовав Николая Гавриловича без серьезных причин, каковых, по нашему мнению, не могло быть,—мы в этом твердо были уверены; да и пристав

сказал правду,— кареты у подъезда и мы не видали. Вот как мы были тогда наивны и какие преувеличенные понятия имели о силе общественного мнения и о влиянии его на правительство. Да и не одни мы. Как тогда, так и теперь многие повинны в подобной наивности.

Через полчаса мы вышли на Московскую улицу и увидели, что у подъезда уже стояла карета, разрушившая все наши надежды. Походивши по соседним улицам еще с полчаса, мы пришли к дому Есауловой, и кареты уже не было. Мы пошли в квартиру Николая Гавриловича. Нам отворила дверь прислуга, заливаясь горькими слезами. «Бедный барин,— говорила она сквозь слезы,— его взяли, они его погубят; а тут, как нарочно, еще барыня уехала». В квартире мы застали двоюродного брата жены Чернышевского, офицера Вениамина Ивановича Рычкова, который на время приехал в Петербург и жил на этой квартире. Рычков сообщил нам, между прочим, что Николаю Гавриловичу удалось сказать ему несколько слов так, чтобы их не слышал Ракеев. Николай Гаврилович поручил ему кланяться мне и сказать, чтобы я не беспокоился и передал бы Н. Утину, чтобы и он не беспокоился. Какой специальный смысл и какая цель заключалась в этих словах, я не могу себе объяснить. Несмотря на это успокоение, я все лето жил под угрожающим дамокловым мечом, не зная покоя ни днем ни ночью. Все знакомые, встречая меня, делали большие глаза и в изумлении восклицали: «Как! Вы разве не арестованы? А я слышал из самых достоверных источников, что вас уже давно арестовали». Встречая на каждом шагу подобные изумления, трудно было не беспокоиться. Но бог миловал меня.

Обедать мы отправились к Бокову, и когда сообщили его жене о случившемся на наших глазах, то она тоже не хотела этому верить и тоже была уверена, что Чернышевского не посмеют арестовать.

На другой день профессор-ориенталист И. Н. Березин поручил кому-то предупредить Николая Гавриловича, что ему угрожает арест. Запоздалое предупреждение *post factum*.

После этого я только один раз виделся с Николаем Гавриловичем при таких же печальных обстоятельствах, при развязке этой жестокой драмы, начавшейся его

арестом, т. е. уже после суда и приговора над ним, когда его собирались увозить из крепости на каторгу. Мы с Григорием Захаровичем Елисеевым решили, чего бы это нам ни стоило, добиться свидания с Николаем Гавриловичем и обращаться с просьбами о разрешении свидания ко всевозможным властям. Когда Некрасов узнал о таком нашем намерении, то стал горячо отговаривать нас, убеждал и советовал, чтобы мы отказались от нашего намерения, не просили бы разрешения на свидание и не пользовались бы этим разрешением, если бы оно даже было дано. «По искреннему расположению к вам и из желания добра уверяю вас,— говорил Некрасов,— что это свидание очень понизит ваши курсы в глазах III отделения». Слова Некрасова дышали искренностью и убеждением в полезности его совета. Но мы все-таки стояли на своем, и нам посоветовали обратиться к князю Суворову, тогдашнему петербургскому генерал-губернатору, с просьбою о разрешении свидания с Николаем Гавриловичем. Он дал нам это разрешение с первого же слова. Когда мы пришли в крепость, то нас адресовали к коменданту крепости Сорокину. Мы представились ему, и он начал говорить сначала с Елисеевым и, между прочим, спросил, не родственник ли он купцу Елисееву, который снабжает Петербург гастрономическими продуктами. А затем он обратился ко мне с разными вопросами: кто я? в каком родстве состою с Чернышевским? На что я ответил, что я состою с ним не в родстве, а в близком знакомстве; а на вопрос, чем я занимаюсь, я сказал, что служу в военном министерстве (и это была сушая правда; а как я попал в это министерство — это курьезная история, но долго было бы рассказывать ее здесь)²⁴. На это комендант воскликнул: «Вот как! Это странно! Я сам имею честь служить в военном министерстве, и вы видите, я ношу военную форму, а вы не в военной форме и даже совсем не в форме, а в штатском платье». В оправдание себя я стал объяснять, что я чиновник сверх штата, принят в министерство временно на усиление личного состава, служу без жалованья и т. д. Комендант прервал мои объяснения коротким замечанием, что все служащие в военном министерстве имеют форму и должны ходить в форме. Но все это было сказано не страшным начальническим и повелительным тоном, а совершенно добродушно и просто. Комендант приказал проводить нас в

какую-то канцелярию, где уже ожидали свидания с Николаем Гавриловичем А. Н. Пыпин с братом и двумя сестрами. Скоро ввели сюда и Николая Гавриловича в сопровождении какого-то офицера, но не жандармского. Он был бледен, но в выражении его лица не видно было ни упадка духа, ни изнурения, ни грусти и печали. Подоровавшись со всеми, Николай Гаврилович прежде всего обратился к сестрам Пыпина и стал с ними разговаривать. По какому-то молчаливому соглашению мы действовали так. Когда Николай Гаврилович разговаривал с кем-нибудь одним из нас, остальные отходили в сторону, окружали офицера и вступали с ним в разговоры. Когда очередь дошла до меня, то Николай Гаврилович прежде всего спросил меня о моих личных делах и затем сказал, что он на каторге непременно будет писать много и постарается присылать нам свои статьи для помещения в «Современнике» и что если их нельзя будет печатать с его именем, то нужно попробовать подписывать их каким-нибудь псевдонимом, а если и это будет нельзя, то чтобы они представлялись в редакцию каким-нибудь подставным лицом, например хоть вашим «Лозанием» — так назывался в нашем кругу мой товарищ по духовной академии Л. И. Розанов, живший у меня и близко познакомившийся с Николаем Гавриловичем (он был описан в «Искре» под именем Лозания, устроившего поход против начальства одной из семинарий, кое-что написал в «Современнике» и был известен Некрасову; мы и предполагали сделать его подставным лицом). «Да я, впрочем, поговорю об этом с самим Некрасовым». Я сказал, что Некрасов едва ли придет к нему проститься. «Отчего же? — с живостью сказал Николай Гаврилович, — а Сашенька (Пыпин) говорил мне, что Некрасов собирается ко мне». Я повторил, что он едва ли придет и что я передам ему ваши слова. Мне не хотелось огорчать Николая Гавриловича сообщением, что Некрасов сам даже мне с Елисеевым не советовал просить свидания и являться на свидание с ним²⁵. И затем я простился с Николаем Гавриловичем уже навеки, с чувствами, которые мне даже в настоящее время трудно и больно было бы описывать. Поверьте мне, — рана и до сих пор не зажила.



Ф. В. Волховский

НА МЫТНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

 В день 19 мая 1864 г. с самого утра шел проливной дождь, постепенно все более и более усиливавшийся. На Мытнинской площади, мрачной, болотистой местности, обставленной со всех сторон петербургскими брандмауэрами без окон, был построен эшафот, т. е. довольно большой помост аршина в два вышины, с перилами, на котором был утвержден столб с двумя довольно высоко прикрепленными цепями, оканчивавшимися большими кольцами. Вокруг эшафота, более чем на 2 сажени расстояния, построен был четырехугольником один ряд солдат, который, впрочем, не был всюду плотно сомкнут, но на одном из углов оставался проход. Публику не подпускали к самой цепи — полиция и жандармы (и тех и других было очень много) постоянно ее «осаживали». Народу было очень много: тысяч до 10⁴, и чуть ли не главную его массу составляли так называемые «образованные»; не было того литератора, который бы тут не присутствовал; кадет, гимназистов и воспитанников других учебных заведений было пропасть — одних воспитанников корпуса путей сообщения было до 80, и все в форме и в касках. Последние совершенно случайно собрались в одну группу, и так как здесь же случилось 2 путейских офицера и стояли они в большом порядке, то это имело весьма оригинальный вид: точно они стоят здесь по приказанию начальства; их офицерность была настолько естественна, что начальник корпуса жандармов Мезенцов посылал впоследствии запрос к директору корпуса путей сообщения,

ни сном ни духом не знавшему об этом происшествии, зачем он нарядил на предстоявшее чтение приговора 80 воспитанников с дежурными офицерами².

На пространстве между эшафотом и публикою сновали полицейские, жандармы, разного рода начальство: приехал Суворов, тогдашний генерал-губернатор, приехал даже кто-то из царской фамилии — походил, посмотрел...

В ожидании преступника на эшафоте расхаживали 2 палача: один низенький, другой высокий; в народе на досуге болтали, между прочим, о том, что первый из них убил двоих, второй восьмерых. На всех пунктах шла неизбежная в этих случаях торговля местами, скамейками и стульями. Вдруг показались 2 извозчицы кареты. Обе они въехали за войсковую цепь через оставленный проход. Вторая остановилась раньше, и из нее вышел священник³; из первой вышел сначала жандарм с саблей наголо, потом Чернышевский, потом другой жандарм, тоже с саблей наголо. Священник поднес ему крест для целования; он поцеловал. Затем взяли его палачи и повели на эшафот. Чернышевский был без очков, в бороде (которая отросла у него в крепости) и, в противность обыкновению, не в арестантском платье, как это обыкновенно бывает, а в своем черном, штатском: поверх всего было надето пальто и большие высокие калоши, известные под именем ботинок. Дождь лил по-прежнему. Палачи подвели Чернышевского к столбу, он снял шапку. Палачи, отведя руки назад и подняв верху, надели на них кольца цепей, так что загнутые назад локти остались почти на одном уровне с головой. В это время раздалась громкая команда из публики: «Шапки долой!» И все обнажили головы, не исключая и кадет, снявших свои каски; какой-то офицер хотел остаться в шапке, но близ стоявшие сбили ее с его головы, — промолчал офицер, делать нечего! Жандармерия и полиция кинулись отыскивать, кто крикнул, но, конечно, ничего не нашли. Между тем какой-то аудитор небольшого роста стал читать подробное изложение дела. Он читал о том, что «Государственный Совет в Департаменте гражданских и духовных дел, по рассмотрении о предп. Правит. Сената 5-го Департамента об отст. тит. сов. Николае Чернышевском, признает его виновным: 1) в сношениях с находящимися за границей злоумышленниками» (под этим подразумевалось то обстоятельство, что в

бумагах Чернышевского найдено было письмо Искандера, в котором последний предлагал свое сотрудничество) ⁴, 2) «сочинении возмутительного воззвания и передаче оного для тайного напечатания с целью распространения», причем сообщалось и о показаниях Всеволода Костомарова и мещанина ⁵; «в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления» посредством устройства пропаганды на Волге, что явствует из следующих строк письма оного Чернышевского к Плещееву (приведены были и самые слова) ⁶; и, наконец, в распространении «вредных» социалистических и т. п. идей в русском юношестве через посредство статей, печатавшихся в журнале «Современник» (как называл его аудитор). Приговор заключался сообщением, что при следствии подсудимый оказывал упорство, почему и осужден на 14 лет в каторжные работы, но, государь, принимая в соображение «чистосердечное раскаяние», уменьшил срок наполовину. Это раскаяние выражается обыкновенно письмом осужденного к государю, в котором он просит о помиловании. Письма такого рода обратились уже в форму. Каждый политический преступник их пишет (причем нередко утверждая свою невинность, и в то же время просит о помиловании): писали эти письма декабристы, писал Петрашевский и К^о, писал Обручев и пр. и пр., писал Чернышевский ⁷.

Всех стоявших тут порядочных людей поразила пустота и бездоказательность обвинений. Все знавшие ход следствия никак не предполагали, чтобы на такого рода данных можно было основать какое-либо обвинение, а потому ждали, что будут сочинены доказательства более сильные. Да и как было иначе думать? Разве можно обвинять человека в сношениях с другим лицом на основании письма, полученного от этого лица? Если Искандер и предлагал Чернышевскому свое сотрудничество, то разве известно, что последний добивался этого сотрудничества или хоть принял его? <...> Разве можно основать обвинение на показаниях разжалованного в солдаты, следовательно, по русским законам, «опороченного», «бывшего под судом» и претерпевающего наказание Всеволода Костомарова (о котором ни один честный человек не скажет доброго слова за всю его жизнь) и состоявшего под судом мещанина ⁸, которого показания опровергнуты свидетельством Сулина и К^о? ⁹ На каком основании свидетельство этих последних не признано

заслуживающим доверия, а показания Костомарова и мещанина признаны таковыми, когда все лица были одинаковы под судом?

Но, быть может, доказательно обвинение в пропаганде между бурлаками? На чем же оно основано? На письме, подлинность которого отказались признать секретари сената¹⁰; на письме к Плещесву, которого даже не требовали в то время в Петербург, хотя адрес и выражения подложного письма были таковы, что привлекали к делу и Плещеева¹¹. Что же остается из всех этих обвинений? Обвинение в распространении вредных мыслей в цензурованных статьях! Да разве по каким бы то ни было законам в мире может человек подвергаться преследованию правительственной власти за те сочинения, которые одобрены тем же правительством!

Из всего этого ясно только одно, что правительству нужно было упечь Чернышевского, как такого человека, который с замечательною энергией и талантом развивал в русской прессе мысли, вынуждавшие у него реформы, которые шли вразрез с частными узкими интересами русской аристократии, во главе которой стоит аристократия правительственная, двор. Чернышевский — мученик за стремление к достижению общественного блага. И мы должны с любовью чтить эту светлую личность, и чтить не бессильным хныканьем, а делом.

Вернемся, однако, к нашему рассказу.

В то время как аудитор читал 2-й пункт обвинения, сквозь публику и цепь полицейских прорвался какой-то человек среднего роста, в плохом картузе и истертом пальто немецкого покроя, но без перехвата сзади, какие носят мастеровые, и бросился к цепи войск, желая достигнуть эшафота. В публике стали кричать, что это тот самый мещанин, который показывал на Чернышевского и что он хочет признаться в лжесвидетельстве. Действительно ли это был тот мещанин или нет, трудно сказать; вообще ничто не говорит в пользу догадки. Как бы то ни было, мещанина взяли и посадили в часть¹².

Чтение продолжалось с 1/2 часа. Николай Гаврилович слушал совершенно спокойно, глядел в обе стороны на публику и при чтении некоторых мест конфирмации улыбался.

Когда чтение было окончено, Чернышевского отвели от столба к середине эшафота и велели стать на колени. Эшафот был усыпан песком, который от не переставав-

шего ни на минуту дождя превратился в мокрую массу, так что Чернышевский должен был стать на пол прямо в грязь. Палач сорвал с Николая Гавриловича шапку и, став сзади, разломал над его головой шпагу — знак лишения всех прав состояния. Эта последняя процедура не производила уже такого тягостного впечатления, как привязывание к позорному столбу. Когда Николая Гавриловича привязывали, весь народ плакал; все, положительно все плакали. В каждом плакало оскорбленное человеческое достоинство: осужденный, с именем которого у многих соединялось (и совершенно справедливо) понятие о самом прямом, честном, гуманном и мощном характере и замечательном уме, этот осужденный должен был поневоле изъяслять разные знаки раскаяния, смирения и покорности; он целовал крест, символ того, в святость чего не верил, он становился на колени, без сопротивления дал себя привязать к столбу.

Повторяю, все зрители плакали, многие навзрыд, и уж конечно все — совершенно искренно.

Сам Чернышевский был все время спокоен. С того самого момента, как вышел он из кареты, и до того, как снова вошел в нее, ничто не изобличало в нем присутствия какого-либо волнения. «Он точно был за чаем у добрых знакомых», — говорил мне один из очевидцев.

Вдруг из толпы снова какой-то голос крикнул (но уже с другой стороны): «Накройсь!» Все надели шапки. Чернышевского стали сводить с эшафота. В это время из толпы был брошен по направлению к нему букет свежих цветов. Полиция опять попыталась разглядеть, кто кинул, но безуспешно.

Между тем Чернышевского повели к карете, войско стало расходиться, и весь народ (как это обыкновенно бывает) хлынул к нему — прощаться, но полиция и жандармы употребляли самые энергические усилия, и им удалось остановить публику, пока Чернышевский сел в карету, опять-таки с двумя жандармами. Туда же влетел за ним один букет цветов, и вскоре в публике стали говорить, что бросила его дама и что даму тотчас же схватили и увезли.

Действительно, второй букет кинула весьма смело некто г-жа Михаэлис без всяких излишних предосторожностей, стоя в первом ряду зрителей. Полицейские метнулись и сюда. «Да это вот она бросила», — сказал какой-то офицер, указывая на Михаэлис¹³. Ее за-

арстовали и вместе с сопровождавшим ее на площадь кавалером повезли к обер-полицеймейстеру Анненкову. Садясь в коляску, Михаэлис заставила жандармского офицера сесть не рядом, как он хотел, а на козлы. Анненкову она наговорила разных энергических вещей, объяснив, что она вправе бросать букеты куда угодно и т. п. О ней впоследствии подавали доклад государю, и решено было отдать ее под присмотр матери, петербургской помещицы, которая должна была не выпускать ее дальше своего уезда; в исполнение последнего потребовали ручательство кого-либо из состоящих на государственной службе, и таковой нашелся.

Чернышевского же повезли не в пересылочную тюрьму, а в Петропавловскую крепость.



Н. И. Утин

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Несчастный мученик слепого деспотизма принадлежит к числу таких редких явлений не только в нашей литературе, но и вообще в нашем обществе, что мы сочли не лишним записать наши сведения о его жизни, как ни малы они. В России теперь имя это *запрещенное*, и вряд ли возможно писать о Чернышевском не только как о человеке, но и как о литераторе; вероятно, скоро запрещены будут даже цитаты из его сочинений и ссылки на них. Мало того, мы советовали бы русскому правительству отобрать у подписчиков «*Современник*», где участвовал Чернышевский; ведь отбирали же недавно во всех эстампных магазинах, книжных лавках, фотографиях портреты Гарibaldi, осмелившегося произнести *нецензурную* речь в Лондоне! Нас уверял честью один купец, что какой-то усердный частный пристав посягал на отображение у него мыла и других косметических товаров, на этикетках которых нарисован был портрет Гарibaldi...

Николай Гаврилович Чернышевский родился в 1829 году в г. Саратове. Отец его был священником, протоиереем главного местного собора; это был человек необыкновенно умный и сердечный; его честность и прямота были известны всему приходу, в котором он служил несколько десятков лет до назначения кафедральным протоиереем; бедные доверчиво ходили к нему за советом и помощью; в случае когда им удавалось скопить трудами своими сотнягу-две рублей, они несли деньги к тому же Гаврилу Ивановичу, который хранил их

свято; таких денег, после смерти почтенного старика, нашлось довольно много. Это был не поп или, по крайней мере, очень мало поп. Маленький Николай Гаврилович отдан был, как водится, в саратовскую семинарию, был посвящен в стихарь и писал пробные проповеди. Необыкновенные способности молодого семинариста помогли ему в основательном изучении библии и древних языков. И то и другое он знал в совершенстве; православию он был предан, пока не работал еще мозг самостоятельно; он признавал решительно все догматы ортодоксии, не находя надобности думать о них хорошенько и занимаясь древними языками. По окончании семинарского курса Николай Гаврилович почувствовал духоту той атмосферы, в которой двигался; старик отец не противоречил ему и, воспользовавшись присутствием своего родственника в Петербурге, послал туда и сына в университет. Он избрал филологический факультет и без оглядки принялся за изучение более глубокое древних и славянских языков, жадно следил за преподаванием наук, рылся в летописях, составлял словари древнерусского языка для Срезневского (профессора славянских наречий в Петербургском университете) и усердно читал Нибура, Домбровского, Востокова по совету профессоров. В философию и критику он пока еще не вдавался. Тут он, будучи, кажется, на втором курсе, попал в кружок покойного И. И. Введенского, первое общество, какое он увидел вне своего домашнего круга. Оживленная беседа, которая велась за чайным столом, по средам, у Введенского, постоянные споры, подчас наивные своим доктринерством, все это открыло Чернышевскому новый мир. Остальное добыл он себе сам, трудом и талантом. В несколько месяцев, проведенных им взаперти, среди иногда выражавшейся на лице нравственной борьбы и думы, в несколько месяцев, говорят, нельзя было узнать юношу. Он перечитал все, что только мог добыть на русском, французском или немецком языках относящегося к современной социальной науке; природная гибкость ума, громадная память, диалектические способности, развившиеся семинарскими упражнениями, способствовали ему так скоро явиться новым человеком среди своего кружка и сразу занять в нем первое место, оставив за собой учителей своих. Все это, однако, не мешало ему в ту же пору написать какое-то сочинение на заданную тему, получить медаль и изготовлять серь-

езное филологическое исследование об Ипатьевской летописи. Кстати, как доказательство, до чего и тогда Чернышевский был свободен от всяких предубеждений и мелкого самолюбия, приведем известный нам факт, что он, заметив тайное, но сильное желание одного доброго труженика, товарища своего, украсить медалью, охотно, без хвастовства, просто—предложил ему эту честь, отложив в сторону свое исследование кажется, о Лаврентьевской летописи. Окончив в 1850 году курс, Чернышевский поступил учителем словесности во второй кадетский корпус по протекции Введенского, но через год, следуя просьбам своей любящей и любимой матери, он поехал в Саратов, принял место учителя тамошней гимназии. Это было большое пожертвование с его стороны, потому что он оставлял в Петербурге довольно обширный кружок друзей и умных собеседников, оставлял средства продолжать свои ученые занятия. В Саратове он нашел уродливую гимназию с допотопными учителями и иезуитом директором Мейером; в обществе едва ли отыскились два-три человека, которые не дико смотрели на нового преподавателя; дома он также чувствовал себя чужим, несмотря на доброту, мягкость и честность отца, несмотря на свою нежную любовь к матери, которую иногда осыпал самыми детскими ласками, сажал ее к себе на колени и нянчил как ребенка. В доме отца его, где жило все семейство, Николаю Гавриловичу отведена была особая комната на антресолях, с прекрасным видом на Волгу. Здесь то он принимал своих очень, очень немногих друзей да гимназистов, которым на диво было человеческое, бесцеремонное обращение учителя, разговаривавшего с ними просто и умно. Много нравственного влияния, много добра принес Чернышевский учащейся молодежи; он всегда почти с успехом поддерживал юношей, когда они по русской привычке от первых неудач впадали в отчаяние и падали духом: и материальную помощь не раз оказывал он беднякам без сапог, которых немало было в гимназии, к ужасу *чистоплотного* начальства.

Прошло два года; Чернышевский продолжал свою жизнь, уединенную, домашнюю, среди занятий и чтения очень небольшого количества книг, вывезенных им из Петербурга. Иногда, уступая просьбам матери, он нехотя отправлялся в семейства, связанные с его домашними старинными связями, и поневоле должен был проси-

живать вечера в компании канцелярских служителей, столоначальников и т. п. Но таково влияние светлой натуры: даже из числа этих заплесневелых господ не один стал благодаря Чернышевскому чувствовать затхлость окружающего воздуха, переставал брать взятки, брался за книгу, с грехом пополам прочитывал ее и, наконец, даже выходил в отставку, чтобы заняться чем-нибудь более соответствующим человеческому достоинству. Заслуга эта понятна в России, кто знаком с чиновничьим бытом хоть несколько. В этом кругу Николай Гаврилович встретил девушку, которую полюбил со всем жаром юности. В гимназии, на лекциях, стал он с жаром говорить о значении любви и женщины в жизни человека, в письмах его к друзьям слышался молодой бред сильной, глубокой любви. Он женился весной 1853 года. Во время сватовства случилось так, что его мать простудилась и умерла. Чернышевский был глубоко поражен этой смертью; без слез и с бледным лицом провожал он тело матери. Но так как он осмелился не выждать положенного этикетом срока траура, женился недели две спустя после похорон и тотчас уехал в Петербург с женой, и так как, кроме того, он не рыдал в церкви, не падал в обморок, не кидался с воем на гроб, то саратовское бонтонное общество, разные кликуши обоих полов, привилегированные заступники и заступницы общественного блага не замедлили провозгласить Николая Гавриловича бесчувственным, безжалостным, *неприличным* сыном, горький до того равнодушен был к своей матери, что женился, не донеся траура, и покинул отца «в такие минуты». Но старик думал не так; он отпустил сына в Петербург, где ему должно было быть лучше, а сам, как человек серьезный и умный, охотно даже остался один с своей глубокой грустью. Впрочем, старика окружали и холили родные покойной жены, обязанные ему многим в жизни, и не покинули его до самой смерти, которая скосила Гаврила Ивановича на восьмом десятке в 1862 году, причем опять-таки саратовское общество не преминуло назвать сына отцеубийцею своим *непочтением к родителям*, не зная того, с какой гордостью, с какой радостью говаривал старик о сочинениях своего милого Николи, которого и не думал обвинять ни в чем.

Между тем Николай Гаврилович приехал в Петербург без гроша денег, с молодой женой и расстроенный потерей матери. Надо было слышать, с каким глубоким,

выстраданным чувством говаривал он тогда о своей покойной матери, какое сердечное значение придавал ее умершей любви! Но нужда была недалека, и Чернышевский бодро принялся за труд. Тогда были у нас в моде английские романы, и он, не зная ни слова по-английски, взял какую-то английскую книгу и в два месяца узнал язык так, что перевел вскоре один из новейших тогда романов (не помню, какой именно) и напечатал перевод в «Отеч[ественных] зап[исках]». Так он продолжал с лишком год свою работу как переводчик, составитель хроник и т. п. для Краевского; первой замечательной статьей его был, если не ошибаемся, разбор брошюры Ордынского об Аристотеле. Статья была написана на срок, наскоро, с помощью энциклопедии Грубера, Эрша, памяти и таланта автора; тем не менее он задел за живое московского ученого. Между тем, несмотря на громадные работы, которые Чернышевский посвящал журналу и которыми добывал небольшие средства к скромному существованию в небольшой квартире на Петербургской стороне, он готовился к магистерскому экзамену, сдал его, написал, напечатал и защитил диссертацию «Об эстетическом значении искусства в действительности». На диспуте Чернышевский своим тонким, звонким голосом, с легкой иронической улыбкой на губах живо отражал нападения своих непосильных оппонентов. Невинный девственник науки, профессор Никитенко, попытался было задеть вопрос об абсолютном значении идеала, но с наивным испугом отшатнулся от прямых и резких ответов диспутанта. Тут присутствовали нецеремонный Мусин-Пушкин и сам министр народного просвещения, убогий телом и умом, поломник Авраамий Норов, которого чувствительное обоняние почуяло непочтительность, с какой диспутант относился к чистому, идеальному искусству. Вследствие этого, сколько нам известно, Чернышевский не получил магистерского диплома без всяких объяснений причины и законных оснований¹. Около этого же времени у Чернышевского начались неприятности с начальством 2-го кадетского корпуса, где он давал несколько уроков, и кончилось ссорой с инспектором классов, либералом Даниловичем (теперь директором корпуса). Николай Гаврилович вышел в отставку и исключительно занялся литературой. Его диссертация познакомила журналистов с направлением и талантом автора; редакция «Современника» при-

гласила его в сотрудники и вскоре передала ему в заведование отдел критический и политический. Тогда-то талант Чернышевского явился во всем своем блеске; он разом занял в литературе место, остававшееся праздным со времени Белинского; статьи его с жадностью читались молодежью во всей России. Кто не помнит его статей «О критике в пушкинский и гоголевский период русской литературы», которые удивили всех знанием дела, огромными сведениями, резкостью и верностью суждений, смелостью ниспровержения литературных идолов. Все удивились, почти все восхищались, некоторые озлобились, и все — решительно все невольно подчинились увлекательным идеалам, новому анализу. А автор скромно и почти нуждаясь поживал себе, беседуя с молодыми студентами, удаляясь от большого света нашей литературы, и работал буквально с утра до ночи едва не до изнеможения. Со смертью Николая, когда Александр еще не устал позироваться в качестве царя-освободителя, Чернышевский заговорил погромче и, продираясь сквозь туман цензурных уставов и инструкций писанных и словесных (в виде частных головомоек цензорам), вводил своих читателей в интерес социальных наук еще с верой в обещания правительства и самостоятельность общества. Возбудив полемику с нашими коллежскими, надворными и действительными статскими экономистами — об общине, он подробно разбирал поднявшийся тогда крестьянский вопрос: противники его, ухватившись за несколько частных ошибок в цифрах и примерах практического сельского хозяйства, обвинили Чернышевского в желании даром отнять у помещиков землю, разорить государство, произвести резню. Наконец, и литература, попавшая на государственную службу и облегчившись от тяжкого долга быть честной, с наслаждением на полемику «Современника» отвечала грубыми, бессмысленными доносами. Это не могло не подействовать на Чернышевского, который, однако, с полной, весьма даже резкой откровенностью высказался по этому поводу в своих «Полемических красотах». Молодежь не переставала с жадностью читать своего любимого публициста, который создал простой, понятный для нее язык, выражавший то, что она чувствовала и чем страдала. Сначала и правительство, вздумавшее удить рыбу там, где не пристало бы заниматься таким делом их превосходительством, обратилось к нему с предложени-

ем. Еще в 1854-м или 1855-м ему, как тогда мало известному литератору, предлагали быть редактором-реформатором «Петербургских ведомостей» (это предлагал бывший петербургский вице-губернатор Н. М. Муравьев, сын вешателя), потом — редакцию «Военного сборника». Последнее предложение Чернышевский принял на известных условиях, но, конечно, был обманут и скоро должен был оставить редакцию. Ничто, однако, не сокрушало бодрой энергии Чернышевского: он знал, что его читают и понимают многие.

Между тем небольшой кружок его редел, благодаря ярости проголодавшихся жандармов — сажателей и ссылателей, которых вновь выпустили на кормление. Добравшись до Чернышевского и, к крайней досаде, не находя никаких юридических доказательств его небывалых преступлений, они решились вволю и бесцеремонно, на основании произвола и лютости своей, насладиться и потешиться над своей жертвой. Два длинных года тянулось дело Чернышевского, два года семейство его, вся Россия тревожно ждали окончания этого вопиющего дела. Конец превозмог ожидания самых крайних пессимистов... Но он известен читателям из 186-го листа «Колокола». В дополнение к сообщенному там известию прибавим, что девица, провинившаяся в том только, что бросила букет несчастному, была продержана в III отделении три дня и отдана на поруки своему отцу. Впечатление, произведенное процедурой объявления конфирмации Чернышевскому, было потрясающее: утро 1 июня (13 июня)² хмурилось, холодный дождь обдавал собравшихся на эту ужасную тризну; большого труда стоило удержать слезы и невольный порыв негодования; когда Николай Гаврилович возвращался в карете, в которой был привезен, толпа невольно двинулась к нему, но *вежливо была остановлена* цепью верховых жандармов...³

* * *

Недавно мне попался 186-й № «Колокола» за нынешний год. Несколько горячих строк, прибавленных редактором к известию о чтении приговора Н. Г. Чернышевскому, разбудили во мне только что улегшееся негодование.

Известие об этом зверском акте передано в «Колоколе» коротко; вот несколько подробностей.

Чтение приговора Чернышевского назначено было в 9 часов утра. Несмотря на дождь, начавшийся еще до рассвета, Мытнинская площадь на песках к назначенному часу была наполнена народом, который, как можно было судить по одежде, почти исключительно принадлежал к лицам образованных сословий. Разумеется, что большинство было привлечено не праздным любопытством видеть истязания Чернышевского, в невинности которого мало кто сомневался, зная по слухам, в чем его обвиняли, но все шло с тем, чтобы в последний раз увидеть бедную жертву царского самовластья — литератора, которого все привыкли уважать за его убеждения.

Чернышевский был очень худ и бледен, с отросшей в крепости бородой. Во время чтения приговора, написанного чуть ли не на десяти листах, он был совершенно спокоен, хоть, очевидно, утомлен, и стоял, отвернувшись от чиновника, читавшего приговор. После переломления шпаги руки Чернышевского проделали в большие кольца, прикованные цепями к столбу. В это время на эшафот упал букет *

Участие к печальной и незаслуженной судьбе П. Г. Чернышевского было в Петербурге всеобщее; хотя, конечно, и встречались личности из *молодого* поколения,

* Недалеко от эшафота, на котором был выставлен Чернышевский, стоял бывший студент какого-то провинциального университета Герасимов. Когда во время чтения приговора приказано было народу снять шляпы, Герасимов, который, кажется, был не совсем здоров, остался с покрытой головой, потому что шел довольно сильный дождь. Анненков, петербургский полицеймейстер, заметил Герасимова в фуражке, тотчас же приказал его арестовать и отвести на съезжую. (Надобно заметить, что в это утро на Мытнинской площади присутствовала по крайней мере одна треть всей петербургской полиции во всевозможных костюмах. Этот полицейский маскарад был устроен для противодействия демонстрации, которой все ожидали.) В съезжем доме Рождественской части у Герасимова выгрузили все карманы и найденные при нем письма и бумаги отобрали. Вытребовали содержателя шамбргарни, где остановился Герасимов, почетного гражданина Шнуркова. «Вот здесь арестант, взятый по высочайшему повелению, он ссылается на вас, — спросил квартальный. — Знаете ли вы этого человека?» и проч. Шнурков, конечно, отвечал, что знает. Герасимов был отпущен и отправился домой, вполне утешенный мыслью, что был арестован по высочайшему повелению, но бумаги его для каких-то надобностей пробыли под арестом еще одну неделю. Интересно бы знать, откуда могло взяться высочайшее повеление об арестовании Герасимова?.. Не может ли разрешить этого любопытного вопроса петербургский обер-полицеймейстер Анненков?

которые громко одобряли свирепость правительства в отношении Чернышевского. Особенным усердием в этом случае отличался известный театрал Николай Корсаков (сын генерал-лейтенанта), ораторствовавший о том, что правительство слишком мягкосердечно, что господ, подобных Чернышевскому, Михайлову и др., непременно надо вешать или расстреливать.





Л. Ф. Пантелеев
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

«Земля и воля»

Хотя прошло более сорока лет, как «Земля и воля» прекратила свое существование, но о ней даже в зарубежной литературе нет сколько-нибудь обстоятельных сведений; в очерке Е. А. Серебрякова «Общество „Земля и воля“» (Лондон, 1902 г.) говорится об обществе, действовавшем с конца 1876 г. по конец 1879 г., и ни одним словом не упоминается, что под этим же названием была организация в начале 60-х гг. Между тем эта последняя просуществовала около двух лет и после тайных организаций конца царствования Александра I представляет первую несколько заметную попытку объединения уже имевшихся налицо некоторых оппозиционных элементов. Из последующего изложения станет понятным этот недостаток сведений о «Земле и воле». Имея некоторое касательство к обществу «Земля и воля», я считаю своим нравственным долгом пополнить недостаток сведений о нем, но заранее оговариваюсь, что могу это сделать лишь в некоторой степени: многое осталось для меня неизвестным, а из того, что знал, немалая доля улетучилась из памяти. Затем перехожу к делу.

Я был знаком с К. Д. Кавелиным и, как только студентов выпустили из крепости (6 декабря 1861 г.)¹, явился к нему. Хотя Кавелин и был против каких-нибудь демонстраций со стороны студентов, но он хорошо понимал, что молодость имеет свой темперамент и свой житейский кодекс. Кавелин встретил меня крайне сер-

дечно; после разговора о том, каково нам жилось в крепости, он спросил меня:

— Что вы теперь предполагаете делать? (Как студент четвертого курса, я был исключен из университета.)

— Да думаю пока делать то же, что и ранее; правда, университет закрыт, но можно работать у себя на дому и на всякий случай готовиться к экзамену.

— Душевно вам этого желаю; но как трудно, как трудно войти в прежнюю колею жизни. Боюсь, чтобы на многих это сидение в крепости не оставило крупного следа; иных уж теперь нельзя узнать — вот, например, Евг. Петр. Михаэлис* выглядит конспиратором, того и гляди погибнет ни за что, а такая талантливая, многообещающая личность**.

Кажется, недели две мы провожали наших высылаемых товарищей***; все вечера проводили в пирушках по этому случаю да в посещениях разных салонов, гостеприимно открывшихся для нас. Везде между студентами шел один разговор: надо непременно, несмотря на закрытие университета, поддержать связь между студентами. С этой целью было даже устроено примирение с матрикулистами****. Но как поддержать связь между студентами? Единственное средство, чтобы побольше организовалось кружков,— эти кружки должны регулярно собираться и через посредство своих представителей быть в постоянном общении между собою. Посещая разные кружки, нетрудно было заметить, что в каждом из них было ядро, которое не удовлетворялось одними разговорами о прошлой истории да обсуждением разных чисто студенческих дел; тянуло в какую-то другую, неведомую сторону, но ничего определенного не выска-

* Брат Л. П. Шелгуновой; умер в Сибири в 1913 г., 2 декабря; справка Э. Пекарского. (Все подстрочные примечания сделаны Л. Ф. Пантелеевым. — *Сост.*)

** «Крепость укрощает только легкий, напускной либерализм, — люди с твердым характером выходят из нее уже опытными заговорщиками» («Автобиография» И. А. Худякова).

*** Тогда были высланы студенты К. А. Ген, М. П. Покровский, Е. П. Михаэлис, Френкель, Новоселицкий (один из весьма немногих тогда студентов-евреев) и вольнослушатель Филитер Орлов.

**** То есть теми студентами, которые подчинились новым правилам и взяли матрикулы. От их имени главным оратором был Полозов, или Порозов; не знаю, жив ли, но еще недавно состоял присяжным поверенным в Рязани.

зывалось, только нередко говорилось о необходимости быть осторожным. По этому последнему поводу я как-то, смеясь, сказал: «Да, право же, господа, эти разговоры об осторожности оскомины набили, а между тем не знаешь — что осторожно, что неосторожно; лучше прямо начать с того, что сочинить руководство к конспираторству и всем, вместо матрикулы, иметь его в кармане». По времени стали провертываться разговоры, что хорошо бы завести Акулину (под этим словом почему-то стали понимать тайную организацию), но собственно студенческая среда так на этих разговорах и остановилась. Между тем текущие события, как то: ссылка на каторгу М. И. Михайлова, затем В. А. Обручева, дело тверских мировых посредников, арест В. В. Берви, высылка П. В. Павлова, — с каждым днем все сильнее и сильнее возбуждали молодежь...

Помнится, на пасхе 1862 г. заходит ко мне Николай Утин. До крепости я с ним почти не был знаком, там несколько сблизились, но, кажется, на него произвел впечатление разговор, который я имел с ним после одного довольно бурного заседания студенческого комитета.

Я спокойно, но откровенно высказал ему, что его диктаторские замашки и резкая манера относиться к мнениям товарищей, когда они в чем-нибудь не сходились с ним, каждый день плодят ему если не явных врагов, то людей, которые могут покинуть его при первом остром случае, что человек, желающий играть руководящую роль, должен не только соображать свой каждый шаг, но и взвешивать всякое слово. Он стал после этого нередко советоваться со мной перед более серьезными заседаниями студенческого комитета; оказал мне самую деятельную поддержку в комитете относительно созыва большой сходки и избрания нового комитета взамен прежнего, случайно сформировавшегося. В «думской истории»² я, насколько хватало сил, везде защищал комитет, на который вваливали всю ответственность за нее; и хотя лично находил, что Костомаров стал жертвою разных случайностей, тем не менее отказался подписать адрес ему от молодежи³. Это нас еще более сблизило. Утин после «думской истории» не раз заводил разговор на тему, что время требует более строгой организации, чем та, которую представляют из себя студенческие кружки, что пора выйти из рамок чисто студенческих интересов. Я не возражал ни против

того, ни против другого, но указывал, что почин должен выйти из кругов с известным общественным положением.

Так вот, заехавши ко мне, Утин и говорит: «Приходи ко мне завтра вечером; будут два господина с очень серьезным разговором; кроме тебя, я никого не звал». Я догадался, о чем предстоит собеседование, и коротко ответил: «Хорошо, приду». На другой день в назначенный час являюсь. В кабинете наглухо спущены все драпировки; Утин, видимо, в приподнятом нервном настроении; я сам испытывал ощущение вроде того, как бы вступал в некое заповедное святилище. Через короткое время раздался звонок, и вошли двое незнакомых. Сейчас же Алексею (лакею Утина) * был отдан приказ никого более не принимать и подавать чай. Нас взаимно представили; один [А. А. Слепцов.— Сост.] был высокий, несколько плотный блондин; ему не было и тридцати лет, но смотрел он старше; я буду называть его — господин с пенсне; другой — моложе, небольшого роста, со впалой грудью и поразительно добрыми глазами, — хотя и был в штатском платье, оказался студентом Медико-хирургической академии — Рымаренко⁴. После непродолжительного стороннего разговора уселись за стол, на котором уже стоял чай**.

— Можно приступать к делу? — спросил господин с пенсне тоном человека, не привыкшего понапрасну терять время.

— Пожалуйста.

Нарисовав картину тогдашнего положения наших внутренних дел, указав на всеобщее недовольство, господин с пенсне обратил наше внимание на то, что никаких настоящих реформ нельзя ждать от правительства. «Вся история, — сказал он (и тут было приведено нема-

* Сначала Утин был вполне убежден в полной преданности Алексея, но потом некоторые обстоятельства стали наводить его на сомнения; тем не менее отпустить Алексея не решался, боясь еще худших последствий. И так тянулось до самого бегства Утина. Была принята одна предосторожность — мы перестали собираться на квартире Утина.

** Прошло без малого пятьдесят лет, но при воспоминании об этом вечере я и теперь испытываю какое-то особенное настроение, хорошо припоминаю даже мелочи: например, как мы сидели, — Слепцов и Рымаренко на диване, слева Утин, а я визави в креслах; овальный стол, на нем пара стеариновых свечей и малиновое варенье к чаю...

ло примеров, всем известных), — учит, что действительные реформы всегда исходили из народа, а не преподносились ему. Но народ не организован; единичные же усилия, каким бы героизмом они ни отличались, ничего не могут дать. Поэтому нужна организация. Что должно стоять на ее знамени? «Земля», то есть возвращение народу того, что ему по праву принадлежит, и «Воля», то есть созвание земского собора, который должен перестроить всю нашу государственную жизнь на новых, народно-демократических и федеративных началах». Затем господин с пенсне заявил, что начало такой организации уже положено. «Вся Россия, — продолжал он, — в революционном отношении, в силу естественных и исторических условий, распадается на районы: северный — там есть еще места, где в народе до сих пор сохранилась память о вечевом строе; волжский, где Стенька Разин и Пугачев навсегда заложили семена ненависти к существующему строю; уральский с его горнозаводским населением; среднеспромышленный, казачий. Что касается до Литвы и Малороссии, то здесь должны действовать свои собственные организации; с ними великорусская организация, конечно, обязательно входит в самые тесные отношения, но как равная с равными». Далее мы были посвящены в некоторые детали организации; помнится, все дело сводилось на целую иерархию пятерок. В Петербурге имеется центральный комитет (оратор и его сотоварищ были не более как скромные агенты центрального комитета, даже сами не знали которой степени, — так строго выдерживается в организации тайна!); в каждом районе свой комитет, но, понятно, главное руководство принадлежит центральному комитету⁵. Вся эта речь длилась, может быть, с час; говорил господин с пенсне складно, с дипломатической выдержкой, как бы взвешивая каждое слово, местами, правда, несколько темновато, когда, например, шла речь об отношениях центрального комитета к областным; но мы понимали, что он и не обязан был выкладывать перед нами все карты. В заключение нам был предложен вопрос: желаем ли мы вступить в организацию?

Мы не колеблясь выразили свое согласие⁶. Не помню, что говорил Утин, но я сказал приблизительно следующее: «Понятно, что всякая организация должна выдерживать принцип строжайшей тайны, и для удовлет-

ворения личного любопытства я не считал бы себя вправе предъявлять какие-нибудь нескромные вопросы; но так как придется привлекать к участию в организации, то весьма существенно знать, находится ли «Земля и воля» в самом зародышевом состоянии, или уже она опирается на какие-нибудь силы? Ведь этот вопрос может предъявить всякий, кому будет предложено вступить в общество». — «„Земля и воля“, — отвечал господин с пенсне (Рымаренко пока все время молчал — он только в конце беседы дал несколько практических указаний насчет формирования конспиративных кружков), — находится еще в первом, подготовительном периоде развития; впрочем, во всех крупных центрах уже началась группировка. Независимо от этого организация может рассчитывать на поддержку одного полка и одной батареи».

Последние слова были сказаны так просто и скромно, что, признаюсь, произвели на меня ошеломляющее впечатление; несмотря на то что прошло с лишком сорок лет, я их точно сейчас слышу. Даже и без того, что говорил господин с пенсне, я сам догадывался, что «Земля и воля» вряд ли существует более полугода* и уже успела заручиться полком и батареями!

Впрочем, дело возможное, — я сам имел некоторые знакомства между военными, и настроение их было благоприятное...

В конце беседы господин с пенсне вошел в некоторые конспиративные детали и между прочим сообщил рецепт химических чернил для переписки. «Его дал Маццини»⁷ Если ссылкой на знаменитого заговорщика он хотел в финале усугубить эффект, то сильно ошибся. «Да это всякий аптекарь может посоветовать», — подумал я, то же и Утин⁸.

Но вот мы с Утиным остались вдвоем.

— Ну, что ты скажешь? — спросил он меня.

— Да теперь уж поздно говорить; мы заявили, что присоединяемся к «Земле и воле».

— Я не о том говорю. Вот это, друг мой, люди! А тонкая штука господин с пенсне, ни одного лишнего слова не проронил.

* Так я мог думать тогда, исходя из предположения, что лица, выпустившие «Великорусс», могли положить начало «Земле и воле»; но я отнюдь не утверждаю этого теперь, так как у меня на то нет никаких данных.

— А несомненно он во многое посвящен, это ведь чувствуется,— отвечал я.

— Я думаю,— продолжал Утин,— что если он не член центрального комитета, то во всяком случае очень близко стоит к нему. Интересно бы знать, кто в комитете? Как ты полагаешь, Николай Гаврилович член комитета? ⁹

— Не думаю, он слишком кабинетный человек; кстати, ты давно знаешь господина с пенсне?

— Нет, всего второй раз вижу, если не считать случайной встречи в магазине Серно-Соловьевича; там нас Николай Серно-Соловьевич познакомил, при этом господин с пенсне спросил меня, когда бы мог побеседовать со мной; я назначил ему время, и он был у меня, говорил несколько неопределенно, а затем мы условились насчет сегодняшнего вечера. Николай Серно-Соловьевич очень его хвалил и даже сказал: «Это человек вполне надежный, и за что возьмется, то уж можно быть уверенным, что на полдороге не бросит».

— Как ты полагаешь, пыль он нам пустил в глаза или это и правда, что на стороне «Земли и воли» есть уже один полк и батарея (я еще в гимназии перечитал много разных военных историй, студентом имел знакомства между военными и потому считал себя чуть не специалистом в военном деле)?

— А что ж в этом удивительного, сегодня полки, а завтра будет и целые корпуса,— отвечал Утин, не имевший ни малейшего понятия о военном мире.— Вот насчет Маццини...— но тут мы оба расхохотались.

Так как у нас с Утиным было много общих знакомых между молодежью, то мы условились насчет размежевания. Утин непременно хотел оставить за собой очень многочисленный кружок Судакевича и Островского, я не стал спорить. «А вот Женичку (брата, покойного присяжного поверенного) я тебе уступаю, мне неудобно иметь с ним дело». Затем мы дали друг другу слово, что будем взаимно предупреждать о всяком члене, нами афилированном * Это, конечно, явно нарушало основное правило организации, что пятерки иерархически связываются через посредство одного, но мы сейчас же сообразили, что провались, например, Утин, так все, че-

* Т. е. «принятом в члены общества». От французского глагола *afilier*.

рез него связанное, неминуемо отрывается; значит, кроме него еще кто-нибудь должен знать о всех им приобщенных к организации. В объяснениях господина с пенсне и Рымаренко этот пункт остался как-то невыясненным.

В речи господина с пенсне я обращаю особенное внимание читателя на слова «общее недовольство». Оно несомненно было широко распространено. Не входя в объяснение причин этого явления, считаю, однако, необходимым остановиться на тех заключениях, которые выводила из него передовая интеллигенция. При тогдашней политической незрелости казалось, что раз есть такой базис, как «общее недовольство», то стоит только людям решительным сплотиться между собою, и перед их дружным напором старый порядок неминуемо рухнет, ибо все колеблющееся и пассивно относящееся к общественным делам не только не окажет какого-нибудь сопротивления, но и само будет увлечено. И в виде неотразимого аргумента прибавлялось к этому: «Бывают исторические моменты, когда искра энтузиазма горсти людей, как электрический ток, с невероятной быстротой охватывает народные массы и выводит их на новую дорогу; горе тому поколению, которое не поймет исторического момента, им переживаемого; этим самым оно отсрочит решение основного вопроса, может быть, на целое столетие». Что касается до самой организации сил, то это дело, именно в силу своей неизведанности, не представлялось чем-нибудь особенно трудным. Кто из людей убежденных,— а ведь нет такого глухого угла, где бы их не было,— откажется стать за правое дело, кто не выполнит своего долга перед народом?..

Ну, мы с Утиным и принялись за дело; я даже несколько поторопился, так как подходило лето и надо было своевременно афилировать некоторых уезжавших. Однако действовал с разборчивостью и на первых порах ввел в общество не более шести-семи человек, в том числе одного военного инженера, Преснухина (помнится, Ник. Вас.); впрочем, двое из приобщенных мною скоро получили заграничную командировку (из «Педагогического кружка») ¹⁰.

А все-таки нас с Утиным очень занимало, что за человек господин с пенсне; о Рымаренко успели проведать, что он пользуется между студентами-медиками большою популярностью и много между ними работает.

По временам нападало сомнение — не миф ли эта «Земля и воля». Решили позондировать Чернышевского. Мы, конечно, ничего ему не сказали, что уже вступили в общество, а вели речь разными обиняками, — например, говорили о необходимости развивать кружки между молодежью, притом с общественным направлением. Чернышевский, хотя и одобрял нас, был однако, непроницаем; впрочем, к нашему удовольствию, о господине с пенсне отозвался с очень выгодной стороны да рассказал нам басню Эзопа о медведе, который порвал дружбу с человеком за то, что тот в одном случае дул на огонь, чтоб он хорошенько разгорался, а в другом — чтоб погасить его*.

Но вот в один прекрасный день совершенно неожиданно приходит ко мне господин с пенсне.

— Не можете ли вы рекомендовать кого-нибудь для поездки в Уральский казачий край? Там надо установить отдел нашей организации.

Как раз у меня была для этого совершенно подходящая личность. Гр. Ник. Потанин (сибиряк).

— Могу, — отвечал я не без некоторого чувства удовольствия и назвал фамилию, дополнив ее надлежащей характеристикой.

— Ничего лучше быть не может, — сказал господин с пенсне, — а теперь вот еще что: очень важно весь север и частью северо-восток связать в одно целое и установить местный комитет; не возьмете ли вы это на себя?

* Незадолго перед тем (18 марта 1862 г.) покончил самоубийством молодой человек Пиотровский, один из второстепенных сотрудников «Современника». Самоубийство Пиотровского произвело очень сильное впечатление на Чернышевского; Пиотровский запутался в денежных делах, а Некрасов отказал в авансе, так как Пиотровский был уже в большом заборе по конторе «Современника». Утин рассказывал мне, что будто бы Ник. Гав. раз выразился так: «Если Пиотровский не дорожил своей жизнью, то мог бы сделать из нее более разумное употребление, чем пустить себе пулю». Мы эти слова истолковали в том смысле, что Пиотровский лучше сделал бы, если б отдался политической агитации, чем покончить с собой. Кстати, насколько можно доверяться с фактической стороны воспоминаниям А. Я. Головачевой-Панаевой, прекрасно свидетельствует ее рассказ о самоубийстве Пиотровского. Она пространно повествует, как в день самоубийства Пиотровского Чернышевский пришел к ней во время обеда, как Добролюбов, бывший за обедом, заметил особенную бледность Чернышевского и т. д. Между тем Добролюбов умер 17 ноября 1861 г., а самоубийство Пиотровского случилось в марте 1862 г.

— Но я же никого там не знаю, только в Вологде есть у меня кое-какие знакомства.

— И отлично, в Вологде же находится Бекман, вот, значит, Вологда и обеспечена; отсюда проезжайте в Петрозаводск, там войдите в сношения с Рыбниковым *; через него вам будет открыт весь Олонецкий край да, наверное, и Новгородский. Проезжая через Москву, непременно познакомьтесь с кружком Аргиропуло и Заичневского; надо их во что бы то ни стало ввести в наше общество,— это один из самых энергических кружков и с большими связями. От них, конечно, можете получить указания на Владимир, Кострому и другие города.

— Тоже не знаю ни Аргиропуло, ни Заичневского.

— Вы получите к ним письма. Постранствуйте по большим волжским торговым селам; вы и в этом случае можете рассчитывать на кружок Аргиропуло и Заичневского, но, главное, приобщите их к нашему делу.

Не скрою, это предложение вскружило мне голову; имея полное основание рассчитывать на заграничную командировку, я только что приступил было к кандидатскому экзамену, но разве из-за чисто личного интереса можно отказываться от общественного дела, да еще такого важного? Мне нет и двадцати двух лет, что же меня ожидает в будущем? Что я никого не знаю во всем обширном крае, который мне предстоит организовать,— так ведь в Москве я получу некоторые указания; это правду говорит господин с пенсипе — укажут на Ивана, а тот в свою очередь на Петра и т. д. Волка бояться — в лес не ходить. И я дал свое согласие.

Характерно, что ни я, ни Утин, которому тотчас сообщил о сделанном мне предложении, не вынесли из него прежде всего совершенно прямого и ясного заключения насчет поразительной слабости «Земли и воли», если она для такого серьезного поручения вынуждена была обратиться к человеку, собственно говоря еще не сошедшему со школьной скамейки и ничем себя не зарекомендовавшему. Напротив, мы его истолковали в том смысле, что для «настоящего дела» действительных работников только и может поставлять молодежь. И такое ис-

Рыбников — известный собиратель былин; был выслан из Москвы в Петрозаводск, кажется, в 1859 г., там состоял на государственной службе. К его кружку принадлежали Козлов (впоследствии профессор философии), М. Я. Свириденко, Орфано (сотрудник «Московских ведомостей» катковского времени).

толкование было совершенно в духе времени. Несколько лет печатать, а вслед за ней и общество на разные лады при всяком случае твердили, что все надежды следует возлагать лишь на «молодое поколение», а потому неудивительно, что молодое поколение поняло их в буквальном смысле. То несущественно, что я просил некоторое время обдумать сделанное мне предложение; на самом деле, как только оно было мне заявлено, в моем уме уже был решен утвердительный ответ. «Иначе и поступить нельзя,— думал я,— отказ набросит на меня неблагоприятную тень».

После визита господина с пенсне и моего утвердительного ответа, заходя иногда в книжный магазин Н. Серно-Соловьевича или встречая Николая Александровича в шахматном клубе, я заметил, что он стал очень внимателен ко мне; почти всякий раз уводил меня в отдельный кабинет и там подолгу беседовал о разных злобах дня, преимущественно же на тему, что надо прилагать все усилия, чтобы как-нибудь молодежь не рассеялась, и постоянно поддерживать в ней единение и сознание гражданского долга, лежащего на ней перед народом. А в один прекрасный день вручил мне, должно быть, двести рублей со словами: «Это на вашу поездку» — и пожелал всякого успеха*.

Должно быть, Рымаренко дал мне письмо в Москву. Меня огорчала одна неудача. Чтобы облегчить себе выполнение одного пункта намеченной мне программы, а именно — постранствовать по волжским селам, я сам надумал попытаться получить из министерства народного просвещения нечто вроде открытого листа, якобы для собирания этнографического материала; мысль моя была одобрена господином с пенсне. Заявляюсь к тогдашнему попечителю Ив. Д. Делянову; тот сочувственно отнесся к моей просьбе и сказал: «Подайте докладную записку, я доложу министру». Я так и сделал. Но по некотором времени Ив. Дав. ответил мне, что не было примеров в выдаче таких открытых листов, а потому министр (Головнин) и не находит возможным удовлетворить мою просьбу.

«Вам лучше бы обратиться в Географическое общество,— прибавил Ив. Дав.,— это в его круге деятельности».

* Это была моя последняя встреча с Н. А. Серно-Соловьевичем...

Этим советом я не мог воспользоваться, так как было поздно, да к тому же решительно никого не знал в Географическом обществе.

Утин не раз говорил: «Как я тебе завидую; если б не семья (ему действительно, не навлекая на себя крайних подозрений, трудно было выбраться из Петербурга), непременно отправился бы с тобой». Думаю, что он говорил искренно.

Однако для выезда из Петербурга мне надо было преодолеть одно немаловажное препятствие. По конфирмации студенческого дела¹¹ я жил в Петербурге на поручительстве В. Ф. Панютинина (офицера Преображенского полка) и состоял под гласным полицейским надзором. Что такое значит — быть под надзором полиции, я, как и другие, не имел о том ни малейшего понятия; догадывался, однако, что это обязывает меня сообщать полиции, если куда вздумаю поехать, а может быть, и еще что-нибудь. Чтоб выйти из неизвестности, направился к Суворову, который лично меня знал.

— Что вам нужно, Пантелеев?

— Да вот, ваша светлость, хочу поехать в Вологду.

— И прекрасно делаете; там вы несколько успокоитесь от здешних треволнений. У меня в Вологде приятель губернатор, Хоминский; он поляк, был губернатором в Ковно; ну, там демонстрации и т. п.; просился, чтоб перевели его в более спокойную губернию; вот он теперь в Вологде и недавно писал мне, что более спокойного места еще не видал, даже нашел помещика, который не слыхал, что Наполеон в двенадцатом году был в России. Хотите, я вам дам письмо к Хоминскому?

— Очень буду обязан.

И тут же Суворов отдал распоряжение правителю канцелярии Четыркину приготовить письмо. Когда через несколько дней Четыркин вручил мне письмо, то сказал: «Такое, батюшка, письмо, что даже отец о сыне так не написал бы».

Несмотря на это письмо, я при отъезде позвал дворника и сказал ему, чтобы он передал приставу, что я еду в Вологду. И затем полагал, что все формальности с моей стороны выполнены. И вот я в дороге.

В Москве я решительно никого не знал; там в университете были два-три земляка, но с ними не стоило и разговор начинать. Тем с большим интересом я ждал встречи с кружком Аргиропуло и Заичневского. Тот и

другой, однако, сидели под арестом, помещались в какой-то части, а может быть, и в разных — хорошо не помню, но доступ к ним был совершенно свободен. Оба они пребывали в ожидании конфирмации по их делу; Заичневский был приговорен в каторжные работы за речь, кажется, на какой-то панихиде и, как прибавляли, за попытку возмутить крестьян в имении своего отца; Аргиропуло судился за печатание запрещенных сочинений. Но была между ними и другая разница: в то время как Заичневский кипел избытком сил, Аргиропуло находился в последнем градусе какой-то болезни, и дни его, видимо, были сочтены; он действительно вскоре и умер в Мясницкой больнице. Едва я предъявил свои рекомендации, как Заичневский сейчас же запустил руки в шаровары (он был в красной рубахе).

— Вот вам новинка,— сказал он, вручая мне довольно большой полулист, отлично отпечатанный (в Рязанской губ., в имении Коробьина, довольно давно умершего), с заголовком «От русского центрального революционного комитета».

Я бегло прочитал.

— Ну, что скажете?

— Очень сильная вещь,— отвечал я дипломатически. Прокламация мне не понравилась, но я считал необходимым скрыть свое личное мнение, чтобы не помешать успеху дальнейших разговоров.

— Вот наша программа,— сказал Заичневский,— и если «Земля и воля» согласна с нею, то мы готовы идти вместе.— Это было сказано таким тоном, как бы за словом «мы» стояла по меньшей мере очень большая группа.— Наш посланный,— продолжал Заичневский,— теперь уже в Петербурге, он должен прямо явиться к Чернышевскому; конечно, повидает кого-нибудь из ваших, имеет адрес Утина.

Эти последние слова были мне на руку, и я ухватился за них.

— Значит, мне нет надобности,— отвечал я,— распространяться ни о принципах «Земли и воли», ни о том способе действий, который она считает необходимым в период приготовления сил и их организации: ваш посланный, конечно, обо всем этом достаточно осведомится в Петербурге; потому перейдем к некоторым чисто практическим обстоятельствам. Имеете вы связи в провинции?

— Провинция, батюшка, не Петербург и даже не Москва: только в провинции и можно найти людей дела.

Однако ни в это свидание, ни в последующие мне решительно не удалось получить какие-нибудь указания, которые могли иметь цену для меня. Видимо было, что кружок Аргиропуло и Заичневского не выходил из пределов Москвы, да и тут был не особенно велик, может быть человек пять-шесть¹², судя по тем посетителям, которые, как видно, были посвящены в тайну происхождения «Молодой России».

Разговоры с Заичневским становились утомительны; он тогда был в периоде крайней экзальтации и поминутно повторял все одно и то же: «Прошло время слов, настала пора настоящего дела». Перечитав не раз «Молодую Россию», я окончательно убедился, что это горячий бред¹³, да еще могущий по своему впечатлению на общество повести к очень дурным последствиям, потому все данные мне экземпляры уничтожил. Но вот из Петербурга пришли известия о пожарах, а затем посыпался ряд известий, одно другого мрачнее: аресты среди молодежи, закрытие журналов, воскресных школ, разные репрессивные меры. Вернулся [Саблин], посланный кружком Заичневского; он, очевидно, был смущен приемом, который встретил в Петербурге*, но Заичневский не только не пал духом, а, напротив, пришел в какое-то восторженное состояние; он был убежден, что петербургские пожары несомненно дело какой-нибудь политической группы, и с явной неохотой выслушивал меня, когда я старался его в том разуверить. Надо сказать, Заичневский совсем не был человек невежественный; несомненно он много читал, особенно хорошо знал французскую социалистическую литературу; у него была своя крепкая логика, дар слова и тот огонь, который

* Чернышевский отказался принять доставленные ему для распространения экземпляры и вообще сухо встретил посланного [Саблина]. Но потом его точно раздумье взяло, что он оттолкнул от себя людей, может быть чересчур экзальтированных, но во всяком случае энергических и преданных революционному делу; он решил выпустить особого рода прокламацию — «К нашим лучшим друзьям»; скорый арест помешал ему выполнить это намерение. (Об этом мне говорил Утин, когда я вернулся в Петербург.) До какой степени, однако, в обществе существовало убеждение в причастности Чернышевского даже к крайним революционным проявлениям, всего лучше свидетельствует визит, который ему сделал Ф. М. Достоевский после апраксинского пожара. Ф. М. убеждал Чернышевского употребить все свое влияние, чтобы остановить революционный поток.

может увлечь толпу. Но он страдал одним, тогда широко распространенным недугом мысли: исход тех или других великих событий зависел не от соотношения сил борющихся общественных элементов, а от случайностей. Если бы Луи Блан был менее доверчив или Ледрю-Роллен¹⁴ не растерялся бы при таких-то обстоятельствах — история всего земного шара была бы совсем другая. С этим впечатком мысли Заичневский, кажется, и умер; я случайно виделся с ним на другой день после неудачной демонстрации 6 декабря 1876 г. на Казанской площади¹⁵. «Этот день,— сказал мне Заичневский,— мог бы стать одним из самых славных дней в истории русской революции, если бы... не какая-то путаница в распоряжениях инициаторов демонстрации» * В 1869 г. он вернулся из Сибири, в 1890 г. был вновь административно туда выслан и жил в Иркутске; там одно время вел иностранный отдел в «Восточном обозрении»; опять вернулся в Россию и умер в 1895 г. (или 1896 г.?)¹⁶ в Смоленске. О «Молодой России», однако, неохотно вспоминал даже в кругу лиц, близких к этому делу, хотя до конца жизни оставался в своем роде якобинцем.

Я прожил в Москве довольно долго, но результат для «Земли и воли» был равен нулю; ниоткуда и никаких указаний не получил. Что касается до кружка Аргиропуло и Заичневского, то за весьма вероятной смертью первого и предстоящей высылкой второго он, по моим соображениям, должен был прекратить свое существование. Я решил поехать в Вологду; как ни мало там было шансов на успех, все же рассчитывал найти хоть какую-нибудь зацепку. От Москвы до Данилова я пропутешествовал в разных дилижансах; далее приходилось

* За «Молодую Россию» никто не пострадал, по крайней мере из кружка лиц, выпустивших ее; и так как тайна ее происхождения была хорошо сохранена, то это дало возможность весьма основательно пустить фабулу, что она вышла из провокаторского источника; я сам направо и налево распространял это, пока наконец совсем не забыли о «Молодой России». Мне иногда приходится встречать одного из бывших членов тесного кружка Аргиропуло и Заичневского (П. В. Лебединского — недавно умер, доктор в Кипешме), даже считать его в числе своих друзей. Он, конечно, давным-давно отрезвился от крайних увлечений молодежи, но везде этот человек, — а судьба порядочно-таки бросала его с одного конца России на другой, — вызывал во всех знавших его чувство самого глубокого уважения. И действительно, трудно себе представить личность, более деликатно-гуманную и самоотверженно работающую в сфере его нелегкой специальности.

ехать на почтовых; однако без подорожной в Данилове лошадей не отпустили; обращаюсь к городничему о выдате подорожной.

«Ваш паспорт». Я предъявляю разные документы, удостоверяющие мою личность, как-то: метрическое свидетельство, выписку из дворянской книги, гимназический аттестат. «Нет, все это не годится, нужен паспорт»,— стоял на своем старик городничий из военных. Никакие уговоры на него не действовали; тогда, в виде крайнего аргумента, я показал ему письмо Суворова.

«Вот видите, что я везу». Посмотрел городничий запечатанный конверт (а на нем значилось: «От его свет. кн. Суворова») и сейчас же приказал выдать подорожную. Узнавши, что я бывший студент, стал расспрашивать о студенческой истории: «Так это вы с тросточками-то бунтовать выходили! — и закатился гомерическим хохотом.— Да я бы вас из пожарной кишки окатил, вот и все. А теперь пойдете ко мне, жена давно за самоваром ждет; лошадей же велим подать прямо ко мне».

Наконец я в Вологде. Там, конечно, представился губернатору и передал ему письмо Суворова. Прочитав письмо, Хоминский обратился ко мне: «Чем могу быть вам полезен? Не желаете ли поступить на службу?» Я поблагодарил и ответил, что нет. «Не имеете ли здесь какое дело, в котором может быть необходимо содействие администрации?» — «Нет, я просто приехал провести часть лета и отдохнуть».

В один прекрасный день Хоминский уже собрался было отдать мне визит, как пришла петербургская почта и принесла на его имя бумагу, от с.-петербургского обер-полицеймейстера (Анненкова); в ней сообщалось, что такой-то Пантелеев, тайно скрывшийся из Петербурга, по некоторым сведениям направился в Вологду, что если он там окажется, то на основании высочайше утвержденной конфирмации по студенческому делу следует означенного Пантелеева или выслать в дальние уезды, или отдать в Вологде на поручительство. Хоминский не знал, как и поступить со мной, и частным образом дал мне знать о своем затруднении. Я представил поручителя и остался в Вологде.

В Вологде был у меня приятель в среде педагогического персонала *; ранее я знал его как хорошего учи-

* И. Я. Соболев, учитель истории; был потом в Тотьме и Череповце директором учительской семинарии.

теля и доброго малого, но теперь имел о нем аттестацию и с другой стороны,—именно, один из приобретенных мною к «Земле и воле» (член «Педагогического кружка») указал на него, как на человека, которому можно довериться. Вижу с ним; он сам с первых же слов обнаружил большой интерес к последним проявлениям движения в Петербурге и спросил меня, не привез ли я чего-нибудь новенького, то есть прокламаций. Я имел с собой десятка два брошюры Огарева «Что нужно русскому народу»; по своей умеренности и практической постановке общественных вопросов она была очень пригодна для провинции. Расспросил его о Бекмане; отзыв был самый восторженный: умница, человек большого такта и общий любимец в Вологде, но, конечно, спит и видит, как бы поскорее выбраться из Вологды; да и сильно плох здоровьем. Уж не раз губернаторы ходатайствовали о переводе его в более теплый климат, но всякий раз представление разбивалось о противодействие жандармского полковника Зарина.

Не прошло и двух дней, как я уже познакомился с Бекманом. Он оказался прямой противоположностью Заичневскому; при живом темпераменте человек, однако, весьма уравновешенный; видно было, что он не только много читал, но и очень вдумчиво относился к прочитанному. Притом он отличался способностью отлично понимать людей, и прежде всего со стороны пригодности их на что-нибудь, а так как притом он отличался тонким юмором, то его характеристики не только действительно выдающихся людей, напр. Н. Х. Бунге или Виталия Шульгина, но даже вологодских деятелей выходили очень метки и остроумны. Меня особенно поразило в Бекмане умение всякий вопрос ставить в ясно определенные рамки и, ни на минуту не уклоняясь от существа предмета, приходиться к последовательно вытекавшему заключению. Видно было, что долгая кружковая практика не прошла для него даром, и в то же время становилась понятной та первенствующая роль, которую он играл на юге в среде университетской молодежи. Жизнь в Вологде, где он действительно пользовался всеобщим уважением и любовью, крайне тяготила его. «Уходят года, уходят силы, живешь здесь точно в пустом пространстве»,—говорил он. Я решил вести с ним разговор в самом скромном тоне.

— В Петербурге положено начало организации «Земли и воли», только начало, да и оно должно было сильно пострадать от последних арестов; может ли организация рассчитывать на какое-нибудь содействие с вашей стороны?

— Да ведь надо же когда-нибудь начинать,— спокойно ответил Бекман,— только в Вологде плохая почва; может быть, человека два найдется, которых стоит привлечь. <...>

Как и везде в провинции, в Вологде наповал ругают правительство, этим, однако, не надо обманываться. Вот Петр Петрович Брянчанинов чуть не красный, потому что вместо губернаторства ему предложили выйти в отставку; Иван Николаевич Эндоуров тоже недоволен: думал, что ему по случаю девятнадцатого февраля дадут генерала, но его протектор Ростовцев умер ранее, и он остался ни при чем. И у всякого есть какой-нибудь чисто личный мотив. Если вам придется встретить Александра Михайловича Касаткина, прислушайтесь— чистый якобинец, когда заговорит о правительстве: у него, видите ли, отняли крестьян, да еще заставили землю им дать; и хотя он отвел им болота, но кричит, что его ограбили. Но так как им (то есть дворянам) удалось сместить двух губернаторов, то теперь как-то меньше говорят о земском соборе. Впрочем, есть здесь два князя (Гагарин и Волконский*), вот это настоящие революционеры,— от огромного состояния у них остается ровно настолько, чтобы, умирая, было на что похорониться с подобающим церемониалом. Что можно будет сделать — постараюсь,— заключил Бекман,— жаль, что в Вологде нет более Марьи Егоровны (?) Пейкер**, при ее содействии можно было произвести некоторый сбор денег.

— А нет ли у вас хороших и надежных знакомых в таких-то и таких краях?

— Положительно никого.

Хотя я не имел никакого основания сомневаться в

* Гагарин, кажется, в самом конце 40-х гг. был выслан в Вологду за какой-то крупный скандал и оставался в ней добровольно. Волконский унаследовал богатые четыре имения Горчакова и все прожил в Вологде.

** Ее муж был в Вологде перед тем вице-губернатором, потом деятелем в Царстве Польском за время Милютина; утонул при каком-то случае.

отзывах Бекмана, все же решил прожить некоторое время в Вологде и лично присмотреться <...>

Помня совет господина с пенсии, я усердно ходил по городским базарам, не раз ездил в Прилуки (большое село с базаром); но то ли моя совершенная неопытность в роли наблюдателя, или уж мне просто не везло, только везде я слышал самые будничные разговоры, не дававшие ничего, чтоб вынести хоть какое-нибудь представление о настроении народа. В конце концов я решил вернуться в Петербург, да и надо было этим поторопиться, так как из верного источника получил предостережение, что ко мне начинает усиленно присматриваться жандармский полковник Зарин *

О поездке в Петрозаводск ни одну минуту и не думал; еще в Петербурге Матвей Яковлевич Свириденко **, старый приятель Рыбникова, дал о нем такую аттестацию, которая мало подавала надежд, что его можно привлечь на сторону «Земли и воли»; теперь же, после петербургских событий, особенно арестов Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича, нечего было об этом и думать. Сунуться на Волгу, не имея никаких рекоменда-

* Это был очень тучный человек, но Тимашев верно выразился, что Зарин гораздо тоньше, чем кажется с виду. На первых порах Зарин всех очаровал в Вологде своим либерализмом; ну и пожал плоды, так что скоро был переведен на довольно видный пост в Петербург. Впрочем, приемы Зарина не отличались особой утонченностью; вот хоть бы случай со мной. Я в Вологде по приезду решительно не хотел связывать себя какими-нибудь занятиями, но по времени принял крайне выгодные уроки у А. А. Левашева, грязовецкого уездного предводителя дворянства, подготавливать его сына к переэкзаменовке. Я два раза в неделю ездил в подгороднюю усадьбу Левашева. И вот по времени узнаю, что Зарин у вице-губернатора Лаврова, за отсутствием Хоминского, управлявшего в то время губернией, вел обо мне такой разговор: «Удивительно, как ныне высокопоставленные лица легко дают свои рекомендации; например, Пантелеев имел от кн. Суворова письмо к губернатору, а между тем что же делает здесь этот Пантелеев? Он у Левашева возмутил крестьян против него, восстановил сына против отца, на бульваре заводит предосудительные разговоры с гарнизонными офицерами и старается поколебать в них чувство долга». Когда я передал Левашеву эти сплетни, тот был до крайности ими возмущен, сам поехал к Лаврову и заявил, что ничего подобного и тени не было. Что касается до офицеров, то я ни с одним из них и двух слов не сказал.

** Управлял магазином Кожанчикова; с университетским образованием, из кружка Рыбникова, Козлова и др.; большой приятель Н. И. Костомарова и для своего времени очень интересная личность; умер в конце 1864 г.

ций, было совершенно невозможно; к тому же в Вологде я попал в положение полуподнадзорного, так что лишь с трудом оттуда выбрался. В то же время у меня, по неопытности, не было при себе настоящего вида и я нигде не мог получить подорожной; ни господин с пенсоне, ни Н. Серно-Соловьевич о практической стороне поездки и словом не обмолвились.

Проезжая через Москву, я уже не нашел Заичневского, Аргиропуло был переведен в Мясницкую больницу, где он и умер в декабре того же года*, никого из кружка не видал, он перестал существовать**.

* По вскрытии оказалось воспаление мозговых оболочек и мозга.

** По приезде в Петербург узнаю, что Суворов за что-то сердится на меня; иду к Суворову. Прежде всего встречаю Четыркина. «Ну, батюшка, отблагодарили же вы князя за письмо». — «Да уверяю вас, что это, должно быть, сплетни жандармского полковника Зарина». Но вот и сам Суворов. «А, Пантелеев, вы и в Вологде не усидели спокойно». Тогда я рассказал ему, какие глупости распространял обо мне Зарин, а также об объяснении, которое имел Левашев с вице-губернатором Лавровым. «Это так было?» — «Совершенно так». — «Ну, хорошо; я и скажу Долгорукому, что сам наводил справки в Вологде и что все сообщенное о вас Зариным чистая выдумка».

Уезжая из Вологды, я спросил Бекмана, не даст ли он мне разрешения попросить Суворова, чтобы тот похлопотал о переводе его на юг; Бекман разрешил мне это. Теперь, пользуясь добрым настроением Суворова, я обратился к нему с ходатайством о Бекмане и выставил его как жертву бессердечия Зарина. «Подайте мне докладную записку», — ответил Суворов. Через день я вручил Суворову записку о Бекмане. Но вот прошла какая-нибудь неделя или немного более, и я узнаю, что Бекман и все его бывшие товарищи, разосланные по разным городам (Завадский, Зеленский, Португалов), арестованы и привезены в Петербург. Их почему-то заподозрили в прикосновении к новому, черниговскому делу, кажется Лободы. «Ну, — подумал я, — теперь Суворов не на шутку рассердится на меня; вероятно, подумает, что я заранее знал, что Бекману может угрожать арест, и вмешательством Суворова хотел несколько парировать эту беду». Иду к Суворову и опять прежде всего наталкиваюсь на Четыркина. «Ну, батюшка, удружили вы князю, он о вашем Бекмане лично говорил с Долгоруким и Валуевым; те отвечали, что пусть войдет с письменным ходатайством. Уж были готовы бумаги и подписаны князем, оставалось только отправить их; но в эту самую минуту получается список арестантов Петропавловской крепости, и там вижу, что в числе их ваш Бекман. Долгорукий даже выговаривал князю, что он берется ходатайствовать за лиц, которые даже и в ссылке не оставляют своих дел». Но вот выходит в приемную сам Суворов и, заметив меня, самым добродушным тоном сказал: «Ну, теперь я ничего не могу сделать в пользу вашего Бекмана: опять арестован и сидит в Петропавловской крепости». Я горячо стал объяснять, что арест Бекмана произошел несомненно по недо-

Вернувшись в Петербург, конечно первым делом вижу с Утиным; от него узнал, что арестован и Рымаренко, а господин с пенсне куда-то уехал, и нет о нем никаких слухов.

— С кем же ты сносишься?

— Ни с кем; знаешь ли, что я думаю: никакого теперь комитета нет.

— Да ведь не один же Николай Серно-Соловьевич составлял комитет; кто с ним мог быть близок?

По некотором соображении остановились на А. Н. Энгельгардте. Дальше, с Чернышевским был близок [П. И. Боков]—господин à la Вирхов¹⁷ (так буду его называть, потому что он одевался в бархатный пиджак); знал он и Н. Серно-Соловьевича, должно быть, или принимал участие, или по крайней мере мог быть хорошо осведомлен. Решили, что я повидаю Энгельгардта, а Утин переговорит с господином à la Вирхов.

Я вернулся в Петербург, когда впечатление от пожаров стало уже проходить; к тому же следствие не дало никаких указаний на политический характер пожаров, арестованных по этому поводу студентов одного за другим освободили. По мере того как общество успокаивалось, в нем стала обнаруживаться реакция в противоположном направлении, и громко высказывалось недовольство на разные репрессивные меры, принятые в конце мая и последующее время. Утину и мне думалось, что «Земле и воле» следовало воспользоваться этим поворотом в общественном настроении и заявить о своем существовании. Однако поиски комитета оказались совершенно безуспешными; А. Н. Энгельгардт категорически заявил мне, что никакого центра не знал, да, вероятно, его и не было, что вообще он не верит в русскую революцию и т. п. Все это было высказано раздражительным тоном, в котором проглядывало даже озлобление. Господин à la Вирхов, хотя тоже о комитете ничего не сказал, выразился, однако, в смысле необходимости продолжать агитацию. Другие лица, например Г. З. Елисеев, то ли сами ничего не знали, то ли маскировались в полное неведение. Тогда мы с Утиным решили: есть ли комитет, нет ли (это должен был разъяснить

разуменно. И действительно, месяца через два-три Бекман и его товарищи были освобождены, никаких за ними новых прегрешений не оказалось. Бекмана перевели в Самару; но арест окончательно подорвал его здоровье, и он вскоре умер.

нам господин с пенсне, когда вернется, — мы знали, что он не арестован) — сформировать свой конспиративный кружок¹⁸. На такое решение главным образом повлияло настроение молодежи, которую реакция, особенно аресты (кроме Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича и Писарева были еще арестованы бывшие студенты университета: Баллод, Даненберг, Яковлев, студенты Медико-хирургической академии Хохряков, Беневоленский и др.) не только не устрашали, а толкали вперед. Но кого привлечь в наш кружок? После долгого обсуждения наш выбор остановился на Гулевиче, Жуке и П. И. Бокове. Имя последнего было окружено ореолом: «близкий человек к Чернышевскому», «друг Добролюбова»; он не только имеет солидные связи, но его профессия открывает ему двери во все сферы. Переговорили с каждым в отдельности; в согласии Жука и Гулевича мы заранее почти не сомневались, но были очень обрадованы, что господин à la Вирхов дал такой же ответ.

Вот и собрались. Сущность обмена мыслей сводилась к тому, что нужно продолжать дело, начатое «Землей и волей», привлекать новых членов, собирать деньги, а главное — в данный момент необходимо заявить, что, несмотря на аресты и разные репрессивные меры, «Земля и воля» существует. Это последнее можно было сделать только одним способом — выпустить прокламацию. Сочинить ее нетрудно, а как отпечатать? Был конец лета, за недорогую цену наняли дачу, там поселили одно рекомендованное мною молодое супружество*, из кружка Судакевича и Островского взяты были рабочие силы, а шрифты и все прочее любезно доставил молодой и популярный издатель О. И. Бакст, имевший свою типографию. О чем же следовало говорить в прокламации? По моему настоянию она должна была явиться обращенной к образованным классам; в ней надо было указать, как позорно поддались панике наше образованное общество, что последствием этого была лишь дикая реакция, что собственные интересы образованных классов громко говорят за то, что они должны выступить на дорогу энергичной борьбы с правительством; не слушают они этого последнего предостережения — им грозит гнев народный, и т. д. Утин живо сочинил, всяк,

* Ю. С. Лыткина (вологжанина по гимназии); кончил университет по восточному факультету, был учителем географии.

конечно, предложил кое-какие поправки; а по некотором времени прокламация была чистенько отпечатана на почтовой бумаге и по возможности распространена. Она, однако, не произвела сколько-нибудь заметного эффекта*; молодежь находила ее бледною; многие прямо заявляли, что обращаться к обществу — это значит напрасно терять время, что говорить следует только с народом. Легко это было советовать, а как делать — на этот счет определенной мысли тогда еще никем не высказывалось.

Несмотря на то что прокламация «К образованным классам» прошла незамеченною, мы, то есть кружок, были очень довольны: дело делается совсем не так хитро, как это могло казаться. И мы стали подумывать о выпуске своего рода периодического издания как органа «Земли и воли». Утин принялся за редактирование первого номера, который должен был явиться своего рода *profession de foi*** , как вдруг точно снег на голову заявился господин с пенсне. Он, по его словам, много объехал, везде настроение очень бодрое, везде организуются, особенно хорошо идут дела на Волге. Это было приятно слышать. «А что же комитет?» Тут господин с пенсне дал до крайности неясные и уклончивые объяснения, из которых мы определенно заключили, что никакого теперь комитета нет, а что касается до прошлого, то если комитет и существовал, то, вероятно, состоял из Н. Серно-Соловьевича, Рымаренко, господина с пенсне. Но господин с пенсне часто любил говорить о Чернышевском, ссылался в известных случаях на его авторитет; это дало нам повод думать, что, может быть, Чернышевский играл роль верховного руководителя. Это нас очень анкуражировало.

Узнав, что мы сгруппировались в своего рода центральный кружок и даже выпустили прокламацию, господин с пенсне очень нас похвалил и заявил, что с особенной охотой готов работать с нами; таинственно намекал на свои связи и часто говорил об одном большом военном кружке в Петербурге. Понятно, мы были рады, что господин с пенсне входит в наш кружок. Вскоре, как бы для поддержания своих сообщений, он каждому из нас вручил нечто вроде чековой книжки.

* Н. Ф. Павлов в своем «Наше время» довольно язвительно высмеял эту прокламацию.

** Символ веры, программа (*франц.*).

«Необходимо,— говорил он,— для устранения всяких сомнений выдавать квитанции в получаемых деньгах в пользу «Земли и воли»; вот здесь надо вписывать получаемую сумму и отрывать, как квитанцию; а тут (у корешка) лицо, вносящее деньги, может своей рукой проставить, сколько им внесено». В первую минуту эти книжки очень заинтересовали нас; они были хорошо отпечатаны, на какой-то особенной бумаге, с бордюром, и на них имелась печать: «Земля и воля». Однако в ход пустить их не удалось: все отказывалось от получения квитанций. Не знаю, как другие, а я имел наивность несколько месяцев хранить свою книжку; наконец уничтожил ее, как вещь совершенно бесполезную, а в то же время крайне опасную.

В первое время господин с пенсне некоторыми приемами обнаружил притязание на главное руководство делом; с его языка иногда свертывались выражения: вы сделайте то-то, а вы вот это, я распорядюсь, я вас созову. Однако мы скоро дали ему ясно понять, что никакого начальства над собой не признаем, а все между собой держимся на равной, товарищеской ноге¹⁹.

Теперь я скажу несколько слов о главных членах нашего кружка. Н. Утин имел широкие связи между бывшими студентами, особенно опирался на очень большой кружок, во главе которого стояли Судакевич и Островский; этот кружок был известен под именем «Петербургской коммуны». Вне этой среды, хотя у Утина и были знакомства, главным образом в литературном мире, он, однако, не имел никакого влияния; связей в среднем классе у него совсем не было. Утин отличался даром слова, только часто переходил в излишний пафос; тем не менее на этом главным образом и держалось его влияние среди молодежи. При случае мог сочинить стихи; так, послание к Михайлову от студентов, сидевших в Петропавловской крепости, вышло из-под пера Утина. До осени 1861 г. это был очень занимающийся студент (историко-филологического факультета) и на третьем курсе получил золотую медаль за работу об Аполлонии Тианском*. Потом, конечно, всякая наука до такой сте-

* Конкурентом у него был Писарев. В своих воспоминаниях о Петербургском университете Писарев весьма зло рассказывает, как ему хотели присудить золотую медаль за бойкость изложения. В факультете у некоторых профессоров явилось совершенно неосновательное подозрение, что Утин не сам писал представленную

пени была отложена в сторону, что он ни в 1862 г., ни даже в 1863 г. и не подумал сдать кандидатский экзамен, что ему не стоило бы большого труда. Тогда направление Утина было чисто политическое; от предшествующего времени он не вынес никакого ознакомления с социально-экономическими вопросами; а теперь, отдавшись агитации, едва успевал пробежать журналы. Ни дальновидностью суждения, ни особенною способностью легко разобраться в путанице текущих явлений он не отличался. Правда, ему было всего двадцать один год, но как-то не чувствовалось, что в нем есть серьезные задатки настоящего общественного деятеля. Многим, вероятно, и тогда не раз приходило на мысль — надолго ли хватит этого возбуждения и не является ли в нем преобладающим элементом скорее желание играть роль, чем искреннее чувство человека, всецело отдавшегося известной идее. Хотя и сын очень богатого человека, он, однако, располагал довольно умеренными средствами — кажется, получал сто двадцать пять рублей в месяц на свои карманные расходы*.

Александр Антонович Жук до крепости почти никому не был известен; хотя и поляк (если не ошибаюсь, из внутренних губерний), он к польской корпорации никаких отношений не имел и держал себя как настоящий русский. В студенческой истории сколько-нибудь заметной роли не играл, но он обратил на себя внимание в крепости своим умом, выдержанностью и очень строгим нравственным критерием, который он ярко выдвигал при суждении о людях в их общественной деятельности.

Мих. Сем. Гулевич объявился совершенно неожиданно; он был сначала студентом Харьковского университета, имел некоторое касательство к кружку Бекмана, но уцелел; затем перешел в Петербургский университет. В студенческой истории тоже не принадлежал к видным деятелям; он всплыл перед выборами во II отделение при Литературном фонде²¹; кто-то указал на него, что он имеет большие связи между студентами-малороссами и очень влиятелен. Это был человек живой, находчивый, остроумный, но так как старое студенчество сильно

им работу, а поводом к тому было то, что сестра Утина, Любовь Исаковна, была замужем за М. М. Стасюлевичем²⁰.

* Кульчицкий выражается об Утине: «Был склонен к интригам». Насколько я знал Утина по петербургскому времени, слова Кульчицкого не могут быть прилагаемы к Утину.

поредело с осени 1862 г., то на самом деле связей у него не было

Господин à la Вирхов по своим профессиональным занятиям, естественно, не мог работать в тесном смысле этого слова; он едва находил время бывать на собраниях кружка (который я уже буду далее называть комитетом,— так он сам стал себя величать). Но мы на это не были в претензии; наши расчеты были на его связи, которые по меньшей мере должны были дать нам некоторые материальные средства. Главное же — «близкий человек к Чернышевскому», «друг Добролюбова» (никому и в голову не приходило проверить, насколько все это так), мы просто за честь ставили себе иметь его среди нас. К тому же он всегда выражался такими отборными фразами истинного демократа, правда несколько ходячими, но мы их истолковывали в том смысле, что он не способен ни на какие компромиссы. При случае он умел подчеркнуть свое действительно демократическое происхождение.

Выпустили первый номер под заголовком «Свобода»²²; средактирован он был несравненно удачнее, чем «К образованным классам», и был замечен. Н. Тиблен, напр., прочитав его (собственно, небольшой листок), сейчас же запустил руку в карман и вручил мне двести рублей; Ник. Ник. Страхов капиталами не обладал и явного оказательства сочувствия не заявил, но выразился приблизительно так: «Это совсем не похоже на «Молодую Россию»,— видно, что прокламация выпущена людьми, которые понимают, как надо говорить с обществом». Молодежь выражала нетерпеливое желание — скоро ли будет продолжение. Вообще этот номер несколько поднял фонды «Земли и воли»; сужу по себе, приобщение к обществу пошло живее; я лично вскоре имел более или менее прямые отношения человекам к двадцати; из них более половины были военные (в числе их Гейнс, впоследствии Фрей) или только что вышедшие в отставку.

Однако после временного оживления дело пошло все-таки не бойко, можно даже сказать, что почти и совсем остановилось. Господин с пенсне все продолжал твердить о своих связях, каких-то организующихся кружках, но на деле этого не было заметно; денег через него почти не поступало, а как только заходил разговор о выпуске новой прокламации или командировке куда-

пибудь — он не указывал никаких средств. Господин à la Вирхов услаждал нас рассказами вроде следующих: «Видел вчера Григория Захаровича (Елисеева), разговор у нас был по душе. „Не могут долго идти так дела,—говорил Григорий Захарович,—и кто это понимает, тому надо быть наготове”». Или: «Был у Николая Алексеевича (Некрасова), сильно хандрит; говорит, что без Николая Гавриловича не знает, как и быть, даже писать ничего не может. Сообщил между прочим, что в правительственных кругах большая тревога и что надо ждать еще усиления реакции». К слову сказать, кроме личного взноса, никаких других денег от господина à la Вирхова не поступало.

А. А. Жук решительно никого не привлек к делу, если не считать мало внушавшего доверие Гомзена (бывшего студента), сильно зашибавшего.

М. С. Гулевич на заседаниях только острил да выдумывал разные пустяки, «чтобы испортить пищеварение начальству», как он любил выражаться; впрочем, у одной барышни (М. А. Эйнвальд), классной дамы, устроил небольшой склад. Должно, однако, сказать, что Жук и Гулевич, когда в том была надобность, отправлялись в нашу типографию и там работали.

Прежде всего, неясно была поставлена ближайшая цель: расширять ли организацию вербовкой членов, собиранием денежных средств, и только — до поры до времени, или рядом с этим проявлять и еще какую-нибудь деятельность. Будучи в центре, мы, конечно, отлично знали, что «Земля и воля» находится в самой первичной стадии развития²³, что ей слишком рано думать о каких-нибудь активных проявлениях, но, с другой стороны, нам постоянно приходилось выслушивать неудовольствия, что комитет, видимо, ничего не делает. А как только заходила речь о деятельности, то ничего другого, кроме выпуска прокламаций, не представлялось, хотя вера в их действительное значение и тогда была невелика. Конечно, не раз подымались разговоры о необходимости прямой пропаганды в народе, но это представлялось возможным лишь в некотором будущем, и даже довольно неопределенном; из наличного состава «Земли и воли» решительно не на ком было остановиться для деятельности в этом направлении. Говоря это, я, конечно, имею в виду петербургских членов, так как о провинциальных комитет не имел никакого понятия — знал

только фамилии некоторых из них в Москве, Н. Новгороде, Саратове. К этому еще надо прибавить: если и теперь, спустя сорок лет, народная масса есть своего рода загадочный сфинкс, то в те времена она представляла из себя настоящую terra incognita... *

Приезд Падлевского²⁴ весьма приподнял настроение господина с пенсне. В одно из ближайших заседаний комитета он держал такую речь: «Господа, мы слишком заняты текущим, между тем давно пора подумать и о будущем; события идут таким ускоренным шагом, что нам следует заблаговременно наметить членов будущего временного правительства.— Взрыв хохота был ответом на эти слова, что, однако, несколько не смутило господина с пенсне, он продолжал: — По крайней мере следует подумать, кто бы мог стать военным министром; по-моему, всего лучше подходит Н. Н. Обручев (впоследствии начальник главного штаба; недавно умер)». В виде шутки министерство иностранных дел предложили господину с пенсне, Утин согласился быть министром внутренних дел, Гулевич взял на себя печать, а я финансы. Однако господин с пенсне, пожалуй, всерьез принял титул министра иностранных дел, так как вскоре заявил, что находит нужным поехать за границу, дабы установить более деятельные связи с Герценом и другими эмигрантами (которых, к слову сказать, тогда не набиралось и с десяток), также организовать правильную доставку заграничной русской печати²⁵. Хотя настоящая работа, как нам казалось, была в России, однако мы не удерживали господина с пенсне: он далеко не оправдал наших ожиданий... Из всех своих связей, о которых так много и часто говорил, он указал на А. Д. Путяту, преподавателя в одном из корпусов, да на Ю. Мосолова, молодого человека в Москве, около которого сгруппировался небольшой кружок ** С Путятой мне пришлось иметь дело и вскоре оборвать с ним всякие отношения; он сам признавал, что у него на руках было около двухсот рублей, кем-то переданных для «Земли и воли», однако этих денег мы никогда не могли получить. По-видимому, никого около него не группировалось.

* Букв. «неизвестная земля» (лат.).

** С А. А. Слепцовым был в близких отношениях П. А. Ровинский, и он-то всего более, зная провинциальные кружки, способствовал разоблачению фантазий А. А. Слепцова.

С отъездом за границу господина с пенсне²⁶ о нем пропал всякий слух, и что он там делал, не имею ни малейшего понятия. Кажется, на него есть намек у Герцена, где он говорит, что некоторые лица, явившиеся из России, от имени «Земли и воли», требовали от него полного подчинения. Это весьма похоже на господина с пенсне <...>

Лето 1863 г. прошло без всякой сколько-нибудь заметной деятельности «Земли и воли» в Петербурге; а что делалось в провинции, мы почти не знали. Господин с пенсне действительно в 1862 г. был в Нижнем, Казани, Саратове, заводил там кое с кем из молодежи * разговоры о «Земле и воле», но прочных и деятельных связей с тамошними кружками не установилось. В Петербурге после майских экзаменов старая студенческая среда совсем разредела **; московский кружок, во главе которого стоял Ю. М. Мосолов, был заарестован; осенью дела польского восстания круто пошли на убыль, дипломатическое вмешательство свелось к нулю, реакционное настроение все более и более крепло. Осенью приехал в Петербург П. Ап. Ровинский. Я с ним откровенно заговорил о положении дел «Земли и воли» и поставил прямо вопрос:

— Вы знаете провинцию, человек вы житейски опытный (ему было уже за тридцать лет), скажите по совести — что делать? С одной стороны, из-за границы нет никаких сведений, а с другой — в здешних членах начинает замечаться апатия, новых членов не прибывает, а убыль, например в Москве, не знаешь, кем заместить.

— Я думаю, — отвечал Ровинский, — надо всем заявить, что организация закрывается до более благоприятного времени; бесцельно и опасно продолжать тень дела.

* Например, А. Х. Христофоровым (старик, живет близ Кларана), припоминаю также Кипиченко, кажется, был учитель.

** Хотя в 1862/63 г. университет считался закрытым, но Головин разрешил производить выпускные экзамены (весной и осенью). Не спрашивали, с какого факультета и курса, а всякий бывший студент и вольнослушатель мог держать выпускной экзамен. Таким образом, было выпущено необыкновенно большое число юристов (в числе их и Н. А. Неклюдов, — он сначала был на физико-математическом факультете, — прошедший самое большее что два курса юридического факультета), так что в открытый в 1863 г. университет перешло очень мало старых студентов, что, по-видимому, и входило в соображения Головина.

Я с ним согласился. Собрался наш комитет (он был несколько пополнен после бегства Утина; кроме того, на совещании, помнится, был А. А. Жук,— он опять вошел в комитет после бегства Утина). Ровинский говорил так убедительно, представил такую живую картину печального положения дел «Земли и воли» в провинции, что решение о закрытии «Земли и воли» было принято без больших возражений, хотя и с оговоркою, что при первых благоприятных обстоятельствах комитет опять примет за старое дело,— на этом особенно настаивал Судакевич. Так как Ровинский не оставался в Петербурге, то его просили побывать в некоторых провинциальных пунктах и там везде передать о закрытии «Земли и воли».

Если на возникновение «Земли и воли» имели существенное влияние некоторые отрицательные явления нашей общественной жизни начала 60-х гг., то, с другой стороны, одна особенность того же времени, потом уже не повторявшаяся, ускорила окончательное исчезновение «Земли и воли». Тогда во многих ведомствах, в силу совершавшихся реформ, был предъявлен огромный спрос на молодые силы, при этом не только не браковали людей с либеральными взглядами, но даже охотно брали людей, более или менее явно скомпрометированных,— «нигилистов», как тогда говорили. И так поступали не из какого-нибудь тайного попустительства, а по соображению, что это прежде всего люди способные и в то же время несомненно честные. Исключенные из университета П. П. Фан-дер-Флит и А. Я. Герд, как только сдали кандидатский экзамен, сейчас же устроились: первый был оставлен при университете, а второй получил место классного воспитателя в военной гимназии. Судакевич (тоже исключенный) едва поступил на службу, как у него был сделан обыск, но директор департамента не обратил на это никакого внимания и скоро утвердил его в классной должности. Пантелеев был принят на службу в министерство внутренних дел *, причем директор департамента (Мартынов) не только знал, что Пантелеев исключен из университета, но что у него незадолго перед тем был обыск. Таких примеров можно было бы привести немало. А затем открылись сферы чисто общественной деятельности, появились судебная и

* По департаменту общих дел. Впрочем, я только числился, жалованья не получал и никогда на службе не бывал.

земская реформы; исключенный из университета П. А. Неклюдов мало того что был выбран мировым судьей в Петербурге, но и утвержден.

Примерно год спустя после закрытия «Земли и воли» совсем неожиданно приходят ко мне несколько земляков-студентов, все, помнится, первокурсников, заявляют о своей готовности послужить общественному делу, предлагают свои услуги для устройства типографии и распространения прокламаций. Говорил главным образом В. Бунаков (брат известного педагога Н. Ф.), уж теперь не помню, почему-то не внушавший мне доверия ни с какой стороны. Я отвечал, что не имею никакого касательства к подобным делам и ничем полезен им быть не могу, указал также на неблагоприятное время. А потом вызвал к себе двоих, которые мне казались наиболее серьезными, и предостерег их вообще очертя голову бросаться в рискованное дело, а в частности по отношению к видимо легкомысленному В. Бунакову. «Да мы и сами не очень-то доверяем ему и уж, право, не знаем, как это он нас всех забрал и привел к вам».

С небольшим через два года после закрытия «Земли и воли» раздался выстрел 4 апреля. Из лиц, близких к Каракозову, никто не принадлежал к «Земле и воле»; в официальном изложении каракозовского дела нигде даже и не упоминается о «Земле и воле»²⁷. По каракозовскому делу судился и был сослан на поселение в отдаленные места Сибири И. А. Худяков, исключенный из Московского университета по леонтьевской истории²⁸. Не помню, кто меня с ним познакомил (кажется, Княгининский), только он бывал у меня в 1862/63 г. Тогда трудно было сказать, что это за человек; с одной стороны, его симпатии были направлены к области народного эпоса, и несомненно из него мог выработаться незаурядный специалист; он даже пытался издавать журнал, специально посвященный народной поэзии, но не получил разрешения. А с другой стороны, его начинали интересовать текущие общественные дела и как будто сказывалось желание занять несколько активное положение. Несмотря на это, я не решился завести с ним прямой разговор; также и Утин, к которому он заходил, удержался от искушения привлечь его к «Земле и воле». Затем он уехал из Петербурга, очутился в Швейцарии. И вдруг, к великому моему удивлению (я тогда был уже в Сибири), всплыл в каракозовском деле. Он

оговорил Г. З. Елисеева, и притом очень сильно; Г. З., конечно, отрицал показания Худякова и в конце концов был выпущен. Что побудило Худякова сделать оговор на Елисеева²⁹ и при каких обстоятельствах это произошло — осталось, кажется, невыясненным*.

Что сталося потом с наиболее видными деятелями «Земли и воли»? Утин, живя в Женеве, одно время играл довольно видную роль в рядах европейской социалистической партии, редактировал в Женеве социалистическую газету, был членом Интернационала и особенно близко сошелся с Марксом; ему принадлежал доклад на Гаагском конгрессе, где был исключен из Интернационала Бакунии <...> В начале 70-х гг. Утин бросил политическую деятельность. <...>

Судакевич умер (должно быть, в первой половине 90-х гг.) <...> Кажется, в конце 1862 г. с ним был такой казус. Жил он в компании нескольких товарищей и барышень: «маленькой коммуной», как тогда говорили. Вдруг ночью налетели с обыском; все, конечно, пересмотрели — ничего не оказалось; оставался недосмотренным один комод; выдвинули ящик, другой — белье. «А что в нижнем?» — «Грязное белье». Ну и не стали смотреть. А в ящике был шрифт, да к тому же в наборе, — то есть неминуемая каторга <...>

Сколько могу припомнить, в разных случаях из «Земли и воли» попало около десяти — двенадцати человек; из них только Андрущенко (землемер в Черниговской губ.) оказался излишне откровенным при допросах, но, к счастью, по «Земле и воле» имел отношения с людьми, из которых не могли много выжать. У одного из арестованных по оговору Андрущенко нашли письмо офицера из провинции (А. Н. Столпакова);

* В «Автобиографии» Худякова (изданной за границей в 1882 г.) об этом обстоятельстве нет ни одного слова. По этой «Автобиографии», правда с 1865 г., то есть со времени возвращения Худякова из-за границы, имеющей скорее характер черновых, незаконченных набросков, трудно определить его действительное участие в деле Каракозова. Он отрицал, что ему было известно о замысле Каракозова, отрицал показание последнего, что дал ему деньги на покупку револьвера; между тем в одном месте он говорит: «Если б не ненависть к комиссии (следственной), то, кажется, я сознался бы во всем, что могло вести одного меня на виселицу»³⁰; а несколько ранее читаем (по поводу оговора Каракозова на Кобылина и Худякова): «...и, конечно, не раскаяние побудило его делать — и притом ложные — оговоры».

письмо заканчивалось рядом зашифрованных строк в виде дробей. Шифр оказался настолько хитер, что даже специалисты министерства иностранных дел по чтению шифров отказались разобрать его. Он был несколько сложен для письма и чтения, но действительно без ключа не представлял никакой возможности к прочтению, а, собственно, был очень прост: условливались в странице какой-нибудь книги; из этой страницы произвольно выбирались строки и буквы, числитель означал строки, а знаменатель — буквы в ней.

Благодаря связям А. Н. Столпаков был только исключен из службы (впрочем, и то надо сказать, что его ни в чем не удалось завинить); он мною был привлечен к «Земле и воле» <...>

Вспоминается Моравский. Как сейчас вижу его: худенький, со впалой грудью, он всех нас забавлял в крепости некоторыми акробатическими фигурами, за что и прозвали его «колесо». Вот он поет в студенческой опере *: «И умрем мы, если надо, за его свободу» (то есть свободу народа) — и с последним словом наносит себе энергический удар в грудь. В 1862—1863 гг. он был одним из самых деятельных и горячих членов «Земли и воли», а также усердным печатником в нашей типографии. Потом я совсем потерял его из виду, но в половине 70-х гг. слышал, что он мирно пребывает в провинции в качестве члена окружного суда <...>

...Говорят, что время тайных обществ давно прошло. Оставляя в стороне этот вопрос, нельзя не заметить, что «Земле и воле», как тайной организации, обязательно предстоял который-нибудь один из двух исходов: или быть раскрытой в период формирования, или распасться. Счастливо избежав первого, она умерла собственной смертью. И надо еще удивляться, что «Земля и воля» просуществовала без малого два года, так как в самом ее составе лежал зародыш неминуемой и быстрой смерти. Возникнув по инициативе кружка Н. А. Серно-Соловьевича, она скоро очутилась главным образом на плечах одних студентов, да и то лишь тех, которые побывали в крепости или были исключены из университета (как немалая часть провинциальных членов). Когда поиски комитета оказались безуспешными

* «Из жизни студентов»; она была сложена в крепости и там же давалась; содержание взято из истории 1861 г., а музыка — из тогдашних опер.

и мы с Н. Утиным решили сформировать свой конспиративный кружок, то, несмотря на всю нашу молодость, на значительную долю самомнения, развившуюся между петербургскими студентами после осенней истории 1861 г. *, мы хорошо понимали, что надо искать опоры вне студенческой среды; вот почему мы так обрадовались, когда господин à la Вирхов согласился войти в наш кружок; потому же держались за господина с пенсне, хотя и подозревали, что он не только фантазирует, но подчас и сознательно пускает пыль в глаза. Мы часто перебирали разных лиц, которых следовало бы привлечь к более выдающейся, руководящей деятельности; все это по большей части были люди из литературного кружка или вращавшиеся в нем. Никто из них не сказал нам прямо: вы занимаетесь пустяками, да еще за них посылаете людей на каторгу; и никто в то же время не оказал сколько-нибудь существенной поддержки, хотя бы просто практическим советом. Не могу не вспомнить Михалевского — он чуть ли не был товарищем Чернышевского по университету; во всяком случае, находился с ним в дружеских отношениях. По темпераменту это был человек, чуждый всяких увлечений, в нем даже слишком резко выступала холодная рассудочность; все у него было подведено под систему и на все имелась готовая формула. Он был с осени 1862 г. членом «Земли и воли», и мне как раз пришлось иметь с ним дело. Михалевский всегда высказывался в поощрительном смысле, но сам не только не проявлял ни малейшей деятельности, но даже ни разу не подал какого-нибудь совета, не предостерег от того или другого неверного шага. Он умер несколько лет тому назад, дослужившись при Т. И. Филиппове до поста генерал-контролера.

Многие, конечно, не только могли догадываться, но и отлично знали, чем мы занимаемся. Один из наиболее передовых и популярных публицистов того времени

* Впрочем, и тогда уже сказалась характерная русская черта — нелюбовь к театральной позировке. Когда Чернышевский, вскоре после студенческой истории 1861 г., осторожно передал Утину и мне запрос покойного художника Якоби: не согласятся ли студенты послужить ему для картины «Смерть Робеспьера» (она, кажется, потом называлась «Умеренные и террористы»), то мы не колеблясь отвечали, что в кругу наших товарищей мы затрудняемся на кого-нибудь указать, кто бы пожелал фигурировать в картине Якоби. «Я так и думал», — сказал Н. Г.

Ю. Г. Жуковский (он впоследствии стоял во главе Государственного банка) был даже настолько посвящен, что раз я получил от него текст прокламации, отредактированный в комитете и через Утина доставленный ему на просмотр <...>

Другой, не менее его известный тогда литератор, М. А. Антонович, по нашему желанию, переданному тоже через Утина, сочинил для нас какую-то прокламацию, но мы нашли ее слишком многоречивой, смахивающей на акафист, и забраковали. А. Вас. Захарьин (по прозвищу «Кулик»), по некоторым указаниям принимавший непосредственное участие, кажется, в «Великоруссе» или другой какой-то прокламации, в описываемое время и виду не показывал, чем он еще недавно занимался; с ним был хорошо знаком Жук, и все, что мы через него знали о Захарьине, ограничивалось тем, что он нам сочувствует *. Впоследствии Захарьин совершенно стухнул.

Если не считать молодежи, ни от кого нам не приходилось выслушивать даже и намека: а пельзя ли, мол, так или иначе приобщиться к вашему делу. Только П. Л. Лавров раз крайне удивил меня; это было, как припоминаю, в начале осени 1862 г. «Странно,— говорил он,— еще недавно казалось, что в обществе начинало

* Близость Захарьина с Чернышевским дает мне основание думать, что Ник. Гавр. был, может быть, не совсем чужд делу «Великорусса». К тому же манера говорить с публикой, стиль «Великорусса» очень напоминают Н. Г., чего, напротив, совсем нельзя сказать о знаменитом письме, якобы им адресованном А. Н. Плещеву и доставленном в III отделение Вс. Костомаровым. В 90-х гг. покойный А. А. Рихтер говорил мне, что, по его сведениям, одним из главных членов кружка, выпустившего «Великорусс», был давно умерший Лугинин. Кажется, он выведен Чернышевским в «Прологе пролога» под именем Нивельзина. Сам Рихтер, несмотря на свою близость с Н. Серно-Соловьевичем, вряд ли мог играть какую-нибудь активную роль в конспирациях с осени 1861 г. по конец 1862 г., так как в это время был мировым посредником в Самарской губернии; вернулся он в Петербург, должно быть, в самом конце 1862 г. и некоторое время управлял книжным магазином П. Серно-Соловьевича, где конторщицей была Анна Н. Энгельгардт, а в библиотеке, что состояла при магазине, одно время, еще при П. А. Серно-Соловьевиче, занималась г-жа Толмачева из Вятки. Из-за нее в начале 1861 г. М. Л. Михайлов публиковал свой горячий протест «Безобразный поступок газеты „Век“, направленный главным образом против Камня-Виногорова (П. И. Вейцберг). А. А. Рихтер несомненно был в курсе «Земли и воли»: я сам передавал ему прокламаций, как человеку из наших.

что-то выделяться в виде как бы организованной группы с активными задатками, и вдруг все стухевалось, не видно никаких проявлений». Я молчал (сколько припоминаю, в это самое время готовился № 1 «Земли и воли»), а Петр Лаврович продолжал: «Был день, который мог быть чреват последствиями, но он пропущен; я разумею несостоявшуюся сходку (студенческую) у Казанского собора (в октябре 1861 г.); я тогда долго оставался вблизи Казанского собора; все было переполнено публикой, особенно много было офицеров, и видно было, что собрались не ради праздного любопытства».

Я передал этот разговор в ближайшем заседании комитета. И мы долго обсуждали, как понять слова Пет. Лав.; наконец решили, что в них ничего другого нельзя видеть, кроме интересного суждения, высказанного без всякой задней практической мысли. Особенно резко выступил против Пет. Лав. господин à la Вирхов. «Чего можно ждать от метафизика,— говорил он,— нам надо держаться подальше от таких людей». С Лавровым чаще меня видался Утин, но и у него, помнится, разговоры не переходили известной грани.

Еще в самом начале моего очерка я заметил, что аресты и высылки действовали на молодежь крайне возбуждающим образом; нельзя того же сказать об обществе. Правда, имя М. Л. Михайлова, первого высланного в Сибирь на каторгу, облетело всю Россию и везде вызвало живейшее сочувствие к его участи (этому, конечно, немало способствовала и его литературная деятельность, особенно статьи по женскому вопросу, первые у нас по времени *); в Петербурге, вне литературных кругов, очень многие лично знали Н. А. Серно-Соловьевича и, несмотря на горячность его темперамента, любили и высоко уважали его за благородство характера и прогрессивный образ мыслей; если сказать, что арест Чернышевского на всех произвел сильное впечатление, то это значит выразиться слишком слабо; с на-

* Как известно, Прудон в его «De la justice...» [«О справедливости...» (франц.)] (1858 г.) высказал относительно женщин крайне ретроградные взгляды. В 1859 г. Михайлов был в Париже и жил в «Hôtel Molière», где у хозяев отеля собирался кружок горячих приверженцев равноправности женщин. Под влиянием происходивших разговоров у Михайлова и явилась мысль написать статью о женском вопросе. Хотя Чернышевский и поместил ее в «Современнике», но особенного значения не придавал, потому что не считал «женский вопрос» первым.

пряженным вниманием прислушивались к малейшим известиям о ходе его процесса и крайне скептически встретили приговор сената. Но чем больше разрастался список жертв, тем меньше стал он возбуждать интереса в широкой публике; например, о Писареве, Шелгунове никогда не приходилось слышать в обществе какие-нибудь разговоры. Это в свое время предвидел Ник. Гавр., которого глубоко поразил арест одного из сотрудников «Современника», В. Обручева. Н. Г., видимо, очень любил его и часто вспоминал о нем, между тем как о Михайлове, по крайней мере с нами, никогда сам не заводил разговора. Дело В. Обручева, возникшее очень скоро после ареста Михайлова (хотя совершенно самостоятельно), даже в Петербурге, вне литературных кругов, прошло почти незаметно. «Да,—говорил раз Ник. Гав., кажется метя на это обстоятельство,— весь мир знает, что Виндишгрец расстрелял в Вене Роберта Блюма, а что он перестрелял еще не один десяток людей, из которых многие были повыше Р. Блюма, так их имена даже не во всякой истории того времени встретить».

Знал ли Чернышевский о том, что предпринял Михайлов за границей (то есть что отпечатал там прокламацию «К молодому поколению» *), в этом я не осведомлен; но что по приезде в Петербург Михайлов тотчас же во все посвятил Чернышевского, на это у меня есть данные. Например, раз в присутствии Михайлова приходит к Чернышевскому один из сотрудников «Современника» **, притом пользовавшийся доверием Ник. Гавр. Пришедший, между прочим, высказал мысль, что следует печатать за границей и затем ввозить в Россию. Когда Михайлов ушел, Чернышевский и сказал: «Да ведь вы попали не в бровь, а прямо в глаз: Михайлов именно это и сделал».

При свидании с Чернышевским в Астрахани весной 1889 г., между прочим, зашел у нас разговор о делах,

* Текст «К молодому поколению» написан Н. В. Шелгуновым; Михайлов же отпечатал ее (600 экз.) в Лондоне и провез в Россию заклеенною в дно чемодана. Эта операция была произведена в Париже в «Hôtel Molière» Н. В. Шелгуновым. Но все ли шестьсот экз.? Я этого не утверждаю; впрочем, прокламация была довольно заметно распространена не только между студентами (несомненно, через посредство Е. П. Михаэлиса), но и в публике, даже имелись экземпляры в совсем глухой тогда Вологде.

** М. А. Антонович; он сам это мне и пересказывал.

давно минувших; вернее сказать, я лишь слушал, только иногда наводя тему.

К слову я рассказал ему о выходе в отставку господина с пенсией. «Да,— несколько подумавши, заметил Чернышевский.— Александр Серно-Соловьевич раз говорил мне: „Что брат Николай и К^о делают глупости, я этому не удивляюсь, но как вы, Николай Гаврилович, им этого прямо в глаза не выскажете — вот чего я не могу понять”».

Какую роль играл А. Серно-Соловьевич за время 1861—1862 гг., я не знаю; помню только, что его иногда противопоставляли чересчур экспансивному брату Николаю; мне также неизвестно, что побудило его летом 1862 г. бежать за границу, где он в 1869 г. покончил с собой самоубийством от невыносимых физических и душевных страданий.

Не могу не напомнить, что, согласно циркулировавшему в свое время рассказу, Ник. Гавр. первый подал пример своеобразного протеста — добровольной голодовки в тюрьме. Ему долго отказывали в разрешении свидания с женой; наконец в один прекрасный день объявили, что тогда-то он будет иметь свидание. Наступил назначенный термин, но почему-то свидание было отменено. Затем в течение нескольких дней начальство заметило, что вся пища, доставляемая Н. Г. остается нетронутой.

И вот ему говорят: «Сегодня вы будете иметь свидание» — и вместе с тем подают обед. «После свидания, а теперь можете убрать», — отвечал Н. Г., указывая на обед. Свидание на этот раз состоялось, и Н. Г. прекратил голодовку.

За время моего касательства к «Земле и воле» у нее никаких прямых связей с Герценом не было *, но следует заметить, что еще несколько ранее отношение передовой интеллигенции к Герцену стало довольно неопределенным. Так, уже в 1861 г. в кружке, группировавшемся около «Современника», раздавались жалобы на Герцена, что он замкнулся в своем «Колоколе», не выходит из чисто обличительного направления и не хочет выступить на более активный путь, что от него едва можно было

* Говоря это, я, конечно, имею в виду петербургский комитет; у русских офицеров, находившихся в Польше, завязались некоторые сношения с Герценом; принадлежность этих офицеров к петербургской «Земле и воле» была, однако, чисто номинальная.

добиться отпечатания отдельной брошюрой «Что нужно русскому народу». Последнее, как припоминаю, рассказывал мне в те времена А. Н. Пыпин. Правда, Герцен приветствовал студенческое движение очень сочувственной статьей («Исполин просыпается»), резко заявил свои симпатии к полякам, но всего этого было уже мало, чтобы сохранить прежнюю влиятельную роль. В деле Чернышевского есть фраза из чьего-то письма, у него найденного: «Чернышевский просит передать Герцену, чтобы он не подстрекал молодежь», — фраза совсем непонятная, так как нельзя привести сколько-нибудь достоверные факты, свидетельствующие, что Герцен не прочь был толкнуть молодежь на агитационную работу. На молодежь, конечно, могли влиять общие идеи Герцена, но ведь после крушения всех надежд, связанных с 1848 г., у Герцена, при всем благоговейном отношении к сраженным борцам, довольно ясно стало сказываться скептическое отношение к старым приемам действий.

Вот почему Герцен не одобрил прокламацию «К молодому поколению» и в предприятии Михайлова никакого участия не принимал³¹.

Как смотрели на нас люди с либеральными взглядами, но совершенно далекие от каких-нибудь активных проявлений оппозиции? Трудно ответить на этот вопрос, так как приходится основываться исключительно на воспоминаниях, относящихся к личным знакомствам, не особенно, конечно, обширным. Припоминаю, напр., П. Н. Латкина, золотопромышленника из средних, он жил в Петербурге. П. Ник. был человек с университетским образованием, в 1848 г. бывал на вечерах Петрашевского; в начале 60-х гг. у него по четвергам собиралось много передовой молодежи. Дашь ему, бывало, прокламацию, прочтает он ее, погладит свою бороду несколько раз, да и проговорит: «Ох, молодой народ, молодой народ, не миновать вам сибирки». Или: «Как-то вы станете петь, как потолкаетесь да потретесь в жизни».

Если не такие точно, то одинаковые им по смыслу слова приходилось частенько выслушивать; враждебно к нам не относились, а скорее, несмотря на нашу молодость, с интересом* и благожелательно. Раз к Преб-

* Стоило мне летом 1862 г. случайно встретиться в Вологде с Н. М. Орловым (сын декабриста, тогда числился полковником по армии), как он пригласил меня бывать у него в Петербурге, где

стингу (тогда был за обер-прокурорским столом, умер сенатором) обратился будущий мой тесть с очень серьезным вопросом обо мне; Пребстинг дал самый лучший отзыв, хотя и прибавил: «Только у него всегда все карманы набиты прокламациями». Тот же тесть, В. Н. Латкин, по поводу одного некрасивого дела, в котором попались молодые горные инженеры (Белоха и Отт), приставленные на Монетном дворе к переделке золота, выразился так: «Не только погубили свою карьеру, но не могут иметь и того нравственного удовлетворения, что пострадали за идею, за честные намерения». В разгар моей конспиративной деятельности давал я уроки у одной вдовы, генеральши (Ермоловой); она была умная женщина, начитанная и охотно пускалась в обсуждение текущих общественных событий; конечно, исходя из разных отправных точек, мы редко соглашались в заключениях. Раз в каком-то споре она и говорит: «Я не красная, но, по совести, ничего не могу иметь против красных, ведь они работают для нас, расчищают нам дорогу, умеренным либералам». Вероятно, так думала не одна Мария Григорьевна, трое сыновей которой сделали очень видную карьеру; А. С. (бывший министр) ее сын.

Если М. Г. питала несколько преувеличенные надежды, то это неудивительно,— в известных кругах, с кото-

он тогда постоянно жил. Я изредка и бывал у него, даже обедал; Н. М. Орлов охотно сообщал мне разные новости из высших правительственных сфер, от него я получил проект земских учреждений. А надо сказать, Н. М. Орлов если и был либерал, то до крайности умеренного оттенка, он скорее примыкал к фракции Платонова (царскосельского предводителя дворянства). В 1863 г. было открыто петербургское губернское дворянское собрание; в числе предметов, подлежащих обсуждению, был и проект земских учреждений. Но на предшествующем собрании Платонов заявил, что в будущем собрании он внесет предложение о созвании земского собора. Хотя состав петербургского дворянского собрания и не мог внушать правительству больших опасений, несмотря на то что губернским предводителем был кн. Щербатов (бывший попечитель С.-Петербургского округа), все же оно нашло нужным принять меры к устранению, без большого шума, предложения Платонова: было указано на несвоевременность его ввиду политических обстоятельств (разгар дипломатической кампании в пользу поляков), а затем дворянству напомнили, что за ним состоит долг в несколько сот тысяч (еще от времени постройки дома собрания). И состоялся компромисс — правительство поставило крест долгу, а Платонова уговорили не вносить своего заявления. Это мне также рассказывал Орлов.

рыми она соприкасалась по своему положению, проявлялись, наоборот, даже чрезмерные страхи за будущее. Характерный рассказ в этом отношении можно встретить у В. И. Модестова («Воспоминания о В. Г. Васильевском» — «Журнал министерства народного просвещения», 1902 г., № 1) о разговоре с академиком Биллярским. А вот не менее интересный случай, документально мне известный. Арестованный в начале лета 1862 г. студент Баллод не знал, что его товарищ Н. И. Жуковский (несколько лет тому назад умерший эмигрант) бежал за границу; между тем по разным обстоятельствам для Баллода было крайне важно это знать. Раз вызывают его в следственную комиссию; там оказался только один член — Жданов (впоследствии сенатор). «Вы, пожалуй, меня не узнаете,— начал Жданов,— ранее вы всегда меня видели при ленте и орденах,— поговорим запросто о вашем деле, оно очень серьезно, но я постараюсь помочь вам». И с этими словами Жданов вынул из кармана номер «Колокола», где сам Жуковский сообщал о своем побеге за границу. «Но вы меня не забудьте,— сказал Жданов,— когда ваша партия восторжествует; ведь я уже стар и опасен для вас быть не могу».

Мне часто приходилось встречать некоторых из бывших членов «Земли и воли», которым выпала судьба отбыть более или менее продолжительные сроки в Сибири. Конечно, это были уже не те горячие юноши, какими я знал их в начале 60-х гг., но никто из них не отрещивался от своих прошлых увлечений, не говорил, как Судакевич, что все это давно прошло и незачем вспоминать; все они, наоборот, свидетельствовали, что духовно считают себя связанными с 60-ми гг. А некоторым их увлечения обошлись очень и очень дорого. Вспоминается, например, Болеслав Петрович Шестакович; ему было около двадцати двух лет, когда он попал в Сибирь; сначала благодаря его деловитости ему жилось недурно, но потом по милости одной дрянной местной интриги был переведен в Нарым, крайне захолустный город на севере Западной Сибири, и там с семьей, без всяких средств (тогда не назначали политическим ссыльным никакого пособия от казны), прожил несколько тяжелых лет. С Сибирью он сжился настолько, что и теперь в ней остается. Замечательные деловые способности, такт и нравственная безупречность везде его выдвигали и впу-

шали к нему уважение. То же самое должен сказать о Стахевиче*; впрочем, если бы вздумал делать исключения, то затруднился бы в выборе.

Да и не все уцелевшие, окунувшись в реальную жизнь, утопили в ней без остатка свои юношеские мечты. Кто с полным уважением, у многих доходящим до благоговения, не вспоминает А. Я. Герда не только как выдающегося педагога, но и как человека нравственно стойкого, всегда и во всех старавшегося поддержать веру в идеал?

Или недавно опущенный в землю Н. Ф. Бунаков (он мною в Вологде летом 1862 г. был приобщен к «Земле и воле»), с лишком сорокалетняя культурно-просветительная деятельность которого у всех еще в живой и близкой памяти.

И таких людей, в свое время принадлежавших к «Земле и воле», я мог бы указать немало; будущий историк нашей общественности добросовестно признает за некоторыми из них несомненные заслуги.

В заключение не могу не коснуться вопроса — в какой степени русские женщины принимали участие в «Земле и воле»? Они и в то далекое время не относились безучастно к ходу нашей общественной жизни; в моей памяти сохранилось до десятка фамилий лично знакомых мне женщин (конечно, из числа живших в Петербурге), которые стояли близко к «Земле и воле», по меньшей мере так или иначе соприкасались с тогдашним политическим движением. Не берусь утверждать, что покойная М. М. Манасейна непосредственно принадлежала к «Земле и воле», но она была в очень близких отношениях с многими из политически настроенной молодежи, даже из кружка Заичневского и Аргиропуло; да ведь и замужем она была (в первом браке) за высланным студентом Понятовским; скоро овдовев, она вышла замуж за В. А. Манасейна, студенческие годы которого прошли тоже не совсем благополучно.

Некоторые из знакомых мне женщин поплатились арестом; одна была выслана в Сибирь, другая — в про-

* Я не знаю в точности, принадлежал ли Стахевич к «Земле и воле», так как он был арестован очень рано; подтвержден 30 декабря 1863 г. на шесть лет в каторжные работы за «злоумышленное распространение возмутительного воззвания». Теперь он живет в России. См. мой некролог о Стахевиче («Наш век», весной 1918 г.).

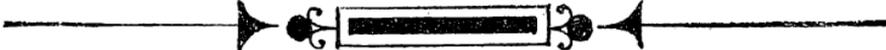
винцию, третья в течение чуть ли не тридцати лет никак не могла найти себе покойного пристанища и возможности без помех трудиться на том поприще, которое для нее было всем, — на поприще педагогическом.

Бабушками стали мои приятельницы от времени 60-х гг. *, но как тепло становится при всякой встрече со многими из них. За сорок лет (легко сказать!) наша общественная жизнь шла тяжелым и тернистым путем; к тому же многим из моих приятельниц пришлось вынести еще крайне горестные личные удары и утраты, но их поддержала вера в идеалы молодости. Серебристые волосы покрывают их головы, а сердце все так же сочувственно отзывается на новые запросы жизни, на неустанные стремления выступающих поколений внести в нашу жизнь побольше света правды и света истины.

Вследствие показания Владислава Коссовского 11 декабря 1864 г. я был арестован и препровожден в Вильню; но об этом когда-нибудь до другого раза.



* Когда писал эти строки, имел в виду еще здравствовавших Н. А. Белозерскую (+), М. А. Быкову (+), А. М. Герд (+), М. А. Сеченову, А. П. Кравцову, Н. И. Корсини (Утину).



А. А. Слепцов
[ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ]

Письмо к М. К. Лемке

*<Петербург.
После 15 февраля 1906 г.>*

ногоуважаемый Михаил Константинович,
Вы просили меня хотя бы в кратких чертах рассказать, что вспомню, об эмбриологическом периоде пореформенного освободительного движения, о тех «шестидесятых» годах, свидетелей которых осталось в живых так немного.

С подобным призывом к «воспоминаниям» обращались ко мне не раз многие, но я до сих пор не только не записал ничего, но даже редко, очень редко и неохотно рассказывал кое-что о минувшем. Почему? По многим причинам. Главным образом потому, что говорить о себе как-то неловко, да, казалось, и незачем. Работалось не для того, чтобы рассказать о своих деяниях, а в удовлетворении внутренней потребности согласовать жизнь с идеалами... Как бы то ни было, мне 70 лет, я два раза был на краю гроба и ожил, после тяжких болезней, совершенно неожиданно и для людей и для себя, а никогда не исповедовался в прожитом даже близким...

Однако за последнее время пришлось убедиться, что в своем упорном молчании я был не прав. Пришлось пожалеть, что я не взялся за «воспоминания», когда и память была много свежее и пособить ей могли многие сверстники. Увы, теперь из них уже в живых не осталось почти никого. И те, которые еще не умерли — только полуживы, забыли многое... Изменили мои отношения к «воспоминаниям» те картины 60-х годов, которые

рисуют в настоящее время на моих глазах, изображая эти годы и деятелей их далеко не правдиво. Пусть бы забыли о прошлом — куда ни шло, но его совершенно не понимают, на него клеветают. И этой низости уже нельзя [не] постановить отпора <...>

Начинаю с присылки вам той заметки, которую не согласилось напечатать полностью «Былое». На днях пришлю еще кое-какие такие же отрывочные заметки.

Письмо к М. К. Лемке

<Петербург. 1906 г.>

В ряде фельетонов газеты «Наша жизнь» помещались воспоминания Л. Ф. Пантелеева «о давно минувших днях» 1861—63 гг. От внимательных читателей этих фельетонов — насколько я мог убедиться — не ускользнули ни противоречия, которыми изобилуют сделанные сообщения, ни явно пристрастное отношение автора к отдельным личностям, ни его желание выставить себя чуть ли не единственным трезвым деятелем среди каких-то шугов, подвергавших себя и людей серьезным опасностям ради ребяческой игры в «тайное общество». Неблагоприятное впечатление производят эти фельетоны еще и потому, что представляют собою не более как рассказы болезненно самолюбивого участника одного из кружков того времени об отдельных личностях, не давая никакого понятия ни об общем настроении эпохи, ни о стремлениях, одухотворявших первые шаги нашего общественного самосознания, нашей освободительной работы после 19 февраля. Эти первые шаги в фельетонах г. Пантелеева совершенно обесмыслены¹. Между тем вряд ли они могли быть бессмысленны, душою их являлись такие личности, как Чернышевский, Н. Серно-Соловьевич... А что это было так — свидетельствую, и думаю, что на это имею право. Г. Пантелеев рисует мое участие в деятельности 61—63 гг. в очень нелестных красках, изображая меня под псевдонимом «господин с пенсне»... Но даже из того, что он говорит, ясно, что с делами того времени я знаком, и знаком много более, чем он <...>

* * *

Название обществу «Земля и воля» было дано собственно Герценом, который обладал вообще удивительной способностью приискивать меткие определения лю-

дям, эпохам, событиям и литературным произведениям, что отмечалось всегда его близкими и приводило, помню, в восторг, особенно Василия Боткина и П. В. Анненкова. Оно очень понравилось нам и своей простотой, и чрезвычайной популярностью вложенных в него понятий, и какой-то силой, красотой своей ясности и законченности. Читая прокламацию Огарева в июле 1861 г., мы и не думали, что будем состоять в обществе, два слова названия которого были уже указаны в первой ее строке. Позже Огарев рассказал мне, что на его вопрос: «Как бы лучше назвать тайное общество, если бы основать его сейчас?» — Герцен ответил: «Да ты уж сам сказал несколько месяцев назад. Конечно, «Земля и воля». Немного претенциозно, но ясно и честно, потому что сейчас это именно и нужно». Огареву так понравилось это Колумбово яйцо, что он потом и предложил такое название.

С конца октября ст. ст. 1861 г. началась подготовительная работа. Помимо выработки небольшого, но не допускавшего неясности устава (о нем скажу во второй части) главное внимание нужно было сосредоточить на подборе людей, которым уже и предоставить вербовку рядовых членов-пропагандистов. Всю силу организации мы видели прежде и больше всего именно в пропаганде, исходя из ужасной темноты народной массы, немногим меньшей начавшего оформляться рабочего и минимального политического развития чиновничества и служилого класса вообще. Пропаганда была нужна широкая, хотя бы и менее глубокая, чем нам хотелось по моменту и задачам не только очередного дня и его злобы. Массам нужно было сказать такие слова, которых они до того почти или вовсе не слышали, и притом сказать их так, чтобы, не набивая голову мудреностью, проникнуть в сердце заколоченного Николаем и не отпертого Александром русского нутра. Решено было привлечь прежде всего молодежь, желавшую после университетских беспорядков в обеих столицах с весны 1862 г. ехать доучиваться за границу. Среди них в С.-Петербурге Серно-Соловьевичи обратили особенное внимание на Владимира Игнатьевича Бакста, которому была обеспечена помощь Лугинина: он ехал не столько для научных занятий, сколько для организации доставки лондонских (тогда в сущности единственных) изданий в Россию, на что В. Ф. обещал не пожалеть части своих (вернее, от-

цовских) громадных средств. Затем обращено было внимание на создание возможного взаимодействия с русской журналистикой, чтобы, помимо тайной пропаганды, читатель из разночинной интеллигенции, тогда только что выраставшей и комплектовавшейся как сколько-нибудь заметная группа, был взят кругом в определенный цикл понятий и интересов. Решено было остановиться на братьях Василии и Николае Курочкиных, Благовестове, Г. З. Елисееве и А. Ф. Погосском, умевшем писать для народа и солдат и поддерживать необходимые для этого официальные отношения. Желание расширить влияние на армию (помимо московского кружка «Библиотеки», вернее, в прибавок к ней по заданию), особенно артиллерию, которая и тогда комплектовалась из наиболее развитых солдат, толкнуло к «метафизику», как его называли некоторые, П. Л. Лаврову². Все эти писатели вступили в общество, Лавров же и Елисеев официально не сделались членами, но сами просили оставить за ними право, не принимая на себя по обществу никаких обязанностей, могущих отвлечь их от прямого дела, являться на наши совещания в качестве совещательных членов³. Принимая во внимание разницу в возрасте и житейском опыте, мы поняли этот их шаг еще и как исходящий от более старших. <...> Иначе обстояло с Чернышевским. Николай Гаврилович беседовал с А. и Н. Серно-Соловьевичами, выслушал их очень внимательно, с горевшими глазами и неослабевавшим интересом, а когда они кончили свое сообщение, сказал: «За меня дело должны решать болезнь Николая Александровича и неспособность Некрасова вести теперешний журнал одному. Работать же, как сейчас, в «Современнике» и у вас — извините, с вами — я не вижу физической возможности. Обождете, что окажется с нашим больным. Когда я увижу, что он в состоянии работать по-прежнему, то через месяц, другой я с вами, но все-таки и с «Современником»; он мне дорог, как кафедра, которой не должно лишиться ни для меня, ни для вас, поскольку вы разделяете общий его топ. <...> Николай Курочкин, врач, не сомневался в плохом исходе для Добролюбова и не ошибся... Однако Чернышевский интересовался работой нарождавшегося общества (тогда еще не имевшего названия) и при свиданиях с бывшими у него братьями и со мной, всегда притом в отсутствие своей жены, то подвергал критике наши очередные про-

екты, то давал советы. Так, ему принадлежит совершенно правильная мысль разделить Россию на округа: северный, где была своя историческая традиция, в атавизм которой он верил при некоторых поправках времени и наших условий; южный, но не украинский, где работа должна была вестись, как мы и сами решили в самом начале, в стороне от нарождавшегося украинского движения мысли; северный и южный поволжские, приуральский и московский, понимая его в широком смысле всего торгово-промышленного района. На Сибирь мы не надеялись и ее не трогали, в чем были также одобрены Чернышевским, зная, как там трудна работа в условиях тогдашнего времени, почти без всяких путей сообщения, телеграфа и т. п. Сибирь нам должен был осветить Шелгунов, намеревавшийся еще до окончательного осуждения своего друга Михайлова ехать туда за ним. Мы знали, что Н. В. не прожил бы там долго, но для осуществления плана побега, который он окончательно выработал после удачного бакунинского⁴, все-таки надо было прожить там ну хоть с полгода и очень присмотреться к местным условиям. Посредником между нами и Шелгуновым был Н. В. Гербель⁵, в общество не вступивший, но к нему расположенный, что и доказал, особенно в 1864 г. при ликвидации, спрятав к себе в подвал архив и шрифт, принятые у него через три месяца для уничтожения⁶.

* * *

<Весною 1862 г.> в центре будущего, еще не оформленного общества стояли Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев и В. С. Курочкин. Они единогласно постановили сложить с себя эти обязанности с осени, поставив во главу общества избранный после лета, при деятельном участии провинциальных организаций, Центральный комитет, чтобы он пользовался, таким образом, полным доверием и авторитетом. Последнее было особенно важно, чтобы положить предел нарождению случайных местных революционных организаций, сепаратизм которых немало нарушал: планомерную и единую по цели и действию деятельность. <...> Мы видели, как исчезали такие общества, вернее — кружки, которые были делом рук нескольких лиц, узнававших потом, что аналогичные по заданиям и це-

лям кружки, с разными, конечно, вариациями, существовали рядом, иногда в том же городе, и не имевших достаточно такта и понимания, чтобы не продолжать своего существования. Такая розбить в работе кончалась тем, что, напр[имер], в Саратове, о чем я скажу во второй части, все кружки замирали, и всякая работа просто прекращалась. Каждый из членов центра, как мы его называли, должен был широко организовать около себя всех, кто был склонен и способен искренно разделять в основе положения «Что нужно народу?». Выражаясь современным языком, эта прокламация была нашей платформой.

* * *

Отдать справедливость, план был составлен очень удачно, имелось в виду обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники (на которых тогда вообще возлагали большие и весьма, конечно, ошибочные революционные надежды) — здесь три страдающих группы. Четвертая — молодежь, их друг, помощник, вдохновитель и учитель. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом: Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса, который он действительно знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню, по каким обстоятельствам, передали тоже Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и его выполнении мне сказал в начале 1861 г. сам Чернышевский, знал о нем и Н. Н. Обручев, потом из боязни быть расшифрованным уклонившийся от участия в общем деле.

* * *

Организация пятерок заключалась в том, что каждый из членов организовал около себя свою пятерку и т. д. Таким образом, если в пятерке были члены а, б, в, г, д, то каждый из них мог быть членом еще и самостоятельной пятерки и, следовательно, около каждого

из них должно быть не более восьми знающих его лиц: четверо из той пятерки, к которой он был присоединен, и четверо тех, которых он сам присоединил к своей пятерке. При «провале» кого-нибудь об этом узнавали восемь членов двух разных пятерок. При болтливости могли тоже пострадать только восемь человек. Имена вновь вошедших в новые пятерки сообщались членам, присоединившим неофигов в ту пятерку, в которой он сам получил, так сказать, крещение.

Затем все передавалось уже по восходящей линии, так что всех членов из всех пятерок знал только центр. При этом нужно отметить, что каждый член пятерки имел право организовать только одну филиальную группу. Такое предусмотрительное решение было принято для того, чтобы члены организации не увлекались механикой приобщения, а занимались более существенным делом, которое им будет поручено <...> Только члены основной пятерки Чернышевского могли организовать вновь такое их количество, как нашли бы нужным <...>

* * *

Чернышевский был не только причастен к первичным пятеркам, но был инициатором их и членом первой из них. Ее состав был таков: Чернышевский, Николай Серно-Соловьевич, Александр Слепцов, Николай Обручев и Дмитрий Путята. Николай Обручев, член московского кружка «Великоросса», являлся таким образом связующим звеном московской организации с пятеркой Чернышевского.

* * *

Разработанная шаг за шагом программа революционного общества «Земля и воля» вылилась в конце концов в аксиому: «Конституцию могут дать, но земскую думу надо взять», и взять ее надо для того, чтобы крестьяне получили землю без выкупа, области — самостоятельность, а население — те свободы, которые ведут к социализму.

Органы руководящие: 1) Центральный комитет в Петербурге. С выделением из себя «Совета». 2) Областной комитет в Петербурге, 3) Областные комитеты в провинциях.

Практическая деятельность: 4) Издание прокламаций. 5) Типографии для подземных изданий. 6) Устная пропаганда, особенно в войсках (военные организации). 7) Организация перевозки литературы из-за границы. 8) Организация для помощи ссыльным. 9) Организация для устройства побегов. 10) Организация для собирания средств, чтобы осуществлять намеченные цели <...>





И. А. Худяков
ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ
(Записки каракозовца)

За границей¹

 **М**ежду тем из России приходили утешительные и неутешительные вести. По рассказам приезжих, в Петербурге обо мне, неизвестно откуда, распространились везде слухи, что я бежал от преследования русского правительства. Некоторые известные либералы, неизвестно почему, распространили обо мне нелепый слух, будто бы я вместе с Кельсиевым поджигаю Малороссию. Наконец, само правительство подняло обо мне шум запрещением «Самоучителя». Донос на эту книгу был сделан Муравьевым; министр внутренних дел докладывал государю, от министра пошло к генерал-губернаторам обеих столиц, от генерал-губернаторов — к обер-полицеймейстерам, от них секретные печатные приказы разосланы по квартальным. Книга всего не более трех месяцев была в продаже; ни объявлений, ни рецензий не было; много книгопродавцев в Москве и Петербурге еще не знали о ней, хотя продажа и шла шибко².

Сначала полиция бросилась отыскивать автора, но автор оказался в отлучке. Тогда дали знать одному квартальному, что книга напечатана в его квартале и чтобы он отобрал ее у типографщика. Квартальный почему-то в своем квартале знал только типографию Головачева и два раза посылал его в часть. Головачев даже и не слышал о такой книге, пересмотрел все свои каталоги, но и там не находил ничего. Наконец в части ему показали один экземпляр.

— Что же вы ко мне пристаєте? — сказал он с доса-

дой.— Разве не видите, что на обертке означена типография Кукеля? (Эта типография была наискось Головачева.) Тогда бросились к Кукелю, отобрали у него четыре тысячи дефектных листов и с торжеством повезли в полицию. Жандармские офицеры обходили книжные лавки. В публике поднялась тревога.

— Слышишь ты,—говорил один мелкий букинист другому,—Худякова запретили: «Букварь для русской грамоты».

— За что запретили?

— Да, вишь, говорят, что там написано, что цари брали подать вшами.

Между тем апатичная бездеятельность заднего двора³ сердила меня... Кроме того, писать популярные книги для народа за границей—дело весьма трудное⁴, стало быть, и существовать за границей, работая для России в этом направлении, весьма трудная вещь. <...>

Многие не советовали ехать назад:

— Что вам за радость? Ну арестуют, и только...

Я отшучивался от подобных предсказаний и уехал <...>

В Петербурге

Россия всегда производит тяжелое впечатление на русского, возвращающегося из-за границы. Не успели отвориться двери вагонов в станции Wirbollen*, когда на мой немецкий вопрос послышалось русское: «Пожалуйста паспорт». Ряды жандармов и солдат стояли со всех сторон. Можно было бы подумать, что вместо поезда они ожидают полк инсургентов. Наконец осмотрели паспорта и вещи и пропустили <...>

На каждом шагу бросалась в глаза огромная разница между европейскими государствами и Россией. Даже вагоны второго класса были без печек, тогда как в Швейцарии, несмотря на гораздо более теплый климат, даже вагоны третьего класса снабжены печками <...>

На одной станции в вагон, и без того уже плотно занятый пассажирами третьего класса, натискали роту солдат, которые поместились со свойственной им храбростью отчасти на пассажирах, отчасти друг на друге,

* Вержболово.

Я было думал протестовать, говоря, что пассажиры не за то платят деньги, чтобы возить на шее по два солдата... Но, увы, голос мой был заглушен солдатскими прибаутками, а снаружи вагон заперли засовом.

На петербургском дебаркадере двери кассы третьего класса удерживались от толпы несколькими жандармами, и когда наконец их отворили, толпа хлынула с такой стремительностью, что некоторые попадали на пол. Наконец даже Петербург, самый богатый, самый образованный русский город, представляет такую массу всевозможных калек, людей столь печальных, столь оборванных, столь бедных и так поражает этим вновь приезжего из-за границы, что сердце невольно сжимается...

Только изредка можно видеть выведенных для прогулки десятитысячных коней... Бедный народ! Он может позавидовать этим животным: их холят, а его держат в черном теле.

Приезда моего в Петербург почти никто не ожидал, и потому все встретили меня с удивленными глазами: они уже считали меня эмигрантом. Один из моих близких друзей, слушая мои рассказы о моей заграничной жизни, сказал наконец, обратившись к другому:

— Слушаешь, слушаешь его, даже досадно станет: говорит, как умный человек, рассказывает, критикует, а сам-то что делает?... Ну зачем он сюда приехал? Сидел бы там, за границей. Вот теперь возьмут его и посадят, и будут держать. Он будет ротиться и клясться *, а его будут держать.

Многие барыни, видя меня почти в первый раз, спрашивали прежде всего:

— Вы, конечно, виделись с Герценом за границей?

По поводу моего приезда случился еще следующий анекдот. В мое отсутствие появился в продаже мой портрет. Еще за границей один из моих знакомых просил меня купить на Невском и выслать ему мою фотографическую карточку.

— Это ни в каком случае не моя карточка,— отвечал я ему.— Я уже не снимался несколько лет. Вероятно, это карточка художника Худякова⁵.

— Нет, ваша; я читал объявление: напечатано в рубрике литераторов.

* Божиться и клясться (старославянск.).

По приезде в Петербург я было позабыл об этом. Но одна из близких знакомых сказала между прочим:

— Вот вы еще друг... Снимались, а нам своей карточки не дали.

— Да я не снимался.

— Как не снимались? Ваша карточка продается у Попова: я читала объявление.

На другой день после этого я отправился к Попову.

— У вас продаются карточки Худякова?

— Продаются, пятнадцать копеек штука.

— Это художника Худякова?

— Нет, литератора.

— Позвольте-ка.

Мне подали карточку с изображением какого-то сорокалетнего тучного помещика. С оборотной стороны подпись «Худяков».

— Много у вас таких экземпляров?

— Вот только три осталось.

— Хорошо, я их куплю у вас, но прошу вас больше таких не продавать: это несколько на меня не похоже.

— Извините. А нам в фотографии сказали, что это — Худяков.

«Если так можно обманывать публику,— подумал я,— при жизни автора, то чего нельзя ожидать после смерти его? Если так неверны портреты людей XIX столетия, то что же сказать о портретах средневековых личностей?»

Купленные три экземпляра я роздал в разные руки, и один из них попался впоследствии в руки муравьевской комиссии по делу четвертого апреля. Члены весьма заинтересовались этим портретом: зачем и когда Худяков так замаскировался? По этому поводу сделано было несколько допросов.

— Чья это карточка? — спросили Александра Никольского⁶.

— Худякова.

— Когда же он снимался?

— Вероятно, когда был постарше...— отвечал тот.

Вследствие шума в городе я и сам был почти уверен, что меня арестуют, и потому тотчас по приезде поспешил в Москву, где был и мой отец.

Ишутинский кружок, с которым я познакомился еще летом 1865 года, был одним из замечательных явлений того времени⁷. Идея добра соединила довольно тесно

значительную кучку талантливых юношей, которые рано или поздно стали бы зерном обширного заговора. Эти люди большею частью отказались от всех радостей жизни и посвятили себя делу народного освобождения. Ермолов пожертвовал с этой целью всем своим состоянием⁸. Некоторые владели замечательным талантом: Ермолов, Николаев⁹, И. Воскресенский¹⁰, князь Оболенский¹¹ и др. Сам Ишутин обладал большим красноречием, когда дело касалось разговора с народом. Я уже не говорю о такой высокой и безупречной личности, которая бы сделала честь всякому поколению, какою был Д. А. Юрасов¹².

После каракозовского следствия некоторые полицейские писатели презрительно отзывались об этих личностях. Они судили о них по той личине, которую эти личности носили во время заключения. Было бы смешно, если бы естествоиспытатель составил свое суждение о нравах, привычках, способностях какого-нибудь животного единственно по тому образцу, который он видел в зверинце... Если можно их в чем упрекнуть, то единственно в той ошибке, что они приблизили к себе Моткова, человека со способностями, но скорее интригана по характеру, нежели страстного политического деятеля¹³. Каждый из остальных, может быть, с увлечением умер бы за свои идеи, если бы для этого требовалась только двухчасовая геройская смерть, но, конечно, не всякий из них мог выносить ее, когда она стояла перед ним безотлучно несколько месяцев сряду. Что касается до их показаний, то они делались иногда вследствие незнания законов, некоторых улик, например найденной шкатулки с письмами и разными вещами, а большею частью вследствие недоразумений, посеянных Мотковым, и еще от того, что умный человек очень скоро глупеет в крепости¹⁴. Впрочем, надо сказать, что в свою жизнь я не видывал такой громадной массы писаной лжи всех сортов, какой было дело четвертого апреля...

Возвратившись в Петербург, я прописал свой паспорт и ожидал ареста. Однако полиция не являлась, и мало-помалу я стал успокаиваться на этот счет... Приехала наконец сестра [сестра жены Худякова Варвара.— *Сост.*], стали искать квартиру... На этой квартире предполагалось сделать свадьбу сестры с А. Никольским... На свадьбе присутствовали дяди и некоторые

другие родственники, которые вообще прежде с нами не были знакомы.

— Скажите, пожалуйста,— говорил один из них,— говорят, вашу книгу запретило правительство?

— Да.

— Ну к чему вы так пишете? Говорят: честное направление. Вот Чернышевский дописался до того, что услали на каторгу. Или вот Павлов¹⁵. В казенной палате советник меня спрашивает: «За что его сослали?» — «За то, что он сказал на лекции, что монархический образ правления есть деспотический...» Даже советник смеется. «Это,— говорит,— мы знаем давно...» Если бы я был писателем, я бы им такую чушь писал; пускай дураки читают да дают денежки. Ну а чтобы честные люди меня уважали по-прежнему, я бы для них раз или два в году издавал хорошую книгу. Жаль только, что писать не умею.

Каракозов

Благородный молодой и честный человек часто бывает доверчив, и потому ничего нет удивительного, что Д. А. Юрасов приблизил к своему кружку Моткова. Мотков, попав впервые в политический кружок, правдою и неправдою стал искать себе влияния. Для этого он пользовался малейшим обстоятельством, чтобы втереться в знакомство с известными или влиятельными личностями. Ишутин удвоил ошибку Юрасова: он дал даже рекомендательное письмо Моткову ко мне, которое оканчивалось восторженными словами: «Горжусь таким знакомством!»

Тем не менее я не совсем доверял рекомендации. Еще в конце ноября, видевшись с Ишутиним в Москве, я просил его не знакомить меня с его другими товарищами; тем не менее он присылал ко мне одного за другим Никифорова¹⁶, Федосеева¹⁷, Моткова, Страндена¹⁸. Причиной такой распушенности его было естественное доверие к товарищам, соединенное, может быть, с некоторой дозой тщеславия. К несчастью, он устроил свою ошибку еще тем, что, приехав в Петербург, являлся ко мне не иначе, как с Мотковым (который, конечно, нарочно выжидал такого случая), и, снова рекомендував, сказал: «Я скоро уезжаю из Москвы, и вместо меня

вы можете иметь дело с ним» (Ишутин не был способен к роли серьезного заговорщика и, кажется, сам чувствовал это, желая удалиться из Москвы.)

На этот раз я снова повторил ему, что я не знаю его товарищей и что, видя их на минуту, должен полагаться на его мнение, но что снова прошу его не присылать более никого.

Около этого времени Спиридов и Козлов¹⁹ предупредили меня, что быть знакомым с этими людьми — все равно что жить возле будки: того и гляди, сведут в часть... Но осторожность вырабатывается только опытом; я имел примеры людей, которые были еще менее осторожны... Если бы не случилось роковых недоразумений, этот кружок не погиб бы...

Как бы то ни было, но через несколько времени после отъезда Ишутина из Петербурга в Москву явилось ко мне от его имени опять новое лицо, но без письма... Это особенно заинтересовало меня; разговор его показывал, что ему хорошо известны дела Ишутина; манеры и фигура его не имели никакого сходства со шпионскими. А между тем он все-таки был без рекомендации... Вещь весьма странная. Это был Каракозов.

На другой день я поехал в Москву. Здесь Мотков предупредил меня, сказав, что Ишутина все товарищи чуждаются. Я вспомнил, как Ишутин рекомендовал Моткова, и поверил последнему, но в то же время отказался иметь с ним какое-нибудь дело, пока они устроят свои дела сами. «Я теперь у вас гость и не могу с полным убеждением мешаться в ваши дела». Если бы я виделся с Ишутиним, роковые обстоятельства объяснились бы мне; то же самое было с Малининым, Ивановым и др.²⁰. К несчастью, Моткову удалось дотянуть роковые недоразумения до 4 апреля, почему они так тяжело и отозвались на допросах.

Говорят, характер есть признак силы ума. В отношении большинства это верное замечание, но иногда бывают такие личности, у которых характер далеко превосходит силу ума. К числу таких личностей принадлежал Каракозов.

Каракозов, виновник события 4 апреля, был одним из тех редких людей, у которых дело заменяет слова. На сходках своего кружка он говорил меньше всех. Точно так же и в детстве он не был словоохотлив. Бывши учеником в пензенской гимназии, он никогда не высывы-

вался и не участвовал в мелких стычках с надзирателями и учителями, зато, когда вышла крупная история с директором, он был в ней первым.

Однажды в Москве он шел вечером по улице и наткнулся на будочника, с ожесточением колотившего извозчика. Без всяких предварительных увещаний Каракозов немедленно ухватил будочника за шиворот, поднял его на воздух, потряс несколько раз и бросил в сторону со словами: «Всех бы вас перевешать!» Через несколько минут после подобных порывов волнуемая страсть улеглась, и он, согнувшись, шел, сидел или лежал неподвижно, думая какую-то думу. Товарищи еще в гимназии прозвали его Карлом XII.

Каракозов не был тщеславным человеком; он действовал под влиянием своей то неподвижной, то бурной натуры; он мало заботился о том, что о нем скажут, и делал только то, что по своим соображениям считал полезным. Еще менее — в этом я уверен — он думал о себе. Как известно, товарищи просили его не совершать до времени покушения — отсрочка, очень приятная для человека, полного жизни... Он, однако, не послушался их, потому что, во-первых, он не знал того взаимного недоверия, которое Мотков посеял между членами общества; во-вторых, он думал, что покушение даст им значительные денежные средства, а народ получит «уступочку», которой общество и воспользуется для пропаганды и для достижения своей цели — социальной республики... Однако, несмотря на силу своего характера, несмотря на предостережение своих товарищей, Каракозов не имел настолько ума, чтобы исполнить свое дело мастерски. Он как будто нарочно оставил все следы, чтобы открыть дело в случае неудачи. Я не буду упоминать о показаниях дворника Цеткина²¹, достаточно характеризующих его неосторожность. Давать ему денег на извозчика, когда с этими деньгами он сам легко мог съездить; поручать ему письмо, которое он сам легко мог положить в почтовый ящик, — все это было верх неосторожности, которая так меня поразила в Каракозове с первого раза.

Письмо, оставленное им в Знаменской гостинице²², бумаги, найденные в кармане, самое пальто, наконец, яд, который он взял в пузырьке, когда легко мог иметь его в шарике и положить за зубы, — все это были достаточные данные, чтобы открыть дело²³. Самое запира-

тельство в фамилии поставило только некоторых в ложное положение и еще более усилило озабоченность правительства²⁴. Все это такие данные, которые показывают, что сила ума не совпадала с силой характера...

При размышлении об этом нельзя, впрочем, упустить из виду того, что та неподвижность, которая отличала Каракозова в обыкновенное время, более всего вырабатывала эту неосторожность; незнакомый с мелкими житейскими неудачами, он не мог предугадать большую неудачу... Живя в тесном кружке молодых студентов, он, подобно Березовскому²⁵, «в повстанье», без сомнения, действовал бы осторожнее...

Кроме того, Каракозов очень мог рассчитывать и на удачу своего покушения. Он был хороший стрелок, а промахнуться в упор было бы несслыханным делом... Тогда толпа растерзала бы его на месте, и едва ли бы тогда нашли какой-нибудь след его происхождения; даже если бы и нашли, то его неосторожность не повлекла бы за собой вредных последствий.

Некоторые словоохотливые господа обвиняют Каракозова в том, что немедленно после покушения он струсил и хотел было бежать. Конечно, эти господа сами никогда не были в подобном положении. Вспомните рассказы образованных военных: какой ужас страха чувствуют они перед началом сражения и ужас отвращения после него!.. Образованному человеку, как бы он ни был убежден в правоте своего поступка, чрезвычайно тяжело убить другого «человека». В то время как мозг его убежден в крайней правоте и необходимости известного поступка, нервы всего тела, непривычные к такому явлению, неожиданно протестуют... Повторяю, никто, кроме Каракозова, не может понимать, что Каракозов чувствовал в данную минуту.

Господа резонеры, которые, может быть, всю свою жизнь боятся какого-нибудь паука, должны помнить, что Каракозов чувствовал страх чуть ли не в первый раз в жизни именно в это мгновение, и, вероятно, этот внезапный ужас, объявивший его, был ужас громадной неудачи. Через минуту он владел уже полным присутствием духа... Народ уже тормозил его, желая его раздавить...

— Дурачьё! Ведь я для вас же! — сказал он. — А вы не понимаете.

— Ты поляк? — спросил его государь.

— Нет, чистый русский;— отвечал Каракозов спокойно.

— Почему же ты стрелял в меня?

— Потому что ты обещал народу землю, да не дал.

Затем девять дней Каракозов не открывал своей фамилии, пока ее не открыли обстоятельства; мало того, в начале следствия он сделал геройское усилие уморить себя голодом: несколько дней не принимал пищи, пока наконец он ослабел до такой степени, что ему силой вливали в рот пищу.

Наконец, самое тяжелое обвинение, падающее на Каракозова, это его оговор на меня и на Кобылина²⁶.

Человек, попавший впросак, перестает доверять себе; он более полагается на мнения других людей, которых он уважает. В таком положении был Каракозов после своего покушения и особенно когда открыли его близких знакомых. К несчастью, в это-то время Ишутин, нежно любимый им брат, на очной ставке вынудил у него показание на Кобылина, конечно, не уликой, а намеком, что подобное показание отвлечет подозрение от московского кружка.

Затем остается показание на меня. Но показание это он уже сделал тогда, когда убедился, что мне не избежать обвинения в знании его намерения уже вследствие того, что я скрыл его фамилию в начале следствия; стало быть, не делая на меня показаний, он только доказывал комиссии свою неискренность и усиливал подозрение, что он скрывает других товарищей. Кроме того, его могли убедить, что при множестве других показаний на меня его оговор уже не прибавит ничего важного. И, конечно, не раскаяние побудило его делать — и притом ложные — оговоры, а желание облегчить участь десятка товарищей²⁷.

Самые его показания отличались такой краткостью, такую неопределенностью, что разрушали не только всякую мысль об их искренности, но даже не послужили ни к какому достаточному обвинению перед судом.

Самым неопровержимым доказательством его благородства служит глубокая степень ужасного раскаяния, сожаления о своем промахе, о гибели других, дело которых было для него делом жизни. Это нравственное страдание лишило его сна, не давало ему ни минуты покоя, ослабило его до такой степени, что под конец он сделался тенью прежнего человека, едва держался на

ногах; самая голова даже стала склоняться набок. А пять месяцев тому назад Боткин²⁸ сравнивал его здоровье с быком (так говорили мне в комиссии).

Арест

Задумать бороться с правительством, низвергнуть его, создать новый порядок вещей — это, без сомнения, такая трудная задача, которая даже таким избранным высоким и сильным личностям, как Гарибальди, удается только после целого ряда неудач и попыток.

Задача политического деятеля несравненно труднее любого ученого гения: он должен иметь дело с самыми разнородными представителями общества; ему мало обладать замечательным чутьем в выборе людей; из обыкновенного человека он должен образовать политического деятеля; он должен иметь в виду бесчисленные комбинации, которые могут произойти от его действий, от действий его друзей, от многочисленных случайностей слепой судьбы; ему мало воодушевить своих друзей, мало подстрекать их к деятельности на случай неожиданности: он должен дать им часть своего гения, а это — вещь не всегда возможная. Непроходимая глупость человеческая и служит почти всегда причиной гибели политического деятеля, как бы оправдывая тем известные слова Гейне, что «против глупости и боги напрасно борются».

Положение политического деятеля напоминает народную сказку: царевна-свобода предлагает своим женихам или смертную казнь, или себя и все свое царство, если только они отгадают ее загадку, отгадать которой не может ни один гений в мире, если ему не поможет случай.

И летят головы дерзких смельчаков, пока случай не поможет последнему.

Читатель, может быть, знает, как знаменитый Дэви открыл, что электричество Вольтова столба разлагает воду на кислород и водород; он делал около двадцати опытов, пока наконец не отстранил всех посторонних элементов и получил аксиому.

В науке можно безопасно делать тысячи опытов, а политика не допускает этого. При каждом неудачном опыте ее борцы должны ложиться в гробы, конечно, с верой,

Что эти гробы
Вызовут новое племя
Для новой борьбы.

Самым главным препятствием для всех деятелей служит недостаток денег. Дело, которое они принимают на себя, требует больших расходов; все основные силы своей машины они должны составлять из грунта народного, из людей нищих; «богатые не войдут в царство божие», — им трудно примкнуть к делу, которое сопряжено не только с риском жизни, но даже и капитала. Конечно, с позволения начальства и они сделали бы революцию...

Я уже говорил, в каком бедственном финансовом положении находился я накануне 4 апреля, в день свадьбы Никольского...

Вечером разнеслась молва о покушении. Рассказы были сбивчивы.

Наконец 6 апреля я узнал от одного знакомого, что Кобылин арестован. В кармане было у меня только два рубля. Почти везде и кругом я был должен. В ответ на такое известие я попросил у него десять рублей займа.

— Через недельку я с удовольствием, а теперь деньги-то мне нужны!

Прошла ночь; ареста не было.

«Не преувеличиваю ли я себе опасность? — думал я. — Разве так далеко от III отделения до моей квартиры?»²⁹.

Не прошло и полчаса после обеда, как в залу ввалился хорошо мне известный знаменитый шпион из жидов, полицейский квартальный Юнге, с выражением глаз, свойственным только сыщикам по призванию. За ним следовали квартальный нашего квартала и другие чины полиции, дворник Цеткин, а понятия почтительно остались в передней.

Зорким оком осмотрел Юнге из залы все комнаты и углы, как бы желая схватить все предметы разом. Я вышел к нему из кабинета.

— Я приехал к вам, — сказал Юнге, — по повелению высочайше утвержденной комиссии.

— Очень рад. Чем могу быть вам полезен?

Юнге вошел со мной в кабинет и сказал почти шепотом:

— Нам известно: у вас бывал человек высокого роста, он ходит в поддевке и пр.

Запираться не было возможности: дворник и прислуга могли бы уличить, не говоря уже о той улике, по которой III отделение напало на мой след.

— Да, как же; был у меня два раза такой человек, и я дал ему несколько рублей.

Это было сказано так спокойно и с такою искренностью, что по крайней мере квартальный Дмитриев вполне поверил этому. (В подобных случаях люди делают неподражаемыми актерами.)

— ...Что вы не расспросили его хорошенько: кто он, откуда? — сказал он с сомнением. — Впрочем, он мог и наврать.

— Вы, кажется, уже были у нас под судом? — спросил он опять после размышления (все квартальные чувствуют себя членами верховных политических судов).

Нет, не был.

В это время было приступлено к осмотру бумаг. Работа продолжалась час или два. Я предложил гостям чай и представил им свою жену.

— Вы в четверг на страстной неделе были в магазине Яковлева? — спросил ее Юнге.

— Да, была.

— Видите, как я хорошо помню! — не утерпел он похвастаться.

Всех лиц, которых застали в моей квартире, обязали подпиской о невыезде из города и вскоре потом арестовали. Часу в восьмом вечера подали карету, и мы сели в нее с Юнге.

— Скажите, пожалуйста, почему я знаю, что вы ездили за границу? — спросил он, не утерпев похвастаться своими шпионскими сведениями.

— Вероятно, потому, что вы служили в паспортной комиссии.

Затем мы всю дорогу не говорили ни слова.

Наконец меня высадили у освещенного III отделения. После некоторого ожидания пригласили меня в залу, где Огарев, Врангель и «шалун свиты его величества» разбирали мои бумаги³⁰. В бумагах не нашлось ничего подозрительного, зато было несколько листов очень странных народных сказок, загадок, пословиц. Чтение этих листов в течение нескольких вечеров доставило особенное удовольствие некоторым членам III отделения.

Огарев начал допрос.

— Ведь вы знали этого человека?

Я повторил прежнее.

— Вы сколько платите за квартиру? — спросил он.

— Тридцать рублей в месяц.

— Я плачу за квартиру двенадцать тысяч рублей серебром в год (разумеется, это он солгал немилосердно). Да отчего же он обратился не ко мне, а к вам?

— Да у вас, ваше превосходительство, без сомнения, у подъезда стоит толстый швейцар с булавой и жандарм с саблей... Кто же с улицы осмелится к вам зайти? А мы живем попросту.

— Ну, тогда скажите, от кого он приходил? Вы не думайте, что вы нам неизвестны. Ваша книга была запрещена правительством. Вот теперь проповедование ваших взглядов, ваших идей довело вас до знакомства с людьми, от которых вы сами теперь отказываетесь.

— Я не знаком ни с одним подозрительным человеком.

— Но ваша жена — первая нигилистка в городе. Вы знакомы с Никольскими, а они у нас были под судом...

— Я с ними познакомился всего несколько дней тому назад...

— Вот и этот человек, который выстрелил в государя, не случайно же к вам зашел?

Услышав такую неожиданную весть, я пришел в такой ужас, который переходит в дурноту. Это было самое убедительное доказательство.

— Ну, если не знаете, то скажите, от кого же он приходил?

— И этого положительно не знаю.

Каракозов, который больше всех должен был быть готов к такому показанию, подтвердил его, но не нашелся объяснить его. Ему стоило бы только сказать, что он слышал обо мне разговор на Невском, в каком-нибудь книжном магазине, наконец в Публичной библиотеке, и меня бы выпустили, потому что показания дворников, служанок как раз совпадали с моими показаниями и ставили меня вне подозрения.

К несчастью, на вопрос: «Почему вы обратились к Худякову?» — он ответил: «Вижу: школа, и вошел».

Это был ломовой ответ; потому все-таки остался вопрос: от кого он приходил ко мне? — и потому меня удержали еще несколько дней.

Считая меня уже вне подозрения, правительственные сыщики и члены комиссии подняли при мне шумный спор о том, кто такой должен быть царевубийца. Всякий хотел показать свою гениальность, всякий, подобно гоголевскому капитану Копейкину, давал свое гадание и утверждал как непреложный факт. Но всех громче хвастался Юнге.

— Я вас уверяю,— говорил он,— не будь я Юнге, что он семинарист. И выговор у него семинарский.

Прошло еще несколько дней, пока открыли фамилию Каракозова. Каждый офицер, который приходил провожать меня в номер, непременно спрашивал:

— Ведь вы были с ним знакомы? Вы знали его?

— Кого? — спросил я однажды с досадой.

Офицер был из непахотчивых и ничего не ответил. Арестованных, кроме меня и Кобылина, в то время почти никого не было. Кобылин показал, между прочим, что к нему на квартиру приходил однажды для свидания с Владимировым человек невысокого роста с темными волосами, но лицо его было почти закрыто воротником, так что его нельзя было рассмотреть. Я подходил под эти приметы; меня одели в пальто с воротником и поставили перед Кобылиным.

— Этот? — спросили его.

Кобылин, очевидно, был в затруднении...

— Да почти такой же рост и темные волосы.

— Вы были в доме Афанасьева на Выборгской стороне?

— В первый раз слышу,— отвечал я с удивлением.

Внезапное вдохновение, которое посещает иногда людей в трудные минуты их жизни, озарило Кобылина на этот раз.

— Нет, это не тот. У того волосы были гладко приглажены.

— Ну, у этого уже с колыбели волосы включены! — воскликнули члены, и меня с торжеством отвели в номер.

Однако ж другими путями в то время была открыта фамилия Каракозова. Из дальнейших допросов оказалось, что я знаком с Ишутиным, а Ишутин — двоюродный брат Каракозова; стало быть, очень ясно, что Каракозов обратился ко мне, слыхав обо мне от брата... Та-

ким образом, дело оканчивалось так, что мои показания оправдывались, и я должен был быть выпущен на свободу через день или два.

Следствие

Но увы, первым вредным свидетельством против меня было показание Ермолова, что Ишутин слышал от меня в Москве о приезде Каракозова в Петербург. Конечно, делая такое показание, Ермолов не воображал, что он ставит меня в неловкое положение. Ишутин подтвердил его показание, что уже доказывало, что Каракозов был мне известен под настоящим именем.

Снова взялись за меня; запирались долее значило только навлекать на себя большее подозрение, и потому я показал, что действительно скрыл фамилию Каракозова, но единственно из опасения, чтобы такой ужасный человек не сделал на меня какого-нибудь оговора... Этим, может быть, дело и кончилось бы, но, к несчастью, тут уже доносы посыпались со всех сторон.

Трудно себе представить, какая шпионская мания охватила публику после 4 апреля... Жена офицера Алексеева³¹, рассорившись с мужем из-за каких-то пустяков, донесла, что он был знаком с друзьями Каракозова и что, без сомнения, у них было тайное общество. Красавец Корево, только что познакомившийся со Странденном, донес на целый десяток человек как на членов «Ада», положившего истребить царскую фамилию³².

Одним из самых жестоких доносов был донос на меня Владимира Лебедева³³. Это тот самый, которого в 1861 году чуть не убили на площади и с которым жена моя имела неосторожность поспорить за две недели до 4 апреля... Может быть, его подстрекнула к доносу и мать, которая еще год тому назад хвастала доносом, а теперь была сильно зла на нас за свадьбу Никольского. Донос В. Лебедева был сделан так, что, по всем соображениям, я—виновник 4 апреля; что я всегда был агитатором; что моя жена в 1864 году бросила на площади букет Чернышевскому; что я всегда везде проповедовал свои идеи; что весь город указывает на меня как на зачинщика. Только, к сожалению, сам я лично не говорил с ним ни о каком политическом деле. По городу разосланы были шпионы, которые и подтвердили город-

ские слухи. Тогда принялись за меня обеими руками; с той поры редкий день проходил, чтобы мне не было допросов раз или два, а иногда и три раза.

— Что это вас таскают так часто к допросу? — спросил один дежурный офицер. — Разве вы в чем-нибудь виноваты?

— Нет, верно, они предпочитают говорить более с невинными.

Сначала не знали, чем взяться.

— Муравьев вас осудит на основании «Самоучителя»; вы распространяли идеи, направленные к низвержению религии и правительства.

— Нисколько; верно, Муравьеву ложно доносили: книга — самая нравственная и полезная.

— Хорошо, вам будут об этом вопросы. Я книгу принес.

Я посмотрел: экземпляр еще не был разрезан.

— Позвольте же мне разрезать.

— Нет, вам нельзя: эта книга запрещена правительством. Нет, уж вы не отговаривайтесь: ячейки, ячейки! Рано еще народу было знать об ячейках!

Этим и кончился вопрос о «Самоучителе».

Потом шли вопросы о нигилизме, о центрах нигилизма, о том, что я сделал бы, если бы был начальником края; каждый вопрос начинался и оканчивался вопросом: «Вы направили удар?»

Увещания продолжались по суткам, так что утомляли меня даже физически.

— Неужели вы думаете, что между этой массой доносов правительство не сумеет различить правду? Теперь вас в городе готовы растерзать. Михаил Николаевич (Муравьев.— *Сост.*) — государственный человек; город послал ему одних з о л о т ы х калачей целые тысячи. Теперь Комиссаров ³⁴ сделан...

— ...членом-сотрудником филантропического общества! — подсказал я.

На это следователь, улыбаясь, погрозил мне пальцем.

Затем шли допросы об Утине, Печаткине ³⁵, о поездке за границу; все это не приводило ни к чему.

— Скажите, пожалуйста, да почему же в городе все говорят про вас?

— Очень понятно: ну, написал либеральную книжку, теперь арестован. Им нечего делать — вот и кричат...

Да, может быть; сами ваши шпионы и подняли этот крик...

— Нет, уж вы не отпирайтесь... Вот вчера был здесь (в крепостном соборе) митрополит; я нарочно хотел за вами послать.

— Да напрасно вы воображаете; что я — политический человек; довольно уже взглянуть на меня, чтобы убедиться, что я не могу быть политическим деятелем...

— Ну нет, сила духа обратно пропорциональна телу...

— Например, Петр Великий! — возразил я.

— Ну, это исключение.

Затем следовал допрос о деятельности и образе мыслей моей жены. Я, конечно, не мог отгадать, как она будет держаться при допросе, и отвечал, что у нее, как у женщины, никакого образа мыслей нет и на каждой неделе семь пятниц.

Таким образом, допросы оканчивались ничем, зато опасность приближалась с другой стороны. Москвичи уже выдали, что я был великим постом в Москве и что мне была известна фамилия Каракозова. Это было тем более странно для меня, что по моим расчетам ни Ишутин, ни Странден никоим образом не могли быть в комиссии, самое заpiresательство Каракозова в... [Пропуск в тексте.— Сост.]

Затем комиссия как-то узнала, что я знаком с Мотковым; наконец мне делали допросы об «обществе вольных стрелков»... ³⁶.

Этот вопрос всего более смущал меня; стало быть, у них открыто общество, если о нем дают письменные вопросы.

— Вы ужасно упорны, — сказали мне в комиссии, — у нас вы самый упорный. Да и запираетесь-то вы напрасно. Вас все равно уличат; вам будет много очных ставок: с Корево, Юрасовым, Странденом, Ишутиним и прочими. Сегодня Михаил Николаевич едет к государю, и если вы сейчас же не напишете сознания, то он должен будет доложить о вас государю как о самом упорном.

«Все разоблачено, — думал я, — не даром предупреждал Мотков».

— Пусть докладывают, как знают, а я совершенно ничего не знаю.

Положение всякого попавшегося в руки III отделения сходно с положением сказочных героев. Богатырь идет к своей цели длинными, неизвестными путями, а нечистая сила со всех сторон старается испугать его страшными образами; она принимает виды огненного озера, ужасающих чудовищ, всевозможных гадов и голосов: то прикидывается она плачущей красавицей, то зарезанным ребенком. Если только герой обернется лицом, нечистая сила с торжеством разрывает его на мелкие части; если же он, несмотря на ужас, идет себе без оглядки, он наконец благополучно достигает своей цели, а нечистая сила, видя его победу, с диким воплем кинется от него в сторону...

В таком же положении находился и я; к сожалению, я не был богатырем; здесь я должен напомнить читателю, в каком жалком состоянии я вернулся из-за границы в Петербург, где я не имел средств лечиться, а новые два месяца жизни с женой довели меня наконец до того, что я едва держался на ногах. Ишутин видел меня из окна Никольской куртины и подумал: «Он непременно вскоре умрет». И такой-то полумертвый человек выдерживал сотни допросов и часто давал весьма тонкие ответы...

В крепости кормили такой пищей, которой не позавидовали бы многие собаки. Подозрительность моя так усилилась, что я не принимал даже лекарства, присланного доктором Бером. Конечно, заключение, соединенное с постоянной тревогой, не могло поправить мое здоровье; напротив, оно совершенно лишило меня аппетита и физических сил. Притом в это время я сидел уже в Николаевской куртине, как бы обреченный на съедение вшам.

При таком-то физическом состоянии меня снова потребовали к допросу (24 апреля).

— Что вы делаете, что вы делаете? — говорили следователи. — Муравьев уже докладывал государю императору, и он приказал требовать от вас сегодня же немедленного сознания, а то приказал вас объявить вне законов, пытать и затем расстрелять через шесть дней военным судом!

Зная Муравьева, зная исключительность следствия, не бывавшего уже сто пятьдесят лет, кто бы не поверил, что это правда...

— Пусть лучше расстреляют!— вскричал я с отчаянием.

Будь я здоров, не будь мои нервы так расстроены, без сомнения, я ответил бы иначе: «Что же, вы можете расстрелять и невиновного, но все-таки я на площади скажу, что я невиновен».

Из этого возгласа следователи заключили, что я действительно что-то знаю, только не хочу сказать.

— Да вы напрасно отказываетесь. Поверьте, ведь нам все известно. Ваше показание нам даже не нужно; ваши товарищи уже все показали.

— Что же?

— Да вот об их тайном обществе, о ваших сношениях, о поездках, о том, зачем Странден с Ишутиним были у вас в Петербурге два раза.

Эти слова были каплей, переполнившей сосуд. Прислуга не могла показать этого: она не знала фамилии моих знакомых; Ишутина и Страндена не может быть в комиссии; стало быть, это несомненное доказательство, что москвичи разболтали все до последних пустяков.

Меня побороли две мысли: мысль о пытке³⁷ (я был слишком слаб физически, чтобы презирать ее) и убеждение в том, что бесполезно скрывать то, что уже известно. В эту минуту мне даже показалось выгодным написать что-нибудь для того... [Пропуск в тексте.— *Сост.*]

Это ложное соображение заставило меня написать на Ишутина какую-то ерунду (смешно думать, что это выдавалось за сознание). Но не успел я еще окончить показание, как по глазам следователей я с быстротой кошки успел заметить, что меня поймали в ловушку. Первым моим движением было изорвать показание; если бы я ограничился этим, изорванные клочки никогда бы не составили показания; но нервные больные люди бывают иногда весьма эксцентричны в своих действиях, а мне захотелось даже, чтобы никто не прочитал моего показания, и потому, смяв клочки, я захотел сжевать их. В одну минуту два зверя бросились на меня и из всех сил избили меня до такой степени, что я потерял сознание и написал новое показание о том же, но уже под диктовку следователей.

Меня отвели в каземат совершенно убитого нравственно и физически — с отчаяния я решил прекратить свою жизнь (на этот случай у меня был ремень, кото-

рый я с самого начала искусно прятал от всех обысков). Ночью, лежа на кровати под одеялом, я затянул себе шею как можно туже и задел за железный крюк; кровь стала приливать в голову; я чувствовал, как лицо мое раздувалось, дыхание сделалось затруднительным, но смерти не было... Будь я в то время здоровее, полнокровнее, этого было бы вполне достаточно для самоубийства. Я пробился так час или два, силы мои истощились, ум и его энергия омрачились от прилива крови, а рука как-то совершенно против воли сама собой сдернула ремень с крючка... Таким образом, эта попытка не умертвила меня, а только окончательно истощила мои силы. Такова была годовщина свадьбы...

На другой и на третий день я едва-едва ходил, был в каком-то полусознательном состоянии и еще раз написал в комиссии подлое показание.

Наконец на четвертый день ко мне привели крепостного доктора; этот доктор глядел человеком; он внимательно осмотрел меня и прописал лекарство, которое снова восстановило мои силы в такое нужное время.

Между тем члены комиссии торжествовали... Они поймали теперь в сети главную птицу, теперь от них никто не уйдет...

— Веревоч у нас много; мы их всех перевешаем,— рассуждали они в восторге...

Каково же было их удивление, когда при новых допросах я потребовал себе бумаги, чтобы опровергнуть прежние показания. Конечно, мне в этом отказали и составили ложный акт, что будто бы я подтвердил свои показания и даже разъяснил их в подробностях (но каких — неизвестно). В этом случае они, конечно, подсунули бы бумаги... Однако и эта уловка была бесполезна.

В это время смотрели на нас слегка как на кучку мальчиков, не представляющую серьезной опасности государству. Еще с самого начала следствия москвичи повредили себе тем, что сознались в знании намерения Каракозова; они припутали в своих показаниях имя Константина Николаевича³⁸ как будто нарочно для того, чтобы дать Муравьеву большую силу (Константин Николаевич был всегда врагом Муравьева). Затем показание об европейском комитете³⁹ впервые убедило комиссию в существовании серьезного заговора. Тут-то начался самый разгар следствия. Я не буду здесь пере-

давать груды письменных показаний, а сделаю только несколько замечаний, которых нет при деле.

Только секретарь и некоторые прикомандированные офицеры и чиновники отличались опытностью в следственных делах. Напротив, члены комиссии отличались замечательной тупостью. Муравьев почти ничего не понимал, что происходило у него перед глазами, и только, как слабоумное дитя, радовался, вспоминая, что ему еще прежде удалось донести на мой «Самоучитель».

— Беспечность властей, беспечность властей! — твердил он с видимым удовольствием. — Если бы не я... пожалуй, теперь продавали бы второе издание!...

Генерал Шварц, выписанный из Варшавы, не мог сказать слова, чтобы не упомянуть о виселице; генерал Огарев не знал, что такое трихина, и смешивал ее стрихнином; после обеда всегда был пьян и сидя храпел на стуле; трезвый, любил более всего похабные разговоры...

— Эти нигилистки живут по пословице: «Чей бык ни скачет, а телята наши», — сказал он однажды при мне.

— Ваше превосходительство, вы говорите, как эксперт в этих делах, — заметил я ему.

После этого он при мне был сдержан.

Как ни билась комиссия, но все-таки при новых письменных показаниях я совершенно отвергнул прежние, как данные в болезненном состоянии. Таким образом, старые показания совершенно уничтожились, к величайшему озлоблению комиссии; она не могла воспользоваться моими показаниями при составлении обвинительных актов...

После того меня осыпал целый дождь больших и малых показаний, а комиссия не могла добиться от меня ничего... Европейский комитет с целью убить всех государей Европы, фальшивые паспорта, наркотические вещества, рекомендательные письма для освобождения Чернышевского; сношения и знакомства с Герценом, Огаревым и Утиным; показание Моткова о том, будто он мне поручал донести, что Каракозов хочет покуситься на жизнь государя; показание самого Каракозова, что мне известно было его намерение, что я содействовал его преступлению, давши ему денег на покупку пистолета; письмо, писанное неизвестной рукой химическими чернилами, письмо, где говорилось, что «скоро крест Михаила-архангела будет в наших руках», и упо-

минался ряд псевдонимов, письмо, которое будто бы дал я; наконец, показание о том, что будто бы я имел намерение взорвать на воздух наследника престола, и проч.—все это падало на меня своею тяжестью, но я не сдавался и отрицал решительно все.

Комиссия, впрочем, имела полное убеждение, что смерть моя будет ее утехой. Когда Ишутин хотел отказаться от своих показаний против меня, то ему сказали очень спокойно:

— Не думайте, что вы его избавите от смертной казни. Его расстреляют уже по одному сибирскому сепаратизму⁴⁰.

Но всего более обозлило комиссию против меня показание, что будто бы я подговаривал Ишутина основать в Москве особое тайное общество с исключительной целью царсубийства; что когда он возразил мне, что народ привык к царям, то я отвечал, что все-таки можно убить царя, произвести революцию, а народу сказать, что его убили помещики...

— А, так вот что ему хотелось: нас-то, нас-то всех перерезать,— кричали члены комиссии. Они все были помещики...

Едва ли с основания Российского государства на кого-нибудь были столь тяжелые показания. Комиссия заранее меня повесила и объявила почти всей России о моей смерти... Однако торжество ее оказалось преждевременным.

Досада комиссии была тем сильнее, что уже никто ничего не мог более от меня добиться. Муравьев лично грозил мне пыткой, посадил меня на хлеб и воду (так же сажали Ишутина и Никифорова) и поставил карательных в номере.

Впрочем, никакие меры не действовали; в случае пытки я хотел сделать показание на Срезневского, а на другой день опять отказаться, чтобы поставить тем комиссию в новое затруднение.

Все члены комиссии, не исключая «шалуна свиты его величества», поочередно брали меня под свое покровительство и употребляли все способы выпытать что-нибудь из меня...

— Ну, Худяков, повесят,— говорил один из них,— по крайней мере императору-то надо все открыть.

— Да уж покайтесь; тут нечего заператься.

— Ну, что других жалеть, когда своя крыша каплет?

Вы не скажете — другие скажут. (Пусть себе говорят, если знают; я бы и рад показать, да нечего.)

— Вот Каракозов: в том, по крайней мере, раскаяться есть... А вы? Вы ничего не хотите показать. Вот посмотрите: Каракозова император помиловал, а вас нет...

Я сам твердо был убежден в этой мысли: помиловать человека, увлеченного, толкнутого другим (так думала комиссия), и казнить подстрекателя было бы делом справедливости.

— Вот этого я люблю,— говорил... [Пропуск в тексте.— *Сост.*] — пропадать, так пропадать одному.

И действительно, я решился скорее десять раз умереть, чем сделать вынужденное показание. И впоследствии, когда моя твердость так неожиданно вознаградилась, мне нередко приходили на память евангельские слова: «Кто хочет спасти душу свою, погубит ее, а кто хочет погубить душу свою, спасет ее»...

Между тем в обеих столицах был поднят обо мне ужасный шум. Всех моих знакомых, даже мою шубу и платье, все заарестовали и потребовали к допросу. Каракозов и еще кто-то показали, что они видели у меня некоего поляка с черными усами, поэтому полиция пересчитала по пальцам всех поляков Петербурга и некоторых из них арестовала. (Таков был, между прочим, Гурко, сотрудник «Голоса».) Не знаю, кто (но, вероятно, В. Лебедев) донес, что я два месяца обедал в технологической кухмистерской. По этому случаю чуть не арестовали весь Технологический институт. Напрасно я уверял комиссию, что ходил в кухмистерскую единственно с гастрономической целью.

Нет, вы непременно там свои идеи проповедовали.

Несчастный Линева⁴¹, бывший у меня всего два раза за покупкой археологических книг, просидел в крепости несколько месяцев... Все хозяева моих квартир, чуть ли не с самого моего приезда в Петербург, служанки, дворники, будочники, даже часовые с мостов (например, Сампсониевского) должны были давать обо мне свои показания.

Нечего говорить, что мои сожители по квартире избегли общей участи. Сестра моей жены, Варвара, шестнадцатилетняя девочка, жившая со мной только три дня перед моим арестом, просидела в части шесть недель. Скверное содержание, духота помещения вредно

подействовали на болезненную девочку, так что по выходе ее на свободу доктор объявил, что она непременно умрет, что у нее начали гнить легкие... Так легко можно убить невинного человека! На арест этот комиссия не имела права, но комиссия придерживалась средневекового права, когда за преступления одного казнили всех родственников.

Дело Александра Никольского имело близкое отношение ко мне. Комиссия производила обыск в моей старой квартире и по пути обыскала те комнаты, которые были по соседству. Тут, между прочим, жил студент Яковенко, у которого и нашли письма Александра Никольского — письмо, написанное накануне 4 апреля: «Вчера там говорили, что нужно усилить работу... Присылай побольше денег...» «Вчера» относилось ко 2 апреля, а Каракозов по ошибке показал, что он получил от меня денег на пистолет в субботу, 2 же апреля. У комиссии, естественно, явилось подозрение, что в субботу у нас была сходка, на которой и было решено покушение. Никольского спросили:

— Где это там?

Никольский указал на Лопатина⁴², но Лопатин отвечал, что он не видел Никольского две недели до покушения. На новый допрос Никольский отвечал, что там значит университет, но и это объяснение было неудачно: 2 апреля была пасха⁴³ и в университете никого не было. Подозрение усиливалось еще более показанием Каракозова, что он видел в моей квартире Никольского. Наконец девица Комарова по ошибке показала, что Кобылин просил у нее на страстной неделе квартиры для человека, «который приедет из Москвы по важному делу», и что когда она обратилась к Никольскому, то у него вырвалось только два слова: «А, знаю!»

Комиссия сообразила, что я был у Кобылина и у Каракозова, что о замысле Каракозова знали не только Кобылин и я, но через меня и Никольский. Это дело грозило мне новой петлей, но Никольский был тверд, а девица Комарова показала, что у Никольского была такая привычка говорить: «А, знаю!»

Еще с двадцатых чисел мая меня перевели в рavelин. Комиссия держалась такой бессмысленной системы: главные виновники (Каракозов и Ишутин) сидели в рavelине, и на содержание им отпускалось семьдесят копеек в сутки; менее виновные сидели в крепости, и на

них отпускалось тридцать копеек в сутки; наконец, невинные свидетели сидели по частям и получали десять копеек в сутки. Нечего говорить о строгости рavelинского заключения: солдаты всегда входили вшестером и должны были следить друг за другом; им было запрещено отвечать что бы то ни было, кроме «не могу знать»... «Сегодня дождик?» — «Не могу знать». — «Сегодня среда?» — «Не могу знать» и т. д.

Комендант рavelина был старый полковник-пемец, постоянно приговаривавший: «Ну-с (Nuss) — по-русски орех» (вместо того, чтобы сказать: Nuss — по-немецки орех). Провожая меня к допросам, он постоянно удивлялся:

— И с чего вы выдумали сделаться распорядителем такого обширного тела, как громадная Российская империя?

— Не знаю, с чего вы выдумали, что мы выдумали, — ответил я. — Может быть, мы ничего и не думали...

— Захотели вы быть умнее нас...

— Удивительно! Какова дерзость! — подсмеивался я.

— Я думаю, это все от праздности, — заключил он решительно.

Иногда, впрочем от скуки, идя к допросам или обратно, я сам начинал с ним разговор.

— Так-то вот старая Россия молодую на веревке и водит.

Помощник рavelинского коменданта, еще молодой офицер Соболев, приговаривал обыкновенно другое:

— Ничего, ничего, все перемелется — мука будет.

Или:

— А вы думали: тяп-ляп, да и клетка...

Сначала я думал, что показания мои 24 и 25 апреля повредили только мне одному; я даже считал их полезными в том отношении, что... [Пропуск в тексте.— *Сост.*] Однако очные ставки и показания москвичей убедили меня в том, что и моя ошибка вредна многим; мало того, она уже перестала мне казаться ошибкой и представлялась как самое наглое и подлое преступление. С тех пор в продолжение всего заключения и долго после того я смотрел на себя как на человека, сделавшего самую возмутительную подлость.

Под влиянием нервного, усиленного вследствие голода, тюремного заключения, допросов, мой проступок ка-

зался мне столь громадным, столь бесконечно преступным, что ни ночью, ни днем ни на минуту я не был в нравственно спокойном состоянии. Ложась в девятом часу спать, я мог заснуть только в три-четыре часа; после двух-трех часов беспокойного сна я тревожно вскакивал с кровати и в величайших нравственных мучениях бегал по комнате... Я даже не мог читать книги: каждое слово казалось мне обличием моей неслыханной подлости и возбуждало только сильное угрызение совести... К несчастью, я никогда не отличался слезливостью, а слезы были бы для меня большим облегчением в подобном положении.

Мучения мои были столь сильны, что я едва-едва совершенно не сошел с ума; днем и ночью я беспрестанно бегал кругом по каземату и ругал себя всякими ругательствами, какие только мог придумать (на свободе я никогда не ругался). Казенные башмаки были очень тонки, и ноги мои ежедневно покрывались новыми и очень большими мозолями. Я возненавидел себя, по крайней мере, во сто раз больше, нежели самых злейших своих личных врагов, и вместе с собою возненавидел свою жену, как коренную причину моих ошибок⁴⁴. Даже до сих пор, несмотря на то что уже полтора года и множество новых впечатлений легли на душу, я не могу забыть это обстоятельство и еще ни разу не был так весел, как бывало прежде. Даже прогулка в равелинском саду не могла меня развлечь: и в саду я точно так же бегал, повторяя себе те же проклятия.

— Что это вы, барин, так мучаетесь? — спросил меня часовой (это было уже в августе).

— Нагрешил, так вот теперь и мучаюсь, — отвечал я.

— Ну, какие у вас грехи! — воскликнул он тоном самого искреннего убеждения. — Разве за родительские!

Сам я считал себя достойным казни, и если бы не ненависть к комиссии, то, кажется, я сознался бы во всем, что могло вести меня одного на виселицу.

Я страдал так глубоко, что не знаю, с чем сравнить свое чувство; нравственные терзания сильно истощают физические силы. Поэтому я впоследствии сам нередко удивлялся: откуда у меня взялись силы, что при своей физической слабости я перенес все это и остался жив? Вдумываясь теперь в это, полагаю, что только эта постоянная бессознательная беготня вследствие могучести мучений и дала мне силы перенести страдания:

волей-неволей она должна была доводить меня до физического утомления и давать мне хоть по два, по три часа некоторого успокоения во сне.

Между тем допросы продолжались; бóльшая часть членов комиссии уже махнула на меня рукой. И те члены, которых посылали увещевать меня, уже лепились говорить со мной что-нибудь о допросах и, помолчав наедине со мной, возвращались с ответом: «Упорствуует». Один из них, посланный однажды ко мне, просидев со мной молча десять минут, сказал наконец:

— А ведь признайтесь, вы никогда не жили так хорошо и удобно?

— Конечно, тут, по крайней мере, не боишься, что арестуют, — отвечал я.

Затем последовало снова молчание минут на десять.

— А в комиссии вами недовольны, — начинал он.

— Что так?

— Да вы ужасно неоткровенны.

— Помилуйте, я откровенен более, чем кто-нибудь. Я показал даже более, чем знал.

Правой рукой Муравьева, секретарем комиссии, был некто Переяславцев, необыкновенно отвратительная фигура с огромнейшими вывалившимися глазами, которые напрасно старались закрыть большие синие очки. Однажды, когда после улики трех человек я все-таки не сознался в том, что давал им фальшивые паспорта, Переяславцев сказал мне:

— После этого вы, пожалуй, скажете, что вы не Худяков?

— Да и сказал бы, если бы так было!

Некоторые важные очные ставки, против обыкновения, делались без предварительных письменных показаний; комиссия как будто хотела поразить ими меня. Таковы были очные ставки о намерении покунуться на жизнь наследника и о снабжении Каракозова деньгами на покупку пистолета. На первой из этих очных ставок я увидел одного из своих знакомых — худого, больного; очевидно, он много перенес, а может быть, и был болен. Он рассказывал несвязные фразы о наследнике, о маленькой штучке, которая может взорвать корабли и поезда. Вопреки ожиданию комиссии я не только не смутился, но даже засмеялся.

— Ну что вы смеетесь? — воскликнул генерал Берг, размахивая с досады руками. — Ныне химические сред-

ства так развиты, что одной бутылкой можно подорвать целый дом.

— Не знаю, я химии не изучал, а показание его опровергается все-таки уже тем, что никакая штучка не может действовать в одно и то же время на воде и на суше — уже что-нибудь одно.

— Нет, вы уж, пожалуйста, сознайтесь! — упрашивал несчастный обличитель.

— Да вам-то что? — спросил я его.

— Пожалуйста, разве мне хочется умирать? — отвечал он.

Бедняк был так расстроен заключением, что не видел, что, делая на меня такое показание, он сам лез в петлю уже за одно недонесение, и воображал, что этим он от нас избавится.

— А мне все равно, — отвечал я ему резко.

Огарев посмотрел на меня внимательно:

— Вот он mortus-то ⁴⁵ где! — прибавил он, показывая на меня очками, которые вертел в руках.

Очная ставка с Каракозовым тоже не произвела ожидаемого результата; я только рассердился и сказал ему, возвысив голос:

— Ну что это вы говорите! Это подло и глупо!

Однако Каракозов был человек твердого характера, и если он решил однажды свой поступок, то никакими возгласами его не вспугнешь. От моих слов он только покосился и утвердил свое. Затем его увели.

— Ну что вы еще запираетесь? — начал снова Берг. — Вот человек; вам его не отвести: ведь он вами был доволен, он получил от вас деньги. Он — человек, удрученный своим преступлением; он знает, что ему судьбы своей не миновать. Неужели вы думаете, что поверят вам, а не ему?

— Не знаю, кому вы поверите; вижу только, что Каракозову кажется скучным помирать одному.

Муравьев сам пробовал несколько раз увещевать довольно грубо, но совершенно без успеха. Тогда он переменил тактику. Однажды, призвав меня в полное собрание комиссии, Муравьев сказал мне:

— Вы, как государственный преступник, во всем запираетесь. Ну что вы не хотите показать на этого мещанинишку Никифорова? Ведь он во второй раз хотел стрелять по государю?

— Я его видел только несколько минут и фамилию даже позабыл; я ничего не знаю о нем.

— Право, я вас жалею,— начал Муравьев,— вы еще человек молодой; если вы будете откровенны, я сам буду ходатайствовать о вас перед государем императором. Государь милосерд и в уважение к вашему чистосердечному сознанию может еще даровать вам жизнь, а после, быть может, лет через тридцать, освободившись от работ, вы будете себе с своей семьей жить на поселении и вам, может быть, под старость еще улыбнется счастье. Я очень вас жалею. Вот я вам даю срок подумать до завтра; потом я сам буду с вами заниматься. Если позволит Государственный совет, то завтра, а если будет нельзя, то послезавтра. Если вы, может быть, стесняетесь господ членов комиссии, то я их всех попрошу выйти и сам один стану с вами заниматься.

Чтобы посмеяться над Муравьевым, я отвечал ему самым почтительным тоном:

— Сочту долгом все чистосердечно изложить лично вашему высокопревосходительству.

Однако назавтра Государственный совет задержал Муравьева, и меня повели к нему только послезавтра. Члены все были изгнаны из главной присутственной залы и сидели в другой, так что, проходя к Муравьеву, я миновал их. Все они сидели в глубоком молчании, облокотившись на стол. Надо сказать, они все ужасно трусили Муравьева, даже боялись курить при нем папиросы, поэтому они вполне были убеждены, что я все открою Муравьеву. Все государственные лица приняли напускной вид государственной мудрости; все они уже как бы видели перед собой мои откровенные показания и делали на основании их уже новые государственные соображения. В присутственной зале с Муравьевым был только один секретарь.

— Ну, приготовились ли вы рассказать все чистосердечно?

— Совершенно готов.

— Ну, садитесь вот сюда!

Бархатное кресло было уже давно готово; я сел рядом с Муравьевым, поконившимся в золотом кресле.

— Ну, расскажите же, как это вы вздумали республику-то устроить? — спросил он.

— Что же? Республика, конечно, в России непременно будет... — отвечал я твердо.

— Ну, конечно, будет,— подтвердил Муравьев.— Но как же вы старались ускорить это время? Ведь своим «Самоучителем» вы и в двадцать пять лет этого не сделали бы? Ну, скажите, зачем вы ездили за границу?

— Лечиться.

— Мм... мм... Ну хорошо, так... лечиться. Ну а еще зачем?

— Больше ни за чем.

Затем последовал ряд вопросов, на которые последовали такие же ответы. Муравьеву стало досадно.

— Уведите его,— обратился он к секретарю,— мне некогда с ним заниматься.

Я встал и пошел к дверям.

— Да надо еще, чтобы вы изложили свой образ мыслей.

— Хорошо, дайте бумагу, я напишу.

— Там вам дадут.

Мы вышли через переднюю комнату; члены все еще сидели неподвижно. Было очевидно, что их государственные соображения только еще достигли своего апогея.

Меня отвели в отдельную комнату и дали бумаги. Тон, с каким сказаны были Муравьевым слова, что надобно изложить мой образ мыслей, породил во мне догадку, что этот допрос ему приказан свыше; а так как члены комиссии все будут знать, что я напишу, и так как все они в ссоре между собой и каждый из них может шпионить на каждого, то, очевидно, мое показание дойдет до государя.

Я написал, что с распространением богатства распространяется образование, а с образованием у всякого народа появляется потребность большей свободы; в свою очередь, может быть богата только та страна, которая имеет свободное политическое устройство; что Турция, несмотря на богатство природы, самая бедная страна в Европе, напротив, Англия вследствие свободы самая богатая; что революция (т. е. изменение старого порядка) начата самим государем (освобождением крестьян и другими мерами); что теперь для полного счастья страны остается сделать только один шаг — дать полную свободу печати и английскую конституцию; что, к сожалению, Строганов и тому подобные государственные люди поссорили государя с литературой в такое время, когда она всего более поддерживала правительство против помещиков-крепостников (в начале

1861 года), и что ряд полицейских притеснений и ряд явлений, показавшихся государю бунтом против особы, что ряд постоянных заговоров (в Польше, Петербурге, Москве, Казани, Сибири) за последние четыре года показывает, что потребность политической свободы проникла всюду; что люди с радостью возьмут то, что они желают приобрести ценой жизни; что иначе приближающийся финансовый кризис разрешится ужасным кровопролитием; что через восемь лет после закрепления крестьян в 1596 году⁴⁶ наступило для России «смутное время» и оно, несмотря на грубость этого века, привело к конституции 1613 года⁴⁷; что в настоящее время, если государь хочет приобрести полную любовь народа и имя полного освободителя народа, он должен дать России свободу печати, дать большие права земству и ввести по крайней мере английскую конституцию; что подобный шаг окружит навсегда его царствующий дом такой глубокой любовью и преданностью, какие окружают английскую королеву, не опасаящуюся никаких покушений на свою жизнь; что народу будет выгодно платить несколько миллионов на содержание императорского двора за охрану народной свободы; что те лица, которые теперь представляются самыми яркими врагами монархизма, будут тогда его самыми жаркими защитниками.

К сожалению, я не мог дать своему показанию ту литературную обработку, которую бы хотел, во-первых, потому, что на меня неожиданно нашло такое нервное состояние, что слова совершенно не слушались меня (это нередко бывало со мной в крепости); во-вторых, меня ужасно торопила комиссия: ей так и хотелось прочитать поскорей. Наконец, так как я имел в виду увлечь императора реформами, то мне неловко было яснее изложить ему всю тождественность между глупым освобождением крестьян и закреплением их в 1596 году.

Лишь только я кончил, мое показание поспешно подхватили и понесли для прочтения в комиссию, а я попросил своего полковника отвести меня обратно в рavelин. Не успел я отобедать, как ко мне впопыхах вбегает комендант и забегал по комнате с таким беспокойством, как будто у него горели фалды.

— Что вы делаете? Что вы делаете? — затараторил он. — Вы этим только себе повредите. Я не советую вам это писать. — И т. п.

Я, конечно, хорошо понимал, что он не обо мне беспокоится.

Теперь мне представляется вопрос: хорошо ли я сделал, дав такое показание? Ведь оно не увлекло государя к реформам, хотя, конечно, не могло усилить реакции, которая уже достигла своего апогея в рескрипте 16 мая 1866 года⁴⁸. Стало быть, оно было бесполезно. На такое заключение я припомню читателю ту истину, выработанную историей, что «никакое благородное усилие не проходит даром». Кто знает, может быть, оно принесло пользу кому-нибудь из придворных, кому-нибудь из низших офицеров крепости и комиссии, которые были вообще люди мало образованные. Наконец, несомненный факт той пользы, что я могу упомянуть о нем теперь. Требования русской заграничной печати могли не доходить до дворца или на них могли не обращать внимания по пренебрежению к литературе, но слова Каракозова, сказанные им лично государю, и мои показания, как человека, «давшего деньги на пистолет и возбудившего все волнение» (как представляла меня комиссия), не могли не дойти. Таким образом, правительство могло само предупредить кровавое столкновение, которое может произойти вследствие натянутого положения дел; и если еще польется кровь, то, конечно, не партия свободы будет в этом виновата.

Суд

В один прекрасный день мне принесли платье, с особенной тщательностью вычищенные сапоги, одели меня, усердно причесали волосы и повели.

«Что бы это значило?» — думал я.

Мой офицер был в новеньком мундире и в свежих белых перчатках.

— Что это вы сегодня в мундире? — спросил я его.

— Я сегодня дежурный, — отвечал он.

«Сейчас видно, что лжет, — подумал я, — он всегда был дежурный, да и ведет теперь не туда, где была комиссия. Уж не приехал ли кто из царской фамилии для личных допросов?» (Я никак не предполагал, чтобы следствие кончилось так скоро.)

Меня привели в комендантский дом; комендант и другие члены крепости в мундирах ходили на цыпочках

в передней... Наконец я очутился в зале, наполненной генералами и чиновниками.

«Что это за сборище?» — думал я и старался вглядеться в него; все лица мне были незнакомы, за исключением Врангеля...

— Не имеете ли вы чего сказать? — спросил меня князь Гагарин⁴⁹

«Опять допрос!» — подумал я и отвечал:

— Ничего не имею сказать.

Пока я вглядывался в лица, мне дали в руки какую-то бумагу, заставили где-то расписаться и вывели.

Только дорогой я успел заглянуть в тетрадь и увидел надпись: «Обвинительный акт».

«Так вот что: торопятся повесить», — думал я.

Только в каземате я мог прочесть этот акт; он составлен был так нахально, что усердие министра юстиции⁵⁰ втащить меня на виселицу было вне всякого сомнения. Озлобление было первым результатом этого чтения.

«Вот подлецы, — подумал я, — удавят в двадцать четыре года, когда еще некоторые знаменитости преспокойно играли в бабки».

Не успел я прочесть акт, как ко мне уже приближал равелинский полковник.

— Вы прочитали? Ну, что вы скажете?

— Да разбойническое следствие, больше ничего.

Полковник рассердился:

— И как это вы смеете говорить, что разбойническое?

Затем он убежал, но через десять минут воротился.

— Ну, что вы будете писать в свою защиту? Что вы будете возражать?

— Ничего не буду писать, ничего не буду возражать. Разве можно что-нибудь сделать против такого государственного акта?...

Этот ответ успокоил их (т. е. коменданта и муравьевскую партию).

Но они снова обеспокоились, когда на другой день я выбрал своим адвокатом В. П. Гасевского. До судебного следствия оставалось только семь дней; из них четыре дня прошли прежде, чем мне дано было свидание с адвокатом. Адвокат был в недоумении.

— Я не знаю, что могу сделать в виду таких обвинений, — сказал он.

— Как что? Защищать!

— Да, но дело громадное, я и части не успею прочитать; показаний такое множество, и они все так противоречат друг другу. Я думаю уже, не выехать ли на вашей литературной деятельности, что вам некогда было такими вещами заниматься?

— Ну, на этом далеко не выехать; разве все мои книги запретят.

— Нет, не запретят: Гагарин все-таки порядочный человек* А то мне совершенно нечем заняться.

— Возьмитесь обвинительным актом.

— Ну хорошо, с чем же вы тут согласны?

— Да вот на виселицу-то я не согласен.

Тут я сообщил ему свои замечания. Он совершенно ожил и с большим жаром принялся за дело. Конечно, его энергии я обязан своей жизнью.

18 августа⁵¹ было начало судебных следствий. В первый день произвели только следствие Каракозова и мое. Здесь первый раз я познакомился со своими судьями. Все они были маститые старцы. Карниолину-Пинскому было девяносто лет с лишком, Гагарину — восемьдесят, Панину, Метлину, Башуцкому — более семидесяти; самый молодой, принц Ольденбургский, был лет пятидесяти пяти⁵². Считая по летам, они должны были смотреть на меня (двадцатичетырехлетнего), как я смотрел на восьмилетних детей. Впрочем, даже самый маститый старец, Карниолин-Пинский, высказывал свою азартность и пробовал делать допрос:

— Вы, говорят, писали. Ну, скажите нам какое-нибудь ваше мнение. Может быть, вам, как Чернышевскому, угодно было бы в России фаланстеры завести?...

Гагарин тоже допрашивал тоном самого полного убеждения в моей виновности. Это меня озлобило.

«Шемякин суд!» — подумал я и потому старался зло раздражить судей. Это, конечно, мне много повредило; но кто войдет в мое положение, тот поймет, что для меня оставалось единственное удовольствие, хоть умирая, подразнить своих палачей. Длинный ряд свидетелей подтверждал мою виновность; через несколько часов следствия я вышел из залы в совершенно нервном

* Вскоре после защиты комиссия поспешила призвать к допросу Малинина, у которого был склад некоторых моих книг, и стараясь добиться показания, что распространение этих книг имело возмутительную цель.

состоянии, так что, когда я вступил в сад, глаза мои наполнились слезами. К счастью, это было только на минуточку, и провожатые не заметили моей слабости.

Между тем муравьевская комиссия уже везде тревонила свою победу. «Московские ведомости», отголосок III отделения, объявили публике, что из всех подсудимых только одно лицо, издатель народных книг, отличается политическим характером; до приезда его из-за границы в Москве был только кружок нигилистов, не думавших делать из себя тайны; что только я взбудоражил их и подстрекнул Каракозова. Нечего и говорить, что главной причиной к этим заявлениям было то оскорбительное чувство шпионского хвастовства, по которому Катков полагал, что при его председательстве в Москве там уже не могут образовываться какие бы то ни было социалисты и революционеры и что они могут заезжать туда только из других городов или из-за границы.

Несмотря на окончание моего судебного следствия, суд еще пытался привести меня к сознанию и положил достигнуть этого преимущественно религиозными средствами. Для этого был избран протопоп Полисадов, профессор университета, человек образованный и отчасти понимавший свое неловкое положение. Я познакомился с ним еще прежде, когда только была открыта фамилия Каракозова. Его посылали тогда ко мне сказать ложь, но он не решился тогда это сделать. Когда после продолжительной беседы я вышел к членам комиссии, они против ожидания сказали мне совершенную новость:

— Ну вот, батюшка вам теперь сказал, что Каракозов во всем признался и на духу сказал, чтобы о нем ничего не скрывали.

Итак, Полисадов получил приказание тронуть меня своим красноречием. Для этого в комендантской церкви он должен был служить обедню и говорить назидательные речи. При этом присутствовали также Каракозов и Ишутин. Полисадов имел дар говорить пустяки красноречивыми словами и прекрасной дикцией. Во время его проповедей комендант обыкновенно стоял на клиросе и умиленно слезился.

— Мы,— говорил между прочим Полисадов,— оттого становимся холодны к евангелию, что слышим его с детства, свыкаемся с ним, и оно не представляет нам ничего нового. Но когда эту радостную евангельскую

весть слышит в первый раз какой-нибудь тунгус или алеут, то этот простой человек от полноты сердца своего восклицает: «Какое дивное слышание, какое чудное благовествование!» Поэтому, господа, прошу вас приготовиться в самих себе и быть на будущий раз столь же простыми и чистыми сердцем, как эти простые алеуты и тунгусы.

После обедни Полисадов обыкновенно подходил ко мне для продолжения своих увещаний.

— Ну, батюшка,— сказал я ему,— я с вами не согласен: истинный христианин миллион раз читает евангелие и каждый раз открывает новые источники вдохновения. А нам вообразить себя тунгусами или алеутами так же трудно, как вам вообразить себя шаманом.

После подобных ответов Полисадов уже боялся толковать со мной о вере. Посещая нередко в каземате Каракозова, Ишутина, он только раз зашел ко мне. Но и тут, не зная, как приступить, завел обыкновенный светский разговор, рассказывал о своей заграничной жизни, что «когда в 1848 году во Франции вспыхнула революция, он был в Бадене. В Бадене тоже сделалось волнение; король испугался и дал народу *Geschworen Gerichte* — суд присяжных и свободу печати. Тогда студенты образовали из себя милицию, и в городе было тихо, как никогда».

Рассказывая об этом, он незаметно перешел к рассказу о своей жизни в Париже.

— Вот и тут мне пришлось тоже видеть революцию, когда Наполеон III объявил себя императором; с одной стороны везли пушки, двигались войска, а рабочие стреляли из окон. Убитых было более десяти тысяч человек. Так-то вот, революция никогда до добра не доводит,— прибавил он в заключение.

— В Париже вы видели не революцию,— сказал я ему,— а императорский разбой. А вот студенческая революция в Бадене не стоила ни одного человека, а страна приобрела свободу.

— Вот так-то, бывало, мы спорили с Серно-Соловьевичем,— сказал на это Полисадов.— «Священники,— говорит, бывало,— агенты полиции». Ну а потом покаялся.

Посидев еще немного, Полисадов стал уходить, но у дверей остановился и сказал нерешительным голосом:

— Может быть, вы чувствуете потребность в молитве?.. Вот я служил у других...

— Нет, повремените; я после приговора...

Казалось, мое дело было давно окончено, но нет: мне пришлось иметь несколько очных ставок, например с Мотковым. Он уличил меня раза два или три во время предварительного следствия.

Надобно сказать, что бóльшая часть очных ставок с Мотковым всегда оставляла на меня тяжелое впечатление. Многие из подсудимых показывали по ошибке, по незнанию законов, по недоразумению, наконец, по слабости характера, но никто не показывал и не уличал соп. атоге*. На очных ставках он держался так, как будто он гордился своей должностью сатанинского доносчика. Одним словом, этот человек показывал на всех и все, да еще так, что к былям небылиц без счету предлагал и чуть не втащил несколько человек на виселицу. Даже во время ссылки он выкидывал такие штуки, что товарищи единодушно прозвали его: «пузырь, наполненный гноем».

Я был удивлен, когда меня привели на судебное следствие к Моткову: я на него ничего не показывал, кроме того, что он у меня был два раза в гостях.

— Давал ли вам Мотков поручение донести на Каракозова? — спросил Гагарин.

Надо сказать, что только во время ссылки я усвоил себе мрачный взгляд на Моткова; потому вопрос Гагарина, как чепуха, выдуманная Мотковым, показался мне смешным, но в то же время и досадным.

— Да мне то... [Пропуск в тексте.— Сост.] (смех был записан министром юстиции под именем «принужденного смеха»).

— Я с своей стороны имею честь довести до сведения, что это могут подтвердить Иванов и Кичин.

Я знал, что Мотков говорит ложь, но не решился потребовать к допросу этих двух новых свидетелей: я их совершенно не знал; кто мог поручиться, что со страху они не подтвердят даже того, чего не было? Но все-таки впоследствии, уже в тобольском тюремном замке, я сделал очную ставку Александра Иванова с Мотковым и уличил последнего во лжи!... А между тем до ареста все товарищи считали Моткова порядочным человеком; так иногда человек умест разыгрывать до поры до времени роль благородного человека.

* С любовью (итал.).

Другое дело Ишутин — этот производил очные ставки как будто «смеха ради».

— Нет, вы отрицаетесь,— сказал он, улыбаясь, на своем судебном следствии,— вы мне говорили об «Европейском комитете».

— Никогда не говорил,— ответил я.— Вы, верно, слышали какой-нибудь трактирный слух.

На последней очной ставке со мной Панин, этот тип допотопного верблюдообразного человека, заметил Ишутину очень злобно:

— Но смешного тут ничего нет.

Показание об «Европейском комитете» интересовало всех.

— Правда ли это,— спросил меня кто-то из подсудимых,— что есть «Европейский комитет»? В газетах о нем ничего не было.

— Что-нибудь одно: или правда, или нет. Если правда, то он существует, если неправда, то самые толки о нем в русских и иностранных газетах вызовут его; стало быть, вы можете принимать его за факт.

Желая от меня как-нибудь добиться сведений о «Европейском комитете», правительство еще раз употребило усилие. В один прекрасный день меня снова одели самым тщательным образом, причесали и привели в здание суда. Это было в начале первого пополудни. «Что значит такое необыкновенное время?» — думал я.

В суд обыкновенно водили или раньше или позже. При этом и движения вокруг суда не было никакого, только два офицера, отошедши к окну, разговаривали о чем-то шепотом. От беспокойного ожидания на меня опять нашло нервное состояние, о котором я упоминал; оно выражалось продолжительною дрожью всего тела и тем, что язык в такое время не слушался мозга. Так продолжалось почти около часу. Наконец показался комендант; нервное состояние вдруг окончилось...

— А я имею к вам приятную новость,— сказал комендант вкрадчивым голосом; для большей почтительности он в таких случаях закрывал глаза.— Пожалуйте за мной.

«Что бы это за новость? — думал я.— Может быть, вроде „легонького вопросика“ *».

* «Вот еще один легонький вопросик», — приговаривал иногда Огарев, подавая вопросные пункты о каком-нибудь обстоятельстве, ведущем на виселицу.

Мы прошли комнату судебных следствий; она была пуста, только какой-то адвокат или чиновник писал что-то очень усердно; в другой комнате то же самое и т. д. Тишина была мертвая. Наконец мы вошли в зал. Какие-то картины висели по стенам; прямо против дверей, в которые мы вошли, стоял стол, накрытый красным сукном. На столе лежал развернутый том свода законов нового издания. У стола стояли член царской фамилии, принц Ольденбургский, и секретарь верховного уголовного суда.

Меня заставили прочитать вслух статью свода законов, где говорилось, что «если кто, приняв участие в заговоре, раскается и донесет на товарищей, когда еще правительству ничего не было известно об их умысле, то ему прощается половина (!) преступления; если, даже будучи арестован, он чистосердечно предаст товарищей и тем предотвратит грозящую государству опасность, то и тогда ему прощается некоторая часть наказания».

— Ну вот,— сказал принц,— если вы хотите, чтобы вам была дарована жизнь, вы должны сделать сознание и открыть все!

— Я и без того все показал, что знал,— отвечал я.

Несколько минут прошло в подобных увещаниях. Тут другая дверь отворилась, и через весь зал, как клубок, быстро подкатилась ко мне моя жена... Ее заманили под предлогом свидания, а цель была та, чтобы ее слезы заставили меня поколебаться и рассказать все. Мы сели вдвоем на диване и стали разговаривать шепотом. Принц, стоя у окна, толковал о чем-то с комендантом и секретарем. Говоря с женой, краем левого уха я уловил слова принца: «Может быть, она уже сказала ему об этом?»

Затем он обратился к жене и спросил громко:

— Вы получаете газеты?

— Нет,— отвечала она.

Это как будто успокоило принца.

Затем начались допросы; даже комендант Сорокин вмешался с своєю вкрадчивою речью:

— ...Вот ваша супруга... Подумайте, что будет, если вас не будет,— при этом для убедительности он снова закрыл глаза.— Ваша жена беременна.

— Когда она родит? — спросил резко принц.

Нельзя было не расслышать, но я молчал.

— Я вас спрашиваю, когда она родит?

— Ваше высочество, это трудно узнать,— сказал нерешительно Сорокин и снова закрыл глаза, на этот раз уже из глубочайшего почтения.

Принц снова ощетинил свои усы и закидал меня вопросами:

— Вы ездили за границу? Вы говорили, что всех царей надобно убивать? Ведь у вас было тайное общество в Петербурге? Вы теперь в наших руках; мы все с вами можем сделать. Ну, Худяков хотел освободить Чернышевского. А Худякова кто освободит? Вы знаете Чернышевского? Ведь я его судил. (Мне хорошо было известно, что Чернышевского судил сенат, а принц лгал только из хвастовства.) Подлец! Ужасный подлец! Но за границей у вас был комитет? Sprechen sie deutsch? * Говорят, вы в бога не веруете, в церкви ни разу не перекрестились? Из Москвы у нас судится тридцать человек, у вас в Петербурге непременно должно быть тридцать? А-а, вам смешно; после будет не смешно! — прибавил он с ожесточением.

— У меня нервный смех! — ответил я.

Таким образом, и этот допрос кончился ничем к крайнему оскорблению принца, тем более что я по ошибке назвал его высочество его превосходительством.

Наконец наступило время судебных прений; страдания Каракозова в это время уже кончились...⁵³ и потому первым по обвинительным актам был я. Министр юстиции Замятнин, высокий седой старик, со старой солдатской выправкой, прочитал обвинительную речь, в которой он окончательно подводил меня под смертную казнь.

«Ну, плохо дело: казнят через повешенье да еще после смерти в другой раз повесят»,— подумал я.

Министр юстиции был так нагл в своей речи, что дозволил себе исказить мои слова и извратить несколько показаний. Загем началась речь моего адвоката; она окончательно опровергла все обвинения, кроме пустяков, и закончилась требованием выпустить меня на свободу.

Впечатление, произведенное этой речью, было весьма сильно: власти были поражены, иные удивлением, иные негодованием, некоторые пришли в состояние столбняка.

* Вы говорите по-немецки? (Нем.)

Гагарин, однако, спокойно обратился к министру юстиции с вопросом:

— Что вы имеете возразить?

Замятнин как будто не ожидал этого вопроса и вдруг выпрямился как аршин.

— Я остаюсь при прежнем мнении,— проговорил он и сел, судорожно передернувшись.

Жалкий министр юстиции! Суду пужны были не мнения вашей фантазии, а доказательства обвинений.

Затем несколько слов в свою защиту сказал я сам. Но, к несчастью, предварительные речи привели меня снова в нервное состояние. Язык мой не слушал меня, так что наконец с досады я оборвал свою речь словами: «Больше я ничего не имею сказать». А между тем мне хотелось высказать гораздо больше, нежели я сказал. Главное — мне хотелось опровергнуть показания об «Европейском комитете»; я хотел возразить, что такие люди, как Ишутин, для которых, по их собственному сознанию, цель оправдывает средства, могли нарочно вводить в заблуждение своих товарищей, указывая им на такие личности, которые ни к чему не были причастны.

К сожалению, это капитальное возражение осталось у меня в кармане до настоящего времени.

К несчастью, и мой благородный адвокат как будто признавал это обвинение и сказал только, что «если „Европейский комитет“ имеет целью Францию, то я не могу подлежать ответственности перед Россией».

К тому же «присяжные» адвокаты, защищая некоторых москвичей, сверх надобности упоминали об этом факте как о несомненной истине. Это повредило мне впоследствии.

Но, как бы то ни было, моя защита окончательно требовала выпустить меня на свободу. Суд разъехался, а крепостное начальство не знало, как со мной обращаться: как с человеком, которого послезавтра выпустят, или преступником, которого через неделю повесят. Поэтому равенские власти в ожидании инструкций исполняли свои обязанности молча.

На другой день утром полковник повел меня на гауптвахту (меня водили в суд обыкновенно через гауптвахту). Случилось так, что в каземате топилась печь, и потому полковник, расположив по часовому у окна и у двери, поставил третьего ко мне в каземат. Это был

один из расположенных ко мне солдат; едва его заперли со мной, как он подмигнул мне и сказал шепотом:

— Ты не говори никому: того-то (т. е. Каракозова) повесили... а тебя выпустят. Право слово, сейчас сказывали.

В две минуты мой полковник успел сходить в суд и, услышав там, по всей вероятности, то же самое, вдруг явился ко мне необыкновенно любезный, каким я его никогда не видел. Целью его посещения был не обыск, не допрос, а только одна любезность, желание расположить в свою пользу, загладить свои разные прежние выходы ввиду того, что я буду выпущен на свободу.

И действительно, если бы мой приговор был постановлен в один день с судебными прениями, как того требовал закон, или даже на другой день, я был бы освобожден от суда. Но, к сожалению, судебные прения относительно других отсрочили постановление приговора на несколько дней. В это время III отделение и все члены комиссии, узнав, что меня выпустят, подняли ужасный вой и забежали с заднего крыльца ко всем членам суда и, может быть, к государю. И потому суд приговорил меня к лишению прав состояния и к ссылке в «отдаленнейшие» места Сибири, обвинив меня в каком-то недонесении на московское тайное общество, будто бы на основании показаний Моткова и Ишутина. Не знаю, показывал ли об этом Мотков, но Ишутин ничего не показывал. Кроме того, об этом мне не было ни допросов, ни очных ставок ни на предварительном следствии, ни на суде; наконец, такого обвинения не было даже в обвинительном акте. Кроме этой несправедливости сделана была другая: членов московского общества присудили просто к ссылке, а меня за недонесение — в отдаленнейшие места Сибири.

Похороны

Скоро в городе разнеслась весть, что меня осудили на поселение.

— Только-то! — восклицали либералы, как будто они желали, чтобы меня осудили покрепче.

— Что его так мало? Что его так мало? — кричала патриотическая партия. — Кто его защищал? Кто смел его защищать?!

— Вы дешево отделались,— говорило мне крепостное начальство.

— Очень недешево. Ведь я ни в чем не виноват; вы это примите в расчет!

Однажды вечером, когда стемнело, мне подали платье, одели и повели.

«Что бы это значило? В такое необыкновенное время? Нет ли какого нового наказания?» думал я.

— Куда мы идем? — спросил я офицера.

— Вот увидите,— отвечал он.

Эта военная манера водить человека, как лошадь, всегда возмущала меня. К тому же было темно, холодно, под ногами лужи; мои плохие сапоги промокли насквозь. Конечно, все эти обстоятельства заранее привели меня в раздражение. Наконец мы пришли. И куда же? В церковь. Ну отчего бы не сказать это раньше! По крайней мере я бы пришел в церковь в спокойном состоянии духа, которое необходимо для молитвы.

Комендантская церковь всегда производила на меня приятное впечатление, несмотря на то что священник позволял себе иногда дерзкие выходки. Так, однажды в конце сентября он вышел говорить проповедь и, заметив, что я не перекрестился, вскричал с сердцем:

— Не хотите креститься — можете идти вои!

Эта выходка была тем более несправедлива, что я пришел не по собственному желанию, а меня привели. Окончательно рассориться с попом значило подвергать себя духовному покаянию.

«Вы предпочитаете проповедовать, прогнав слушателей!» — подумал я, но, несмотря на досаду, сказал только:

— Я слушаю.

Трудно себе представить силу патриотической мании, объявшей публику после покушения. Со всех сторон посыпались адреса; Муравьева носили на руках,— этот потомок Чингисхана явился спасителем отечества; даже либеральный и очень талантливый поэт Некрасов писал патриотические стихи и публично в стихах просил Муравьева «не жалеть преступников». Это говорил друг Добролюбова, Чернышевского, издатель «Современника» и лучший поэт, и говорил, не сидя в крепости, не келейно с деспотом, а публично... При всей подлости этого поступка какая была при этом в нем доля глупости...⁵⁴.

«Современник» Муравьев закрыл, «не жалея преступников»; стало быть, только Некрасов и проиграл, хотя, надо сказать, ничто не оправдывало его трусости. Он был совершенно неприкосновенен к делу. Но, главное, Муравьев был только начальником следственной комиссии; стало быть, суд подлежал другим, и потому Муравьев мог только быть следователем, а не судьей; у него не было права ни миловать, ни казнить. Столь ребяческими были юридические познания высших представителей литературы... Мы не говорим уже о гнусности того факта, что литература сочла за свой долг добровольно соперничать с палачами. Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы на собственный счет построил для нас виселицы!..

Народ, певчис, хорошее освещение — все это приятно действовало на нервы, и вскоре я позабыл уже первое впечатление.

— Пожалуйте сюда,— вдруг раздался позади меня голос полковника.

В уме моем возникли три вопросительных знака. Меня отвели в отдельную комнату, поставили под мерку, осмотрели зубы и прочие приметы и затем...— что бы вы думали? — снова отвели в церковь. Какая тупость у этого правительства, которое так оскверняет ту религию, которой оно покровительствует!..

От всеобщей меня уже не водили в равелин, а оставили ночевать на гауптвахте. Мне принесли туда мое собственное платье и отобрали казенное. Но когда я попросил, чтобы мне отдали тот лист бумаги, который я в последнюю неделю исписал заметками по естественным наукам, то мне на это отвечали:

— Нет, уж вы это нам оставьте на память.

На другой день, 4 октября, нас подняли раньше свету, напоили чаем, немедленно посадили на похоронные дроги и повезли на Голодай⁵⁵. Конница и пехота окружали шествие; народ взлезал на крыши; барыни жалась в окнах; толпы бежали справа и слева за рядами солдат. Был ужасно холодный ветер и мокрый осенний снег. Нарочно или не нарочно, но мне не позволили надеть под похоронный халат даже теплого пальто, тогда как другие были даже в полушубках. Шествие двигалось шагом и продолжалось очень долго; снег промочил меня до костей; тонкие сапоги занесены были снегом на палец. «Вот и поселение! — думал я.— Сегодня полу-

чишь горячку и поселишься на том свете». Даже тепло одетые совершенно промокли и дрожали.

Самая церемония не только на меня не подействовала, но казалась даже смешной; в самом деле, трудно выдумать что-нибудь глупее этого по отношению к независимым убеждениям. От церемонии по закону освобождались только несовершеннолетние, т. е. дети, именно те, на которых комедия могла произвести впечатление. Несмотря на то что погода из этой забавы сделала для меня пытку, смешные сцены, происходившие в толпе, заставили меня улыбнуться.

— Смотри, смотри, смеется! — заговорила толпа.

Наконец мы прибыли на площадь; все грязное поле было заставлено солдатами (я пожалел об их сапогах); воздух был такой грязный, что невозможно было разглядеть, есть ли народ за войском или нет.

Мы вошли на эшафот. Палач расставил всех к столбам и прицепил цепью. Только я один не был прицеплен, потому что я сам стал к столбу. Перед нашими глазами готовились повесить Иштутина; его закутали в какой-то белый мешок, накинули петлю на шею, причем он так согнулся, что совершенно походил на живой окорок. Это была возмутительная сцена. Его продержали в петле десять минут и потом уже объявили монаршее повеление. Малодушный человек мог бы помереть на месте. Палач, освобождая его, спросил тоном судьи жизни и смерти:

— Что, не будешь больше?

Палач, очевидно, сознавал свою государственную важность. Он был выписан из Вильны.

После церемонии нас рассадили по каретам и повезли. Мы думали, что нас везут в пересыльный замок, где — как уверяли в крепости — мы пробудем еще две недели, увидимся с родственниками и запасемся всем необходимым на дорогу. Вместо того нас привезли на московскую железную дорогу, выдали какие-то жалкие арестантские армяки и отправили в путь. Если бы родные не успели мне выслать тулуп в Нижний, я непременно бы замерз дорогой <...>



Николай Васильевич Шелгунов
(1824—1891)

Николай Васильевич Шелгунов родился в семье бедного чиновника. Четырехлетним мальчиком он был определен в Александровский малолетний кадетский корпус, где пробыл до 1833 г. В возрасте девяти лет он был зачислен в Лесной институт. Окончив его в 1841 г., Шелгунов поступил на службу в министерство государственных имуществ и получил должность таксатора в Лесном департаменте. Занятый лесоустройством, он много ездил по России, соприкасался с жизнью крестьян и проникся искренним сочувствием к народу и неприязнью к существовавшим в России порядкам.

Еще в Лесном институте Шелгунов познакомился с передовыми литературными течениями, стал мечтать о журналистской деятельности. Вскоре после окончания института Шелгунов начинает сотрудничать в периодической печати. Он печатает статьи по лесоводству в журналах «Сын Отечества» и «Библиотека для чтения». В 1851 г. Шелгунов вместе с женой, Людмилой Петровной, переселился в Петербург. Осенью 1855 г. Шелгуновы познакомились с М. Л. Михайловым, тогда уже известным поэтом, сотрудничавшим в «Современнике». Это знакомство, перешедшее вскоре в самую тесную дружбу, сыграло решающую роль в формировании революционно-демократических убеждений Шелгуновых. Знакомство с Михайловым повлияло и на личные судьбы Шелгунова и его жены. В конце 1850-х гг. их брак распался, и Л. П. Шелгунова стала гражданской женой Михайлова. Но это не нарушило дружеского союза этих трех людей, основанного на взаимном уважении, честности и искренности.

Под влиянием Чернышевского и Михайлова политические взгляды Шелгунова становятся все более радикальными. Этому способствовали и его заграничные поездки. Первую из них ему удалось предпринять официально в 1856 г. с целью подготовки к профессорскому званию. Попав за границу, Шелгунов много читает, жадно воспринимает передовые идеи. Именно в это время происходит его знакомство со сочинениями А. И. Герцена.

С конца 1850-х гг. Шелгунов все больше втягивается в литературную деятельность. В 1859 г. в «Русском слове» появляются его первые публицистические статьи. А с 1861 г. Шелгунов начинает печатать свои статьи в «Современнике». Среди его публицистических выступлений на страницах «Современника» следует выделить

статью «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» излагала основные положения труда Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» и была значительным событием в русской публицистике, представляя собой одну из первых в России работ, посвященных рабочему вопросу.

Сотрудничая в «Современнике», Шелгунов сближается с наиболее передовыми представителями русской демократической интеллигенции. С конца 1850-х — начала 1860-х гг. общественно-политические взгляды Шелгунова все более эволюционируют в направлении радикального демократизма. В 1858—1859 гг. Н. В. и Л. П. Шелгуновы вместе с Михайловым совершают путешествие по Западной Европе. Незадолго до возвращения в Россию они побывали в Лондоне, где встретились с А. И. Герценом. Как писала Н. А. Тучкова-Огарева, «Шелгунов и особенно Михайлов очень понравились Герцену, — эти люди казались понимающими и вполне преданными благу России» (*Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания*. М., 1959, с. 160).

Шелгунов был одним из тех, кто составлял революционное ядро русского освободительного движения 60-х гг. Он играет одну из главных ролей при подготовке и осуществлении так называемого «прокламационного плана» — плана составления воззваний, обращенных к разным слоям населения. В начале марта 1861 г. Шелгунов пишет прокламацию «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». В середине апреля Шелгунов (по ряду свидетельств, при участии М. Л. Михайлова) пишет листовку «К молодому поколению». 25 апреля М. Л. Михайлов, Н. В. и Л. П. Шелгуновы выехали за границу, чтобы издать там эту прокламацию. Пока Шелгуновы оставались в Париже, Михайлов поехал в Лондон, где встретился с Герценом, который и отпечатал в Вольной русской типографии 600 экземпляров прокламации. Затем в Лондон приехал Шелгунов. Отпечатанные в Лондоне прокламации были доставлены в Париж, а затем, в начале июля, Михайлов вернулся в Россию, провезя прокламации под подкладкой чемодана.

Провокаторская деятельность братьев Костомаровых привела к аресту Михайлова. Это поставило под удар и Шелгунова. За ним было установлено секретное наблюдение. В одном из агентурных донесений, относившемся к марту 1862 г., говорилось: «Этого Шелгунова, преподавателя в Лесном корпусе, следовало бы взять под арест вместе с Михайловым, по тогда гр. Шувалов этого не сделал, и он (Шелгунов) подлежит той же участи, как и Михайлов» (цит. по ст.: *Виленская Э., Ройтберг Л. Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания*. — В кн.: *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания*, т. 1. М., 1967, с. 19).

В марте 1862 г. Шелгунов оставил службу с чином полковника. По выходе в отставку Шелгунов вместе с Л. П. Шелгуновой и ее ребенком отправился в Сибирь. Вслед за А. А. Слепцовым многие историки считали, что эта поездка была предпринята с целью устроить побег Михайлова. По этому поводу Э. Виленская и Л. Ройтберг пишут: «Исключать такое намерение нет оснований, однако можно считать, что организация побега мыслилась в том лишь случае, если не свершится революция. А вера в то, что она недалека, была в то время очень сильна в России. Эта вера вселяла надежду на скорое триумфальное возвращение Михайлова... Однако надежды на революцию не оправдались» (*Виленская Э., Ройтберг Л. Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания*, с. 20, 21).

По пути в Нерчинский округ Шелгунов виделся в тобольском остроге с В. А. Обручевым, осужденным за распространение прокламации «Великорусс», а в Красноярске — с находившимся в ссылке М. В. Пестрашевским. Поездка Шелгунова вызвала подозрение властей. К тому времени в Петербурге были арестованы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич. На докладе о поездке Шелгунова в Сибирь Александр II наложил резолюцию: «Его следует арестовать, и по окончании его бумаг и снятии допроса решу его участь». Шелгуновы все же успели добраться до Казаковского прииска, где жил Михайлов. 28 сентября они были подвергнуты обыску и домашнему аресту. В январе 1863 г. их доставили в Иркутск.

Дело могло бы обойтись более или менее благополучно для Шелгунова, если бы не новый донос Вс. Костомарова, обвинявшего Чернышевского и Шелгунова в составлении прокламаций. 15 апреля 1863 г. Шелгунова доставили в Петербург, где сначала он был допрошен в III отделении, а затем заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. На допросах он держался с большой твердостью, отвергая обвинения, выдвинутые против него и Чернышевского Вс. Костомаровым. «Честнейший и благороднейший человек Николай Васильевич, — отзывался впоследствии о нем Чернышевский, — такие люди редки. Прекрасно держал себя в моем деле» (Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 2. Саратов, 1959, с. 268—269). Дело о Шелгунове как полковнике в отставке было передано в военно-судную комиссию. Улик против него не было, но вмешательство III отделения обусловило решение, согласно которому Шелгунов лишился права на пенсию и ношение мундира и подлежал ссылке в одну из отдаленных губерний. Четыре с половиной года прожил Шелгунов в глухих углах Вологодской губернии. И в крепости, и в ссылке Шелгунов продолжал заниматься журналистикой. Он выступает с острыми публицистическими статьями сначала в «Русском слове» Г. Е. Благосветлова, а после его закрытия — в «Деле» того же Благосветлова. После Вологодской губернии Шелгунов еще несколько лет жил в провинции и только в 1877 году получил разрешение вернуться в Петербург.

После смерти Благосветлова Шелгунов с 1881 по 1883 г. был редактором «Дела». Он пригласил сотрудничать в «Деле» С. М. Степняка-Кравчинского и В. А. Зайцева, живших за границей на положении политических эмигрантов. В 1884 г. Шелгунов и редактор-издатель «Дела» К. М. Станюкович были арестованы. Они обвинялись в связях с политическими эмигрантами и «Народной волей» (один из членов Исполнительного комитета «Народной воли», Л. А. Тихомиров, сотрудничал в «Деле»). Шелгунов вновь был выслан из Петербурга. На этот раз ему было разрешено выбрать себе место ссылки, и он поселился в имении своих друзей А. Н. и О. Н. Поповых, в селе Воробьево Смоленской губернии. Какое-то время он был практически оторван от журналистики, но с осени 1885 г. получил возможность сотрудничать в «Русской мысли», где опубликовал свои воспоминания «Из прошлого и настоящего», «Переходные характеры». Там же он напечатал публицистические «Очерки русской жизни». Они имели успех, и под этим названием в журнале появился постоянный отдел, пользовавшийся большой популярностью.

Шелгунов решительно выступал против характерных для 80-х гг. оппортунистических теорий — таких, как «теория малых дел» и «че-

противление злу», защищал революционные традиции 60-х гг. Это привлекало читателей. «Очерки» с интересом читали не только в прогрессивной интеллигентской среде, но и в рабочих кружках. В одном из писем В. И. Ленина к А. И. Елизаровой (от 16 января 1896 г.) есть слова: «Перечитываю с интересом Шелгунова...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 21). В литературе о Шелгунове не без оснований высказывается предположение, что эти слова относились именно к «Очеркам» Шелгунова (См.: Виленская Э., Ройтберг Л. Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания, с. 28).

В начале 1891 г. тяжело больной Шелгунов вернулся в Петербург, где продолжал работать над «Очерками». Демократическая общественность искренне приветствовала возвращение Шелгунова в Петербург. 27 марта 1891 г. Шелгунов писал своему другу А. Н. Попову: «Тепершний мой приезд в Петербург вышел случайно триумфальным, я получил одиннадцать заявлений о симпатии и уважении. Для меня эти документы драгоценны как публичная нравственная аттестация». В числе адресов, полученных Шелгуновым, был адрес и от петербургских рабочих.

12 апреля 1891 г. Шелгунов скончался. Его похороны превратились в грандиозную политическую демонстрацию, сопровождавшуюся столкновениями с полицией. На одном из многочисленных венков была надпись: «Н. В. Шелгунову — указателю пути к равенству и свободе от петербургских рабочих». Участие петербургских рабочих в похоронах Шелгунова было весьма символично. Это подтверждало преемственность поколений русских революционеров. Разночинцев сменяли представители нового, пролетарского этапа революционно-освободительного движения. Участие петербургских рабочих в демонстрации во время похорон Шелгунова было высоко оценено В. И. Лениным. Поставив этот факт в один ряд с политическими речами на петербургской маевке, В. И. Ленин писал в статье «Первые уроки»: «Перед нами социал-демократическая демонстрация передовиков-рабочих при отсутствии массового движения» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 250).

Шелгунов несколько раз собирался начать писать воспоминания. Еще в 1873 г. ему советовал сделать это Г. З. Елисеев. В 1875—1876 гг. Шелгунов сделал предварительные наброски, которые содержали интересные сведения. (Они датируются апрелем 1875 г. — апрелем 1876 г.) Второй раз обратился Шелгунов к мысли написать воспоминания в 1883 г., когда в многочисленных некрологах на смерть Тургенева зачастую искажалась эпоха 60-х гг. Он намеревался также описать обстоятельства своего ареста и заключения в 1884 г. При этом в своих мемуарах Шелгунов не просто уходил в прошлое, но сопоставлял его и с современными проблемами. Это подтверждает избранное им заглавие «Из прошлого и настоящего». В посланной в «Вестник Европы» и не дошедшей до наших дней мемуарной статье говорилось о том, что в 1860-е гг. «Петербург был магнитом, а теперь начался отлив», в то время столица являлась «головой России», а в 1880-е гг., когда «исчезла такая масса газет и журналов и поразогиались писатели, — Петербург головой быть перестал» (цит. по ст.: Виленская Э., Ройтберг Л. Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания, с. 30). Эта мысль должна была объединить относившиеся к разным периодам эпизоды из жизни Шелгунова. Другой темой, которая должна была находиться в центре воспоминаний, был вопрос о роли и задачах интеллигенции, ее отношении к народу.

Обе эти темы в воспоминаниях Шелгунову развить не удалось. Тем не менее в них есть определенный публицистический подтекст: главной целью мемуариста стало «противопоставление революционного духа шестидесятых годов духовному и идейному измельчанию русской интеллигенции, антиобщественной тенденции и беспринципному приспособленчеству, все более утверждавшимся в мрачные восьмидесятые годы» (*Виленская Э., Ройтберг Л. Шелгуновы, Михайлов* и их воспоминания, с. 30). Шелгунов сумел передать революционный пафос, присущий деятельности шестидесятников, хотя нарисовать полную картину освободительного движения тех лет ему не позволили цензурные запреты. Цензура не только вымарывала отдельные места, но и приостанавливала публикацию мемуаров Шелгунова. Но, несмотря на то что Шелгунову о многом пришлось умолчать, в целом его воспоминания с большой яркостью передали общую атмосферу демократического подъема начала 1860-х гг.

В своих мемуарах Шелгунов не только заново переживает прошлое, но и заново осмысливает его в свете исторического опыта последующих десятилетий. Это воспоминания революционера, пронесшего через долгие годы ссылки и полицейских преследований свои революционные убеждения и боевой пыл участника освободительной борьбы.

В настоящем издании помещены с некоторыми сокращениями главы VII, IX, X, XII—XX воспоминаний Н. В. Шелгунова «Из прошлого и настоящего». Они воспроизводятся по тексту издания: *Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов*. Воспоминания, т. 1. М., 1967. В комментариях приводятся выдержки из «Первоначальных набросков» Шелгунова, в которых содержится более откровенное описание ряда событий, связанных с участием Шелгунова в революционно-освободительном движении.

¹ «Русская беседа» — журнал, издававшийся видным славянофилом А. И. Кошелевым в 1856—1860 гг., и недолговечный «Парус» И. С. Аксакова, тоже видного деятеля славянофильского направления, приняли живое участие в обсуждении актуальных проблем общественно-политической жизни. Они выступали за проведение реформ «сверху» критиковали крайности правительственной политики. «Русский вестник» был органом московского либерального кружка западнического толка, в который входили М. Н. Катков, Б. Н. Чичерин, Е. Ф. Корш и др. В «Атенее», журнале в целом либерального направления, наряду со статьями видных либералов Б. Н. Чичерина, С. М. Соловьева и др. была напечатана и статья Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», высмеивающая либералов. Как «Русская беседа», так и «Русский вестник» по ряду важнейших проблем выступали против публицистов революционно-демократического лагеря. «Московское обозрение» — критико-библиографический журнал либерального направления. Издавался в Москве в 1859 г., вышло всего два номера. — 36

² Среди перечисленных петербургских журналов важнейшую роль играл «Современник», отстаивавший революционно-демократическую программу. Передовым демократическим журналом были и «Отечественные записки». «Библиотека для чтения» в этот период печатала статьи в либеральном духе. «Экономический указатель» (его точное название: «Указатель экономический, статистический и промышленный») был новым по характеру изданием, целиком по-

священным проблемам экономики. «Русский дневник» — официальная ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге в первой половине 1859 г., «Русское слово» — ежемесячный журнал, основанный в 1859 г. Г. А. Кушелевым-Безбородко. С 1860 г., когда редактором стал Г. Е. Благодетель, а ведущим критиком Д. И. Писарев, журнал принял ярко выраженный демократический характер. — 36

³ Н. В. Шелгунов находился за границей с мая 1858 г. по май 1859 г. включительно. — 37

⁴ В главе III своих воспоминаний Н. В. Шелгунов писал, что и с Н. Г. Чернышевским его познакомил П. П. Пекарский (см.: *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания, т. 1. М., 1967, с. 71). Это знакомство состоялось, по-видимому, в 1853 г. — 37

⁵ В действительности первые стихотворения М. Л. Михайлова были опубликованы в «Иллюстрации» в 1845 г. (№ 11, 16 июня). — 38

⁶ Журнал «Москвитянин» издавал в Москве в 1841—1856 гг. историк М. П. Погодин. Смысл иронии Герцена состоял в том, что «Москвитянин», печатая консервативных и славянофильских авторов, вел полемику с В. Г. Белинским. Некоторое оживление в деятельности «Москвитянина» произошло в 1850—1853 гг., когда там сотрудничали А. Н. Островский и А. А. Григорьев. — 38

⁷ Последнюю строку стихотворения из цикла Гейне «Северное море» в переводе М. Л. Михайлова Шелгунов привел с ошибкой. Следует читать: «И ждет безумец ответа». 40

⁸ Барков Иван Семенович (Стенанович) (ок. 1732—1768) — поэт и переводчик, известный главным образом как автор скабрёзных стихов, распространявшихся в списках. 42

⁹ Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — реакционный писатель и публицист, известный под псевдонимом «Барон Брамбеус». Основатель и редактор журнала «Библиотека для чтения». — 42

¹⁰ Парижский мир — мирный договор, подписанный после Крымской войны на Парижском конгрессе 30 марта 1856 г. между Россией и воевавшими против нее Англией, Францией, Турцией, а также участвовавшими в переговорах Австрией и Пруссией. — 43

¹¹ «Hôtel Molière» — отель в Париже, в котором останавливались Н. В. Шелгунов и М. Л. Михайлов. Хозяйка гостиницы устраивала для своих республикански настроенных друзей вечера, на которых с особым жаром обсуждала «женский вопрос». При этом резким нападкам подвергался П. Прудон, который в 1858 г. в книге «De la justice dans la révolution et dans l'église» («О справедливости в революции и церкви») написал, что не допускает равенства полов. Прудон получил большое число писем от женщин с выражением протеста. — 47

¹² Чернышевский считал, что в результате революционного преобразования общества будут решены все социальные вопросы, в том числе и женский. — 48

¹³ В январе 1847 г. из-за преследований царского правительства А. И. Герцен с семьей эмигрировал из России. С августа 1852 г. до 1865 г. он жил в Лондоне. — 50

¹⁴ Пессимизм, охвативший Герцена после революции 1848 г., наложил отпечаток на его взгляды. Оказавшись свидетелем революции 1848 г., ее поражения и последовавшего затем разгула реакции, он перестал верить в возможность немедленного создания общества на социалистических началах. Пессимистические настро-

ния Герцена были усугублены трагическими событиями в его личной жизни: в 1851 г. при кораблекрушении погибли его мать и сын, а в 1852 г. умерла жена. — 51

¹⁵ «Молодая эмиграция» состояла из участников революционного движения, бежавших за границу в 1860-е гг. В их числе были землевладельцы 60-х гг. (Н. И. Утин, А. А. Серно-Соловьевич и др.). Отношения Герцена и «молодой эмиграции» были сложными. «Молодая эмиграция» в крайне резкой форме критиковала либеральные иллюзии Герцена, старалась подчинить «Колокол» своему влиянию. Вместе с тем как Герцен, так и «молодая эмиграция» делали шаги навстречу друг другу, стремились создать единый революционный центр. Но соглашения достигнуть не удалось. Съезд революционной эмиграции, проходивший в конце 1864 г. — начале 1865 г. в Женеве, окончился безрезультатно. Герцен, несмотря на то что неудача съезда разочаровала его, не порвал отношений с «молодой эмиграцией». Он привлек ее представителей к сотрудничеству в «Колоколе» и перенес типографию в Женеву, являвшуюся в то время центром «молодой эмиграции». Майский (1865 г.) номер «Колокола» вышел уже не в Лондоне, а в Женеве. — 52

¹⁶ Русанов Николай Сергеевич (1859—1939) — публицист; был близок к Шелгунову в 1879—1882 гг. Разговор с Тургеневым относится к зиме 1879/80 г. Русанов считал себя сторонником «первоначального русского марксизма» и развивал идеи «экономического материализма». В напечатанных в журнале «Дело» статьях Русанова зафиксирована его ориентация на «Капитал» К. Маркса. Возможно, что изложение именно этих взглядов и вызвало столь бурную реакцию И. С. Тургенева, которому они, конечно, были непонятны. — 52

¹⁷ Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — видный участник движения декабристов. В момент восстания 14 декабря 1825 г. находился в Англии. Заочно был приговорен к смертной казни. Английское правительство отказалось выполнить требование царских властей о выдаче Тургенева. В 1857 г. он был амнистирован Александром II и ненадолго приезжал в Россию. — 53

¹⁸ Описанный Н. В. Шелгуновым эпизод в Маринском театре передает враждебное отношение консервативной и либеральной публики к восстанию 1863 г. Русские революционеры решительно поддержали участников восстания. Твердую позицию занял А. И. Герцен, чем, по словам В. И. Ленина, «спас честь русской демократии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 260). Это, в свою очередь, привело к тому, что в либеральных кругах изменилось отношение к Герцену и издаваемому им «Колоколу», что и было воспринято некоторыми как падение популярности Герцена. — 54

¹⁹ Видный деятель «Земли и воли» Н. А. Серно-Соловьевич основал в Петербурге с целью просветительства и революционной пропаганды библиотеку, читальню, книжный магазин. После ареста Н. А. Серно-Соловьевича их владельцем стал его брат Владимир. — 55

²⁰ Суворов Александр Аркадьевич (1804—1882) — генерал-адъютант, внук А. В. Суворова. В 1861—1866 гг. — петербургский генерал-губернатор. Был близок к Александру II. Имел репутацию либерала. В 1866 г., после каракозовского выстрела, в угоду наиболее реакционным элементам А. А. Суворов был удален, что было

достигнуто путем упразднения должности петербургского губернатора. — 56

²¹ Н. А. Серно-Соловьевич, окончив Александровский лицей, в 1853 г. поступил на службу в Государственную канцелярию, а в Государственный совет. — 56

²² Дворянский полк был сформирован в 1807 г. (наименование «дворянский полк» получил в 1803 г.) и существовал до 1855 г. Выполнял функции военно-учебного заведения. В него зачислялись дворяне (в своем большинстве окончившие кадетские корпуса), которые по завершении обучения производились в офицеры. Генерал Н. Н. Пущин был командиром (а не директором, как пишет Шелгунов) дворянского полка с 1834 по 1847 г. Эпизод с наказанием воспитанника изложен Шелгуновым точно. В действительности воспитанник остался жив и был отчислен из полка. Пущин через год после этого случая был уволен в отставку. — 60

²³ Университетский устав 1835 г. был реакционнее устава 1804 г., предоставлявшего университетам автономию. Устав 1835 г. превращал университеты из учебно-научных учреждений только в учебные, предоставлял министру народного просвещения право назначать профессоров, ограничивал права советов по управлению, всецело подчинял университеты попечителям учебных округов. Университет лишался права управлять учебными заведениями, находившимися в учебном округе. Для студентов с целью надзора за ними вводилась форма. — 68

²⁴ Шелгунов несколько идеализирует личность Г. А. Щербатова и преувеличивает значение его отставки, будто бы явившейся главной причиной студенческих волнений. В действительности они возникли как составная часть общего революционного подъема в стране. — 69

²⁵ Н. И. Костомаров (1817—1885) — русский либеральный историк. О нем см. также прим. 3 к воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева. — 70

²⁶ Введение платы за обучение на самом деле закрывало доступ в университеты выходцам из малоимущих слоев. — 71

²⁷ Дело было, конечно, не в Г. И. Филипсоне, но и не в одном только отсутствии общей системы управления университетами, а в общем повороте к реакционному курсу во внутренней политике правительства. — 72

²⁸ Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — один из идеологов русского народничества. Образование получил в Михайловском артиллерийском училище. В 1844—1866 гг. преподавал в офицерских классах этого училища, преобразованных в 1855 г. в Михайловскую артиллерийскую академию. В 1858 г. был произведен в полковники. В 1866 г. арестован в связи с покушением Каракозова на Александра II. Суд не смог доказать причастность Лаврова к каракозовскому делу, но за хранение сочинений «преступного содержания» и за «близкие сношения с людьми, известными правительству своим преступным направлением», приговорил его к трехмесячному аресту. После этого Лавров был уволен с военной службы и сослан под строгий надзор полиции в Вологодскую губернию. Ссылку отбывал вместе с Шелгуновым. В 1870 г. бежал за границу. В ссылке Лавров написал «Исторические письма», в которых выдвинул тезис о долге интеллигенции перед народом. Находясь в эмиграции, испытал на себе некоторое влияние I Интернационала, Парижской коммуны, К. Маркса и Ф. Энгельса, с которыми был знаком, но

марксистом не стал. Основанный Лавровым журнал «Вперед!» стал одним из органов народнической мысли. Подобно М. А. Бакунину Лавров проповедовал массовую «социальную революцию», возлагая при этом основные надежды на крестьянство и рассматривая общину как основу для введения социализма. Однако в вопросах тактики Лавров решительно расходился с Бакуниным. Он отвергал «бунтарство» и считал важнейшим средством подготовки революции пропаганду. — 74

²⁹ Профессора Петербургского университета юрист Б. И. Утин (брат Н. И. Утина), юрист, историк русского права К. Д. Кавелин, юрист В. Д. Спасович, историк русской литературы А. Н. Пыпин (двоюродный брат Н. Г. Чернышевского), юрист М. М. Стасюлевич. Помимо научной деятельности эти профессора были известны участием в общественной жизни и журналистике. К. Д. Кавелин был одним из наиболее значительных представителей русского либерализма. В. Д. Спасович выступал как публицист и литературный критик. М. М. Стасюлевич, занимаясь журналистикой, одно время был еще и редактором-издателем журнала «Вестник Европы» — 77

³⁰ В действительности — в начале 1861 г. — 81

³¹ В. Д. Костомаров на самом деле не был племянником историка Н. И. Костомарова. — 81

³² В «Первоначальных набросках» воспоминаний Шелгунов несколько подробнее и гораздо откровеннее писал: «Неудовлетворение вызвало недовольство, а недовольство создало революционное брожение. Вот источник эпохи прокламаций. Кому принадлежит первая прокламация — неизвестно; но прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне. Паника и надежды были гораздо сильнее, чем бы им следовало быть. И правительство преувеличивало опасность, и молодежь ошибалась насчет силы, за которой она готова была идти. Я буду говорить только о трех прокламациях, о которых знаю достоверно: „К молодому поколению“, „К крестьянам“, „К солдатам“» (*Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания, т. 1, с. 241—242). Затем Шелгунов вспоминал, как зимой 1860 г. из Москвы в Петербург приехал Всеволод Костомаров с рекомендательным письмом к М. Л. Михайлову от поэта А. Н. Плещеева и как впоследствии, «когда Михайлов был сослан на каторгу, Плещеев сильно укорял себя за эту злополучную рекомендацию, но точно что-нибудь можно было предвидеть!» Костомаров был уже немного известен как переводчик Гейне, но главным было то, что он привез с собой революционное стихотворение, «напечатанное домашними средствами и с пропечатанной внизу фамилией „В. Костомаров“». «Это хвастовство, — писал Шелгунов, — оказалось лучшей рекомендацией». В приведенном выше отрывке из «Первоначальных набросков» Шелгунов называет стихотворение Костомарова «революционным», в то время как в воспоминаниях — «совсем нецензурным». Несколько подробнее и рассказ о том, как отнеслись к Костомарову в Петербурге, а также об обстоятельствах появления прокламаций в 1861 г.: «Костомаров рассказывал, что, когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтора рубля. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту или, вернее, отнеслись внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал ему работу в «Современнике», и вообще

его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать. В ту же зиму, то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову. Разговоры вообще у нас было мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком, и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал ее Костомарову» (там же, с. 242—243).

Свидетельство Шелгунова о плане выпуска прокламаций, обращенных к разным слоям населения, имеет важное значение. В советской исторической литературе оно рассматривается как одно из подтверждений того, что еще до отмены крепостного права вокруг редакции «Современника» складывался конспиративный революционный центр, подобно тому, как он существовал в Лондоне при редакции „Колокола“. В труде «Революционная ситуация в России в середине XIX века» (М., 1978) после упоминания о плане выпуска прокламаций, обращенных к различным слоям русского общества, выдвинутого еще Огаревым, и о его конспиративном проекте говорится: «Даже если Чернышевский и его соратники не знали (что вряд ли вероятно) об этом плане, то подготовка ими, а затем и реализация прокламационного плана не может не быть сопоставлена как с их конспиративными целями, так и с планами, согласованными с замыслами Огарева и Герцена. Налицо единовременный по срокам и общий по характеру, целям и задачам план воздействия на широкие слои общества системой воззваний («адресов») для подготовки и собирания сил на борьбу с самодержавием, на революционный штурм. Именно этот план был поставлен на очередь революционной конспирацией» (*Революционная ситуация...*, с. 179). Шелгунов был одним из тех, кто приступил к осуществлению этого плана. — 82

³³ См. прим. 10 к воспоминаниям М. Л. Михайлова. — 82

³⁴ В «Первоначальных набросках» и обстоятельства поездки в Лондон изложены Шелгуновым более подробно: «Михайлов с рукописью прокламации уехал раньше меня — и прямо в Лондон; у меня были другие дела за границей, и я приехал в Лондон, когда прокламация была уже напечатана. Ее было напечатано всего шестьсот экземпляров, и по размеру она была похожа скорее на очень смелую и резкую журнальную статью. Теперь вопрос заключался в том, как ее провезти. Хотя таможни в это время еще не были особенно строги, но открыто везти пук прокламаций было все-таки очень доверчиво. Я отклеил в нижней части чемодана Михайлова подкладку, уложил ровно и тщательно все листы, потом прикрыл все листом папки и снова наклеил подкладку. Этим мы занялись в том же революционном «Hôtel Molière», где задумывалась и статья о жещницах. Секрет оказался непроницаемым. Чемодан не возбуждал никаких подозрений, и мы были счастливы! Михайлов с прокламациями уехал в Россию — это было в августе (1861 года), а я остался еще за границей. Но хотя я и верил в непроницаемость секрета, а сердце все-таки билось сомнением, и с беспокойством ждал от Михайлова письма. Наконец письмо пришло, Михайлов доехал благополучно» (*Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, т. 1, с. 245*). Герцен не одобрял намерения Михайлова опечатать в Лондоне и провезти через границу в Россию прокламацию «К молодому поколению»,

так как полагал, что это очень рискованно. Тем не менее он помог Михайлову напечатать прокламацию. — 82

³⁵ «Эгонстка» — одноместный экипаж, модный в 1860-е гг. Миллионная улица — ныне улица Халтурина. — 83

³⁶ И. Д. Путилин — полицейский чиновник. В начале 1860-х гг. служил частным приставом в Москве. III отделение привлекало его для расследования политических дел. В 1871—1875 гг. — начальник петербургской сыскальной полиции. — 84

³⁷ Петиция, составленная литераторами, 15 сентября 1861 г. была подана министру народного просвещения Е. В. Путятину. В ней содержалась просьба об освобождении Михайлова или, по крайней мере, о разрешении назначить к нему избранного литераторами «депутата для охранения его гражданских прав» во время следствия. 16 сентября аналогичную петицию подали члены редакции «Энциклопедического словаря» во главе с П. Л. Лавровым. — 84

³⁸ 15 сентября 1861 г. студенческие волнения, получившие название «университетской истории», еще не начались. — 85

³⁹ Михайлов был приговорен судом сената к лишению всех прав состояния, к каторжным работам на 12 лет и 6 месяцев (а не на 15 лет, как пишет Шелгунов) и к вечному поселению в Сибири по отбытии каторги. Александр II сократил срок каторги до 6 лет (а не до семи, как пишет Шелгунов). — 86

⁴⁰ В «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский описал ужасы царской каторги. — 87

⁴¹ Письмо В. Д. Костомарова было адресовано Николаю Ивановичу Соколову. — 88

⁴² Шелгунов считал, что упомянутое письмо явилось основанием для возбуждения двух дел: по обвинению Чернышевского и самого Шелгунова. На самом же деле это письмо В. Костомарова было использовано только против Чернышевского. — 88

⁴³ Этот эпизод произошел в 1863 г. во время очной ставки, на которой Костомаров утверждал, что прокламацию «Русским солдатам...» написал Шелгунов, а тот это отрицал. — 89

⁴⁴ Биография Григория Захаровича Елисеева (1821—1891) — типичная биография разночинца, в 1860-е гг. вовлеченного в литературную и общественную деятельность. Родился в семье священника в Томской губернии. Окончил духовное училище, семинарию и Московскую духовную академию. Преподавал в Казанской духовной академии. Порвав духовной средой, некоторое время служил в Сибири. С 1858 г. жил в Петербурге и занимался журналистикой. Стал одним из наиболее видных публицистов. С 1859 г. сотрудничал в «Современнике», где с 1861 по 1866 г. вел «Внутреннее обозрение», и был одним из последователей Чернышевского. После закрытия «Современника» сотрудничал в «Отечественных записках», перешедших в руки Н. А. Некрасова, и с 1876 по 1881 г. вел и там «Внутреннее обозрение». Участвовал и в ряде других изданий. Имя Елисеева связано с деятельностью «Земли и воли» 60-х гг., он был очень близок с И. А. Худяковым и другими ишутинцами. После каракозовского выстрела был заключен в Петропавловскую крепость, но освобожден из-за отсутствия улик. Публицистика Елисеева служила революционно-демократическим идеалам, в его взглядах было много общего с народническими концепциями, в частности он верил в особую роль русского крестьянства. — 91

⁴⁵ Псевдонимом «Грыцько» Елисеев подписывал статьи не только на статистические, но и на другие, в частности исторические,

темы. Его литературное наследие до сих пор не собрано полностью. В 1894 г. Н. К. Михайловскому удалось издать лишь первый том сочинений Елисея, но и тот был уничтожен цензурой, в связи с чем в настоящее время он является библиографической редкостью. — 92

⁴⁶ В своих лекциях А. П. Шапов подчеркивал роль народа в истории, много внимания уделял тяжелому положению народных масс, народным движениям. Вступительная лекция А. П. Шапова, цитируемая Шелгуновым, была озаглавлена «Общий взгляд на историю великорусского народа» и состоялась 12 ноября 1860 г. Впервые была опубликована в «Известиях общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. университете им. В. И. Ульянова-Ленина», т. 33, вып. 2—3 (Казань, 1926). Впоследствии Шапов предпринял попытку пересмотреть проблемы русской истории с позиций естественнонаучного материализма. — 93

⁴⁷ Под «обществом» здесь следует понимать только либерально настроенные круги. — 94

⁴⁸ Тринадцать мировых посредников Тверской губернии в феврале 1861 г. подали прошение Александру II, в котором объявляли закон от 19 февраля 1861 г. несостоятельным и предлагали передать землю в собственность крестьянам. Важные сведения о действиях правительства были переданы мировым посредникам одним из официальных лиц. По заслуживающему доверия мнению С. А. Макашина, им был тверской вице-губернатор М. Е. Салтыков (Щедрин). В связи с тем что правительству стало известно о поступке Салтыкова, он 9 февраля 1861 г. неожиданно для окружающих подал прошение об отставке. — 95

⁴⁹ Н. И. Утин уехал за границу, получив несколько предупреждений об угрозе ареста. Что же касается А. А. Серно-Соловьевича, то он отправился за границу с намерением вскоре возвратиться и принял решение остаться в эмиграции, когда узнал, что, вернувшись в Россию, он может быть арестован. — 95

⁵⁰ Очевидец этих событий П. А. Кропоткин, впоследствии известный ученый-географ, революционер и теоретик анархизма, а в те дни выпускник Пажеского корпуса, ожидавший назначения в полк, рассказывал: «26 мая, в духов день, начался страшный пожар Апраксина рынка. Середину двора, почти полверсты в квадрате, занимал тогда Толкучий рынок, весь застроенный деревянными лавчонками. Здесь продавались всевозможные подержанные вещи. В лавчонках, в проходах между ними и даже на крышах нагромождались подержанная мебель, перины, ношеное платье, книги, посуда. Словом, всякий хлам свозился сюда из всех концов города. Позади этого громадного склада горючего материала находилось Министерство внутренних дел, в архиве которого хранились все документы, касавшиеся освобождения крестьян; а впереди Толкучего, окаймленного рядом каменных лавок, стоял на другой стороне Садовой Государственный банк. Узкий переулок, частью обстроенный каменными лавками, отделял Апраксин двор от крыла здания Пажеского корпуса... Почти насупротив Министерства внутренних дел, на другом берегу Фонтанки, находились громадные дровяные склады. И вот, Апраксин двор и дровяные склады занялись почти одновременно, в четыре часа пополудни... Зрелище было ужасное. Огонь трещал и шипел. Как чудовищная змея, он метался из стороны в сторону и хватывал кольцами лавчонки. Затем он поднимаясь внезапно громадным столбом, высовывая в сторону свои

языки, и лизал ими новые и новые балаганы и груды товаров. Образовались вихри огня и дыма; а когда вихрь закружил тучу горящих перьев из перинного ряда, оставаться на Толкучем уже было невозможно. Приходилось бросить все на произвол огня. Власти совершенно потеряли голову... Толпа, народ делали все, чтобы остановить огонь. Был момент, когда Государственный банк находился в сильной опасности. Вынесенные из лавок товары сваливали кучами на Садовой, у стен левого крыла банка. От падающих головешек загорались постоянно товары, сваленные на улице, но народ, задыхаясь в невыносимой жаре, не давал разгораться вещам, лежащим на улице. В толпе ругали начальство за то, что тут не было ни одной пожарной трубы...

Горело не Министерство внутренних дел, а архивы. Много молодежи, главным образом, кадеты и пажи, при содействии канцелярских выносили из горящего здания пачки бумаг и складывали на извозчиков. Иногда пачка падала на землю, ветер тогда подхватывал отдельные листы и гнал их по площади. Сквозь черные тучи дыма видны были зловещие огни пылавших деревянных складов на другом берегу Фонтанки.

Узкий Чернышев переулок, отделявший Пажеский корпус от Апраксина двора, был в отчаянном состоянии. В каменных лавках, напротив корпуса, находились большие запасы серы, деревянного масла, скипидара и тому подобных горючих веществ. Разноцветные огненные языки, выбрасываемые взрывами из лавок, лизали крышу низкого Пажеского корпуса, выходявшего на другую сторону переулка. Оконные рамы и стропила уже дымились. Пажи и кадеты, очистив здание, поливали его крышу из небольшой пожарной трубы кадетского корпуса, для которой вода с большими промежутками подвозилась в бочках, наливавшихся от руки шайками. Пожарные, стоявшие на раскаленной крыше, все время кричали надрывавшими душу голосами: „Воды! Воды!“» (*Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 166—167*). — 98

⁵¹ Полный текст записки, сфабрикованной Вс. Костомаровым, таков: «В. Д. Вместо „срочно-обяз.“ (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде „временнообяз.“ как это называется в положении. Ваш Ч.» М. К. Лемке, доказывая, что это фальшивка, обратил внимание на грубую орфографическую ошибку: «Наберите» вместо «наберите» (см.: *Лемке Мих. Политические процессы в России 1860-х гг. М. — Пг., 1923, с. 297*). — 98

⁵² Шедо-Ферроти — псевдоним барона Ф. И. Фиркса, написавшего клеветническую брошюру, направленную против Герцена. Николай Карлович — псевдоним русского эмигранта И. Г. Головина. — 100

⁵³ Цитович Петр Павлович — юрист, профессор Новороссийского (Одесского) университета, автор клеветнических брошюр, направленных против прогрессивных писателей и журналистов. — 100

⁵⁴ «Гражданин» — журнал, выходивший в Петербурге в 1872—1880 гг. и в 1881—1914 гг. и имевший реакционную направленность. Издателем его был кн. В. П. Мещерский, о котором В. И. Ленин писал: «Князь, прошедший огонь и воду и медные трубы в различных высших чиновничьих „сферах“ Петербурга, проповедует в этом журнальчике обыкновенно самые реакционные вещи» (*Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 20*). — 100

⁵⁵ В действительности министерство народного просвещения утвердило решение совета профессоров Петербургского университе-

та о присуждении Чернышевскому степени магистра, но сделалю лишь спустя три с половиной года. — 103

⁵⁶ В «Современнике» был напечатан перевод труда английского экономиста Джона Стюарта Милля (1806—1873) «Основания политической экономии». — 108

⁵⁷ Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор-издатель газеты «Московские ведомости» (1850—1855, 1863—1887) и журнала «Русский вестник» (1856—1887). С появлением «Русского вестника» Катков стал видной фигурой в общественной жизни России. Сначала он имел репутацию либерала-западника, англomана, обосновывая в своем журнале программу, которая, по словам одного из современных исследователей, «явилась своеобразной попыткой соединить „охранительную“ идеологию с элементами либерализма» (*Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978, с. 18—19*). В 1860—1862 гг. «Русский вестник» все резче выступает против «Современника». Позиция Каткова все более правее, постепенно он превращается в одного из главных идеологов самодержавия. — 108

⁵⁸ Имеется в виду статья Чернышевского «Полемиические красоты. Коллекция первая. Красоты, собранные из „Русского вестника“», напечатанная в № 6 «Современника» за 1861 г. — 108

⁵⁹ Poleмика между «Современником» и «Русским словом», известная в истории литературы как «раскол в ингилистах», заняла в воспоминаниях Шелгунова значительное место. При этом в его подходе к освещению этих споров обнаруживается настойчивое стремление сгладить существовавшие разногласия. Объясняется это в значительной мере тем, что сам Шелгунов был тесно связан как с «Современником», так и с «Русским словом». Затуманивая противоречия, имевшиеся между сторонниками Чернышевского и Писарева, Шелгунов приближался к позиции последователей Писарева, проповедовавших необходимость прежде всего распространять знания и отстаивавших теорию «мыслящих реалистов». Вместе с тем Шелгунов стремился сохранить традиции «Современника» времен Чернышевского и Добролюбова. В 1870 г. он написал статью, посвященную изданию сочинений Писарева, но не вышедшую в свет из-за запрещения цензуры. В этой статье Шелгунов доказывал, что взгляды Писарева были вызваны новой политической ситуацией и ставили перед освободительным движением задачи, соответствовавшие изменившейся обстановке. В этом плане, по его мнению, идеи Писарева не противоречили взглядам Добролюбова, позиции «Современника» Чернышевского, а были их логическим продолжением в изменившихся условиях. (Запрещенная цензурой статья Шелгунова была опубликована в «Литературном наследстве», т. 25—26. М., 1936). Излагая свой взгляд на позиции «Современника» и «Русского слова», Шелгунов исходил из того, что каждый из этих журналов решал свою проблему. «Современник» занимался постановкой и разрешением вопросов социально-политических, а «Русское слово» рассматривало проблемы личности и ее отношения к обществу и прогрессу. — 111

⁶⁰ Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — известный публицист, редактор демократических журналов «Русское слово» (1860—1866) и «Дело» (1866—1880). Член «Земли и воли» 1860-х гг. — 111

⁶¹ Писарев находился в заключении с июля 1862 г. до ноября 1866 г. — 111

⁶² Арестован был Писарев 2 июля 1862 г., но при нескольких обстоятельствах, чем это описывает Шелгунов. По предложению студента П. Д. Баллода Писарев написал для напечатания в подпольной типографии статью, направленную против клеветнической брошюры Шедо-Ферроти (см. прим. 52). В статье содержалась и крайне резкая критика самодержавия. Напечатать статью не удалось, но ее оригинал был обнаружен при обыске, произведенном у Баллода. На допросе Баллод сознался, что статья передана ему Писаревым и предназначалась для печатания в подпольной типографии. Писарев был приговорен к четырем годам заключения, которое отбывал в Петропавловской крепости. — 113

⁶³ В романах «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского, «Некуда» Н. С. Лескова, «Марево» В. П. Ключникова в искаженном виде было представлено революционное движение, особенно окарикатурены были «нигилисты». — 135

Михаил Ларионович (Илларионович) Михайлов (1829—1865)

Михаил Ларионович (Илларионович) Михайлов родился в Оренбурге. Его отец происходил из крепостных, но долголетней службой в Оренбургском крае добился дворянства и чина надворного советника. В семье была жива память о деде Михаила Ларионовича, крепостном, умершем после жестокого телесного наказания. М. Л. Михайлов окончил уфимскую гимназию и в 1846 г. поступил вольнослушателем в Петербургский университет. Рано начал писать стихи. Первые публикации его стихов появились в 1845 г. Михайлов переводил на русский язык Гейне, Беранже, Бернса, Лонгфелло и других авторов. Подобно В. С. Курочкину, переводившему произведения Беранже, преисполненные свободолобивых настроений, Михайлов делал достоянием русского читателя в первую очередь то из творческого наследия переводимых им поэтов, что было созвучно настроениям русской революционной демократии.

Собственные стихотворения Михайлова были проникнуты мыслью о необходимости служения общественному делу и близки настроениям революционной молодежи. Именно такими были его стихи «Крепко, дружно вас в объятья...» (ответ на стихотворное приветствие арестованных студентов), «Памяти Добролюбова», «Вечером душным, под черными тучами нас похоронят...», «Только помыслишь о воле порой...». Написанная Михайловым песня «Смело, друзья! Не теряйте...» впоследствии получила название «Народовольческий гимн» и была широко известна в революционных кругах. В одном из своих стихотворений, «О сердце скорбное народа...», Михайлов писал: «Не жди, чтоб счастье и свобода к тебе сошли из царских рук». Поэтические произведения Михайлова распространялись в рукописных списках и сыграли заметную роль в революционной пропаганде. Прозаические произведения Михайлова (например, написанный в духе натуральной школы роман «Перелетные птицы»), проникнутые настроениями, близкими разночинной, демократической среде, в свое время пользовались большой популярностью.

Михайлов вошел не только в историю русской литературы. Его имя тесно связано и с русским революционным движением 1860-х гг.

Немало способствовал тому, что Михайлов стал на путь революционной борьбы, Н. Г. Чернышевский, с которым он познакомился еще в молодые годы.

Проведя в Петербурге студенческие годы, Михайлов, лишившись материальной помощи отца, на несколько лет покинул столицу и в 1848—1852 гг. служил в Нижнем Новгороде, занимая различные должности в тамошнем соляном управлении. В 1852 г. Михайлов вернулся в Петербург и занялся литературной деятельностью. С весны того же 1852 г. он сотрудничал в «Современнике» и вскоре стал играть важную роль в редакции этого журнала. Михайлов вел в нем отдел иностранной литературы, помогал Н. А. Некрасову в редактировании поэтических произведений.

Широкий отклик в разночинных, демократически настроенных кругах, в особенности среди молодежи, получили публицистические статьи Михайлова, в частности по женскому вопросу. Публицистика Михайлова была направлена против самодержавия, крепостничества, политики правящих классов, способствовала пропаганде революционно-демократических идей. В одной из статей, напечатанной в 1858 г. в № 3 «Современника» и озаглавленной «Петербургская жизнь», Михайлов, обличая помещиков-крепостников, писал: «И до чего доходят эти слепые поклонники прошедшего, эти тупоумные эгоисты, прикрывающие свои личные интересы святым именем патриотизма, когда чуть коснутся до их безумных предрассудков, которые они считают священными и неприкосновенными».

Постепенно Михайлов становится активным деятелем своего рода общерусского революционного центра, сложившегося вокруг редакции «Современника». Его участие в общественно-политической жизни приобретает явно революционную окраску. В 1861 г. Михайлов вместе с Н. В. и Л. П. Шелгуновыми отправляется в заграничное путешествие, во время которого происходит встреча с Герценом. С Герценом у него не только устанавливается полное взаимопонимание, но и завязывается дружба.

Михайлов участвовал в составлении и распространении прокламации «К молодому поколению». Он приложил много усилий, чтобы организовать издание этой листовки. Герцен находил некоторые ее выражения слишком крайними и в связи с этим высказывал особое беспокойство за судьбу Михайлова. По настоянию Михайлова прокламация была все-таки отпечатана в Вольной русской типографии в июне 1861 г. и доставлена в Россию.

Михайлов находится в центре событий в период, относящийся к весне — началу лета 1861 г., когда, по мнению ряда советских историков, «формировалась всеобщая русская тайная революционная организация». При этом Михайлов наряду с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, Н. Г. Чернышевским, Н. Н. Обручевым, Н. А. Серно-Соловьевичем рассматривается как «активный деятель революционного подполья» (см.: Революционная ситуация в России в середине XIX века. М., 1978, с. 263).

М. Л. Михайлов стал первой жертвой провокационной деятельности Вс. Костомарова. 14 сентября 1861 г. Михайлов был арестован по обвинению в том, что написал прокламацию «К молодому поколению». Он полностью взял на себя предъявленное ему обвинение. Тем самым он спасал Н. В. Шелгунова, являвшегося автором этой прокламации. Признание Михайлова позволило властям вести следствие ускоренным порядком. 23 ноября вынесенный по делу Михайлова приговор был представлен для наложения резолюции

Александр II. Тот сократил срок каторжных работ с 12 до 6 лет, но одновременно подтвердил предусмотренное приговором вечное поселение в Сибири после отбытия каторги. Но Михайлову не суждено было пережить и сокращенного срока каторжных работ.

14 декабря 1861 г. состоялась гражданская казнь Михайлова. Возможно, это было простым совпадением, но она происходила в годовщину восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Арест Михайлова и суд над ним, несправедливый и жестокий приговор были с негодованием встречены в передовых слоях русского общества, особенно была возмущена демократически настроенная молодежь. Его имя, благодаря популярности его стихов и публицистических статей, было окружено искренним сочувствием.

Власти знали о большой популярности Михайлова, поэтому решили процедуру гражданской казни над ним исполнить без предварительного извещения, боясь антиправительственной демонстрации. Рано утром 14 декабря Михайлова разбудили и уже в 5 часов утра в арестантской одежде на «позорной колеснице» вывели из крепости. Гражданская казнь была назначена на Сытной площади Петербургской стороны. Площадь была почти пустой. Свидетелями гражданской казни оказались лишь немногочисленные случайные прохожие. Под барабанный бой над поставленным на колени Михайловым палач переломил шпагу.

После этой процедуры Михайлова вновь вернули в Петропавловскую крепость, но уже ненадолго. Днем ему было разрешено проститься с друзьями. Вечером в сопровождении двух жандармов в закрытой казенной повозке Михайлова увезли из крепости. Впереди ехал возок с жандармами. Он был снаряжен из опасения, что молодежь предпримет попытку освободить Михайлова. Рано утром Михайлова привезли в Шлиссельбургскую крепость. Это была первая остановка Михайлова на его пути в Сибирь, из которой ему уже не суждено было вернуться.

Сначала Михайлов отбывал каторжные работы на Казаковском золотом прииске, которым заведовал его брат Петр Ларионович. Это обстоятельство в первое время облегчило положение М. Л. Михайлова. Однако вскоре Петр Ларионович был отстранен от должности и отдан под суд «за послабления, оказанные им в содержании государственного преступника», а М. Л. Михайлов был переведен в Зерентуйский рудник, а оттуда в каторжную тюрьму в Кадае.

На каторге Михайлов продолжал, насколько это было возможным, заниматься литературой. Еще по дороге в Сибирь он сделал перевод последней сцены из трагедии Эсхила «Прикованный Прометей». На каторге Михайлов вновь встретился с Чернышевским. Он обсуждал с ним и свои литературные планы. В частности, они беседовали о задуманных Михайловым научно-популярных очерках о «первобытном человеке». Уже после смерти Михайлова эти очерки были напечатаны в журнале «Дело» (1869, № 3, 4). Посмертно были опубликованы и другие сочинения Михайлова, среди которых были и стихи, и рассказы, и переводы.

Перенести тяжелые условия каторжной жизни было не под силу Михайлову. Его здоровье, всегда очень слабое, все более ухудшалось. 3 августа 1865 г. М. Л. Михайлов скончался.

Отношение современников к Михайлову и его судьбе носило особый оттенок. Он был первый, на кого обрушились репрессии правительства Александра II, когда оно перешло в открытое наступление

против демократических сил. Имя Михайлова пересекло общественное мнение с искренним сочувствием и уважением. Михайлов со своей стороны был достоин такого отношения. Оказавшись сначала за тюремной решеткой, а затем на каторге, он держался с большой стойкостью и истинным благородством.

«Записки» М. Л. Михайлова написаны с большой откровенностью. Обращенные к любимой женщине, Л. П. Шелгуновой, они являют собой одновременно и редкий по силе чувства человеческий документ, и неопенимый источник, содержащий интереснейшие сведения о революционном движении 1860-х гг. Скрывая все, что могло бы повредить оставшимся на свободе друзьям, Михайлов в остальном описывает события, особенно все, что было с ним во время суда и следствия, очень подробно, беспощадно обличая русское самодержавие и его слуг.

Свои «Записки» М. Л. Михайлов написал в марте—июне 1862 г. в виде не предназначавшихся для печати писем к Л. П. Шелгуновой. Рукопись «Записок» Л. П. Шелгунова хранила у себя до самой смерти. Судьба, постигшая автограф «Записок» Михайлова после смерти Шелгуновой, неизвестна. Впервые отрывок из «Записок» был опубликован в 1902 г. в журнале «Русская мысль» (№ 12). В 1905 г. краткое изложение «Записок» Михайлова было помещено в сборнике «Материалы для истории революционного движения в России», изданном В. Базилевским в Париже. В 1906 г. воспоминания Михайлова почти одновременно (с разночтениями) были опубликованы в журналах «Русское богатство» и «Русская старина». Что именно было положено в основу первых изданий — автограф Михайлова или копии с него, — неизвестно.

В 1922 г. вышло отдельное издание «Записок» (*Михайлов М. Л. Записки*. Пг., 1922), подготовленное А. А. Шиловым. «Записки» вошли в третий том сочинений Михайлова (*Михайлов М. Л. Сочинения* в трех томах, т. 3. М., 1958). Составители первых изданий А. А. Шилов и Г. Ф. Коган проделали большую работу, в частности раскрыли многочисленные криптонимы, за которыми из соображений безопасности Михайлов скрывал подлинные имена.

В настоящее издание включены первые главы «Записок» Михайлова, в которых повествование начинается с обысков на квартире Михайлова и завершается 13 декабря 1861 г., то есть накануне гражданской казни над Михайловым. Они печатаются по тексту книги: *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания*, т. 2. М., 1967.

¹ «Тайной канцелярией» Михайлов называл III отделение «собственной его императорского величества канцелярии», существовавшее с 1826 по 1880 г. и занимавшееся расследованием политических дел. — 141

² Благодаря случайной встрече Ракеева с Михайловым в книжной лавке III отделению стало известно, что Михайлов находится в Петербурге, в то время как по сведениям полиции он еще числился в отъезде. — 141

³ Михайлов жил в одной квартире с Шелгуновыми. — 142

⁴ Изданный в Берлине в 1861 г. Р. Вагнером сборник запрещенных стихотворений А. С. Пушкина. — 143

⁵ Камердинера А. С. Пушкина, сопровождавшего гроб с телом поэта, звали Никитой Тимофеевичем Козловым. — 143

⁶ Изданная в Лондоне в 1855 г. брошюра «27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г. в „St. Martins Hall Long Acre“», посвященная митингу, устроенному чартистами (первой рабочей политической организацией, возникшей в Англии), на котором выступал и А. И. Герцен. — 144

⁷ Автограф Михайлова был нужен III отделению для выяснения авторства, точнее — руки, которой были написаны прокламации «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...», приложенные к доносу Н. Д. Костомарова. — 146

⁸ Показной либерализм П. А. Шувалова, которого Михайлов справедливо называл «шпионом en chef» (т. е. главным шпионом), не вводил в заблуждение его современников. Один из них, М. И. Венюков, писал: «Его сила, как некогда Бориса Годунова, в умении понимать слабости самодержавия и самодержца и пользоваться ими с незуитской ловкостью, иногда прикидываясь «просвещенным, умеренным либералом», он всегда оставался по существу прямым наследником Малюты Скуратова» (Венюков М. И. Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора. 1855—1878, т. 4, вып. 2. Прага, 1880, с. 23—24). — 147

⁹ Имеется в виду дело московских студентов П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневского, к которому было присоединено и дело П. С. Петровского-Ильенко, Я. А. Сулина, И. К. Сороко и др., обвинявшихся в устройстве в Москве тайной типографии. В ней была напечатана запрещенная цензурой брошюра Н. П. Огарева «Разбор книги барона Корфа „14 декабря 1825 года“». Михайлов также привлекался по этому делу в связи с передачей им В. Д. Костомарову рукописей двух прокламаций. — 147

¹⁰ 20 июля Михайлов известил В. Костомарова о своем возвращении в Петербург, а 5 августа перевел ему по почте деньги. 20 августа В. Костомаров приехал в Петербург и привез корректурный оттиск первого листа прокламации «Барским крестьянам...». Михайлов показал В. Костомарову воззвание «К молодому поколению» и предлагал взять с собой 100 экземпляров для распространения в Москве.

К этому времени III отделение уже располагало доносом брата В. Костомарова, Николая. Узнав о существовании тайной типографии, Н. Д. Костомаров 9 августа подал в III отделение доклад о «страшном заговоре» в Москве, приложив к нему украденные им у В. Костомарова рукописи прокламаций Чернышевского («Барским крестьянам...») и Шелгунова («Русским солдатам...»). По возвращении в Москву, в ночь на 26 августа, В. Костомаров был арестован и отправлен в Петербург. Доставленный в III отделение, он согласился сотрудничать с полицией и 4 сентября в письме на имя П. А. Шувалова обещал сообщить все, что знал о московской тайной типографии. О прокламации «К молодому поколению» в этом письме он не упоминал. Костомаров не знал, что Михайлов, А. А. Серно-Соловьевич и Е. П. Михаэлис 3 и 4 сентября распространяли ее в Петербурге. Сведения о прокламации «К молодому поколению» Шувалов и его подчиненные получили от В. Костомарова несколько позже. Они заставили Костомарова написать письмо на имя Я. А. Ростовцева и использовали его как «вещественное доказательство», якобы случайно попавшее в руки властей. В письме сообщалось о доносе Н. Д. Костомарова и содержалась просьба предупредить «М. Мих.» о необходимости уничтожить «М. П.». Следовательно, 1 сентября при обыске на квартире Михайлова искали

не прокламацию «К молодому поколению», а рукопись прокламации «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...». 111

¹¹ О И. Д. Путилине см. прим. 36 к воспоминаниям П. В. Шелгунова. — 148

¹² Рукописи прокламаций «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...» были представлены в III отделение не Всеволодом, а Николаем Костомаровым. Версия о том, что прокламация «Барским крестьянам...» переписана рукой Михайлова, была выдвинута в рапорте жандармского полковника Житкова, специально посланного в Москву для расследования доноса Н. Д. Костомарова. Этого взгляда придерживались и некоторые историки, в том числе М. К. Лемке. Исследование этого вопроса С. А. Рейсером показало, что прокламация «Барским крестьянам...» была переписана не Михайловым, а кем-то другим (см.: *Рейсер С. А. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...»* (Историография. Текстология). — В кн.: Книга. Исследования и материалы, сб. 14. М., 1967, с. 206—235). Последние исследования показали, что прокламация была переписана одним из родственников Чернышевского (см.: *Пернер М. И. Прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»* (Результат изучения рукописи и архивных дел). — Русская литература, 1975, № 1, с. 138—154). — 148

¹³ Обыск был произведен в имении Михаэлисов в Подолье, Шлиссельбургского уезда, Санкт-Петербургской губернии. — 148

¹⁴ Э. Виленская и Л. Ройтберг, составители примечаний к воспоминаниям Михайлова, полагают, что он подозревал студента И. К. Сороку, которому была передана через В. Костомарова для напечатания в московской тайной типографии рукопись прокламации «Барским крестьянам...». Они считают, что Михайлов знал его меньше, чем Костомарова, и поэтому меньше доверял. — 148

¹⁵ «Твердо» и «добро» — название букв «т» и «д» в древнерусском алфавите. — 150

¹⁶ Дама, замеченная Михайловым, по всей вероятности, была секретным агентом III отделения. Известно, что в качестве секретных агентов там использовали и женщин. В письмах М. Я. фон Фока, ведавшего секретной агентурой еще в первой половине XIX в., упоминаются Е. Н. Пучкова, «писательница и умная женщина», ее сестра Наталья, некто Верещагина, которые «служат полиции» (цит. по кн.: *Оржиховский И. В. Самодержавие против революционной России*. М., 1982, с. 64). В конце 1860-х гг. в документе, составленном на имя П. А. Шувалова новым заведующим III экспедицией III отделения, в частности, упоминались «одна замужняя женщина, не столько агент, сколько любовница и сподручница одного из агентов; одна вдовствующая, хронически беременная полковница из Кронштадта» (цит. по кн.: *Оржиховский И. В. Ук. соч.*, с. 121). Кем именно была, какими способностями обладала и какие поручения выполняла замеченная Михайловым особа, сказать трудно. В своем подавляющем большинстве имена секретных агентов тех лет остались нераскрытыми. — 151

¹⁷ Таким способом Житков угрожал Михайлову, намская на возможность ареста Н. В. и Л. П. Шелгуновых. — 151

¹⁸ Николай Васильевич — Н. В. Шелгунов; Веня — брат Л. П. Шелгуновой, Евгений Петрович Михаэлис. — 152

¹⁹ Существовало предположение, что Я. А. Ростовцев, которому было адресовано письмо В. Д. Костомарова, — лицо вымышленное. Этой версии придерживался и М. К. Лемке (см.: *Лемке М. К. По-*

литические процессы в России 1860-х годов (по архивным документам). Изд. 2-е. М.—Пг., 1923, с. 83). В примечаниях к воспоминаниям М. Л. Михайлова (М., 1967) на основании сообщения Б. П. Козьмина говорится, что Я. А. Ростовцев упомянут в адрес-календарях 1860—1861 гг. как преподаватель одного из кадетских корпусов. Его имя встречается также в переписке И. С. Тургенева и некоторых других писателей. — 160

²⁰ В письме В. Костомарова на имя Ростовцева не было сказано, какая из двух прокламаций написана рукой Михайлова. В своих показаниях на допросе В. Костомаров говорил, что рукой Михайлова переписана прокламация «Русским солдатам...». Шелгунов же утверждает, что Костомарову было известно, что эта прокламация составлена Шелгуновым и им же переписана. Позднее Костомаров показал, что рукой Михайлова была переписана и прокламация «Барским крестьянам...». То же самое утверждал в своем доносе, написанном в августе 1861 г., брат В. Костомарова, Николай. — 160

²¹ Михайлов боялся, что В. Костомаров может выдать имена Чернышевского и Шелгунова, участвовавших в составлении прокламаций. — 161

²² В действительности никто из названных лиц арестован не был. — 161

²³ Михайлову не было известно, что во втором доносе Н. Костомарова от 18 августа 1861 г. в числе «заговорщиков» были названы И. К. Сороко и П. С. Петровский-Ильенко. — 167

²⁴ В письменных показаниях Михайлова от 18 сентября 1861 г. было сказано, что он получил от Герцена десять экземпляров прокламации «К молодому поколению», пять или четыре из которых сжег и никому, кроме В. Костомарова, не показывал. О прокламациях «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...» Михайлов писал, что они широко ходили по рукам и он их получал в списках, но не знал, чьей рукой они переписаны. — 168

²⁵ На запрос сената, судить ли Михайлова за распространение воззвания «К молодому поколению» или совокупно с обвинением в сочинении воззваний к барским крестьянам и солдатам, Александр II «повелел» судить его за распространение прокламации «К молодому поколению» отдельно от других обвинений. — 168

²⁶ Михайлова перевели в Петропавловскую крепость 14 октября 1861 г. — 169

²⁷ Е. П. Михаэлис был арестован 26 сентября 1861 г. за активное участие в студенческих волнениях и выслан в Петрозаводск. Его участие в распространении прокламации «К молодому поколению» III отделению осталось неизвестным. — 169

²⁸ Гольц-Миллер Иван Иванович (1842—1871) — студент Московского университета, поэт. Принадлежал к кружку Заичневского. Арестован по доносу Н. Костомарова. При аресте у него были обнаружены стенографированные листы «Колокола». Подвергнут трехмесячному заключению, после чего выслан в Курсунь. — 173

²⁹ Обручев Владимир Александрович (1836—1912). Был арестован за распространение «Великорусса». На следствии никого не выдал. Принято считать, что Обручев унес в могилу тайну того, кто был автором «Великорусса». — 173

³⁰ Перцов Эраст Петрович (1804—1873). Был арестован 29 августа 1861 г. за пересылку корреспонденций в «Колокол». Отсидел 6 месяцев в крепости, затем выслан в Вятку. — 173

³¹ Боков Петр Иванович (1835 — ок. 1915) — врач, участник революционного движения 1860-х гг. Был близок к Чернышевскому. Привлечен к следствию по делу о распространении «Великорусса», но освобожден из-за отсутствия улик. — 173

³² В «показании в его позднейшей форме» Михайлов писал, что во время заграничной поездки, расставшись с Шелгуновым, оставшимся в Германии, поехал в Лондон, где встретился с Герценом и по предложению последнего написал статью, от которой, по его утверждению, при печатании не осталось и половины. Михайлов показал, что взял с собою двести экземпляров (в действительности — шестьсот) из числа напечатанных. По возвращении в Петербург он, будто бы скрывая свою деятельность от Шелгуновых, разложил привезенные экземпляры по пакетам, приготовив их таким образом к распространению. Михайлов также писал, будто бы прокламации не были обнаружены при первом обыске, так как были спрятаны в печи. После же первого обыска он якобы распространил все экземпляры, подбросив и к своим дверям один из пакетов. Свой поступок Михайлов объяснял попыткой добиться облегчения цензурных строгостей. — 178

³³ У Аларчина моста, на Екатерингофском проспекте (ныне — проспект Римского-Корсакова), в доме 65 была квартира Михайлова и Шелгуновых. — 181

³⁴ По делу «Великорусса» кроме В. А. Обручева и П. И. Бокова были арестованы студенты Петербургского университета Ф. Р. Данненберг, В. В. Лобанов и М. П. Сваричевский. — 182

³⁵ По делу кружка Петрашевского была создана специальная следственная комиссия под председательством кн. А. Ф. Голицына. Такие комиссии создавались для расследования особо важных дел по мере их возникновения. С 1862 г. подобная комиссия стала постоянно действующей. — 183

³⁶ Александр II «повелел» предать Михайлова суду 9 октября, т. е. за 5 дней до того, как тот написал прошение. — 187

³⁷ Предполагается (первым эту мысль высказал А. А. Шилов), что далее следует пропуск в тексте. Возможно, здесь шла речь о тайной связи, налаженной при помощи кого-то из плац-адъютантов между Михайловым и Шелгуновыми. — 198

³⁸ О А. А. Суворове см. прим. 20 к воспоминаниям Шелгунова. — 199

³⁹ Залесский Александр Викентьевич — студент Петербургского университета, участник волнений 1861 г. — 199

⁴⁰ В «Первоначальных набросках» воспоминаний Шелгунов писал, что «политическое мученичество» создало «ореол над Михайловым». Во время суда, вспоминал Шелгунов, «у сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его и, если можно, так взглянуть на него. Некоторым удавалось забраться в ворота и на черную лестницу, где проводили Михайлова в заседание сената, и счастливы были так довольны, что видели, как он шел, сопровождаемый двумя жандармами. Михайлов тоже как будто вырос, его радовало общее внимание, и, довольный, он приветливо кланялся знакомым. Было что-то праздничное во всем этом» (цит. по кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, т. 1. М., 1962, с. 241). — 200

⁴¹ В состав суда над Михайловым входили: первоприсутствующий (председатель) Г. П. Митусов, Н. М. Карнеев, К. Б. фон Венцель, А. П. Бутурлин, М. М. Карниолин-Пинский. Последний затем

был первоприсутствующим на процессе Чернышевского. Числился в составе суда, но находился в отпуске А. А. Волоцкой. Обер-прокурором был Н. А. Буцковский. — 201

⁴² Первый допрос Михайлова в сенате был 18-го, второй — 23-го, третий — 31 октября 1861 г. — 205

⁴³ Михайлов намекает на тайные встречи в Петропавловской крепости с Л. П. Шелгуновой, устроенные кем-то из сочувствовавших ему лиц. — 205

⁴⁴ Глупой выходкой Михайлов назвал подачу им прошения Александру II. — 206

⁴⁵ Приговор сената, вынесенный 13 ноября 1861 г., предусматривал лишение Михайлова всех прав состояния, ссылку в каторжные работы на 12 лет и 6 месяцев и вечное поселение в Сибири после отбытия срока каторги. 21 ноября дело было рассмотрено в Государственном совете. 23-го Александр II утвердил приговор, сократив срок каторги до 6 лет. — 208

⁴⁶ Варсынька и Машенька — сестры Л. П. Шелгуновой, Варвара Петровна и Мария Петровна Михаэлис. М. П. Михаэлис (в замужестве Богданович) в 1864 г. во время гражданской казни Чернышевского бросила на эшафот букет цветов, после чего была взята под надзор полиции. Впоследствии вместе с мужем, Николаем Николаевичем Богдановичем, участвовала в народническом движении 1870-х гг. — 208

⁴⁷ Пинкорнелли Иван Федорович — плац-адъютант С.-Петербургской (Петропавловской) крепости. Был известен сочувственным отношением к политическим заключенным, которым оказывал различную помощь. По-видимому, Михайлов имеет в виду помощь Пинкорнелли в его тайной переписке, а возможно, как полагают Э. Виленская и Л. Ройтберг, и в устройстве свидания с Л. П. Шелгуновой. — 209

⁴⁸ Благодаря этому разрешению встретиться и проститься с Михайловым смогли Н. В. и Л. П. Шелгуновы, поэт Я. П. Полонский, историк П. П. Пекарский, Н. Г. и О. С. Чернышевские, А. А. Серпо-Соловьевич, поэт Н. В. Гербель, мать Л. П. Шелгуновой — Е. Е. Михаэлис — 213

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889)

Николай Гаврилович Чернышевский родился в Саратове. Его отец был священником, но вопреки сложившейся в среде русского духовенства традиции не хотел, чтобы сын шел по его стопам, и всячески поощрял его стремление получить высшее образование. Семнадцатилетним юношей Чернышевский стал студентом Петербургского университета. Уже в студенческие годы Чернышевский проникся революционными настроениями. Особое воздействие оказала на него революция 1848 г. В сентябре 1848 г. Чернышевский записал в своем дневнике: «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно» (*Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.*, т. 1. М., 1939, с. 122).

После двух лет учительства в саратовской гимназии Чернышевский вновь в Петербурге. В 1853 г. он знакомится с Н. А. Некра-

совым, начинает сотрудничать в «Современнике». В 1855 г. Чернышевский защищает диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Диссертация была направлена против идеалистических взглядов, теоретически обосновывала принципы реалистического искусства. Чиновники в министерстве народного просвещения надолго затянули утверждение решения совета Петербургского университета о присуждении Чернышевскому ученой степени. Тем временем он с головой ушел в литературную деятельность.

Личность Чернышевского была необычайно многогранна. Он был талантливым литературным критиком — достаточно вспомнить его «Очерки гоголевского периода русской литературы». Он с блеском выступал как специалист по политической экономии. Такие философские труды, как «Антропологический принцип в философии», свидетельствовали о том, что Чернышевский строит их на материалистической основе. Выдающиеся работы были написаны Чернышевским и на исторические темы.

Однако главной целью в жизни Чернышевского было служение делу революции. Он отстаивал интересы угнетенного народа не только в своих легальных статьях, умело обличавших крепостничество и самодержавие. Чернышевский, Добролюбов, их единомышленники составляли революционное ядро, сплотившееся вокруг редакции «Современника». Чернышевский стремился наладить сотрудничество с лондонским революционным центром во главе с А. И. Герценом. Он был идейным вдохновителем тайной революционной организации «Земля и воля» 1860-х гг. Есть свидетельства и о непосредственном участии Чернышевского в деятельности «Земли и воли». Чернышевский активно участвовал в составлении и распространении революционных прокламаций, обращенных к различным слоям русского народа.

Арест Чернышевского, последовавший 7 июля 1862 г., процесс по его делу, построенный на фальсифицированном обвинении, ссылка на многие годы в самые глухие углы Сибири надолго оторвали Чернышевского от общественной и литературной жизни. Но и в каземате Петропавловской крепости, и на каторге, и в ссылке он был несгибаем. В крепости он написал роман «Что делать?», который стал его политическим завещанием последующим поколениям революционеров. Находясь в крайне тяжелых условиях в Виллюйске, Чернышевский отверг предложение написать прошение о помиловании. При этом он сказал: «Сколько мне известно, я сослан потому, что моя голова и голова шефа жандармов графа Шувалова устроены на разный манер. А об этом разве можно просить помилования?» 21 год провел Чернышевский в крепости, на каторге, в ссылке. Только в 1883 г. ему разрешили переехать в Астрахань, а в июне 1889 г. он вернулся в родной Саратов, где и умер 17 октября того же года.

К сожалению, Чернышевскому не суждено было написать обстоятельных воспоминаний о своей жизни, хотя сохранился его юношеский дневник. Тем не менее хотя и небольшие, но очень яркие и живые воспоминания он оставил. Незадолго до смерти Чернышевский занялся подготовкой «Материалов к биографии Н. А. Добролюбова». В связи с этим сохранилось несколько мемуарных свидетельств Чернышевского, в которых он воспроизводит яркие черты, присущие Добролюбову. Одно из них, содержащееся в приложении к письму, адресованному историку русской литературы А. Н. Пыпину, воспроизводится в настоящем томе. Подлинник хранится

в ЦГАЛИ. Впервые опубликовано в журнале «Современный мир» (1911, № 11). В настоящем издании печатается по книге: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961.

¹ Турчанинов Николай Петрович — ученик Н. Г. Чернышевского по Саратовской гимназии, товарищ Н. А. Добролюбова по Главному педагогическому институту. — 215

² Срезневский Измаил Иванович (1812—1889) — выдающийся филолог-славист, профессор Петербургского университета и Главного педагогического института. — 215

³ Этим студентом был действительно Д. Ф. Щеглов. — 217

Максим Алексеевич Антонович (1835—1918)

Максим Алексеевич Антонович родился в г. Белополье Харьковской губернии в семье дьячка. В силу своего происхождения учиться ему пришлось в учебных заведениях духовного ведомства: сначала в Ахтырском духовном училище, затем в Харьковской духовной семинарии, наконец, в Петербургской духовной академии. Интересы же Антоновича были далеки от богословских наук. Читая запоем Белинского, Чернышевского, Добролюбова, он попал под сильное влияние их идей, стал мечтать о литературной деятельности. В 1859 г. Антонович принес в редакцию «Современника» свою первую статью. Добролюбов ее забраковал, но, отметив несомненные способности Антоновича, предложил ему сотрудничать в «Современнике». Сначала он печатал заметки в библиографическом отделе, затем стал писать критические статьи. Одновременно у Антоновича установились тесные отношения с Чернышевским и Добролюбовым.

Избавившись от необходимости служить по духовному ведомству, Антонович целиком отдается журналистике. В 1862 г., вскоре после смерти Добролюбова, Чернышевский решил, что Антонович сможет заменить его в роли первого критика «Современника». Тем временем последовал арест Чернышевского. За короткий промежуток времени «Современник» потерял и Добролюбова, и Чернышевского. В этой крайне трудной обстановке Н. А. Искрасов предложил Антоновичу войти в редакцию журнала. Тот это предложение принял и фактически возглавил журнал.

Антонович вел критический отдел «Современника» в условиях, когда на этот передовой журнал нападали не только реакционные и славянофильские, но и либеральные журналисты. Статьи Антоновича постоянно подвергались нападкам со стороны цензуры. Демократический лагерь в целом противостоял своим идейным противникам, однако между двумя его журналами, «Современником» и «Русским словом», шла полемика. Антонович был деятельным ее участником, выступал против некоторых крайностей Д. И. Писарева и его сторонников.

В годы реакции Антонович несколько поправел, но в целом устоял на демократических позициях, всегда выступал как публицист, отстаивающий традиции Чернышевского.

1863—1866 гг. были временем не только наиболее активного участия Антоновича в деятельности «Современника», но и самыми яркими в его долгой жизни. После закрытия «Современника»

в 1866 г. Антонович сотрудничал в различных периодических изданиях; не прерывая литературной деятельности, занимался естествознанием и геологией, некоторое время состоял на государственной службе. Он умер в глубокой старости в 1918 г.

Литературное наследие Антоновича получало разноречивую оценку. С легкой руки С. А. Венгерова многие литературоведы считали его лишь «разносителем». Причиной такой оценки были крайняя резкость и запальчивость его статей. Другие исследователи, подобно В. Евгеньеву-Максимову, считали, что задор и горячность Антоновича были вызваны его стремлением всеми силами отстаивать определенные принципы. Одновременно они указывали на несомненную идейную связь между взглядами Антоновича и Чернышевского. Представляется, что вторая точка зрения более правильна.

В настоящее издание включены некоторые из воспоминаний Антоновича, воссоздающие живые образы Чернышевского, Добролюбова, других шестидесятников, общую атмосферу 60-х гг. Как и другие воспоминания, они были написаны Антоновичем на склоне лет, в конце XIX — начале XX в. Очерк «Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбова», включенный в настоящее издание с некоторыми сокращениями, впервые был напечатан в 1902 г. в № 1 «Журнала для всех». Основанная на воспоминаниях статья «Арест Н. Г. Чернышевского» была опубликована в 1906 г. в журнале «Былое», № 3.

Статья «Личность Н. Г. Чернышевского» представляет собой речь, произнесенную Антоновичем 17 октября 1909 г. в Вольно-экономическом обществе на заседании, посвященном памяти Чернышевского в связи с двадцатилетием со дня его кончины. Впервые эта речь была опубликована в «Трудах Вольно-экономического общества» (1910, № 1).

В настоящем издании воспоминания Антоновича публикуются по тексту книги: Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания. М. — Л., АCADEMIA, 1933.

¹ Антонович имеет в виду статью Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», напечатанную в журнале «Атеней» (1858, № 3). — 220

² Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк русской литературы, критик, один из основателей Литературного фонда. — 220

³ О подобном высказывании И. С. Тургенева писал сам Н. Г. Чернышевский, вкладывая при этом в него несколько иной смысл. В полемической заметке «В изъявление признательности», направленной против Е. Ф. Зарина («Современник», 1862, № 2), Чернышевский описывал свой спор с И. С. Тургеневым в 1860 г. по поводу одной из статей Добролюбова (предположительно — статьи «Когда же яридет настоящий день?» о романе Тургенева «Накануне»). В конце этого спора Тургенев, по словам Чернышевского, сказал: «Вас я могу еще переносить, но Добролюбова не могу». — «Это оттого, — сказал я, — что Добролюбов умнее и взгляд на вещи у него яснее и тверже». — «Да, — отвечал он с добродушной шутливостью (подчеркнуто нами. — Сост.), которая очень привлекательна в нем, — да, вы — просто змея, а Добролюбов — очковая змея». — 221

⁴ Кокорев В. А. — богатый откупщик, промышленник, финансовый деятель. Один из немногих представителей московского купе-

чества, принимавший активное участие в общественной жизни. Был одним из главных организаторов банкетов по случаю окончания Крымской войны, на которых чествовали участников обороны Севастополя и приветствовали предстоящее освобождение крестьян. Эти банкеты приобрели характер шумных политических манифестаций, вызвавших недовольство правительства. При этом власти, адресуя упреки и самому Кокореву, сильно преувеличивали степень его оппозиционности. Антонович совершенно верно подметил показной характер либеральных высказываний Кокорева. По мере нарастания революционной угрозы в стране Кокорев не только прекратил свои нападки на правительство, но и продемонстрировал свою готовность к сотрудничеству с ним. — 222

⁵ В статье «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» («Слово», 1878, № 2) этот рассказ передан как услышанный непосредственно от «покойного Николая Алексеевича Некрасова». — 223

⁶ Стихотворение опубликовано полностью: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 8. М.; Л., 1964, с. 7—11. — 223

⁷ Стихотворение опубликовано полностью: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 8, с. 64—65. — 223

⁸ Об «ультиматуме», предъявленном Некрасову группой писателей старшего поколения, упоминала в своих воспоминаниях А. Я. Панаева. По ее словам, И. С. Тургенев, недовольный статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», потребовал, чтобы Некрасов исключил из этой статьи ее начало. Когда Некрасов ответил отказом, Тургенев прислал ему записку: «Выбирай: я или Добролюбов». Советский литературовед, специалист по изучению биографии и творчества Н. А. Некрасова В. Евгеньев-Максимов считает эту версию «более или менее правильной». В бумагах Н. А. Некрасова Евгеньев-Максимов нашел записку, которая, хотя и не совпадает с текстом, приведенным Панаевой, содержит настойчивую просьбу не печатать какую-то статью, скорее всего принадлежавшую перу Добролюбова (см.: *Евгеньев-Максимов В. Некрасов и его современники*. М. — Л., 1930, с. 137—138). В основе конфликта, возникшего из-за статьи Добролюбова, лежали глубокие расхождения между либеральными настроенными писателями и сторонниками революционно-демократического лагеря. — 224

⁹ Славянофилы и западники входили в состав единого либерального лагеря, враждебного революционной демократии. Вместе с тем различия в их взглядах были несомненно глубже, чем это представлялось Антоновичу. Славянофилы примыкали к более консервативной части либерального лагеря. — 225

¹⁰ О. И. Сенковский (псевдоним — «Барон Брамбеус»), Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин — крайне консервативные литераторы, их имена стали синонимом реакционности. — 225

¹¹ В 1860-е гг. в литературных и научных кругах происходило много споров вокруг так называемой «краледворской рукописи» — является ли она памятником древнечешской литературы или позднейшей подделкой. Впоследствии было доказано, что она подделана в 1816—1819 гг. чешским литературоведом В. Ганкой. — 227

¹² Донесения жандармских агентов, с октября 1861 г. внимательно следивших за Чернышевским, позволяют воспроизвести круг людей, чаще других посещавших Чернышевского в последние месяцы перед его арестом. В их числе были Н. А. Некрасов, М. А. Антонович, Г. З. Елисеев, В. С. Курочкин, А. Н. Пылин,

П. И. Бокор, Г. Е. Благосветлов, Н. И. Утин, И. П. Огризко, братья А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичи, П. П. Пекарский, А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев, издатель Д. Е. Кожанчиков, студенты Н. Я. Николадзе и В. Л. Гогоберидзе. В допесениях также сказано, что в квартире Чернышевского бывало много студентов и молодых офицеров. — 227

¹³ Термин «нигилизм» (от латинского nihil — ничто, ничего) в России получил распространение в 60-е гг. XIX в. в связи с романом И. С. Тургенева «Отцы и дети». В нем «нигилистом» назван главный герой, студент Базаров, отрицавший старые устои дворянского общества. Реакционная публицистика, особенно М. И. Катков, старалась использовать этот термин для дискредитации русских революционеров, которых изображали «отрицателями» всех моральных принципов. Под флагом «борьбы с „нигилизмом“» реакционные силы перешли в наступление в 1861 г. Именно эти силы и их карательные действия осуждает Антонович, когда пишет о «нигилизме» и о «борьбе с ним». — 228

¹⁴ См. прим. 50 к воспоминаниям Шелгунова. — 230

¹⁵ Антонович имеет в виду Чернышевского, арестованного вскоре после смерти Добролюбова, а затем на многие годы сосланного на каторгу. — 232

¹⁶ Антонович не прав, когда пишет, что Чернышевскому было свойственно «невнимательное и нелюбезное отношение к читателю», которое он будто бы «довел до шаржа» в романе «Что делать?». В действительности шаржированный образ «проницательного читателя» у Чернышевского противопоставлен образу читателя доброжелательного и отнюдь не определяет отношение Чернышевского к читателю вообще. — 232

¹⁷ Здесь речь идет о временной приостановке «Современника» в июне 1862 г. на 8 месяцев, а не об окончательном его закрытии в 1866 г. — 233

¹⁸ Называя диссертацию Чернышевского «несудачной», Антонович имел в виду злключения с ее утверждением, тянувшимся три с половиной года. — 233

¹⁹ Взаимоотношения Чернышевского и К. Д. Кавелина претерпели сложную эволюцию. В 1850-е гг. они, несмотря на расхождения по политическим вопросам, поддерживали дружеские отношения. В 1857 г. Кавелин писал М. И. Каткову: «Что же касается Чернышевского, то я его знаю близко... и могу Вас уверить самым положительным образом, что он не заслуживает название человека без убеждений, он безупречен и заслуживает полного глубокого уважения и сочувствия. Это один из лучших людей, пользующийся большим влиянием и имеющий горячих сторонников» (цит. по ст.: Хейфец М. А. Письма К. Д. Кавелина к М. И. Каткову о Чернышевском. — Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 62). Впоследствии, после майских пожаров 1862 г., Кавелин настолько поворачивает вправо, что доходит до того, что арест Чернышевского не кажется ему возмутительным, о чем он и пишет в письме А. И. Герцену: «Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брؤولона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видел. И было бы за что погибать!» (Письма К. Д. Кавелина к И. С. Тургеневу и А. И. Герцену. С объяснительными примечаниями М. И. Драгоманова. Женева, 1892, с. 82). В. И. Ленин, располагавший немецким переводом переписки и сделавший обратный перевод, писал по поводу этих

слов Кавелина: «Вот образчик профессорски-лакейского глубокомыслия! Виноваты во всем эти революционеры, которые так самоуверенны, что освистывают фразерствующих либералов, так задорны, что тайно и явно работают против правительства, так бестактны, что попадают в Петропавловку» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 33).

М. А. Антонович и ранее обращал внимание на то, что мнения о Чернышевском и впечатления о встречах с ним разноречивы и требуют критического к себе отношения. Публикуя в 1908 г. в журнале «Минувшие годы» (№ 5—6) «Материалы для биографии Николая Гавриловича Чернышевского», в предисловии к ним он писал, что после снятия запрета с имени Чернышевского о нем появилось много воспоминаний, в связи с чем он, Антонович, «взял на себя задачу пересмотреть этот материал и если не просеять его через частое сито, то хоть пропустить через редкий грохот с целью отделить в нем ценные и здоровые зерна от ненужной мякины и от негодных и неверных примесей» (цит. по кн.: Шестидесятые годы, с. 100). В. Евгеньев-Максимов на основании этих слов делал вывод, что Антонович, «по-видимому, задумал осуществить своего рода критический пересмотр целого ряда биографических источников о Чернышевском» (цит. по кн.: Шестидесятые годы, с. 50). Этот замысел Антоновичу не удалось осуществить. — 233

²⁰ В действительности Чернышевский, конечно, оказал большое влияние на формирование общественно-политических и литературных взглядов Добролюбова. — 237

²¹ Симпатия и любовь Чернышевского к творчеству А. С. Пушкина отнюдь не противоречили положениям его диссертации. — 238

²² Военная эмеритурa, точнее — эмеритальная касса военно-сухопутного ведомства, была учреждена в 1859 г. Члены эмеритальной кассы создавали специальный фонд на началах обязательного взаимного страхования с обязательным вычетом взносов из жалованья. Из этого фонда производилась выплата пенсий и пособий участникам кассы и их семьям. — 240

²³ Черкесов Александр Александрович (1828—1889) — участник революционного движения 1860-х гг. С 1863 г. стал совладельцем, а с 1865 г. единственным владельцем книжного магазина, основанного Н. А. Серно-Соловьевичем. При Черкесове магазин оставался не столько коммерческим, сколько политико-просветительным предприятием. В нем можно было получить и запрещенную литературу, в том числе герценовский «Колокол». В 1867 г. Черкесов получил разрешение перевести магазин на свое имя, но вскоре был арестован, магазин же был закрыт. — 244

²⁴ См. воспоминания М. А. Антоновича «Личность Н. Г. Чернышевского», с. 232—242 настоящего издания. — 246

²⁵ Рассуждения Антоновича о нежелании Некрасова пойти на свидание с Чернышевским не вполне соответствуют действительности. М. К. Лемке опубликовал текст ходатайства А. Н. Пышина на имя петербургского генерал-губернатора А. А. Суворова с просьбой разрешить Некрасову посетить Чернышевского накануне его отправки в Сибирь (см.: *Лемке М. К.* Политические процессы в России 1860-х годов (По архивным документам). Изд. 2-е. М.; Пг., 1923, с. 490—491). В известном противоречии с версией Антоновича находится и то, что Некрасов не побоялся в 1861 г. посетить М. Л. Михайлова накануне его отправки в Сибирь, а в 1866 г. явиться на квартиру к только что арестованному Г. З. Елисееву. — 247

Феликс Вадимович Волховский
(1846—1914)

Ф. В. Волховский родился в Полтаве в дворянской семье, учился сначала в 1-й Петербургской, затем во 2-й Одесской гимназии. В 1863 г. поступил на юридический факультет Московского университета.

В 1867 г. Волховский вместе с Г. А. Лопатиным, впоследствии известным революционером-народником, основал просветительский кружок. Он получил название «Рублевое общество» (по величине вступительного взноса). «Рублевое общество» составляло далеко идущие планы просветительской и пропагандистской деятельности, однако успело лишь издать в 1867 г. книгу И. А. Худякова «Древняя Русь». Почти весь тираж книги был уничтожен по распоряжению Петербургского цензурного комитета. В числе других членов «Рублевого общества» Волховский весной 1868 г. был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, но затем освобожден.

Переехав из Петербурга в Москву, Волховский сблизился с революционно настроенной молодежью. При разгроме нечаевской организации в апреле 1869 г. был арестован, хотя и не был ее членом. Вновь Волховский был заключен в Петропавловскую крепость, где провел два года.

Выйдя на свободу, он поселился в Одессе. Здесь он пошел в революционный кружок, членом которого был и А. П. Желябов. В 1874 г. Волховский и другие члены этого кружка были арестованы. Волховского доставили в Москву. После неудачной попытки побега он был переведен в Петербург и в третий раз оказался в Петропавловской крепости. После трех лет предварительного заключения Волховский был привлечен к суду по известному процессу «193-х». Тяжелые условия предварительного заключения подорвали его здоровье, но не сломали волю. На суде он произнес яркую речь, в которой обличал суд и царские власти. По приговору суда его лишили всех прав и отправили в сибирскую ссылку. В 1889 г. Волховский сумел бежать из Сибири за границу. Поселившись в 1890 г. в Лондоне, он принимал участие в жизни русской революционной эмиграции. Известен Волховский и как автор революционных стихов.

Описание гражданской казни Чернышевского содержится в «Записках» Волховского, являющихся составной частью его «Дневника». Эти «Записки» при аресте Волховского в 1868 г. по делу о «Рублевом обществе» попали в III отделение, где долгое время хранились в архиве в качестве вещественного доказательства. Впоследствии сын Н. Г. Чернышевского, Михаил Николаевич, снял с них копию. Некоторые исследователи, обращая внимание на то, что Волховский не упоминает о своем присутствии на Мытнинской площади в Петербурге в момент гражданской казни Чернышевского, предполагают, что его записки составлены не на основе собственных впечатлений, а по рассказам других очевидцев (см.: Литературные беседы, вып. 2. Саратов, 1930, с. 107; Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 2. Саратов, 1959, с. 23). Вместе с тем вполне можно предположить, что Волховский, бывший в то время вольнослушателем Московского университета, мог по тем или иным причинам оказаться в Петербурге в мае 1864 г.

Впервые «Записки» Волховского были напечатаны в «Литературных беседах», вып. 2, с. 107—112. В настоящем издании они

печатаются по тексту книги «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. 2 (Саратов, 1959, с. 31—36), в которой они были воспроизведены по копии М. Н. Чернышевского, хранящейся в рукописном фонде Дома-музея Н. Г. Чернышевского.

В различных источниках приводятся самые разнообразные данные о количестве людей, собравшихся на Мытнинской площади. Волховский называет самую большую цифру. Другие очевидцы называли и гораздо меньшее число, например: А. Н. Тверитинов — триста, а В. Я. Кокосов — пятьсот человек (см.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 2, с. 29, 38). В донесениях жандармского полковника П. Н. Дурново и анонимного полицейского агента сообщалось, что во время гражданской казни Чернышевского присутствовало 2000—3000 человек. — 248

² В то время инженеры путей сообщения и учащиеся Института путей сообщения входили в состав корпуса путей сообщения, считались военнослужащими и носили военную форму. — 249

³ В действительности священника не было. Это было одним из отступлений от общепринятой процедуры, допущенных с ведома петербургского генерал-губернатора А. А. Суворова, который опасался резкого проявления протеста со стороны присутствующих. Отступлением от процедуры являлось и то, что Чернышевский был одет в собственную, а не в арестантскую одежду, и был привезен не на «позорной колеснице», а в наемной карете. — 249

⁴ Волховский довольно точно цитирует «Мнение Государственного совета» и приговор сената, но все же допускает ошибку: обвинение в связях с А. И. Герценом (Искандером), послужившее поводом для ареста Чернышевского и фигурировавшее в начале следствия, к концу его отпало как недоказанное. — 250

⁵ О показаниях В. Костомарова см. прим. 32, 41, 42, 51 к воспоминаниям Н. В. Шелгунова и прим. 10, 12, 20 к воспоминаниям М. Л. Михайлова. «Мещанин» — П. В. Яковлев, подставное лицо; давал ложные показания против Чернышевского. — 250

⁶ Письмо к поэту А. Н. Плещееву — фальшивка, изготовленная III отделением при участии В. Д. Костомарова. — 250

⁷ Н. Г. Чернышевский и В. А. Обручев прошений о помиловании не писали. — 250

⁸ В. Д. Костомаров и П. В. Яковлев в указанное время действительно состояли под судом. — 250

⁹ Группа лиц во главе с Я. Л. Сулиным, членом кружка Занчевского, обратилась к Н. А. Некрасову с письмом, в котором Яковлев разоблачался как лжесвидетель. — 250

¹⁰ Большинство секретарей сената отказались признать, что сфабрикованная В. Д. Костомаровым записка могла быть написана Н. Г. Чернышевским, однако сенат в угоду властям вынес заключение о сходстве «отдельных букв» и «общего характера» почерка. — 251

¹¹ А. Н. Плещеева вытребовали из Москвы в Петербург, где он должен был давать показания сенату и присутствовать на очной ставке с В. Д. Костомаровым. Затем он мог вернуться в Москву, и для него дело ограничилось распиской, обязывавшей явиться немедленно по первому вызову. — 251

¹² Этим человеком был не лжесвидетель Яковлев, а мещанин Герасимов, о чем свидетельствует «Дело Департамента полиции о Н. Г. Чернышевском с 1862 по 1881 год», хранящееся в Доме-

музею Н. Г. Чернышевского (л. 77—78) (см.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 2, с. 50). В воспоминаниях М. П. Сажина есть упоминание о том, что на эшафот к Чернышевскому пытался прорваться П. И. Якушкин (1820—1872), писатель и этнограф, впоследствии близкий к народникам. М. П. Сажин так описывал этот эпизод: «Павел Иванович Якушкин, по своему обыкновению в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, заправленных в простые смазные сапоги, в крестьянском армяке с плисовой оторочкой из грубого коричневого сукна и в золотых очках, — вдруг быстро проскочил мимо городских и жандармов и направился к эшафоту. Городовые и конный жандарм бросились за ним и остановили его. Он стал горячо объяснять им, что Чернышевский близкий ему человек и что он желает с ним проститься. Жандарм, оставив Якушкина с городовым, поспешил к полицейскому начальству, стоящему у эшафота. Навстречу ему уже шел жандармский офицер, который, дойдя до Якушкина, стал убеждать его: «Павел Иванович, Павел Иванович, это невозможно!» Он обещал ему дать свидание с Николаем Гавриловичем после» (Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 2, с. 27). — 251

¹³ Михаэлис Мария Петровна — сестра Е. П. Михаэлиса и Л. П. Шелгуновой. — 252

Николай Исаакович Утин (1841—1883)

Николай Исаакович Утин родился в семье банкира Утиных в Петербургском университете. За учение и студенческие волнения в 1861 г. был арестован и исключен из университета. Активно участвуя в освободительном движении, вступил в общество «Земля и воля» 1860-х гг. и вошел в состав его Центрального комитета. В 1863 г., предупрежденный об угрозе ареста, Утин бежал за границу. Заочно был приговорен к смертной казни.

В эмиграции жил сначала в Лондоне, затем в Швейцарии. Вступил в основанный К. Марксом I Интернационал и стал секретарем его Русской секции. В 1869—1870 гг. входил в редакцию бакунистского журнала «Народное дело». Вышел из этой редакции из-за своих расхождений с Бакуниным. Когда Бакунин выступил против К. Маркса, Утин стал на сторону Маркса. В 1871 г. был делегатом Лондонской конференции I Интернационала.

В 1870-е гг. Утин отошел от политической деятельности. В 1877 г. подал прошение о помиловании. Был «помилован» и в 1880 г. получил разрешение вернуться в Россию. В последние годы жизни занимался предпринимательской и финансовой деятельностью.

О приговоре по делу Чернышевского, о гражданской казни над ним Утин узнал, находясь в эмиграции. Напечатал на страницах «Колокола» свои статьи-воспоминания о Чернышевском. Статья Н. И. Утина «Николай Гаврилович Чернышевский», помещенная в № 190 «Колокола», в настоящем издании печатается по кн.: «Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Факсимильное издание. Вып. 7. М., 1963.

¹ В действительности министерство народного просвещения утвердило решение совета Петербургского университета спустя три с половиной года. — 258

² Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского состоялась 19(31) мая 1864 г. — 260

³ О гражданской казни Н. Г. Чернышевского см. воспоминания Ф. В. Волховского и примечания к ним. — 260

Лонгин Федорович Пантелеев (1840—1919)

Лонгин Федорович Пантелеев родился в г. Сольвычегодске. После смерти отца, начальника инвалидной команды, семья переехала в Вологду. Детство Пантелеева было трудным из-за тяжелого материального положения семьи, но он хорошо учился и в 1858 г., успешно окончив вологодскую гимназию, поступил в Петербургский университет.

Пантелеев принял участие в студенческих волнениях 1861 г., за что 28 сентября был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где просидел вместе с другими студентами до 7 декабря 1861 г. В начале 1862 г. один из активных участников «Земли и воли» 1860-х гг., А. А. Слепцов, привлек Пантелеева к участию в деятельности этой революционной организации. Пантелеев вошел в пятерку Н. И. Утина, писал и распространял прокламации, помогал создавать подпольную типографию, собирая деньги на нужды «Земли и воли». Одновременно началась его литературная деятельность.

Первые литературные опыты Пантелеева обратили на себя внимание Чернышевского. В середине марта 1862 г. Пантелеев познакомился с Чернышевским. В советской исторической литературе выдвинуто предположение, согласно которому Чернышевский «был, вероятно, осведомлен, что Пантелеев — член „Земли и воли“» (*Рейсер С. А. Л. Ф. Пантелеев. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 10*). Одним из доказательств близости Пантелеева к Чернышевскому являлось то, что после ареста Чернышевского он принимал большое участие в делах его семьи. После возвращения Чернышевского из Сибири Пантелеев снабжал его литературными заказами, хлопотал об издании диссертации Чернышевского.

11 декабря 1864 г. Пантелеев был арестован по обвинению в принадлежности к «С.-Петербургской революционной организации» и затем приговорен к шести годам каторжных работ. В середине 1866 г. его доставили в Енисейскую губернию. Здесь, благодаря хлопотам родных, власти применили к нему предписание от 16 апреля 1866 г., по которому участники восстания 1863 г. (а Пантелеева обвиняли в оказании им помощи), осужденные на срок до шести лет, освобождались от этого наказания и переводились на положение ссыльнопоселенцев.

Почти девять лет провел Пантелеев в сибирской ссылке. В 1874 г. он был восстановлен в правах и вернулся в Петербург. Здесь он занялся изданием книг. Основанное им издательство просуществовало с 1877 по 1907 г. и выпустило много научных и художественных книг русских и иностранных авторов.

Пантелеев, активный член «Земли и воли» 1860-х гг., впоследствии отошел от революционного движения. Он был из той категории людей, которые участвуют в освободительном движении, когда оно находится на подъеме, но не выдерживают испытаний в годы

наступления реакции. Судьба Пантелеева в этом с судьбой Н. Н. Обручева и Н. И. Утина.

К концу жизни Пантелеев стал придерживаться либеральных взглядов. Умер Пантелеев на 80-м году жизни, 16 декабря 1919 г.

В 1900 г. Пантелеев начал печатать свои воспоминания в виде отдельных очерков, которые в 1905 г. были собраны в книге «Из воспоминаний прошлого».

Следует отметить, что первый очерк, «Из воспоминаний о 60-х годах», опубликованный в 1900 г. в сборнике «На славном посту», посвященном 40-летию литературной и общественной деятельности Н. К. Михайловского, привлек к себе внимание В. И. Ленина. Используя воспоминания Пантелеева в своей работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма», В. И. Ленин писал: «В этой статье сгруппированы некоторые очень интересные факты о революционном возбуждении 1861—1862 гг. и полицейской реакции» (*Ленин В. И. Поли. собр. соч.*, т. 5, с. 29).

В годы первой русской революции появились новые публикации воспоминаний Пантелеева, которые затем вошли во вторую книгу «Из воспоминаний прошлого», изданную в Петербурге в 1908 г.

После Великой Октябрьской социалистической революции вышли в свет два издания воспоминаний Пантелеева. Оба были подготовлены, отредактированы и прокомментированы С. А. Рейсером. Первое из них было выпущено в 1934 г. издательством «Academia» и содержало собранные в одном томе наиболее интересные отрывки из книги «Из воспоминаний прошлого». В 1958 г. Государственное издательство художественной литературы выпустило в свет «Воспоминания» Пантелеева, куда полностью вошла книга «Из ранних воспоминаний», два тома «Из воспоминаний прошлого» и статьи мемуарного характера.

В воспоминаниях Пантелеева можно найти много сведений о революционном движении и общественной жизни конца 1850-х начала 1860-х гг. При этом, конечно, надо учитывать, что позиция человека, порвавшего с революционным движением и эволюционировавшего в сторону либерализма, наложила свой отпечаток на трактовку описываемых событий. Ряд высказываний Пантелеева требует осторожного к ним отношения. Вместе с тем при критическом подходе к его свидетельствам и при сопоставлении их с другими данными можно уточнить ряд важных фактов, связанных с историей «Земли и воли». Воспоминания Пантелеева имеют несомненную ценность для историков, поскольку являются одним из немногих свидетельств существования «Земли и воли».

В настоящее издание включена глава XXIV «Земля и воля» книги 1-й «Из воспоминаний прошлого». Она публикуется с некоторыми сокращениями по тексту книги: *Пантелеев Л. Ф. Воспоминания*. М., 1958.

¹ О студенческих волнениях в Петербургском университете см. прим. 23, 24, 26, 27 к воспоминаниям Н. В. Шелгунова. — 263

² «Думской историей» Пантелеев называет историю возникновения и закрытия так называемого «Вольного университета», в котором читались публичные лекции. Часть из них была прочитана в здании Думы (отсюда — «думская история»). «Думской историей» посвящена глава XX книги Пантелеева «Из воспоминаний прошлого» (см.: *Пантелеев Л. Ф. Воспоминания*, с. 258—270). — 265

³ Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русский либеральный историк. В некоторых работах, в частности в книгах о восстании Степана Разина, о Богдане Хмельницком, критиковал самодержавный принцип правления. Печатался в «Современнике». Одно время поддерживал дружеские отношения с Н. Г. Чернышевским. С 1859 г. был профессором Петербургского университета. В 1862 г. читал лекции в «Вольном университете». После того как профессор П. В. Павлов за прочитанную в том же «Вольном университете» лекцию был выслан из Петербурга, студенчество потребовало от профессоров демонстративно прекратить чтение лекций. Костомаров не подчинился этому требованию, мотивируя свою позицию тем, что хочет спасти «Вольный университет» от закрытия. В ответ он был освистан студентами, а затем вынужден покинуть кафедру в Петербургском университете. Видимо, эти события и имеет в виду Пантелеев, называя Костомарова «жертвой разных случайностей». — 265

⁴ Рымаренко Сергей Степанович (1839—1870) — студент Харьковского, затем Петербургского университета. Член харьковско-киевского тайного революционного общества. Активный деятель «Земли и воли» 1860-х гг., член ее Центрального комитета. Арестован в 1862 г. по обвинению в распространении прокламации «Чего мы хотим» и заключен в Петропавловскую крепость. В 1864 г. выслан в Астраханскую губернию, где и умер. — 266

⁵ Деятельность «Земли и воли» возглавлял Центральный комитет, в составе которого неоднократно происходили изменения. В разное время в его состав входили Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов, Н. И. Утин, С. С. Рымаренко и др. С конца 1861 г. руководящий центр «Земли и воли» назывался «Русский центральный народный комитет». — 267

⁶ Н. И. Утин был принят в члены «Земли и воли» раньше Пантелеева, а не одновременно с ним, как утверждает последний. — 267

⁷ Мадзини (Маццини) Джузеппе (1805—1872) — итальянский буржуазный революционер. Активно участвовал в борьбе за освобождение Италии от иностранного владычества и за ее объединение. — 268

⁸ В своих воспоминаниях Пантелеев пишет о А. А. Слепцове в пренебрежительном тоне, иронически называя его «господином с пенсне». Такое отношение к Слепцову и его деятельности необоснованно. В действительности Слепцов играл в «Земле и воле» важную роль. — 268

⁹ В советской исторической литературе в настоящее время общепризнано, что Чернышевский был руководителем революционного подполья в России. Однако только в воспоминаниях А. А. Слепцова есть сведения о том, что Чернышевский входил в одну из пятерок «Земли и воли». Других данных о его формальном положении в организации нет. — 269

¹⁰ С. А. Рейсер полагает, что эти двое могли быть В. И. Модестов и А. Г. Новоселов (см.: *Пантелеев Л. Ф. Воспоминания*, с. 749). — 270

¹¹ Имеется в виду конфирмация (т. е. утверждение) приговора по делу участников студенческих волнений 1861 г. Арестованный 28 сентября Пантелеев был освобожден вместе с другими студентами 7 декабря 1861 г. Ему было разрешено жить в Петербурге, но под надзором полиции. — 274

¹² Пантелеев преуменьшает число членов в кружке Заичневского — Аргиропуло. По мнению историка Б. П. Козьмина, в нем было

человек двадцать — двадцать пять (см.: *Козьмин Б. П.* П. Г. Занчевский и «Молодая Россия». М., 1932, с. 51). 276

¹³ Прокламация «Молодая Россия» отличалась крайним революционным радикализмом. В ней, в частности, говорилось: «Мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах». В конце стоял трижды повторенный призыв: «Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!» (см.: *Лемке М. К.* Политические процессы в России 1860-х годов. Изд. 2-е. Пг., 1923, с. 513, 518). Листовка напугала не только реакционеров, но и либералов. Революционные круги, особенно молодежь, встретили ее одобрительно. Впрочем, и в революционной среде многие находили ее тон слишком резким. Есть свидетельства, что такую позицию занимал и Чернышевский, пытавшийся убедить составителей смягчить тон листовки (см.: *Козьмин Б. П.* П. Г. Занчевский и «Молодая Россия», с. 123). В современной советской историографии отмечается, что «Молодая Россия» подверглась критике со стороны Герцена и Чернышевского, «расценивших ее как тактическую ошибку, но в то же время защищавших «Молодую Россию» от травли реакционной прессы и помогавших ее авторам избавиться от преувеличенного и неуместного (по условиям времени) радикализма» (Революционная ситуация в России в середине XIX века. М., 1978, с. 261). — 276

¹⁴ Луи Блан (1811—1882) — историк, мелкобуржуазный демократ, один из последних представителей французского утопического социализма. Александр Ледрю-Роллен (1808—1874) — адвокат, французский политический деятель, мелкобуржуазный демократ. Во время революции 1848 г. Луи Блан и Ледрю-Роллен, войдя в состав Временного правительства, занимали соглашательскую позицию, трусливо отступали перед буржуазией и предали интересы рабочего класса и дело революции. — 277

¹⁵ «Казанская демонстрация» — политическая демонстрация на площади Казанского собора в Петербурге 6 декабря 1876 г. Была организована по инициативе рабочих кружков Петербурга. С речью во время демонстрации выступил Г. В. Плеханов, в то время член народнической организации «Земля и воля», тесно связанной с рабочими кружками и подхватившей мысль об открытом антиправительственном выступлении. — 277

¹⁶ П. Г. Занчевский умер 19 марта 1896 г. — 277

¹⁷ Вирхов Рудольф (1821—1902) — немецкий ученый. Обыгрывая некоторое внешнее сходство, Пантелеев называет П. И. Бокова господином à la Вирхов. Ироничное отношение Пантелеева к Бокову искажает истинный облик этого видного деятеля «Земли и воли». — 283

¹⁸ Рассказ Пантелеева о том, что Утин и он сформировали свой конспиративный кружок, расходится с тем, что пишет в своих воспоминаниях А. А. Слепцов. По свидетельству Слепцова, Пантелеев был введен в пятерку Утина, не зная, в силу конспиративных соображений, других ее членов (М. С. Гулевича, А. А. Жука, В. В. Лобанова). В дальнейшем Пантелеев представляет группу Утина как «центральный кружок», излагает события так, будто бы именно она являла собой Центральный комитет общества, а себя представляет как члена такого. По более достоверному свидетельству Слепцова,

группа Утина играла роль петербургского, а не Центрального комитета. О деятельности Центрального комитета, по условиям конспирации, Слепцов Утину и Пантелееву не говорил. — 284

¹⁹ Шаржированное изображение А. А. Слепцова в воспоминаниях Пантелеева не соответствует истинному облику этого несомненно достойного участника революционного движения. — 286

²⁰ О Стасюлевиче М. М. см. прим. 29 к воспоминаниям Н. В. Шелгунова. — 287

²¹ Литературный фонд (Общество Литературного фонда для пособия нуждающимся литераторам) — добровольное общество, основанное в Петербурге в 1859 г. при участии Н. Г. Чернышевского. Официально оказывало помощь нуждающимся литераторам. В действительности превратилось в центр передовой интеллигенции. В апреле 1862 г. была предпринята попытка создать студенческую организацию под видом «отделения для пособия бедным учащимся» (2-е отделение Литфонда). Во главе отделения стоял студенческий комитет, члены которого были связаны с «Землей и волей». В июне 1862 г. отделение было закрыто властями. — 287

²² Листовка «Свобода» (№ 1), судя по содержанию, написана и отпечатана в Петербурге в декабре 1862 г. Первые сведения о ее распространении относятся к 16 февраля 1863 г. В листовке сообщалось об образовании общества «Земля и воля», о его задачах, о «Русском центральном народном комитете». Листовка содержала призыв вступать в общество или оказывать денежную помощь через лондонскую кассу или через агентов общества. Цель тайного общества была сформулирована так: разрушение императорского самодержавия и торжество народных интересов, созыв Народного собрания, которое определит новый общественный строй. Народное собрание должно было состоять из выборных представителей свободного народа. «Земля и воля» считала необходимым обеспечить свободные выборы в Народное собрание, оградить его «от всяческих насильственных влияний и от притязаний имущественных и сословных привилегий». Листовка «Свобода» (№ 2) была издана в начале июля 1863 г. и посвящена восстанию 1863 г. (полный текст листовок «Свобода» (№ 1 и 2) см.: Русско-польские революционные связи, т. 2. М., 1963, с. 62—65, 123—126). — 288

²³ Пантелеев не прав, когда пишет, что к февралю 1862 г. «Земля и воля» находилась «в самой первичной стадии развития». В действительности к этому времени уже в основном сложилась ее структура, действовал петербургский центр. — 289

²⁴ Падлевский Зигмунд (1835—1863) — активный участник восстания 1863 г., вел переговоры с «Землей и волей» в Петербурге. — 290

²⁵ Пантелеев высмеивает разговор о распределении портфелей во временном правительстве после победы восстания. Между тем в описываемое Пантелеевым время такая тема могла обсуждаться вполне серьезно, так как многие верили в возможность революции. Вполне вероятной считал революцию и Н. Г. Чернышевский. С. А. Рейсер, комментируя это место из воспоминаний Пантелеева, приводит опубликованный в «Историческом вестнике» (1910, № 2, с. 550—551) рассказ Н. А. Энгельгардта, сына известного народного публициста А. Н. Энгельгардта, о том, как в 1862 г. к его отцу явились Н. И. Утин и Л. Ф. Пантелеев и предложили ему портфель военного министра в будущем правительстве, назвав при этом Н. Г. Чернышевского будущим премьером. Этот эпизод служит

подтверждением того, что в 1862 г. к подобного рода «Пантелеев относился не так иронично, как он это изображал мемуарах. — 290

²⁶ А. А. Слепцов выехал из Петербурга 4 января 1863 г. — 291

²⁷ Советские исследователи доказывают, что между «Землей и волей» и иштутинским кружком, видным деятелем которого был И. А. Худяков, существовала, вопреки утверждению Л. Ф. Пантелеева, связь. По мнению Э. С. Виленской, Худяков «если и не принадлежал к „Земле и воле“, то был в очень близких с ней отношениях» (*Виленская Э. С. Революционное подполье в России. М., 1965, с. 316*). — 293

²⁸ И. А. Худяков был исключен из Московского университета как один из подписавших петицию с протестом против грубого обращения со студентами профессора П. М. Леонтьева, преподававшего латинский язык. Через год Худяков был восстановлен в университете (см.: *Виленская Э. С. Худяков. М., 1969, с. 31—32*). — 293

²⁹ До сих пор трудно объяснить, что побудило Худякова назвать в своих показаниях Г. З. Елисеева. Много неясного и в вопросе об отношениях Елисеева с революционным подпольем. Однако несомненно, что именно Елисеев познакомил И. А. Худякова с Н. А. Иштутиным и способствовал сближению московского и петербургского кружков. — 294

³⁰ Л. Ф. Пантелеев прав, когда пишет, что И. А. Худяков в своей «Опыте автобиографии» многое скрывает. — 294

³¹ См. прим. 34 к воспоминаниям П. В. Шелгунова. — 301

Александр Александрович Слепцов (1836—1906)

Александр Александрович Слепцов родился в дворянской семье. После окончания Александровского лицея находился на государственной службе. В начале 1860-х гг. стал активно участвовать в освободительном движении и вошел в состав «Земли и воли». Во время поездки в Лондон Слепцов познакомился с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, а после возвращения в Петербург встретился с Н. Г. Чернышевским. Встреча Слепцова с Чернышевским носила конспиративный характер и была связана с налаживанием деятельности «Земли и воли».

Вместе с Н. А. Серно-Соловьевичем, Н. Н. Обручевым, Н. И. Утиным Слепцов входил в состав Центрального комитета «Земли и воли», добивался ее сближения с «Молодой Россией» и другими революционными организациями, налаживал связи с прогрессивно настроенными писателями и журналистами, участвовал в открытии воскресных школ и в других легальных начинаниях.

В январе 1862 г. Слепцов уехал за границу, где вновь встретился с Герценом и Огаревым. После 1864 г. Слепцов какое-то время вращался в кругу «молодой эмиграции» и участвовал в ее деятельности. Но затем он постепенно отошел от освободительного движения.

В 1868 г. Слепцов возвратился в Россию и окончательно порвал связи с революционным движением. Он преподавал в Ларинской гимназии в Петербурге. Затем служил в министерстве народного просвещения и в министерстве финансов.

А. А. Слепцов начал писать воспоминания еще в начале 1860-х гг. Рукописи находились у одного из братьев Слепцова, а тот в годы, когда Слепцов был в эмиграции (1863—1868), уничтожил их.

На склоне лет Слепцов вновь занялся воспоминаниями, но, к сожалению, не успел их закончить. Более того, до нас не дошли его собственные рукописи. В своих комментариях к сочинениям А. И. Герцена историк М. К. Лемке писал, что воспоминания Слепцова частично были написаны им самим в отдельной тетради, частично записаны Лемке под диктовку Слепцова в виде ответов на вопросы. Отрывки из воспоминаний Слепцова были опубликованы М. К. Лемке в сочинениях А. И. Герцена (в комментариях к ним), а также в его книге «Политические процессы в России 1860-х гг.» (М., Пг., 1923, изд. 2-е). Отсутствие рукописи было причиной сомнения некоторых историков в подлинности воспоминаний Слепцова. Эти сомнения отпали после того, как советский исследователь В. Э. Боград обнаружил новые материалы, в том числе копию отрывка из воспоминаний Слепцова, сделанную рукой сына Н. Г. Чернышевского, М. Н. Чернышевского, в 1913 г.

Используя сохранившиеся материалы, советский ученый С. А. Рейсер создал их реконструкцию. В настоящем томе воспроизведены фрагменты воспоминаний А. А. Слепцова по изданию: *Рейсер С. А. Воспоминания А. А. Слепцова.* — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 3. Саратов, 1962.

¹ Неприязненное отношение к Л. Ф. Пантелееву присуще воспоминаниям А. А. Слепцова во всех сохранившихся отрывках и вариантах. При этом неприязнь к Пантелееву переходит в предвзятость при оценке его деятельности. С. А. Рейсер во вводной статье к своей реконструкции воспоминаний А. А. Слепцова пишет: «В запоздавшей на сорок три года полемике Слепцова и Пантелеева разделяли часто не принципиальные разногласия, а столкновение двух самолюбий, может быть, даже позднее соперничество, желание каждого из мемуаристов выставить себя для истории в наиболее значительном и выигрышном виде («порисоваться», как пишет Слепцов о Пантелееве). Спор между ними может быть разрешен только при широком историческом анализе истории „Земли и воли“ в целом» (*Рейсер С. А. Воспоминания А. А. Слепцова*, с. 256). Деятельность Пантелеева, а в некоторых случаях и Утина в описании Слепцова предстает в шаржированном виде, что, впрочем, характерно было и для интерпретации деятельности Слепцова в воспоминаниях Пантелеева. Поэтому свидетельства того и другого следует принимать с известной поправкой. — 307

² О П. Л. Лаврове см. прим. 28 к воспоминаниям Н. В. Шелгунова. — 309

³ Свидетельства Слепцова о взаимоотношениях Г. З. Елисеева с «Землей и волей» противоречивы. В данном отрывке воспоминаний он пишет, что Елисеев, подобно П. Л. Лаврову, не стал официально членом «Земли и воли», согласившись, впрочем, участвовать в совещаниях в роли совещательного члена общества. В другом отрывке воспоминаний Слепцова сказано, что выбывших из Центрального комитета А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичей заменили Н. И. Утин и Г. Е. Благосветлов. Их заместителями были избраны Г. З. Елисеев и В. С. Курочкин, причем про Елисеева сказано, что он дал «на это специальное согласие». — 309

⁴ Слепцов имеет в виду побег М. А. Бакунина из Сибири, куда

он был сослан на вечное поселение. Бакунин бежал в 1861 через Японию и Америку в Англию. — 310

⁵ Гербель Николай Васильевич — поэт и переводчик, находившийся в близких отношениях с землевольцами. — 310

⁶ Слепцов выдвигает версию о «самоликвидации» «Земли и воли» в марте 1864 г. Как отмечается в коллективном труде «Революционная ситуация в России в середине XIX века» (М., 1978), «вопрос о так называемой „самоликвидации“ „Земли и воли“ до сих пор был мало прояснен в литературе». При этом приводится мнение советских историков Я. И. Линкова и Э. С. Виленской, согласно которому, несмотря на решение о самоликвидации «Земли и воли», ее деятельность продолжалась и после весны 1864 г. Я. И. Линков считал, что «в Петербурге все же сохранился революционный центр, или, точнее, центральная группа, состоящая из деятелей бывшей „Земли и воли“, в том числе, безусловно, и из некоторых членов Центрального комитета. Группа в течение некоторого времени представляла русское революционное движение и продолжала поддерживать связь с Герценом, Огаревым и Н. Утиным» (Линков Я. И. Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и «Земля и воля» 1860-х годов. М., 1960, с. 430). Э. С. Виленская полагает, что «деятельность революционного подполья, в объединении которого „Земля и воля“ сыграла важную роль и оставила свой глубокий след, не прерывалась. Наиболее устойчивые элементы продолжали борьбу с самодержавием, поддерживая идею организационного объединения антиправительственных сил, но уже в новых формах и на другой идейной основе, чем „Земля и воля“» (Виленская Э. С. Революционное подполье в России. М., 1978, с. 181). Таким образом, мы располагаем наблюдениями, позволяющими проследить связь «Земли и воли» с деятельностью более поздних революционных организаций и борьбу ее участников уже после «самоликвидации» общества. — 310

Иван Александрович Худяков (1842—1876)

Иван Александрович Худяков родился в городе Кургане в семье мелкого чиновника. Окончил Тобольскую гимназию. В 1859 г. поступил в Казанский университет, в том же году перешел в Московский университет, где и прouчился до 1861 г. Еще будучи студентом, Худяков стал усиленно заниматься собиранием и изучением фольклора. Он составил и опубликовал «Сборник великорусских народных исторических песен» (М., 1860), «Великорусские загадки» (М., 1861), «Великорусские сказки», вып. 1—3 (М.—СПб., 1860—1862). Последняя работа была переиздана в наше время: «Великорусские сказки в записях И. А. Худякова» (М.—Л., 1964).

Изучение и собирание русского фольклора создали Худякову известность в кругу специалистов. Но Худяков отнюдь не собирался превратиться в оторванного от жизни кабинетного ученого. Он стремился к просветительской деятельности и поэтому начал писать популярные книги для народа. Так появились «Русская книжка» (СПб., 1863), «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте» (СПб., 1865), «Рассказы о великих людях средних и новых времен» (СПб., 1865), наконец, «Древняя Русь» (СПб., 1867). Книги эти отличались от выходивших в те годы многочисленных популярных

изданий, проникнутых верноподданническими настроениями. В завуалированной форме книги Худякова критиковали монархические и религиозные предрассудки.

Еще учась в университете, сначала Казанском, а затем Московском, Худяков принимал участие в студенческих волнениях. В Петербурге Худяков сразу попал в круг людей, связанных с революционным подпольем, с «Землей и волей» 1860-х гг. Важное значение для Худякова имело его знакомство с видным сотрудником «Современника» Г. З. Елисеевым. Тот сыграл роль связующего звена между Худяковым и возникшим в Москве революционным кружком Н. А. Ишутина. В июне 1865 г. Худяков приехал в Москву и лично познакомился с Ишутиним. В дальнейшем у Худякова завязываются все более тесные отношения с ишутинским кружком, он оказывается в центре петербургской части организации. С деятельностью ишутинского кружка связана и поездка Худякова за границу в 1865 г. Он встречался там с представителями русской эмиграции, а по возвращении в Россию привез известие о существовании некоего «Европейского революционного комитета». После неудачного покушения Д. В. Каракозова, двоюродного брата Ишутина, на Александра II многие ишутинцы были арестованы, в том числе и Худяков.

Из-за недостатка улик Худяков был приговорен «всего лишь» к поселению в отдаленные места Сибири. Однако приговор только на первый взгляд казался мягким. В Верхоянске, куда отправили Худякова, он оказался в нечеловечески тяжелых условиях. Здоровье его было надломлено, к тому же его поразила тяжелый психический недуг. В 1875 г. Худякова перевели в Иркутск, где он и умер 19 сентября 1876 г.

История создания и публикации воспоминаний Худякова долгое время представляла собой цепь загадок. Лишь сравнительно недавно удалось найти их решение (см.: *Виленская Э. С. Худяков*. М., 1969, с. 143—160). Худяков писал свои воспоминания в сибирской ссылке. Их автограф вместе с другими бумагами Худякова был обнаружен в секретном архиве Иркутского губернского правления, попал в руки исследователей Сибири Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, от них перешел к Г. З. Елисееву, в то время одному из редакторов «Отечественных записок». В 1881 г. Елисеев уехал на несколько лет за границу. Вместе с П. Л. Лавровым он в 1882 г. издал в Вольной русской типографии в Женеве «Опыт автобиографии» Худякова. В 1906 г. в несколько сокращенном виде записки Худякова были опубликованы в «Историческом вестнике» (№ 10—12). В 1930 г. историк М. М. Клевенский, использовав имевшиеся публикации, издал воспоминания Худякова отдельной книгой, озаглавив их «Записки каракозовца». Клевенский считал, что название «Опыт автобиографии» было дано издателями. Историк Э. С. Виленская внимательно ознакомилась с автографом черновиков воспоминаний, хранящимся, как выяснилось, в рукописном отделе Института русской литературы, и выяснила при этом, что название «Опыт автобиографии» дано самим Худяковым.

В настоящем издании печатаются отрывки из воспоминаний Худякова, касающиеся истории ишутинского кружка, покушения Каракозова, суда над ишутинцами. Текст воспроизводится по книге: *Худяков И. А. Записки каракозовца*. М.; Л., 1930.

¹ И. А. Худяков вместе с женой выехал за границу 6 августа 1865 г. Подробнее о его пребывании за границей см. в кн.: *Вилен-*

ская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., 1965. — 314

² «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте», составленный Худяковым, был издан в Петербурге в 1865 г. Книгу удалось провести через цензуру, хотя своим содержанием она возбуждала протест против существующего строя. «Самоучитель» уже поступил в продажу, когда один из экземпляров попал в руки виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева. Тот тотчас подал донос министру внутренних дел, и книга была запрещена. В 1867 г. в Женеве вышло второе издание под названием «Жизнь природы и человека». — 314

³ Во время заграничной поездки Худяков виделся с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, а также с Н. И. Утиным, М. К. Элпидиным и другими представителями «молодой эмиграции», жившими в основном в Швейцарии. Худяков находил деятельность русской политической эмиграции недостаточно активной, а потому ее самое назвал «задним двором», а ее жизнь «апатичной». В чем выразилось влияние Худякова на оживление деятельности русских эмигрантов, сказать трудно. Э. С. Виленская обращает внимание на то, что вскоре после приезда Худякова «молодая эмиграция» основала кассу взаимопомощи (см.: *Виленская Э. С. Революционное подполье...*, с. 375). — 315

⁴ Сведения о книгах, написанных Худяковым за границей, противоречивы. М. М. Клеветский считал его автором анонимной брошюры «Для истинных христиан», однако Э. С. Виленская приводит ряд доводов, ставящих авторство Худякова под сомнение (см.: *Виленская Э. С. Революционное подполье...*, с. 375—376). — 315

⁵ Василий Григорьевич Худяков (1826—1871) — известный в свое время живописец, автор исторических и жанровых полотен. — 316

⁶ Никольский Александр Маркелович — близкий знакомый Худякова, студент, преподавал в одной из бесплатных школ, был связан с революционным подпольем. В апреле 1866 г. Никольский женился на Варваре Лебедевой, сестре жены Худякова. Арестован по каракозовскому делу, но из-за отсутствия улик подвергнут лишь ссылке в г. Мезень Архангельской губернии под надзор полиции. — 317

⁷ Худяков очень сдержанно пишет о своих отношениях с ишутинцами. В действительности он не только тесно сотрудничал с московской, основной частью ишутинского кружка, но также играл очень важную роль в рядах петербургского его отделения. Ишутинец В. Н. Черкезов в справке, составленной по просьбе историка Е. Е. Колосова, писал: «Ближайшим человеком у каракозовцев в Петербурге был И. А. Худяков...» (*Колосов Е. Е. Н. К. Михайловский в деле Каракозова. — «Былое», 1924, № 23, с. 52*). «Сразу же после встречи Худякова с Ишутиним связи между петербургским и московским подпольем становятся весьма оживленными», — пишет Э. С. Виленская, приводя в подтверждение этих слов целый ряд фактов (*Виленская Э. С. Революционное подполье...*, с. 352—353). Все исследования, посвященные ишутинской организации, содержат многочисленные подтверждения того, что Худяков был наиболее значительной фигурой среди петербургских ее членов. Важные последствия для ишутинского кружка имели поездки Худякова за границу. «Сведения, привезенные Худяковым, оказали решающее воздействие на дальнейшую деятельность ишутинского тайного об-

щества. В непосредственной связи с ними находилось создание „Ада“, „Организации“, а также „Общества взаимного вспомоществования“» (Виленская Э. С. Революционное подполье..., с. 386).

Создание «Общества взаимного вспомоществования» относится к зиме 1865/66 г. Оно являло собой довольно широкую легальную организацию, деятельность которой направлялась ишутинцами. На него ишутинцы также смотрели как на возможный источник пополнения рядов тайного общества. «Ад» был особым заговорщическим центром, стоявшим над тайным обществом и призванным террористическими средствами бороться как против самодержавия, так и со всеми, кто будет мешать осуществлению планов революционной организации. «Организация» — это, по определению Э. С. Виленской, «руководящий центр, который сформировался по инициативе ишутинцев, но с привлечением других кружков, существовавших параллельно с ишутинским и имевших собственные подпольные связи» (Виленская Э. С. Революционное подполье..., с. 402). По мнению того же автора, «Организация» была создана не менее чем через полтора месяца после основания «Общества...» и через два месяца после создания «Ада» (см. там же, с. 399).

Организационные формы, намеченные ишутинцами, находились в соответствии с их взглядами на роль народных масс в революции. В советской исторической литературе отмечается, что ишутинцы в отличие от революционеров начала 1860-х гг., видевших в подъеме крестьянского движения прелюдию всеобщего крестьянского восстания, действовали в период революционного спада, поэтому они всеми средствами стремились побудить народ к активным действиям. Развивая эту мысль, Э. С. Виленская отмечает, что еще современники «верно характеризовали этот сдвиг в воззрениях ишутинцев» (там же, с. 463). Г. А. Лопатин писал: «Схема так называемого каракозовского заговора отводила на первое время самому народу очень мало места в насильственной перемене его участи», хотя участники заговора «питали реальные симпатии к народу, к черни», стремились «пропагандировать ему свои взгляды при каждом удобном случае» и готовы были «помогать и материально, и нравственно даже отдельным единицам, пока не пробил еще час помочь разрозненной массе путем низвержения давящего на нее гнета» (Герман Александрович Лопатин (1845—1918). Пг., 1922, с. 177). Указывая на присущую ишутинцам утрату веры в крестьянство как «инициативную политическую силу», при одновременном признании его «единственной общественной силой в России», Э. С. Виленская характеризует это как «трагедию народничества» (Виленская Э. С. Революционное подполье..., с. 464). — 317

⁸ Ермолов Петр Дмитриевич (1845—1910) — активный участник ишутинского кружка. Будучи самым состоятельным среди ишутинцев, поддерживал кружок материально. Находясь в предварительном заключении в Петропавловской крепости, раньше других стал давать показания, раскаивался. Смертная казнь была ему заменена каторгой. После помилования в 1884 г. жил в Пензе. — 318

⁹ Николаев Петр Федорович (1844—1910) — член ишутинского кружка, к 1866 г. успел окончить университет. На суде вел себя смело. По свидетельству адвоката Д. В. Стасова, Николаев «стал развивать социалистические теории... говорил, что вопрос о царевубийстве — вопрос философско-политический, что теорию об этом развивали очень многие знаменитые ученые уже в средние века, на-

пример, Кампанелла...» (цит. по кн.: *Троицкий II А.* Храбрых. М., 1978, с. 102). Был приговорен к двенадцати лет каторги по членскому решению — к восьми годам каторги. В 1885 г. выслан в Европейскую Россию. Продолжал участвовать в революционном движении. — 318

¹⁰ Воскресенский Д. А. (у Худякова — ошибочно — П.) — член ишутинского кружка, приговорен к восьми месяцам заключения в крепости. — 318

¹¹ Оболенский Леонид Егорович (1845—1906) — секретарь Козельской земской управы, княжеского титула в действительности не имел. Был судим по делу Каракозова. Выслан под надзор полиции в Костромскую губернию. — 318

¹² Юрасов Дмитрий Алексеевич (1842—1918) — бывший студент Московского университета. Во время студенческих волнений 1861 г. вышел из университета, отказавшись принять матрикулы. Активный участник ишутинского кружка. Был приговорен к бессрочной каторге, замененной десятью годами каторги. В 1885 г. вернулся в Европейскую Россию. — 318

¹³ Мотков Осип Антонович (1846—1867) — член ишутинского кружка. Возглавлял умеренную часть кружка, противостоявшую Н. А. Ишутину и его сторонникам. Приговорен к каторге на восемь лет. Срок был сокращен до четырех лет. В Сибири бежал с этапа, но был задержан и умер в тюремной больнице. — 318

¹⁴ Поведение ишутинцев под следствием и на суде оценивалось по-разному. М. М. Клевенский считал, что «показания ишутинцев следственной комиссии дают впечатление почти полной растерянности и упадка духа: бесконечно идут признания и вредные показания» (в кн.: *Худяков Н. А.* Записки каракозовца. М., 1930, 198). Н. А. Троицкий, не обходя предосудительные поступки ряда ишутинцев, вместе с тем отмечает, что с достоинством держались Худяков, Странден, Юрасов, что ишутинцы «в большинстве своем искусно сбивали карателей со следа» (*Троицкий Н. А.* Безумство храбрых. М., 1978, с. 101, 102). — 318

¹⁵ Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — историк, профессор, высланный в 1862 г. за негодные правительству высказывания в речи, посвященной тысячелетию России. — 319

¹⁶ Никифоров Федор Афанасьевич — приказчик, был близок с ишутинцами. По делу Каракозова был оправдан. — 319

¹⁷ Федосеев Павел Александрович — вольнослушатель Московского университета, привлекался по делу Каракозова. Был выслан в Тамбов. — 319

¹⁸ Странден Николай Павлович (ок. 1844—1902) — активный член ишутинского кружка. Собирался организовать побег Чернышевского с каторги. Приговорен к смертной казни, но затем сослан на каторгу. В 1884 г. был помилован и возвратился в Европейскую Россию. — 319

¹⁹ Спиридов Петр Александрович — отставной поручик, кандидат Московского университета, преподаватель кадетского корпуса. В январе 1866 г. уехал за границу и после покушения Каракозова остался в эмиграции. Козлов Алексей Александрович — преподаватель, кандидат Московского университета. Был привлечен по делу Каракозова, но суду предан не был и лишь выслан из Москвы. Спиридов и Козлов были связаны еще с землевольческими организациями 1860-х гг. Их отношения с ишутинцами не до конца ясны. Некоторые считали их идейными вдохновителями ишутинцев.

Так, в частности, они были охарактеризованы предателем Корво. — 320

²⁰ Малинин Орест Васильевич — член ишутинского кружка, кандидат Московского университета, чиновник контрольной палаты. По делу Каракозова приговорен к ссылке в Сибирь. Среди ишутинцев были два Иванова: Дмитрий Львович и Александр Иванович. Д. Л. Иванов во время следствия давал обширные показания. — 320

²¹ Мещанин Павел Цеткин — дворник, у которого в марте 1866 г. на квартире «на Выборгской стороне, у Сампсониевского моста (ныне мост Свободы), улица направо» (ныне на этом месте гостиница «Ленинград») жил (под фамилией Владимиров) Каракозов. Цеткин сразу опознал Каракозова на фотографии, предъявленной полицией. Он также показал, что, уезжая, Владимиров просил адресованные ему письма отнести по адресу Кобылина. Такое письмо (от Ишутина) пришло, и Цеткин отнес его. Один из жильцов Цеткина, Голубцов, показал, что видел у Владимирова письмо, адресованное в Москву, на Пречистенку, Ермолову. Власти тотчас занялись розысками в Москве. Кроме того, благодаря Цеткину был арестован и Худяков, которому Цеткин отослал письмо Каракозова. — 321

²² Внимание полиции, производившей повальные обыски по всем трактирам, гостиницам, харчевням, питейным заведениям, привлек № 65 в Знаменской гостинице. Из него, по показаниям прислуги, исчез постоялец по фамилии Владимиров. При тщательном обыске помимо запертой шкапулки и некоторых других вещей, оставленных постояльцем, нашли обрывки бумаги. Сложенные вместе, они составили письмо Ишутина, вызывавшее Каракозова в Москву. Найден был также конверт, на котором рукой Каракозова было написано: «В Москву. На Большой Бронной дом Полякова, № 25. Его высокоблагородию Николаю Андреевичу Ишутину». Как только стали известны имя и адрес Ишутина, власти отдали приказ об его аресте. — 321

²³ У Каракозова, арестованного на месте покушения, были обнаружены пистолет, яд (сибирская кислота и стрихнин), два экземпляра прокламации «Друзьям-рабочим», письмо без указания адреса на имя Николая Андреевича Ишутина и клочок бумаги, на котором было написано: «Кобылин». — 321

²⁴ На первом допросе Каракозов назвал себя крестьянином Алексеем Петровым. — 322

²⁵ Березовский Антон — польский революционер-эмигрант. 27 мая 1867 г. в Париже совершил неудачное покушение на Александра II. — 322

²⁶ Кобылин Александр Александрович (1860—1924) — врач военно-сухопутного госпиталя. В своих показаниях Каракозов утверждал, что Кобылин, зная о подготовке покушения, дал ему яд и деньги на пистолет. Это не было доказано, и Кобылин был оправдан. — 323

²⁷ Трудно сказать, почему Каракозов, многое скрывший от суда и следствия, назвал А. А. Кобылина и И. А. Худякова как лиц, причастных к подготовке его покушения на Александра II. Предположение И. А. Худякова о том, что Каракозов таким способом хотел отвлечь внимание от московского кружка, имело известное основание. — 323

²⁸ Боткин Сергей Петрович — известный русский медик. — 324

²⁹ В черновой рукописи воспоминаний Худякова, хранящейся

в рукописном отделе ИРЛИ, после ряда предшествовавших его аресту, следует фраза: «Ножин» (цит. по кн.: Рудницкая Е. Л. Шестидесятник Николай Ножин, М., 1975, с. 207). Под «Н.», несомненно, имеется в виду Ножин, которого историк Э. С. Виленская не без оснований назвала «наиболее таинственной фигурой» среди тех, кого в своих показаниях на следствии Худяков назвал причастными к петербургскому революционному подполью (см.: Виленская Э. С. Революционное подполье в России..., с. 321). Ножин, по-видимому, знал о подготовке Каракозова к покушению на Александра II и пытался этому противодействовать. Ножин умер при неясных обстоятельствах 3 апреля 1866 г., т. е. накануне покушения. Одна из версий гласит, что он покончил с собой, приняв яд. Эту версию поддерживал и Худяков. (Подробнее см.: Рудницкая Е. Л. Шестидесятник Николай Ножин. М., 1975.) — 325

³⁰ Генерал М. В. Огарев и директор департамента министерства юстиции барон Е. Е. Врангель были членами следственной комиссии. «Шалуном свиты его величества» Худяков назвал генерала А. М. Рылеева. — 326

³¹ Алексеев Владимир Михайлович — прапорщик, был связан с ишутинцами, привлекался по делу Каракозова. Переведен в отдельный военный округ. — 329

³² Корево Игнатий Иванович — студент Московского университета, член ишутинского кружка. 19 апреля 1866 г. обратился к московским властям с заявлением, что раскроет все, что ему известно в связи с покушением Каракозова. Просил его арестовать и предать лично М. П. Муравьеву. Указал на еще находившихся на свободе ишутинцев П. Ф. Николаева и В. П. Шиданова. В показаниях Корево заведомая ложь переплеталась с действительными фактами. — 329

³³ Лебедев Владимир — брат жены Худякова, подал на него донос. — 329

³⁴ Комиссаров Осип Иванович (1838—1892) — мастеровой из крестьян. По официальной версии, достоверность которой с самого начала вызывала сомнения, толкнул Каракозова, помешав ему тем самым убить или ранить Александра II. Был награжден деньгами и возведен в дворянское достоинство. — 330

³⁵ Печаткин Евгений Петрович (1838—1918) — издатель, владелец книжного магазина. Издал некоторые книги И. А. Худякова. Привлекался к следствию по ряду политических дел. — 330

³⁶ О существовании «Общества вольных стрелков» никаких данных в документах нет. Возможно, следователи пытались получить у Худякова сведения о тайных кружках среди военных. — 331

³⁷ В Петербурге, особенно после назначения М. Н. Муравьева председателем следственной комиссии, ходили упорные слухи о применении пыток к арестованным по каракозовскому делу. Худяков и его товарищи тоже опасались, что их подвергнут пыткам. В действительности лишь в отношении Каракозова было применено физическое воздействие: добываясь от него показаний, жандармы не давали ему спать на протяжении длительного времени. — 333

³⁸ Во время процесса по делу ишутинцев не раз заходила речь о так называемой «константиновской партии», сторонниках введения в России конституции, о том, что будто бы последние поддерживали идею устранения Александра II. При всей неясности этих упоминаний бесспорно, что великий князь Константин Николаевич,

признававший необходимость реформ и потому слышавший либералом, абсолютно никакого отношения к этой «партии» не имел. Наиболее подробно вопрос о «константиновской партии» исследован Э. С. Виленской в ее монографии «Революционное подполье...». — 334

³⁹ Одним из самых сложных вопросов в истории ишутинской организации является привезенное Худяковым из заграничной поездки известие о «Европейском революционном комитете». Какую именно реальную революционную организацию он имел в виду, можно говорить только предположительно. Многие историки считали, что в основе рассказа Худякова лежали полученные им сведения о Международном товариществе рабочих, т. е. I Интернационале, основанном К. Марксом и Ф. Энгельсом, которые склонный к мистификации Ишутин представил в виде версии о террористической организации, гстоящей насильственные перевороты и царубийства. На этой точке зрения стояли М. М. Клевенский (см.: *Клевенский М. М.* «Европейский революционный комитет» в деле Каракозова. — В кн.: *Революционное движение 1860-х годов.* М., 1932) и Ш. М. Левин (см.: *Левин Ш. М.* Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958, с. 254—255). Э. С. Виленская полагает, что Худяков имел в виду создававшееся М. А. Бакуниным «Интернациональное братство», анархическую по своей программе организацию. — 334

⁴⁰ В этих словах содержится намек на связь Худякова с так называемыми «сибирскими сепаратистами», членами «Общества независимости Сибири» Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым и др., ранее уже осужденными. — 336

⁴¹ Линеv Александр Логинович — содержатель книжного магазина. Был привлечен к следствию по каракозовскому делу и выслан в Вологодскую губернию. — 337

⁴² Лопатин Герман Александрович (1845—1918). Не будучи членом ишутинской организации, Лопатин был близко знаком с Худяковым. Когда же после 4 апреля Худяков ждал ареста, то именно Лопатину, как человеку нескомпрометированному, он передал «временное ведение обезлюженного дела», поручил «перехватить кое-какие заграничные и внутренние письма; известить кого следует о положении дел и прекращении на время сношений; сберечь заведенные пути для доставки заграничных изданий и т. д.». 13 мая арестовали и Лопатина, но, продержав под арестом два месяца, освободили. Уже после суда Худяков как-то сумел, находясь в крепости, установить связь с Лопатиным и передать, чтобы тот поstarлся «связать уцелевшие остатки организаций». Выполнить это поручение Лопатин не смог из-за «всеобщей паники» (Герман Александрович Лопатин (1845—1918). Пг., 1922, с. 139). — 338

⁴³ Худяков ошибся. Пасха в 1866 г. была 27 марта. — 338

⁴⁴ В первых главах воспоминаний Худякова очень много места занимает описание исурядиц в его семейной жизни. При этом он явно преувеличивает роковую роль, которую сыграла жена в его судьбе. — 340

⁴⁵ Mortuus — мертвец (*лат.*). Мортусами среди ишутинцев называли тех, кто взялся совершить царубийство и тем самым сбрекал себя на верную гибель. — 342

⁴⁶ В современных Худякову исторических исследованиях утверждалось, что закрепощение крестьян произошло в результате указа, отменившего «Юрьев день» и тем самым лишившего крестьян возможности раз в году переходить от помещика к помещику. В совет-

ской историографии закрепощение крестьян рассматривается как очень длительный процесс, начавшийся еще во времена Киевской Руси и получивший окончательное оформление в 1649 г. — 345

⁴⁷ Существовала версия, что при избрании Михаила Федоровича Романова на царство в 1613 г. предусматривалось известное ограничение его власти. Это и имел в виду Худяков. Никакого документа, который содержал бы текст какой-либо «конституции 1613 г.», в распоряжении историков никогда не было. — 345

⁴⁸ В действительности рескрипт Александра II был не от 16-го, а от 13 мая. Он был дан на имя председателя комитета министров кн. П. П. Гагарина и содержал требование бороться с «тлетворными идеями, направленными против религии, собственности и государственного порядка», и «охранять русский народ от зародышей вредных лжеучений». — 346

⁴⁹ Гагарин Павел Павлович (1789—1872) — князь, председатель комитета министров. Был назначен председателем верховного уголовного суда, слушавшего дело ишутинцев. — 347

⁵⁰ В роли прокурора на заседаниях верховного уголовного суда выступал министр юстиции Д. Н. Замятнин. — 347

⁵¹ У Худякова ошибочно указано 14 августа. — 348

⁵² Худяков преувеличивает возраст некоторых членов суда. В 1866 г. М. М. Карпиоллину-Пинскому было 70 лет, П. П. Гагарину — 77, В. Н. Панину — 65. — 348

⁵³ 3 сентября 1866 г. Д. В. Каракозов был казнен. — 351

⁵⁴ После покушения Каракозова П. А. Некрасов, ждая славы «Современник», написал стихотворение, обращенное к М. П. Муравьеву, и прочел его на вечере в Английском клубе. Славы «Современник» Некрасов не смог, его закрыли, слабость же, проявленная Некрасовым, навлекла на него гнев со стороны широких кругов русского общества. Резко осуждали поступок Некрасова и его единомышленники. Сам Некрасов тяжело переживал этот случай. О его раскаянии свидетельствует написанное в 1866 г. стихотворение «Неизвестному другу». В нем были и такие строки:

«Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...» — 357

⁵⁵ Гражданская казнь Худякова, Ишутина и других осужденных происходила не на острове Голодай, а на Смоленском поле. — 358

- Аксаков И. С. 36, 57
 Аксаков С. Т. 37, 38
 Александр I 79, 210, 263
 Александр II 8, 11, 15, 21, 22,
 24, 27, 28, 55, 259, 308
 Алексеев В. М. 329
 Андреевский И. Е. 77
 Андрущенко И. А. 294
 Аничков В. М. 10
 Анненков И. В. 184, 253, 261,
 278
 Анненков П. В. 308
 Антонович М. А. 10, 14, 23, 26,
 33, 117, 137, 219, 297, 299
 Аполлоний Тианский 124, 125,
 286
 Аргиропуло П. Э. 272, 274—277,
 282, 304
 Аристотель 258
 Арсеньев Ю. К. 78
 Архангельский М. 212, 213
- Бакст В. И. 308
 Бакст О. И. 284
 Бакунин М. А. 24, 30, 294, 310
 Баллод П. Д. 284, 303
 Барбес А. 51
 Барков И. С. 42, 43
 Башуцкий А. Д. 348
 Безак А. П. 97
 Безобразов В. П. 90, 91
 Бекман Я. Н. 272, 279—283, 287
 Белинский В. Г. 10, 105, 119, 120,
 126, 128, 132, 133, 223, 224,
 230, 259
- Белозерская Н. А. 305
 Белоха, инженер 302
 Беневоленский П. А. 284
 Берви В. В. 265
 Берг Ф. Ф. 341, 342
 Березин И. Н. 245
 Березовский А. И. 80, 322
 Бёрне К. Л. 130
 Билярский П. С. 303
 Благодетель Г. Е. 14, 21, 24,
 26, 28, 111, 113—116, 118,
 119, 138, 309
 Блан Л. 51, 143, 146, 277
 Бланки Л.-О. 51
 Блюм Р. 299
 Блюммер (Кравцова) А. П. 149,
 305
 Боков П. И. 18, 23, 173, 207,
 208, 242—245, 283, 284, 288,
 289, 296, 298
 Боткин В. П. 308
 Боткин С. П. 324
 Брянчанинов П. П. 280
 Булгарин Ф. В. 225
 Бутурлин А. П. 201
 Быкова М. А. 305
- Валуев П. А. 22, 94, 282
 Васильевский В. Г. 303
 Введенский И. И. 255, 256
 Вейнберг П. И. (Камень Вино-
 гор) 47—49, 90, 91, 297
 Вебер Г. 210
 Венцель К. К. 201, 204
 Виндишгрец А. 299

* Составлен Т. В. Андреевой и Н. Б. Срединскою.

- Владимиров *см.* Каракозов Д. В.
 Волконский С. Г. 54, 55
 Волховский Ф. В. 29, 33, 248
 Ворцель С. Г. 51
 Воскресенский Д. А. 318
 Востоков А. Х. 255
 Врангель Е. Е. 326, 347
- Гагарин П. П. 347, 348, 351, 355
 Гавацци А. 226
 Гаевский В. П. 148, 347
 Гакстгаузен А. 108, 122
 Галахов А. Д. 218, 220, 221
 Гарибальди Дж. 254, 324
 Гегель Г. 10, 230
 Гейне Г. 39, 79, 81, 110, 145, 324
 Гейнс В. (Фрей В.) 288
 Ген К. А. 78, 80, 264
 Герасимов, студент 261
 Гербель Н. В. 47, 49, 310
 Герд А. М. 305
 Герд А. Я. 292, 304
 Герцен А. И. (Искандер) 5, 7--9,
 14, 15, 18--20, 22, 24, 25, 27,
 32, 38, 49--54, 57, 87, 95, 96,
 123, 124, 126, 144, 145, 185,
 186, 213--215, 217, 233, 250,
 290, 291, 300, 301, 307, 308,
 316, 335
 Гете И.-В. 53
 Гоголь Н. В. 130
 Голицын А. С. 63
 Головачев А. Ф. 314, 315
 Головачева-Панасва А. Я. 271
 Головин И. Г. (Николай Карло-
 вич) 100, 101
 Головин А. В. 77, 273, 291
 Гольц-Миллер И. И. 173
 Гомзен, студент 289
 Горянский Ф. И. 159--164, 166--
 170, 175--179, 183, 185--188
 Гофман Э.-Т.-А. 51
 Грановский Т. Н. 13
 Греч Н. И. 221, 223, 225
 Грибоедов А. С. 130
 Грыцько *см.* Елисеев Г. З.
 Громека С. С. 84, 94
 Гуд Т. 40
 Гулевич М. С. 284, 287, 289, 290
 Гурко, журналист 337
 Гюго В. 53
- Давыдов И. И. 103, 215--218
 Даненберг Ф. Р. 284
 Данилович Г. Г. 258
- Делянов И. Д. 273
 Дементьева А. Д. 30
 Державин Г. Р. 131
 Добролюбов Н. А. 8, 9, 14, 18,
 19, 24, 33, 60, 66, 84, 90, 91,
 97--101, 109, 110, 118--122,
 128, 129, 133, 136, 139, 162,
 209, 215--223, 227--232,
 234--237, 242, 271, 273, 288,
 309, 357
 Долгоруков В. А. 24, 28, 97, 184
 Долгоруков П. В. 213, 214
 Домбровский В. Ф. 255
 Достоевский Ф. М. 46, 135, 276
 Дружинин А. В. 90, 181
 Дудышкин С. С. 136
 Дэви Г. 324
- Екатерина II 107
 Елисеев Г. З. (Грыцько) 10, 14,
 21, 26--28, 91, 92, 246, 283,
 289, 294, 309
 Ермолов П. Д. 318, 329
 Ермолова М. I 302
- Жданов С. Р. 303
 Житков, подполковник 150 153,
 179
 Жук А. А. 284, 287, 289, 292, 297
 Жук В. П. 61
 Жуковский В. А. 131
 Жуковский П. И. 303
 Жуковский Ю. Г. 26, 117, 137,
 297
- Завадский П. В. 282
 Зайцев В. А. 26, 111, 120, 121,
 123, 133--136, 138, 139
 Заичневский П. Г. 21, 272, 274--
 277, 279, 282, 304
 Залесский А. В. 199
 Замятнин Д. Н. 355
 Зарин, подполковник 279, 281,
 282
 Зарубин А. К. 153, 170, 171, 182,
 188--190, 193
 Захарьин А. В. 297
 Зеленский Л. М. 282
 Золотницкий, пристав 142--146
 Зотов В. Р. 38
- Иван III 79
 Иванов А. И. 320, 351
 Иванов Н. И. 30
 Игнатъев Н. П. 199

- Игнатъев П. Н. 73, 80
Исидор, митрополит (Никольский Я. С.) 97
Ишутин Н. А. 27—29, 318—320, 323, 328, 329, 331—333, 336, 338, 349, 350, 352, 356, 359
- Кавелин К. Д. 8, 22, 77, 90, 91, 221, 233, 242, 263
Камень Виногородов *см.* Вейнберг П. И.
Каракозов Д. В. 27—29, 32, 79, 80, 294, 319—323, 327—329, 331, 334—338, 341, 342, 346, 348—351, 354, 356
Карл XII 321
Карлейль Т. 144
Карисев Н. М. 201
Карниолли-Пинский М. М. 201, 202, 204, 207, 348
Касаткин А. М. 280
Катков М. Н. 108, 349
Кауфман М. П. 240
Кельсиев В. И. 95, 314
Кипиченко, учитель 291
Кичин К. Ф. 351
Княгининский П. П. 27, 293
Кобылин А. А. 294, 323, 325, 328, 338
Ковалевский Е. П. 97
Кожанчиков Д. Е. 140, 141, 281
Козлов А. А. 272, 281, 320
Козьмин Б. П. 32
Кокорев В. А. 222
Комарова А. А. 338
Комиссаров О. И. 330
Константин Николаевич, вел. кн. 43, 334
Корево И. И. 329, 331
Корсаков Н. 262
Корсини (Утина) Н. И. 305
Коссовский В. Г. 305
Костомаров В. Д. 23, 81—83, 87—90, 98, 99, 147—149, 155, 159—161, 163—168, 174—179, 182, 183, 187, 204, 205, 250, 251, 265, 297
Костомаров Н. И. 70, 81, 96, 106, 281
Кошелев А. И. 36
Кошут Л. 51
Кравцова А. П. *см.* Блюммер А. П.
Краевский А. А. 84, 117, 258
Кранц Ф. Ф. 184—187
- Крашенинников П. И. 140
Крылов И. А. 130
Кузнецов Л. Н. 200, 201, 207, 208
Кукель, издатель 315
Кульчицкий Л. С. 287
Курочкин В. С. 20, 36, 91, 309, 310
Курочкин Н. С. 147, 309, 310
Кушелев Г. А. 36, 84, 85, 111
Кшесинский Ф. И. 54
- Лаврецов В. Я. 140, 141
Лавров Н. В. 281, 282
Лавров П. Л. 14, 21, 74, 80, 297, 298, 309
Лазарев М. П. 70, 71
Латкин П. Н. 301, 302
Лебедев В. А. 329, 337
Лебедева В. А. 318
Лебединский П. В. 277
Левашев А. А. 281, 282
Левин Ш. М. 32
Ледрю-Роллен А.-О. 51, 277
Лемке М. К. 31, 306
Ленин В. И. 5—7, 11, 12, 22, 31
Лермонтов М. Ю. 130
Линев А. Л. 337
Лобода В. В. 282
Ломоносов М. В. 131
Лопатин Г. А. 338
Лыткин Ю. С. 284
Лугнин В. Ф. 297, 308
Любимов А. С. 181
Людовик XIV 106
- Мадьянов, полицейский 23, 243
Майков А. Н. 43, 179
Макарий, архиерей 238—241
Максимов С. В. 43, 44
Малинин О. В. 320, 348
Манасеин В. А. 304
Манасенна М. М. 304
Маркович М. А. (Марко Вовчок) 115
Маркс К. 30, 31, 294
Мартынов П. А. 292
Маутнер А. 61
Маццини (Мадзини) Дж. 14, 51, 268, 269
Медем Н. В. 148
Мезенцев Н. В. 248
Мейер, директор гимназии 256
Мельников П. И. (Андрей Печерский) 36

- Метлин, сенатор 348
 Милль Д. С. 108, 122
 Милютин Н. А. 280
 Минин К. 90
 Митусов В. П. 201—204
 Михайлов М. Л. 10, 14, 16, 18,
 20, 23, 33, 37—49, 53, 66,
 81—88, 97, 98, 110, 140, 141,
 153, 159, 160, 163, 164, 167,
 175, 177, 178, 185, 189, 208,
 211, 262, 265, 286, 297—299,
 301, 310, 311
 Михайлов М. М. 37, 38
 Михайлов Н. Л. 97
 Михалевский В. Т. 296
 Михаэлис Е. П. 16, 78, 80, 152,
 169, 182, 183, 211, 264, 299
 Михаэлис М. П. 252, 253
 Модестов В. И. 303
 Моравский П. Ф. 295
 Мосолов Ю. М. 290, 291
 Мотков О. А. 318—321, 331, 335,
 351, 356
 Муравьев М. Н. 80, 102, 314,
 330—336, 341—344, 357, 358
 Муравьев Н. М. 260
 Мусин-Пушкин М. Н. 68, 69, 258
 Мухин П. 141
 Наполеон I 51
 Наполеон III 350
 Неклюдов Н. А. 16, 291, 293
 Некрасов Н. А. 9, 26, 40, 45, 92,
 97, 110, 117—119, 139, 179,
 217, 224, 246, 247, 271, 289,
 309, 357, 358
 Нечаев С. Г. 29, 30
 Нечкина М. В. 32
 Нибур Б. Г. 255
 Никитенко А. В. 258
 Никифоров Ф. А. 319, 336, 342
 Николадзе Н. Я. 16
 Николаев П. Ф. 318
 Николай I 5, 8, 98, 183, 259, 308
 Николай Карлович *см.* Голо-
 вин И. Г.
 Никольский А. М. 317, 318, 325,
 327, 329, 338
 Цовфселникский М. А. 264
 Норв А. С. 258
 Обер-Миллер *см.* Гольц-Мил-
 лер И. И.
 Оболенский Л. Е. 318
 Обручев В. А. 10, 14, 18, 23, 173,
 207, 209, 250, 265, 299
 Обручев Н. Н. 10, 14, 19—21,
 290, 310—312
 Огарев К. И. 326, 327, 335, 342,
 352
 Огарев Н. П. 5, 14, 15, 18—20,
 24, 25, 27, 53, 144, 279, 308,
 335
 Ольденбургский П. Г. 348, 353,
 354
 Ордынский Б. И. 258
 Орлов Н. М. 301, 302
 Орлов Ф. П. 264
 Орфано А. Г. 272
 Островский А. Н. 60, 64, 109,
 122, 129
 Островский М. 269, 284, 286
 Отт, инженер 302
 Павел I 109
 Павлов Н. Ф. 285
 Павлов П. В. 21, 58, 96, 97, 265,
 319
 Падлевский З. 290
 Паллас П. С. 45
 Папин В. Н. 348, 352
 Папкратьев Э. И. 198, 199, 200,
 205, 206, 209
 Папютин В. Ф. 274
 Паптелеев Л. Ф. 14, 27, 33, 263,
 274, 282, 292, 307
 Паткуль А. В. 73
 Пейкер М. Г. 280
 Пекарский П. П. 37, 102
 Переласвцев, чиновник 341
 Песталоцци И. Г. 41
 Петр I 35, 79, 96, 100, 106, 210,
 331
 Петрашевский М. В. 183, 250
 Петров Антон 12, 93
 Петровский (Ильенко) П. С. 166
 167
 Перцов Э. П. 173
 Печаткин Е. П. 330
 Пинкорнелли И. Ф. 209, 211
 Пиотровский И. А. 271
 Писарев Д. И. 14, 23, 24, 26, 27,
 62, 110—121, 123—134, 137,
 138, 284, 299
 Писемский А. Ф. 43, 46, 62, 137
 Платонов А. П. 302
 Плетнев П. А. 72, 78, 102, 105
 Плеханов Г. В. 32
 Плещеев А. Н. 81, 160, 250, 251,
 297
 Погодин М. П. 38

- Погоцкий А. Ф. 309
 Покровский А. И. 220
 Покровский М. П. 264
 Пожарский Д. 90
 Полевой К. 221
 Полежаев А. И. 130
 Полисадов В. П. 111, 112, 349, 350
 Полонский Я. П. 136
 Поморцев, профессор 230
 Понятовский И. В. 304
 Попов, книготорговец 317
 Португалов В. И. 282
 Потанин Г. Н. 27, 271
 Потапов А. Л. 86
 Потехин А. А. 91
 Пребстинг Г. Ф. 301, 302
 Преспухин Н. В. 270
 Прудон П. 47, 51, 143, 146, 298
 Пугачев Е. И. 12, 107, 267
 Путилин И. Д. 84, 147, 150, 161, 162, 164, 168—170, 174—179, 182, 183
 Путята А. Д. 290
 Путята Д. 312
 Путятин Е. Ф. 70, 71, 75, 77, 78, 85
 Пушкин А. С. 23, 42, 48, 130—132, 143, 144, 237
 Пущин Н. Н. 59, 60
 Пыпин А. Н. 26, 77, 247, 301
- Раевский Н. Н. 70, 71
 Разин С. Т. 106, 107, 267
 Ракеев П. С. 23, 140—146, 243—245
 Ребиндер К. Г. 70
 Рехневский С. С. 240, 241
 Рикардо Д. 10
 Рихтер А. А. 297
 Робеспьер М. 296
 Ровинский П. А. 290—292
 Розанов Л. И. 247
 Ростовцев Я. А. 160
 Ростовцев Я. И. 280
 Русанов Н. С. 52
 Рыбников П. Н. 272, 281
 Рылеев К. Ф. 237
 Рымаренко С. С. 266, 268, 270, 273, 283, 285
 Рычков В. И. 245
- Саблин М. 276
 Салтыков-Щедрин М. Е. 26
- Самохвалов, унтер-офицер 164—166, 171—173, 184, 188
 Свириденко М. Я. 272, 281
 Семевский А. И. 190
 Сенковский О. И. 42, 225
 Сераковский З. 102, 234
 Серебряков Е. А. 263
 Серно-Соловьевич А. А. 14, 16, 18, 20, 21, 24, 91, 95, 96, 174, 300, 308—310
 Серно-Соловьевич Н. А. 14, 18—21, 23, 24, 27, 55—58, 91, 174, 269, 273, 281—285, 295, 297, 298, 307, 310, 312, 350
 Сеченова М. А. 305
 Слепцов А. А. 14, 20, 24, 25, 33, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 281, 285, 286, 289, 290, 291, 300, 306, 310, 312
 Смит А 10
 Собецацкий И. Ф. 181
 Соболев И. Я. 278
 Соболев, офицер 339
 Соколов Н. В. 26
 Соловьев Н. И. 88, 98, 117
 Сорокин А. Ф. 197, 246, 353, 354
 Сороко И. К. 166, 167
 Спасович В. Д. 70, 77
 Спиридов В. А. 320
 Срезневский И. И. 72, 215, 217, 255, 336
 Стасюлевич М. М. 22, 77, 287
 Стахевич С. Г. 22, 23, 304
 Столпаков А. Н. 294, 295
 Стопановский М. М. 91
 Стороженко А. П. 181, 182
 Странден Н. П. 319, 329, 331, 333
 Страхов Н. Н. 288
 Строганов С. Г. 344
 Суворов А. А. 23, 56, 79—81, 84, 86, 87, 199, 213, 214, 246, 249, 274, 278, 281, 282
 Судакевич Ф. С. 269, 284, 286, 292, 294, 303
 Сулин Я. А. 250
 Сумароков А. П. 131
- Тиблен Н. Л. 96, 288
 Тимашев А. Е. 281
 Ткачев П. Н. 14, 29
 Толмачева Е. Э. 48, 297
 Трепов Ф. Ф. 79
 Тур Е. 136
 Тургенев И. С. 46, 52, 58, 122, 137, 138, 221

- Тургенев Н. И. 53
Турчанинов Н. П. 215, 216
- Утин Б. И. 77
Утин Н. И. 14, 24, 27, 33, 95,
245, 254, 265—272, 274—276,
283—287, 290, 292—294,
296—298, 330, 335
Утина Л. И. 287
- Фан-дер-Флит П. П. 292
Федоров, капитан 179
Федосеев П. А. 319
Фейербах Л. 10
Филиппов Т. И. 296
Филипсон Г. И. 70, 72, 73
Фиркс Ф. И. 100
Фицтум фон Экштед 67
Фонвизин И. С. 181
Фрей В. см. Гейне В.
Френкель А. С. 264
Фурье Ш. 10
- Хоминский С. Ф. 274, 278, 281
Хохряков В. X. 284
Христофоров А. X. 291
Худяков В. Г. 317
Худяков И. А. 27, 28, 33, 264,
293, 294, 314—317, 327, 336,
341, 354
- Цеткин П. 321, 325
Цитович П. П. 100, 101
- Черкесов А. А. 55, 58, 245
Чернышевская О. С. 237
Чернышевский Г. И. 254, 257
Чернышевский Н. Г. 5, 9, 24, 26,
27, 31—33, 39, 43, 48, 80, 88,
96—100, 102, 103, 110, 119—
123, 128, 133, 139, 215, 219,
220, 221, 227—247, 249, 250,
251, 252, 254—262, 271, 275,
276, 281, 283—285, 288, 289,
- 296—300, 307, 309—312, 329,
335, 348, 354, 357
Четыркин И. Я. 274, 282
Чулков, капитан 88
- Шашков С. С. 91
Шварц В. М. 335
Шевалье, гувернер 38
Шедо-Ферроти см. Фиркс Ф. И.
Шекспир В. 129
Шелгунов Н. В. 10, 13, 17, 26,
28, 33, 35, 44, 47, 112—116,
142, 151, 152, 299, 310, 311
Шелгунова Л. П. 16, 112, 113,
142, 161, 164, 169, 264
Шерр И. 100, 101
Шестакович Б. П. 303
Шлоссер Ф. К. 106, 107
Шпурков, офицер 261
Штакеншнейдер А. А. 211
Штранден, студент 190
Шувалов П. А. 16, 146, 147,
162—164, 168—171, 174,
178—180, 183, 184, 187
Шульгин В. Я. 279
- Шапов А. П. 12, 91—93, 311
Шеглов Д. Ф. 217
Щербатов Г. А. 68—71, 302
Щербатский, полковник 150
- Эйнвальд М. А. 289
Энгельгардт А. Н. 91, 190, 283
Энгельгардт Анна Н. 58, 297
Энгельс Ф. 30
Эндоуров И. Н. 280
- Юнге, квартальный 325, 326, 328
Юрасов Д. А. 318, 319, 331
- Ядринцев Н. М. 27
Якоби В. И. 296
Яковлев А. А. 284

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Текст</i>	<i>Примечания</i>
Революционеры 1860-х годов	5	
<i>Н. В. Шелгунов.</i> ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	35	360
<i>М. Л. Михайлов.</i> <ЗАПИСКИ>	140	374
<i>Н. Г. Чернышевский.</i> ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ЗНАКОМСТВА С Н. А. ДОБРЮЛОВЫМ	215	382
<i>М. А. Антонович.</i> ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРЮЛОВЕ	219	384
ЛИЧНОСТЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО	232	
АРЕСТ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО	242	
<i>Ф. В. Волховский.</i> НА МЫТНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ	248	389
<i>Н. И. Утин.</i> НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ- СКИЙ	254	391
<i>Л. Ф. Пантелеев.</i> ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО.	263	392
<i>А. А. Слепцов.</i> [ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ]	306	397
<i>И. А. Худяков.</i> ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ (Записки каракозэвца)	314	399
Примечания	360	
Именной указатель		408

ШТУРМАНЫ БУДУЩЕЙ БУРИ

Воспоминания участников
революционного движения 1860-х годов
в Петербурге

Составитель Алексей Николаевич Цамутали

Редактор С. А. Прохвятилова. Младшие редакторы Е. Б. Никапорова, М. В. Тоскина. Художник Л. А. Яценко. Художественный редактор А. К. Тимошевский. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор Л. В. Берендюкова.

ИБ № 2442

Сдано в набор 21.02.83. Подписано к печати 13.09.83. М-36250. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84+вкл. Усл. кр.-отт. 23,10. Уч.-изд. л. 24,55+0,55=25,10. Тираж 50 000 экз. Заказ № 41. Цена 1 р. 20 к.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтапка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтапка, 57.

Штурманы будущей бури: Воспоминания участников революционного движения 1860-х годов в Петербурге/[Сост. А. Н. Цамутали]. — Л.: Лениздат, 1983. — 414 с., ил.— (Б-ка революционных мероприятий «Из искры возгорится пламя»)

Сборник воспоминаний революционных деятелей 60-х гг. XIX в. охватывает период, когда в России на смену дворянским революционерам пришло поколение революционеров-разночинцев. «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом», — писал о них В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена».

В воспоминаниях таких видных шестидесятников, как Н. В. Шелгунов, М. Л. Михайлов, М. А. Антонович, передана атмосфера 60-х гг., показана деятельность как революционного подполья, так и революционной эмиграции, даны портреты общественных деятелей этого периода.

Ш 0505020000—167 78—83
М171(03)—83

63.3(2)51